

4

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1987

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

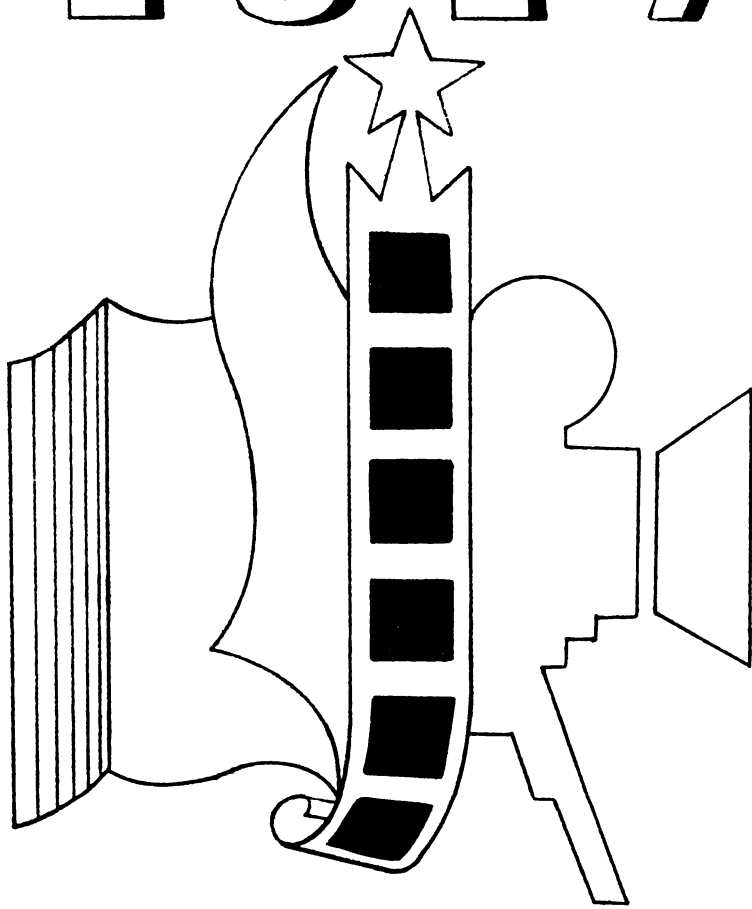
4

1987

- 3 *В. Трунин*
СПОР НЕ ОКОНЧЕН
- 40 *Р. Тюрин*
ДЕНЬ КАК ДЕНЬ
- 59 *А. Александров*
БАШНЯ
- 79 *С. Лазугкин*
САД
- 112 *А. Усов*
НОЧНОЙ ЭКИПАЖ
- 140 *А. Инин*
**ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ... ИЛИ
МУЖЧИНА В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ**
- 166 *Сценарий документального фильма
С. Дидковский*
АТАКА
- 174 *Из архива мастеров
М. Булгаков*
**ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА, ИЛИ
МЕРТВЫЕ ДУШИ**

ГОСКИНО СССР
МОСКВА • 1987

1 9 1 7



1 9 8 7



ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРУНИН (родился в 1935 году) окончил Литературный институт им. М. Горького. По сценариям В. Трунина поставлен ряд художественных фильмов, в том числе: «Это было в разведке», «Белорусский вокзал», «Единственная дорога», «Вернемся осенью», «Через Гоби и Хинган», «Родителей не выбирают», «Жаркое лето в Кабуле», «Победа».

Публикуемый сценарий «Спор не окончен» готовится к постановке на киностудии «Мосфильм».

ВАДИМ ТРУНИН

СПОР НЕ ОКОНЧЕН

Ветер. Ледяной, колючий. С промерзшей Балтики. Темень. Костры у Смольного. Вооруженные матросы.

ПЕТРОГРАД. 10 МАРТА 1918 г. (н. ст.).

Из ворот Смольного выезжают тяжелые грузовики. Одни с ящиками, узлами и чемоданами. В других — солдаты. Щетинятся трехгранные штывы, тускло отсвечивают стволы пулеметов. Короткие реплики полатышки:

— Все взяли?

— Где Лацис?

Одно за другим гаснут окна Смольного. Ветер хлопает забытыми форточками. Летят, крутятся на ветру обрывки бумаг. Следом за грузовиками появились несколько легковых автомобилей, они тотчас разъехались в разные стороны.

Один из них, видимо, избегая центральных магистралей, продвигался пустынными темными улочками. В машине было шестеро — трое мужчин и три женщины. От сквозящего ветра прятали лица в воротники. Молчали.

Где-то у Обводного канала задержались, пропуская обоз ломовиков. При свете тусклого уличного фонаря можно было разглядеть сидевших в машине. Молодой шофер Рябов в теплой кожаной куртке, рядом с ним управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Позади

четверо — его жена Вера Михайловна Величина, Мария Ильинична Ульянова, Надежда Константиновна Крупская и у самого края, задумчиво глядя в окно, — Ленин. Обоз прошел, и машина двинулась дальше.

Проехали мимо Путиловского завода. Ленин долго не мог оторвать взгляда от его безжизненных темных корпусов.

Бонч-Бруевич сказал шоферу:

— За Московской заставой налево, к платформе Цветочная площадка...

...Свет фар вырвал из темноты группу солдат, перегородивших дорогу.

Владимир Ильич глубоко вздохнул. Надежда Константиновна нашла его руку, укрыла своей, стараясь то ли ободрить, то ли защитить от злых мыслей.

— Все. Приехали, — сказал Бонч-Бруевич.

Ленин с трудом открыл дверцу, шагнул навстречу ветру, выбрался сам и помог выйти женщинам.

Поднялись на платформу. Пошли вдоль темных вагонов. Где-то впереди пыхтел паровоз и виднелся огненно-красный отблеск в окне машиниста.

Ленин чуть приотстал. Облако пара от локомотива скрыло идущих впереди женщин и Бонч-Бруевича. Ленин шагнул в это облако и...

...Оказался на залитом солнцем перроне Цюрихского вокзала. Это было почти год назад — в марте 1917-го.

Рослый полицейский благодушно взирал на толпу провожающих, в которой одни приветливо махали руками и улыбались, а другие выкрикивали:

— Это из-за вас всех социалистов обвиняют в предательстве...

— Милюков с вами шутить не будет!

— Это мы с Милюковым шутить не будем,— отвечал шагавший рядом с Владимиром Ильичом грузин Цхакая.

Раздался второй звонок.

— Все,— заторопилась Инесса Арманд.— Поехали.

— Привет революции! — кричали с перрона.— Привет России!

— Ленин, история не простит вам этой ошибки!

Мартов шел рядом.

— Как я завидую вам, Ульянов.

— Поехали с нами.

— Наш комитет постановил подождать. А вы первым увидите свободу в России.

— Какую свободу, Мартов? Для убитых и искалеченных на войне, для умерших от голода?..

Мартов как-то безнадежно махнул рукой и отстал...

В сумраке холодного тамбура Ленин различил серую шинель часового, прошел через темный коридор и оказался внутри неосвещенного салона. Когда глаза привыкли к темноте, увидел сидевших у стены Марию Ильиничну и Надежду Константиновну.

— Почему не раздеваетесь? — спросил он.— Назад возвращаться не будем.— Он подошел к окну.— Все правильно... И все-таки грустно.

Ленин отвернулся от окна и отчетливо увидел...

...Медленно отплывающий Цюрихский перрон.

В коридоре у окон все еще толпились Зиновьев, Усиевичи, Сафаровы, Ольга Равич, Абрамович, Глобельская, Харитонов, Линда Розенблюм, Мариенгофы, Сокольников — всего человек около тридцати.

Из тамбура шагнул Фриц Платтен. Поднял руку.

— Внимание, товарищи! — сказал по-немецки.— Я ваш сопровождающий до России. Напоминаю условия нашего проезда через Германию. Никакой проверки — ни документов, ни багажа. Вагон экстерриториален, но выходить из него запрещено. По всем вопросам обращаться ко мне. Если все будет хорошо, самое позднее через три

дня будем в Скандинавии. А там и Россия!

— Ур-ра! — дружно ответили в коридоре.

— Прощай, Швейцария,— вздохнула Надежда Константиновна.

— Ох, надоели мне эти горы,— сказал Цхакая.

На глазах у Инессы Арманд были слезы:

— Просто не верится,— сказала она.—

Неужели я скоро буду дома, в Москве, увижу ребят? Не надо будет прятаться, можно будет выйти с ними просто на улицу, в парк, на качели..

— Какие качели, Инесса? — сказал Цхакая.— Дети давно уже выросли, слушай...

Инесса вытерла слезы, улыбнулась...

Снежный заряд, ударивший с ветром в стекло, снес улыбку Инессы. Ленин обернулся на шум. По коридору шел Бонч-Бруевич с фонариком в руке.

— Погрузка закончена, можем ехать.

— Мы так и будем сидеть в темноте? — спросил его Ленин.

— Как только выйдем на главный путь, сразу включим.

Мягкий толчок. Поезд тронулся, стал набирать скорость.

— Связь с Николаевским вокзалом есть? — спросил Владимир Ильич.— Как поездка с членами ВЦИКа?

— Один уже отошел. Второй последует за нами. Свердлов там.

— В безопасности, я надеюсь.

— Все фракции перемешаны по вагонам. Не станут же эсеры подрывать своих. И вообще, они только за нами охотятся, за поездом комиссаров.

— Ну-ну, спасибо, утешили,— усмехнулся Ленин.— Да, интересные все же зигзаги делает история: люди, называющие себя социалистами и революционерами, охотятся за нами потому, что мы подписали мир.

Ленин вновь подошел к окну. Проплывали мимо заснеженные домики Петроградского предместья. Но перед глазами Владимира Ильича было другое...

...Пограничная станция, солдаты в остроконечных касках... Германия.

В коридор из купе вышли Надежда Константиновна, Зиновьев, Цхакая.

— А помните, Ильич,— сказал Цхакая,— мы с вами думали и гадали, доживем ли до революции?

— Мы не только доживем, мы ее сделаем,— улыбнулся Владимир Ильич.— Настоящую революцию, пролетарскую, социалистическую...

Зиновьев взглянул на него и сказал со вздохом:

— Одно дело — скинуть осточертевшего

всем Николашку, а выступить против всей мировой буржуазии...

— Ты что, товарищ Зиновьев, генацвале? Не веришь в пролетарскую революцию? — спросил Цхакая.

— Я в пролетарской революции не сомневаюсь. Она придет в свое время, — ответил Зиновьев. — Проснется германский пролетариат, его поддержат английские и французские рабочие, и все сообща помогут победе русского пролетариата.

— Ну, а если русские рабочие не станут ждать второго пришествия, а возьмут власть в свои руки?

— Это мечты, Владимир Ильич, — сказал Зиновьев. — Пока рабочие всего мира разделены колючей проволокой, убивают друг друга...

— Старая песенка оборонцев и социал-ренегатов: сначала, дескать, победа, а потом — революция... Нет, батенька мой, ни черта из этого не выйдет. Капиталисты кончат эту войну и тотчас начнут другую... Поймите вы, наконец, эту простую истину, Григорий Евсеевич!

— Товарищи, товарищи, — вмешался появившийся в коридоре Фриц Платтен. — Что за привычка у русских спорить! Эсеры с большевиками, большевики с меньшевиками, а теперь и между собой не можете договориться.

— Да, с дисциплиной у нас плоховато, — сказал с усмешкой Ленин.

За окнами, меж тем, грохотал состав, на платформах которого стояли зачехленные орудия.

Ленин склонил упрямо голову и сказал:

— Российский пролетариат не только сможет, но и должен покончить с этой войной.

— Фантастика, — снова вздохнул Зиновьев...

Одна за другой вспыхивают люстры белоколонного актового зала Смольного, где заседал 26 октября 1917 года Второй съезд Советов. Зал забит до отказа — сидят на подоконниках, на полу, стоят вдоль стен и в проходах.

На трибуне — Ленин.

— Вопрос о мире есть жгучий вопрос, больной вопрос современности...

Стихли аплодисменты, и Владимир Ильич продолжал:

— Я решительно буду высказываться против того, чтобы наши требования о мире были ультимативными. Ультимативность может оказаться губительной для всего нашего дела. Мы не можем требовать, чтобы какое-нибудь незначительное отступление от наших требований дало возможность империалистическим правительствам сказать, что

нельзя вступать с нами в переговоры о мире из-за нашей непримиримости...

Переждав шум, председательствующий объявил:

— Ставлю на голосование Декрет о мире. Кто за? Делегатов Второго съезда Советов прошу поднять мандаты.

Лес рук взметнулся над залом.

— Кто против? Кто воздержался? Нет. Декрет о мире принят единогласно!

И в этот миг все вскочили. Вверх полетели шапки, бескозырки, люди обнимались, целовались, многие плакали. Кто-то запел «Интернационал», и весь зал победно подхватил: «Вставай, проклятем заклеянный весь мир голодных и рабов...»

Ленин взглядом нашел Зиновьева. Тот вдохновенно пел вместе со всеми...

Песня стала постепенно стихать, смешиваться с шумом идущего поезда, и весь громадный корпус Смольного, освещенный прожекторами, и огромная толпа перед ним — все стало отодвигаться в прошлое, в дальнюю даль, словно станция, от которой отъехали. Правительственный поезд № 4001 шел по магистрали Петроград—Москва.

В вагоне все еще было темно, и Ленин по-прежнему стоял у окна.

— Если немцы возьмут Петроград — конец, — слышался тихий голос Дзержинского.

— Это «если» дорогого стоит, Феликс Эдмундович, — так же тихо ответил Владимир Ильич. И, помолчав, добавил: — Почему мы должны впадать в отчаяние от первых же поражений? Почему и в России поражения не могут закалить народный характер, подтянуть самодисциплину, убить бахвальство и фразерство, научить выдержке?

— Я не верю, что империалисты, особенно германские, будут соблюдать условия мирного договора, — сказал Дзержинский. — Остановить их можно лишь силой...

— Сила у нас есть, Феликс Эдмундович, дорогой, но растрчивать ее на войну — преступление. История человечества продельывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное, без малейшего преувеличения можно сказать, всемирно-освободительное значение. От войны к миру. Из бездны страдания к светлomu будущему. Неудивительно, что на такой крутизне кое у кого кружится голова, кое-кем овладевает отчаяние... России особенно остро и мучительно пришлось переживать наиболее крутые из крутых изломов истории. Помните, у Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная — матушка-Русь...» Не позорное отчаяние, а наша непреклонная ре-

шимость добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной... Первой задачей было убедить большинство народа в правильности нашей программы и тактики. Вторая задача — завоевание политической власти. Третья, нынешняя — организовать управление Россией. Мы, партия большевиков, Россию убедили, мы Россию отвоевали. Мы должны теперь Россией управлять. Только бы нам не мешали...

За окном пронеслась темная громада заводского корпуса...

Антонов-Овсеенко и Владимир Ильич в сопровождении представителя Путиловского фабрично-заводского комитета дворами добрались до цеха, где строилась бронеплощадка. Гулко гремели кувалды, сверкал и шипел карбид.

Ленин расстегнул пальто, стряхнул с кепки мокрый снег.

Люди, усталые, почерневшие от работы и недосыпания, не удивились его появлению. Коротко отвечали на его приветствия и опять за работу. Возле многих станков стояли винтовки.

Один из пожилых рабочих торопливо вытер ветошью руки и шагнул навстречу Владимиру Ильичу.

— Когда будет готова бронеплощадка, товарищ Смирнов? — спросил Ленин, пожимая рабочему руку.

— Да была бы уже готова...

— Если бы что? — перебил его Ленин. — Казаки не станут ждать под Царским Селом. У них бронепоезд, а наши корабли подойдут в лучшем случае только завтра.

И тотчас вокруг Ильича образовалось плотное кольцо. Загудели голоса:

— Керенский прет, Владимир Ильич. Говорят, Москву захватил...

— С казаками идет да с броневиками, а у нас неразбериха...

— Спокойно, товарищи, спокойно, — сказал Владимир Ильич. — На фронте за Керенским — никого, кроме отъявленных контрреволюционеров. А казаков нужно встречать не только свинцом, но и словом — разъяснять им наши декреты о мире и о земле.

— Слова — словами, а вагонные тележки никак у железнодорожников получить не можем, — сказал Смирнов. — Прислали, а они не выдерживают тяжести бронеплощадок.

— И что же вы?

— Передельваем. Времени уйма уйдет...

— А для чего вы брали власть в свои руки? — спросил Владимир Ильич.

— Чего?

— Власть для чего брали?! — повторил Ленин. — Зачем она вам, эта власть, если простого вопроса решить не можете? Трях-

ните как следует железнодорожников. Вон у вас сколько винтовок.

— Так-то оно так... — вмешался в разговор второй рабочий. — Да тут еще одна закавыка. Контора вся разбежалась. Кассира нет. Денег нет. Жратвы, извиняюсь, купить не на что... Я, конечно, понимаю, по сравнению с мировой революцией этот вопрос не главный...

— Нет, это главный вопрос, — перебил его Ленин. — Один из главных вопросов. Давайте разделим наши обязанности: вы займитесь плотную бронеплощадками, а я — тем, чтобы вам поскорее выдали деньги. Идет?

— Идет, — улыбнулся рабочий, и они пожалы друг другу руки.

...В автомобиле, когда уже возвращались с завода к Смольному, Ленин сказал:

— Мы не утописты, мы понимаем, что каждая кухарка управлять государством не может. Но этот старый, нелепый, гнусный предрассудок, будто управлять государством могут только так называемые высшие классы, должен быть выброшен раз и навсегда. Рабочим нужно учиться управлять фабриками и заводами. Управлять всем государством. И они этому научатся!..

У подъезда Смольного стояли пушки и пулеметы. Группы солдат переговаривались между собой, курили. Десятки людей входили и выходили из дверей. Одни предъявляли пропуск, другие считали это излишним, потому что, в общем-то, никто никого не останавливал и пропусков не спрашивал.

Ленин поднялся по ступенькам, предъявил часовому пропуск.

Коридоры тоже кишели народом. Некоторые здоровались с Лениным на ходу.

Навстречу почти бегом кинулся Бонч-Бруевич:

— Владимир Ильич, ну так же нельзя. Вы поехали в Штаб, звоним, а вас там нет, и где вы, неизвестно...

— Что-нибудь срочное, Владимир Дмитриевич?

— Да нет, просто мы волновались...

— А другого повода для волнений нет? Где у нас комиссариат финансов?

— У них пока своего помещения нет, — замаялся Бонч-Бруевич. — Нарком Скворцов-Степанов еще в Москве...

Они прошли в комнату секретаря Горбунова. У стены, на просторном диване, укрывшись потертым пальто, спал человек, а над ним был приколот лист бумаги с надписью от руки: «Комиссариат финансов».

Ленин рассмеялся:

— Ну вот, а вы говорите, помещения нет. Это, кажется, Вячеслав Рудольфович, если не ошибаюсь?

— Да, замнаркома Менжинский, — подтвердил Бонч-Бруевич. — Разбудить?

— Не нужно. Пусть выспится, а потом попросите зайти.

Но Менжинский уже проснулся, вскочил с дивана:

— Извините, Владимир Ильич...

— Ничего, ничего, проходите,— Ленин пропустил в дверь кабинета Менжинского. Откинул салфетку с чая.— Хотите? — потрогал стакан— Ах, черт, остыл совсем. Ну, выпьем холодного. Ешьте, пожалуйста. Я уверен, вы не только не выспались, но и проголодались. А дело вот какое, Вячеслав Рудольфович: деньги нужны. Рабочим не платят, и они, естественно, ждут, что это сделаем мы. И совершенно справедливо ждут.

В кабинет вошел Горбунов, доложил:

— Владимир Ильич, командующий Петроградским военным округом Муравьев. Требуется немедленного свидания с вами.

— Вот это кстати,— сказал Владимир Ильич.— Нам он тоже требуется.

Муравьев вошел. Высокий, в длинной шинели, перегнанной ремнями, без погон, но в полковничьей папаше. Щелкнул каблуками начищенных сапог, звякнув шпорами, отдал честь:

— Товарищ председатель Совета Народных Комиссаров, я категорически протестую против отмены моего приказа. Это подрывает не только мой авторитет, но и той власти, которую я представляю...

— А какую власть вы представляете, товарищ Муравьев? — спросил его Ленин, подойдя поближе.

— Советскую...

— Вот Советская власть и отменила ваш приказ. Вы приказали солдатам и матросам беспощадно расправляться на месте со всяким, кто будет посягать на жизнь, здоровье или имущество граждан.

— Так точно,— подтвердил Муравьев.

— У вас без разбора — какое имущество? Каких граждан? Этак ваши патрули начнут задерживать и стрелять на месте рабочих, которые реквизируют собственность буржуев.

— Я этого не имел в виду,— растерялся Муравьев.

— Это не имели в виду и то не имели в виду... Надо четко выражать свои мысли, тем более в приказе. Что касается вашего авторитета, Михаил Артемьевич, то вот как раз сейчас есть возможность его утвердить. Руководство Государственного банка саботирует выдачу денег. В частности, на жалование солдатам... Терпеть дальше такое положение невозможно. Поезжайте в Государственный банк, найдите директора Шипова, заставьте его отомкнуть перед вами сейфы, заберите деньги и привезите сюда, в Совнарком.

— Слушаюсь, товарищ Ленин,— снова щелкнул каблуками Муравьев.

— Выписывайте, Вячеслав Рудольфович, требование на двадцать пять миллионов

рублей.— Протянул Муравьеву руку: — Я надеюсь на вас.

— Будет исполнено, товарищ председатель Совета Народных Комиссаров.— Муравьев лихо щелкнул каблуками, отдал честь, повернулся и вместе с Менжинским вышел из кабинета.

В поезде № 4001 вспыхнул электрический свет.

Ленин огляделся. В вагоне, кроме него и Дзержинского, ехали Сталин, Луначарский, Цюрупа, Коллонтай... Всем как будто стало немного неловко от яркого света, и в вагоне повисло молчание...

В салон вошла Надежда Константиновна с двумя тарелками в руках, на одной были суши, на другой — сахарин. Следом Мария Ильинична внесла самовар.

Ленин кинулся ей навстречу, помочь. И в это время поезд резко затормозил, так что Ленина отбросило к стене, но он удержался на ногах и удержал самовар. Еще два раза тряхнуло, и поезд, скрежеща тормозными колодками, остановился. Свет мигнул и погас.

— Ты не ушибся, Володя? Не обварился? — встревоженно спросила Мария Ильинична.

— Удержался каким-то чудом,— ответил Владимир Ильич.

Сталин чиркнул спичкой.

— Ставь сюда самовар,— сказала жена Владимиру Ильичу.

На путях вдруг послышались крики, забухали выстрелы. Дзержинский тотчас направился к тамбуру. Ленин поднял с пола упавшее пальто, набросил на плечи и зашагал следом за ним.

— Володя! — попыталась остановить его Надежда Константиновна.

Снова грохнули выстрелы. Совсем рядом. Дзержинский рванул на себя тяжелые двери.

Ветер хлестнул по лицам. Снег застилал все мутной мглой, но все же разглядели идущих вдоль состава людей, среди которых были Бонч-Бруевич и матрос Цыганков. Трое солдат тащили молодого человека в гимнастерке и кожаной куртке. Шапку он, видимо, потерял. Мокрые волосы спутались. Лицо тоже мокрое. Ненавидящие глаза. Человек задыхался от ветра и злобы.

— Что случилось, Владимир Дмитриевич? — крикнул Ленин.

Группа остановилась.

— У стрелки переводной,— ответил Бонч-Бруевич,— пост наш вырезали, стрелочника убили.

— Взорвать собирались, да не успели,— добавил Цыганков.— Трое ушли, а этот отстреливался до последнего. Двоих наших ранил..

Человек в кожаной куртке рванулся, заорал:

— Всех вас перевешаем!.. Глотки пережем!.. И шкуры сдерем, большевистская сволочь!..

Его поволокли вдоль состава. Держинский прыгнул на снег и зашагал следом.

— Извините, пожалуйста,— сказал солдат за спиной Ленина.— Я буду дверь закрывать.

Ленин посторонился. Солдат-латыш хлопнул дверь. Сквозь замороженное окно почти ничего не было видно.

— Еще один привет нам от интеллигенции,— послышался голос Сталина.

— При чем тут интеллигенция? Корысть, грязная, злобная бешеная корысть денежного мешка, запуганность и холопство его прихлебателей — вот социальная основа всего этого воя... Они были бы готовы признать социализм, если бы человечество перескочило к нему сразу, одним прыжком, без борьбы, без зубовного скрежета...

— Я совершенно согласен с вами, Владимир Ильич. Особенно мне запомнились ваши слова о гильотине... О том, что она лишь запугивала и тем самым смазывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление...

Ленин ответил на сразу.

— Еще опаснее и вреднее не заметить разницы между гильотиной и всеобщей трудовой повинностью как средством подавления сопротивления и привлечения к активной работе, о чем я говорил несколько ниже в той же статье. Это очень существенная разница, товарищ Сталин.

Раздался гудок. Паровоз дернул вагоны, и поезд медленно тронулся...

Дверь ленинского кабинета в Смольном открылась, и вошел Сталин. Молча остановился возле стола, взглянул на Луначарского, который был здесь же.

— Слушаю вас, товарищ Сталин,— сказал Владимир Ильич.— Говорите, у нас от наркомов секретов нет.

— Это партийное дело...

Луначарский поднялся.

— Нет, нет, подождите. Мы с вами еще не договорили. Продолжайте, товарищ Сталин.

— Только что сообщили: Каменев, Рыков, Ногин и Зиновьев выходят из ЦК и из состава правительства, если мы не примем их условий и не включим в правительство меньшевиков и эсеров.

Ленин поднялся из-за стола, подошел к окну:

— Опять они хватают нас за руки,— сказал он с сердцем.— Опять пытаются навязать нам уклонение от власти.

— Это настоящая измена,— сказал резко

Сталин и добавил: — Делу пролетариата... Вот что они написали,— Сталин прочел с листка: — «Мы уходим из Центрального Комитета в момент победы, в момент господства нашей партии, уходим потому, что не можем спокойно смотреть, как политика руководящей группы Центрального Комитета ведет к потере рабочей партией плодов этой победы, к разгрому пролетариата...»

Ленин перебил:

— Вся суть этих громких фраз можно выразить коротко: мы не смеем победить. Вот и все,— Владимир Ильич повернулся к Луначарскому: — Вы понимаете, Анатолий Васильевич, как важно сломить сопротивление саботажников и доказать, что советская власть, несмотря на штрейкбрехерские выходы отдельных ее представителей, достаточно прочная и реальная сила.

Луначарский потупил глаза:

— Я, собственно, тоже хотел поговорить с вами об этом, Владимир Ильич... Боюсь, что и я не смогу, так сказать, с полной отдачей исполнять свои обязанности наркома просвещения...

— Так-так,— Ленин сжал кулаки, стиснул зубы, но сдержался.— Вот что, батенька, вы горяча не рубите... Подумайте. Приходите сегодня ко мне обедать. В четыре. Тогда и поговорим.

— Хорошо, Владимир Ильич. До свидания.— И Луначарский, стараясь не встречаться взглядом со Сталиным, вышел.

— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней... — усмехнулся Сталин.

— Да, запаниковал Анатолий Васильевич... Ну, ничего, разберемся... Но вообще, пора кончать с колебаниями. Либо они идут с нами, либо... — Ленин резко рубанул рукой, а Сталин докончил:

— ...убираются не только из ЦК, но и из партии.

— А вот это,— сказал Владимир Ильич,— не нам с вами решать. Это решает партия.— Ленин поморщился, словно от приступа боли, вздохнул: — Какое недомыслие, какая политическая близорукость! Впасть в добровольный паралич, когда необходимо действовать...

За окном вечерние сумерки, а в квартире Ленина в Смольном еще не зажигали огня. Вошли Луначарский и Надежда Константиновна.

— Володя, Машенька, извините за опоздание,— сказала Надежда Константиновна, разматывая шарф.

— Трамвай на Невском застопорились, извозчика не нашли, так что пришлось пешком протопать,— добавил смущенно Луначарский, снимая у дверей калоши.

— Ничего, ничего,— сказал Владимир Ильич.— Я тут время провел не без пользы. Почитал кое-что.

Мария Ильичична тем временем поставила на стол котелки.

За столом Луначарский молчал, и Владимир Ильич спросил:

— А что это вы такой задумчивый? Вы еще нарком просвещения или уже нет?

— Владимир Ильич! Как же я могу оставаться наркомом просвещения, главой, так сказать, российской культуры и покрывать варварский обстрел из пушек Кремля в Москве? Это же просто недопустимо...

— Так-так,— сказал Владимир Ильич. — Ну-с? Много разрушили?

— Говорят, колокольню Ивана Великого разгромили, Спасскую башню, Собор Василия Блаженного!

— Говорят... говорят... А вот здесь даже пишут. Вы верите всей этой глупости, этой пошлости, этой мерзости? А то, что юнкера расстреляли полк солдат у Кремлевской стены... Из пулеметов... Сотни русских людей... Вот где настоящее варварство... Об этом эти газеты не пишут.— Луначарский промолчал, и Владимир Ильич усмехнулся: — По-моему, вы, Анатолий Васильевич, просто хитрите. Вы этим обстрелом Кремля прикрываете свое острое желание последовать кое-за кем... Сбежать.

— Владимир Ильич, вы несправедливы,— пытался возразить Луначарский.

— А по-моему, дела обстоят именно так. Страшно? Да, страшно! А вдруг не справимся без поддержки остальных, так называемых, социалистических партий? Вдруг у нас ничего не выйдет? А тут благовидный предлог... Бросьте, Анатолий Васильевич! Сейчас вы твердо должны решать — с кем вы. С пролетариатом и беднейшим крестьянством или с господами соглашателями, авантюристами и прочей шушеры? И вы прекрасно знаете, что мы предлагали левым эсерам, предлагали всем остальным войти в правительство. Но одни хотят подождать, чем кончится наша борьба с Керенским. А вдруг вернется, что тогда? Нашлепает... Другие не желают ссориться со своими бывшими приятелями из соглашательских партий. Третьи не верят в способность русского пролетариата удерживать власть без помощи пролетариата Запада. Не по теории, видите ли, выходит. Да, не по теории. Но суть не в теориях, а в конкретной революции — какой она сложилась. Вот так. Я вас ни в чем не неволю и уговаривать больше не буду. Давайте-ка лучше обедать, а то все остынет и будет совсем невкусным...

По многолюдному коридору, позвякивая шпорами, шел Муравьев. Решительно распахнул двери приемной, а затем кабинета. Владимир Ильич поднялся из-за стола навстречу:

— Наконец-то...

Муравьев опустил глаза:

— Денег нет, товарищ Ленин.

— То есть как?..— У Ленина даже перехватило дыхание. Он несколько растерянно обернулся к Дзержинскому и Свердлову, с которыми работал до прихода Муравьева.

— Почему вернулись без денег? — спросил Дзержинский.

— Документ оформлен неправильно — нет исходящего номера...

— Исходящего номера? — переспросил Ленин.

— И печать для них незнакомая. В общем, бумагу не приняли, денег не дали,— закончил Муравьев.

— Так,— усмехнулся Ленин.— Значит, бюрократов из нас не получилось пока. Что ж, в какой-то мере это отрадно. А вот то, что командующий Петроградским военным округом не справился с мелкими саботажниками, с Акакием Акакиевичем из банка, это никуда не годится... Идите, Муравьев.

Муравьев, исподлобья взглянув на Ленина, круто повернулся и вышел.

— Предлагаю освободить Муравьева от обязанности командующего войсками Петроградского военного округа,— сказал Дзержинский.

Владимир Ильич кивнул:

— Товарищ Свердлов подготовит решение Исполнительного комитета.

— Я? — удивился Свердлов.

— Да-да, вы, Яков Михайлович. Каменев не хочет работать, да и не годится для этой должности. Я хочу попросить вас быть председателем ВЦИК. Что вы на это скажете?

Свердлов растерянно улыбнулся:

— Владимир Ильич, у меня и так слишком много партийных дел, а вы предлагаете мне залезть в правительство. Это не по мне. Вы уж назначайте кого-нибудь из наших парламентариев.

— Да ведь они все удрали.

— Э, ничего, придут. Это только так, маленькая диверсия, интеллигентская отрывка,— улыбнулся Свердлов.— Не по ним, ну и ссоры, а потом по привыкнут и больше не будут так...

— Если это только каприз,— нахмурился Ленин,— то это в десять раз хуже. Мы — правительство, власть огромной страны, и подобных вещей никто из нас проделывать не вправе... Соглашайтесь-ка, Яков Михайлович. Мы сегодня же соберем ЦК, и я внесу предложение утвердить в этой должности вас вместо Каменева. И ни пуха вам, ни пера.

— К черту,— ответил с улыбкой Свердлов.

В салон-вагоне, кроме Владимира Ильича, собрались Дзержинский, Коллонтай, Луначарский, Цюрупа, Сталин, Менжинский, Чичерин.

— Личность задержанного установили,— докладывал Цыганков.— Это эсеровский боевик Охотин. Хороший знакомый Савинкова. В задачу группы входил захват ветки из Царского на главную линию.

— Им удалось,— сказал Бонч-Бруевич,— пропустить впереди нас эшелон с дезертирами и анархистствующими моряками. Все хорошо вооружены. Есть даже пулеметы...

— Товарищ Дзержинский, вы докладывали, что дезертиры на вокзалах разоружены.

— Разоружены-то они разоружены, да не все,— сказал Цыганков,— многие поутекали, дырок-то там... Все не заткнешь...

— Я думаю, этот эшелон сформирован заранее,— сказал Дзержинский.— Задержанный знает только то, что поручено его группе, об остальном лишь в общих чертах: хотя спровоцировать дезертиров и анархистов на захват какой-либо станции...

— Если они попытаются сделать это, то непременно где-нибудь до Твери,— сказал Сталин.

— Быть может, лучше вернуться, Владимир Ильич? — спросил Луначарский.— Береженого бог бережет...

— Нет, возвращаться не будем,— решительно сказал Ленин.— Надо действовать. Послать телеграммы по линии, чтобы усилили охранение... Что же касается эшелона с дезертирами, то, полагаю, лучше догнать и разоружить прежде, чем их успеют спровоцировать...

— Разоружить тысячу обозленных людей? Нет, это не по силам полусотне латышских стрелков,— заметил Дзержинский.

— А разве там не те же солдаты и матросы, которые голосовали в октябре за мир, за землю, за советскую власть? — спросил Владимир Ильич.

— Дезертиры — это такие же деклассированные элементы, как мешочники и спекулянты, для которых нет ничего святого...

— Позвольте, как же можно так огульно обвинять людей, испытавших неслыханные мучения, истерзанных войной, в которую их вогнали насильно, против их воли, неподготовленных, обреченных на смерть?

— Так вы их хотите разагитировать? — спросила Коллонтай с печальной усмешкой.— Нет, Владимир Ильич, никакой агитацией вы их революционной воли не возродите и не укрепите, она создается только в борьбе... Русская армия погибла, и мы должны использовать этот момент, чтобы создать международную революционную армию... И если погибнет наша Советская республика, наше знамя поднимут другие.

— Европейская революция, видимо, опоздала родиться, и нас ждут самые тяжелые испытания... Но если ты не умеешь приспособиться, не расположен двигаться ползком, на брюхе, в грязи, тогда ты не револю-

ционер, а болтун. Мы увидим мировую революцию. Но из этого вовсе не следует, что в ожидании ее мы можем делать какие угодно глупости... Правящая партия не застрахована от ошибок, но она не должна забывать, какую цену платит страна за эти ошибки. Чтобы вести колеблющихся, надо прежде всего перестать колебаться самим. Нам нужен мир. Прежде всего — мир! Нужна колоссальная организованность. В нашей гигантской борьбе с империализмом полумерам не остается места. Вопрос прост: победить или быть побежденным?..

Была уже глубокая ночь, когда состоялось совещание Совнаркома и Военно-революционного комитета.

Хотя особых запретов не было, курить в присутствии Владимира Ильича не решались. Заядливые курильщики, вроде Сталина и Дзержинского, отходили к форточке.

Докладывал Троцкий, нарком иностранных дел:

— Ответа от воюющих государств на советские предложения мира все еще не последовало. Но есть сведения, косвенные, правда, что немцы, возможно, готовы пойти с нами на переговоры. Сведения эти еще надо проверить.

— Теперь прошу товарища Крыленко,— сказал Владимир Ильич.— Что от Духонина?

— От Духонина, как говорится, ни ответа, ни привета...

— Вокруг Ставки у Могилева стягиваются все контрреволюционные силы,— вступил в разговор Сталин.— Вот уж где, действительно, идет братание — эсеров с черносотенцами, меньшевиков с кадетами...

— Есть предложение,— сказал Дзержинский,— поручить Владимиру Ильичу, Сталину и Крыленко поговорить по прямому проводу с главкомверхом Духониным. Последний раз поговорить, решительно и твердо.

Ленин посмотрел на часы:

— Что ж, не станем откладывать. Сейчас два часа ночи. Я думаю, Духонин на месте.

Телеграфный аппарат стоял в салон-вагоне главнокомандующего. Сам Духонин лежал на диване, укрытый генеральской шинелью. Генерал Дитерихс протянул ему ленту:

— Крыленко просит исполняющего обязанности главкомверха...

— Отвечайте,— сказал Духонин.— Исполняющий должность главкомверха генерал Духонин ожидал вас до часу ночи. Теперь спит.— И он повернулся лицом к стене.

В Петрограде, в аппаратной Главного штаба Крыленко диктовал телеграфисту:

— Передавайте: «Получена ли вами телеграмма Совета Народных Комиссаров с требованием начать мирные переговоры с немцами и что сделано во исполнение предписания Совнаркома?»

Духонин все так же лежал на диване лицом к стене. После паузы ответил, не оборачиваясь:

— Была получена телеграмма. Без номера и даты.

В главном штабе Владимир Ильич, прочитав ответ на ленте, усмехнулся:

— Опять без номера и даты...— Он подошел к аппарату. Вид у него был решительный. Продиктовал: — Мы категорически заявляем, что ответственность за промедление в столь важном государственном деле возлагаем всецело на генерала Духонина и безусловно требуем: во-первых, немедленной посылки парламентаров, а во-вторых, личной явки генерала Духонина к проводу...

Генерал Дитерихс прочел с ленты:

— «Если промедление приведет к голоду, развалу, поражению или анархическим бунтам, то вся вина ляжет на вас, о чем будет сообщено солдатам. Ленин».

Духонин резко откинул шинель, сел. Молча потянулся к ленте. Перечитал...

И в Петрограде, в Штабе, снова застрекотал аппарат. Сталин, подхватив ленту, сообщил с усмешкой:

— Ставка отвечает: «Сейчас разбужу». Мир может рушиться, а его превосходительство почивают. О! «У аппарата временно исполняющий обязанности главноверха генерал Духонин». — И сам же ответил: — Народные комиссары у аппарата. Ждем вашего ответа.

В Могилеве. Духонин поправил накинутую на плечи шинель, достал папиросу — Дитерихс поднес огонь — и стал диктовать:

— Прежде мне совершенно необходимо иметь следующие фактические сведения: имеет ли Совет Народных Комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим государствам с Декретом о мире? Предполагается ли входить в переговоры о сепаратном перемирии и с кем?

В Петрограде Ленин, отбросив ленту, сказал решительно:

— Передавайте: «Текст посланной вам телеграммы совершенно точен и ясен. В нем говорится о немедленном начале переговоров о перемирии со всеми воюющими державами. И мы решительно отвергаем право замедлить это государственной важности дело какими бы то ни было предварительными вопросами. Настаиваем на немедлен-

ной посылке парламентаров и извещении нас каждый час о ходе переговоров».

Генерал Духонин загасил папиросу.

— Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для вас невозможны. Тем менее возможны они для меня от вашего имени.

Ленин достал из кармана блокнот и, что-то торопливо набрасывая, спросил:

— Отказываетесь ли вы категорически дать нам точный ответ и исполнить нами данное предписание?

Духонин поправил шинель, вскинул голову:

— Точный ответ я дал и еще раз повторяю, что необходимый для России мир может быть дан только центральным правительством. Духонин.

Владимир Ильич показал блокнот Сталину и Крыленко. Оба согласно кивнули.

— Передавайте, — сказал Владимир Ильич. — Именем Правительства Российской Республики, по поручению Совета Народных Комиссаров, мы увольняем вас с занимаемой должности...

В Ставке Дитерихс продолжал читать:

— «...Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не придет в ставку новый главнокомандующий. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Подписи: Ленин, Сталин, Крыленко». — Дитерихс взглянул на Духонина и повторил, подчеркивая каждое слово: — Прапорщик? Крыленко?

Духонин с холодным презрением взглянул на него, лег на диван и повернулся лицом к стене.

И снова ленинский автомобиль мчался по ночным пустынным улицам Петрограда. И снова патрули, костры на перекрестках. Потом мост через Мойку перед крепостью из розового кирпича на острове Новая Голландия. Короткий разговор с охраной. Дежурный провел по брусчатке двора к радиостанции.

Матрос-радиист надел наушники, застучал телеграфным ключом, и над островом Новая Голландия, над Петроградом, над болотами и лесами, в окопы, в блиндажи, на корабельные радиостанции полетело обращение Ленина:

— Солдаты! Дело мира в ваших руках! Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира. Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем. Совет Народных Комиссаров дает вам право

на это. О каждом шаге переговоров извещайте нас всеми способами. Бдительность. Выдержка. Энергия. И дело мира победит! Именем правительства Российской республики — председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов-Ленин.

Возвращались в Смольный, когда город начал понемногу оживать. Зазвенели первые трамваи, еще полупустые. Потянулись рабочие к заводам. Выросли очереди у хлебных магазинов. Женские лица в очередях. И глаза. Будто в душу смотрели с укором...

Владимир Ильич прошел к себе в комнату, снял пальто. Мимоходом тронул остывший кафель печки.

У стола, в зачехленном кресле спала Надежда Константиновна с открытой книгой на коленях. Платок, в который она куталась, наполовину сполз на пол. Горела лампа под зеленым абажуром.

Ленин подошел, поправил платок, и Надежда Константиновна тотчас проснулась:

— Володя! Ну, наконец-то. Прости, я ждала, ждала и уснула. Сейчас разберу постель.

— Уже утро. Я просто посижу тут полчаса в темноте. Хорошо?

— Да-да, конечно.

Ленин сел в кресло, стоящее у окна, за которым едва забрезжил рассвет, закрыл глаза. Через какое-то время спросил, не открывая глаз:

— Что Луначарский? О выходе из правительства больше не говорит?

— Нет. Ну, и потом, пришли более точные сведения из Москвы, Василий Блаженный стоит, башни Кремля целы...

— И прекрасно. Прекрасно... А Зиновьев прислал покаянное письмо в ЦК. Он так хлопотал за меньшевиков и эсеров, за их участие в правительстве, а они отказались, щелкнули его по носу. Он и рад, что конфликт сам собой исчерпался. Пишет, что все же остается в партии и предпочитает делать ошибки вместе с ней, с миллионами рабочих и солдат, и вместе с ними умереть, чем отойти в сторонку в этот решающий момент. Ни черта ни во что не верит... Умирать собрался...

— Володя,— сказала Надежда Константиновна,— я сегодня видела Мартова.

Ленин ничего не ответил на это.

— Он похудел очень, наверное, болен,— продолжала Надежда Константиновна и снова не дождалась ответа.— Это была не случайная встреча. Он сам приходил ко мне. Он просил передать тебе, ради истинной дружбы, как он сказал, что только слепой не видит нашу обреченность... Что против нас все партии России, кроме жалкой кучки левых эсеров, опираться на которых было бы просто глупостью... Что даже в нашей пар-

тии большевиков назревает разрыв и раскол, и нам лучше уйти, пока не поздно. Чтобы сохранить себя для дела революции...

Ленин чуть заметно качнул головой.

— Насчет эсеров он прав. И у меня к тебе просьба, Надюша. Никогда больше не принимай, пожалуйста, таких поручений. Ни от кого.

Зал заседаний Центрального Исполнительного комитета полон. Кроме делегатов и членов ВЦИК, здесь много, так сказать, посторонней публики: прибывшие из окопов с наказом солдаты, ходоки из далеких губерний, с национальных окраин... В ложах отчужденно, будто боясь заразиться, сидят иностранные дипломаты.

На председательском месте — Свердлов.

— Полный текст наших переговоров с Духониным отчетан,— говорил с трибуны Ленин,— и я могу ограничиться небольшими заявлениями. Мы сместили Духонина. Но мы не формалисты и бюрократы. Мы знаем, что одного смещения мало. Он пойдет против нас. Он уже идет против нас. И мы обращаемся прямо к солдатской массе, непосредственно к ней и даем ей право вступать в переговоры о перемирии...

Под аплодисменты Ленин сошел с трибуны, сел рядом со Свердловым.

— Ну как? — спросил тихо Владимир Ильич.— Справляемся?

— Как в море во время шторма.

— А вы когда-нибудь были в море во время шторма?

— Нет,— ответил Свердлов,— но полагаю, что такая же адская неразбериха.

На трибуну поднялся делегат от Юго-Западного фронта Чудновский, молодой, энергичный, голова белела свежей повязкой.

— Он что, ранен? — спросил Владимир Ильич.

— Да, совсем недавно, под Царским Селом, в боях против Керенского,— ответил Свердлов и добавил: — Смелый парень. Во время штурма Зимнего шел впереди.

Чудновский меж тем говорил с трибуны:

— Я считаю, что воззвание Совета Народных Комиссаров ко всем полкам и экипажам было ошибочно. Нельзя передавать дело заключения мира в руки солдат, ибо ничего, кроме анархии, мы не получим. Мы всегда говорили, что мы против похабного мира. И то, что сделано сейчас товарищем Лениным, уничтожает всякую возможность для наших солдат идти в бой, если германское правительство не согласится на мирные переговоры и нам придется нести германскому пролетариату освобождение на концах своих штыков!

Часть зала захлопала, другая возмущенно шумела.

— Вам не нравится, что я подверг действия комиссаров резкой критике? — крикнул Чудновский в зал. — Ну что ж, я уйду с трибуны, но это не значит, что я неправ. — Чудновский сошел с трибуны.

Зал чуть успокоился, когда Свердлов взял председательский колокольчик. Поднялся Ленин:

— Товарищ Чудновский говорил, что он позволил себе подвергнуть действия комиссаров резкой критике. Нет речи о том, можно или нельзя позволить себе резкой критике. Эта критика составляет долг революционера, и народные комиссары не считают себя непогрешимыми. Говорить же, что мы ослабили фронт, чудовищно. Пока Духонин не был обличен и смещен, у армии не было уверенности, что страна проводит международную политику мира. Сейчас эта уверенность есть.

Каменев, сидевший в президиуме, обратился к Свердлову:

— Разрешите мне, Яков Михайлович. — И, не дождавшись ответа, направился к трибуне.

— Слово в порядке прений имеет Лев Борисович Каменев, — объявил Свердлов, сел и добавил с усмешкой: — А кого он сейчас представляет, я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать.

— Оппортунистов, по всей вероятности, как всегда, — ответил Ленин.

А Каменев говорил с трибуны:

— Я совершенно согласен с молодым товарищем, который критиковал воззвание к полкам и экипажам, и предлагаю: создать комиссию для выработки нового воззвания от имени Центрального Исполнительного комитета, в котором были бы исправлены ошибки, допущенные в обращении Совнаркома.

— Ну вот, — вздохнул Ленин...

...После совещания, когда все расходились, Ленин, заметив Чудновского, окликнул его:

— Григорий Исакович, можно вас на минуточку?

— Слушаю вас, товарищ Ленин.

— Как ваше самочувствие?

— Нормально, — помедлив, ответил Чудновский. — Пуля лишь слегка оцарапала голову, и врачи считают меня вполне вменяемым.

— Не задирайтесь, — улыбнулся Владимир Ильич, — я серьезно спрашиваю.

— А серьезно, — сказал Чудновский, — я думаю, скоро в строй, обратно в Южную Армию.

— Вот и замечательно. Я прошу вас непременно перед отъездом зайти ко мне. На Украине буржуазные националисты заваривают новую кашу, и у меня будет к вам ряд серьезных поручений.

— Непременно зайду, Владимир Ильич, — ответил Чудновский и улыбнулся широко, по-мальчишески.

Войдя в приемную Совнаркома, Ленин в удивлении остановился — здесь на объемистых мешках из дерюги сидел Горбунов, с пистолетом в руке, на лице радостное возбуждение.

— Двадцать пять миллионов, Владимир Ильич! — воскликнул Горбунов.

Ленин обнял его:

— Ах, какой молодец! Ах, какой же вы молодец, Николай Петрович... Слушайте, сейфа-то у нас тут, конечно, нет? Хотя шкафчик какой-нибудь, что ли...

— Найдем, Владимир Ильич.

— Расскажите, как это было, — попросила Коллонтай.

— Ну, у банка охрана — четыре красногвардейца. Мы с Пятаковым предъявили ордер, взяли двух с собой и вошли. Банковские тревогу устроили. Звенит, аж мороз по коже. А мы идем. Чиновники вопят: «Караул! Грабят!» Ну, а мы говорим: «Спокойно, господа, спокойно! Здание банка окружено красногвардейцами!» А все окружение — два человека... Но действовало. Потом оказалось: деньги не в чем нести. Дайте, говорим, мешки инкассаторские. Они говорят — нету! Несите хоть в подоле, хоть в чем хотите... В лавке напротив одолжил вот эти мешки...

Тем временем красногвардейцы притащили большой платяной шкаф. Туда запихали мешки с деньгами, окружили шкаф стульями и поставили часового.

— Итак, товарищи, деньги у нашего государства есть, — сказал Владимир Ильич. — Небольшие, но все-таки есть. Поэтому необходимо составить список первоочередных нужд.

— Прежде всего, конечно, армия, — сказал Подвойский.

— Выплата зарплаты рабочим, — сказал комиссар труда Шляпников.

— Пособия вдовам, инвалидам, — загибала пальцы нарком призрения Коллонтай.

— Непременно. Кроме того, — продолжал Владимир Ильич, — необходимо утвердить кредит наркому внутренних дел на выдачу суточных на проезд тем членам Учредительного собрания, у которых нет собственных средств. Это очень важно, товарищи. Иначе рабочие и крестьяне, то есть наша опора в этом собрании, просто не смогут приехать. Кто за это предложение? Единогласно.

Надежда Константиновна работала за письменным столом под лампой с зеленым абажуром. Увидев вошедшего Владимира Ильича, отложила перо.

— Третий час ночи, Володя, — сказала она с упреком.

— Вот именно, — ответил Владимир Ильич. — Не понимаю, почему ты не спишь до сих пор.

— Ты лучше скажи, как твоя голова? Не болит?

Владимир Ильич подошел к окну, посмотрел на улицу.

— Слушай, а что, если нам погулять немного по воздуху? Просто так, без дела.

— Это будет чудесно, Володя,— удивленно сказала Крупская.

Они спустились вниз, вышли. Часовой, проводив их взглядом, тотчас снял телефонную трубку...

Ленин и Крупская шли по темной пустынной улице, не замечая охраны. Окна домов были слепы, лишь чуть впереди на первом этаже горел свет. А когда подошли поближе, стала слышна музыка. Кто-то играл на фортепьяно, и большие, чуть искаженные тени танцующих мелькали по стенам. За одной из девичьих теней тянулась фата.

— Боже мой, неужели свадьба?! — сказала Надежда Константиновна.— В такое время!

— Самое подходящее время начинать новую жизнь,— сказал Владимир Ильич.— А помнишь, как мы с тобой танцевали на карнавале? Где это было? В Цюрихе или в Женеве?

— В Женеве.— Надежда Константиновна улыбнулась.— И все сбежались посмотреть, особенно меньшевики, как эти твердокаменные большевики танцуют... Ну и картина была...

— А что? Я бы и сейчас потанцевал, да боюсь, не только меньшевики, но и большевики удивятся. А может, все же попробуем? — Владимир Ильич обнял ее за талию и сделал несколько туров вальса под далекую музыку...

Вышли на набережную.

— Я никогда не говорила тебе,— тихо произнесла Крупская,— что мечтала о времени, когда нам не надо будет скрываться, жить по чужим углам, в мебелишках? Что у нас, наконец, будет своя комната, где наши вещи будут стоять на привычных местах...

— Ты мечтала об этом? — удивился Владимир Ильич.

— Да, потихоньку... Иногда... Прости, тебе, наверное, это кажется мешанским бредом...

— Нет, Надя, нет... — ответил Владимир Ильич.— Я ведь тоже мечтаю об очень простом... Ну, хотя бы о том, чтобы близкие люди понимали меня... К сожалению, большая часть моих сил уходит на то, чтобы именно близких людей, товарищей, убедить в своей правоте.

— Что же делать, Володя, мы взялись за такую работу... Переделать, переплавить человеческую психику, человеческие души... Сколько уйдет на это лет!

— Мы, наверное, не увидим ее конца,— Ленин тряхнул головой, улыбнулся.— А по-

мнишь, в воскресной школе был у тебя ученик, паренек из рабочих? Он как-то отвечал географию и обстоятельно доказал, что земля шар. А потом улыбнулся так, с хитрецей, и сказал: «Только верить этому нельзя, потому что все это баре выдумали...» — Ленин заразительно рассмеялся, но, вдруг оборвав смех, серьезно сказал: — Люди нам поверили, Надя. Поверили, что мы доведем эту адскую работу до конца, и обмануть их никак нельзя. Во имя этого стоит работать, стоит отдать все силы. Все, до последней капельки.

На следующий день, где-то после полудня, Ленин направился на заседание Чрезвычайного Всероссийского съезда крестьянских депутатов, который проходил в актовом зале Училища правоведения на набережной Фонтанки. Вместе с Калининым, Дзержинским, Сталиным едва пробилась сквозь толпу крестьян-ходоков, осаждавших подъезд.

— Владимир Ильич,— напомнил Калинин,— на съезде большинство левых эсеров, у нас всего тридцать пять голосов. Мы с большим трудом добились, чтобы съезд проводился в Петрограде, а не в Могилеве, у Духонина. А левые эсеры колеблются, как всегда. Они против того, чтобы кто-нибудь выступал от правительства...

— Хорошо,— сказал Владимир Ильич,— я буду выступать от ЦК большевиков.

— А может, нам вообще бойкотировать этот съезд? — заметил Сталин.

— Вы с ума сошли! Бойкотировать сто миллионов крестьян... Нам необходимо убедить делегатов съезда в нашей правоте и перетянуть их на свою сторону.

Ленин хотел снять пальто, но его предупредили:

— В зале холодно, Владимир Ильич.

Но Ленин все же снял шапку и пальто и, пока поднимался по лестнице, нес в руке. Потом кто-то взял их у него.

Появление Ленина в зале встретили шумно — одни аплодировали, другие топали ногами, свистели.

Владимир Ильич спокойно направился к трибуне.

— Узурпаторы! — кричали из зала.— Не можем дышать с вами одним воздухом!.. Человек пятьдесят с грохотом поднялись и вышли.

Владимир Ильич усмехнулся:

— Что ж, скатертью дорога. Ушли те, кто мешал нашему движению вперед, кто мешал работе нашего съезда... Партия эсеров потерпела крах, проповедуя конфискацию помещичьих земель на словах и отказываясь от нее на деле. Левые эсеры до сих пор подают руку Авксентьевым, протягивая рабочим лишь мизинец. Если соглашение будет продолжаться, то революция погибнет. Только если крестьянство поддержит рабо-

чих, можно решить задачи социалистической революции.

— Стремление комиссаров к осуществлению их социализма — это воспаленная мечта фантазеров и утопистов! — выкрикнул Зак.

— Теперь о самом, может быть, главном вопросе современности, — продолжал Владимир Ильич, переждав шум. — Наряду с вопросом о земле, это вопрос о войне и мире. Мы сместили генерала Духонина, как вы, наверное, уже знаете, отказавшегося выполнить наше требование вступить в переговоры о перемирии, и назначили на должность главнокомандующего прапорщика Крыленко...

В зале раздался смех. Владимир Ильич нахмурился:

— Вам смешно... Жаль, что солдаты в окопах не слышат. Они бы сказали тем, кто смеется, несколько крепких слов. С теми, кто не признает борьбы с контрреволюционным генералитетом, у нас просто не может быть ничего общего. Мы лучше уйдем в подполье, чем разделять власть с такими людьми!..

Свист негодования был перекрыт громом аплодисментов — это депутаты с фронтов поднялись и вышли к Ленину, сошедшему с трибуны.

В маленькой комнате, где было душно и накурено, большевики вели переговоры с левыми эсерами о выработке единой позиции.

— Мы еще в октябре, — говорил Владимир Ильич, — предлагали вам порвать с правыми эсерами и вступить в правительство. Вы колебались, выжидали... Чего выжидаете вы теперь? Чтобы и крестьяне отвернулись от вас? Мы предлагаем вам возглавить народный комиссариат земледелия. И это ваша обязанность! С первым пунктом резолюции все согласны? Крестьянский съезд всецело и всемерно поддерживает декрет о земле от 26 октября 1917 года. Ясна формулировка?

— Ясна, — согласился Прошьян.

Спиридонова промолчала, демонстративно загасив папиросу в тарелочке.

— Дальше, — продолжал Владимир Ильич. — Крестьянский съезд выражает свою твердую непреклонную решимость отстоять грядущее осуществление этого закона. Возражения есть? И далее — очень важный пункт. Крестьянский съезд всецело поддерживает революцию 25 октября и поддерживает ее именно как революцию социалистическую.

— Минутку, товарищ Ленин, — возразила Спиридонова. — Вы опять давите на нас. Мы решаем главный вопрос — о земле, о том, кому она будет принадлежать, а вы все протаскиваете в каждой строчке социализм.

— Но поймите же, наконец, Мария Александровна, без социалистических преобразований ничего у нас не получится. Это же

не наше и не мое требование. Это требование времени, требование масс. Союз большевиков с левыми эсерами, которым сейчас доверяют многие крестьяне, может быть честной коалицией, честным союзом. Коренного расхождения интересов наемных рабочих с интересами трудящихся и эксплуатируемых крестьян нет. Социализм вполне может удовлетворить интересы и тех, и других. Каутский, когда он был еще марксистом, неоднократно признавал, что переходные меры к социализму не могут быть одинаковы в странах крупного и в странах мелкого земледелия.

Один из присутствующих сказал:

— Товарищ Ленин, а как поступят большевики, если в Учредительном собрании крестьяне захотят провести закон об уравнительном землепользовании, а буржуазия выступит против? Решение же будет зависеть от большевиков...

— Очень интересный вопрос, товарищ Феофилактов, — сказал Владимир Ильич. — Воздержаться в этом случае — это значило бы предать своих союзников по борьбе из-за частного разногласия. В интересах победы социализма пролетариат обязан уступить эксплуатируемым крестьянам в выборе переходных мер.

Правительственный поезд № 4001 шел по бескрайней заснеженной равнине, стучали колеса, нарушая ее глухую, будто замороженную, тишину. Редкие окна светились в вагонах — в поезде укладывались спать. В тесноте купе Надежда Константиновна и Мария Ильинична стелили постели. Мария Ильинична присела поверх одеяла, взглянула на часы.

— Ложись, Медвежонок, — сказала Надежда Константиновна.

— А ты?

— А я подожду.

— Он все равно до утра не ляжет. Тут ничего не поделаешь.

— Да... Он не говорит, но я вижу, — сказала Надежда Константиновна, — у него бывают такие приступы боли... другой бы криком кричал. Я не знаю, что будет, если он не прекратит по ночам работать...

— Не знаешь?

— Знаю, Маняша... Знаю, — и Надежда Константиновна обхватила руками голову.

А из салона меж тем все уже разошлись по своим купе, кроме Владимира Ильича, Бонч-Бруевича и Дзержинского.

Одна сторона стола была завалена газетами, которые первым просматривал Бонч-Бруевич и, отчеркивая важное, передавал Владимиру Ильичу:

— Екатеринославская «Звезда» от пятого марта...

— «...Докажем всем палачам революции, что лучше погибнуть в бою, чем принять этот мир»,— прочел Владимир Ильич.— Ну да, они такого доказательства только и ждут... Чтоб мы сами положили головы на плаху...

— «Донецкий пролетарий» от первого марта.

— «...В час ночи собрание закрывается, настроение поднялось. Мы знаем, что делать, мы смело смотрим вперед, мы не сдаемся, мы идем в бой с верой в наше правое дело... Смерть не страшна! Будь что будет!» А? Какая мощь! Будь что будет! Это же чистый бальзам для вашего шляхетского сердца, Феликс Эдмундович.

— Я не шляхтич,— глухо отозвался Дзержинский,— и вы это прекрасно знаете.

— А как же ваша солидарность с товарищами левыми... гм... коммунистами? Это же их слова: «Мир — это позор, война — это честь». Чем не шляхтичи, готовые умереть в красивой позе со шпагой?

— Вы меня долго будете терроризировать этой солидарностью? Я же воздержался при голосовании...

— Вот именно: воздержались! Вместо того, чтобы решать, мы говорили, вместо того, чтобы действовать, мы писали резолюции. Партия позволила себе роскошь отстать от невероятно быстрого темпа истории на крутом повороте. Ошибка партии очевидна, но страшна не ошибка, страшно упорствование в ошибке, ложный стыд ее признания.

Дзержинский промолчал.

Зима пришла в Петроград. Нева еще не встала, и ее свинцовые воды катились до залива почти вровень с набережной. Улицы города, крыши, дворы были уже припорошены снегом. И этот белый, чистый еще снег заполнила, затоптала густая темносерая масса людей. Они шли сплошным потоком по направлению к Таврическому. Шубы, меховые воротники, драповые пальто перемешались юнкерскими и офицерскими шинелями, тулупами лавочников. То там, то здесь торчали штык или дуло винтовки. Дамы тоже были здесь, в этой многотысячной толпе, и героически кричали: «Долой большевиков! Да здравствует Учредительное собрание!»

Некоторые демонстранты ехали на извозчиках. Так что целая вереница извозчицых саночек двигалась вместе с толпой к Таврическому дворцу.

Неподалеку от Таврического толпе преградила дорогу жиденькая цепочка рабочих-красногвардейцев. Замерзшие люди в легких пальтишках с красными повязками на рукавах выглядели перед этой толпой довольно беспомощно. Командир, молодой парнишка

в куртке, вышел вперед, задыхаясь и кашляя, крикнул:

— Граждане! Остановитесь!

В ответ — угрюмое и напряженное молчание.

— Граждане! — снова крикнул паренек.— Именем революции. Я прошу вас...

— Революции!..— взревело в ответ сразу несколько глоток, и пошла площадная брань:

— Ах ты, щенок! Сопля паршивая!

— Недоумок большевистский! Прочь с дороги!

— Хамье несчастное...

— Граждане! — пытался увещевать толпу паренек.— Я требую разойтись. Последний раз...

— Может, вы еще в народ стрелять будете?! — выкрикнула какая-то дамочка.

И тут же:

— Не посеют, мерзавцы... Бей их... Бей!..

И навалились. Сначала опрокинули паренька, потом смяли заслон красногвардейцев. Били тростями, палками, зонтиками, кулаками. Рвали одежду, царапали лица... Какой-то офицер из револьвера двумя короткими выстрелами пристрелил парнишку.

Толпа беспрепятственно хлынула к Таврическому. Немногочисленная охрана едва успела задвинуть засовы, как в двери забарабанили, загрохотали прикладами. Зазвонели разбитые стекла.

Начальник охраны кричал в телефон:

— Смольный! Смольный! Алло! Смольный!

Одну из дверей уже выломали. Толпа неслась по коридору, сметая все на своем пути...

...И тут сыграли тревогу во флотском экипаже. Матросы с винтовками ринулись к Таврическому. Бежали в расстегнутых бушлатах, ленточки бескозырок хлопали на ветру...

...Во дворе Смольного в кузовах грузовиков влезали солдаты пулеметного полка. Грузовики с солдатами, ошетинившись штыками, мчались по улицам...

...Из ворот Путиловского завода вышел отряд рабочих-красногвардейцев. Остановили трамвай, выставили винтовки в окна, и трамвай с вооруженными рабочими понесся к Таврическому...

А там, у дворца, толпа, увидав набегавших матросов, ахнула. Раздался выстрел. Один из матросов пошатнулся, упал. Его подхватил Вахромеев. Крикнул:

— Не стрелять! Не замааем пролетарские знамена их черной кровью, братва! — И первым врезался в толпу: — Разойдись!

Сначала под напором моряков толпа немного растерялась и отступила, но потом вышли вперед лавочники. Мордастые, откормленные, умеющие драться ребята стали теснить моряков. Но подоспели солдаты-пулеметчики на грузовиках, рабочие, и Таврический был очищен от черносотенцев.

Вечером 1 декабря на заседании ВЦИК выступал Владимир Ильич. С правых скамеек шумели, прерывали речь то злобным гулом, то выкриками.

— Если брать Учредительное собрание,— говорил Владимир Ильич,— вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения более совершенного для выявления воли народа. Но нельзя витать в облаках. Учредительному собранию придется действовать в обстановке гражданской войны. И начали гражданскую войну буржуазно-кадетские элементы.

Гул справа, выкрики:

— Ложь!..

— Нет, это не ложь. Нам предлагают созвать Учредительное собрание так, как оно было задумано при буржуазном правительстве, то есть против народа. Нет, извините! Мы совершили переворот для того, чтобы Учредительное собрание не было использовано против народа и чтобы гарантии этому были в руках правительства...

И снова выкрики:

— В руках правительства — штыки!

— Когда революционный класс ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают сопротивление, то он это сопротивление должен подавлять. Мы не дадим себя обманывать формальными лозунгами! Они желают сидеть в Учредительном собрании и разжигать гражданскую войну. Вот та правда, которую надо сказать народу! — закончил Владимир Ильич.

За окнами Смольного в сумерках темнела громада Петрограда, откуда изредка доносились глухие выстрелы.

Ленин стоял у окна в своем кабинете.

— Владимир Ильич,— услышал он голос Горбунова.— Из Могилева, из Ставки, вернулся Антонов-Овсеенко.

— Я должен его видеть немедленно...

...Антонов-Овсеенко рассказывал:

— На переговорах немцы сначала тянули волынку. Гофман несколько раз ездил в Берлин совещаться...

Вошла буфетчица, поставила на столик поднос. Ленин кивнул: спасибо.

— Видимо, выжидали, не присоединятся ли к переговорам кто-нибудь из Антанты,— сказал Свердлов.

— Да, я тоже так думаю,— кивнул Антонов.

— А как вы считаете, Владимир Алексеевич,— спросил Ленин,— есть у нас какая-либо альтернатива в переговорах? Можем ли мы удерживать фронт, наступать?

— Мое мнение, Владимир Ильич, как и у главнокомандующего Крыленко: альтернативы в переговорах о мире с немцами у нас

с вами нет. Армия находится на грани развала. Создание новой революционной армии требует времени. Солдаты так жаждут мира, что всякое противодействие мирным переговорам примет в штыки, как подняли на штыки генерала Духонина.

— Как же это произошло? — спросил сурово Владимир Ильич.— Как Крыленко мог допустить самосуд?

Солдаты и матросы были озлоблены изменой Духонина, его высокомерным отказом выполнить их требования о переговорах. Ворвались в штаб-вагон и закололи его штыками.

Ленин покачал головой:

— Самосудам нет оправдания, товарищ Антонов. Если мы не будем соблюдать революционную законность, все полетит к чертям. Это особенно надо учесть в вашей новой работе на Украине, ибо классовые противоречия, обостренные до крайности национальными, будут вставать перед вами на каждом шагу, товарищ Овсеенко.— Ленин улыбнулся.— Я думаю, первую часть фамилии — Антонов — вы оставите здесь, в Петрограде?..

— Нет, Владимир Ильич,— улыбнулся в ответ Антонов-Овсеенко,— я возьму с собой обе: и Антонова, и Овсеенко. Чтобы пролетариат Украины не забывал, что он кровно связан с русским пролетариатом...

...Оставшись один, Владимир Ильич работал за письменным столом у окна. Поднял голову — на глаза попался поднос, накрытый салфеткой. Откинул салфетку, увидел хлеб с салом и снял телефонную трубку.

— Елизавета Константиновна, откуда у нас такой хлеб и сало домашнее?.. Какой солдат? — нахмурился Ленин.— Ну хорошо, спасибо.

Владимир Ильич положил телефонную трубку, сердито позвал:

— Николай Петрович! Товарищ Горбунов!

— Слушаю вас, Владимир Ильич.

— Что там за солдаты в приемной?

— Солдаты? — переспросил Горбунов.

— А, так это, наверное, делегаты крестьянского съезда. На фронт возвращаются. Не хотели уезжать, вас не видав. Я сказал, вы не скоро освободитесь.

Ленин вздохнул, покачал головой и вышел в приемную.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал он солдатам, которые тотчас же встали со своих мест.— Извините, что задержался. И прежде всего, спасибо за хлеб. Очень вкусный, давно такого не ел.

— Да что уж там... На здоровье...— ответили ему наперебой.

Прошли в кабинет.

— Мне сказали, вы делегаты съезда? Все делегаты?

— Почти все. Вон, окромя Ивана.

— А кто какой партии?

— Тут у нас каждой твари по паре,— ответил бородатый солдат.— Два большевика: Воскобойников да вот этот... Мы с Семеном за социалистов-революционеров, которые левые, значит. А вон тот — меньшевик. Михайлов из казаков будет, ну, а Иван беспартийный.

— А почему беспартийный?— спросил Владимир Ильич.

— А поглядим. Куды нам спешить,— ответил Иван.— Я думаю, у каждого в нутре несколько партий сидит.

— Как это?— улыбнулся Ленин.

— Очень даже просто,— ответил Иван.— Вот скажи мне: войи с немцами! Нет. Я за мир. И выходит, что я большевик. А скажи мне: сдай землю в общину. Нет, скажу, земля моя. И получается — я эсер. А чего еще спроси, может, во мне и меньшевик отыщется.

Ленин от души рассмеялся.

— Он справный солдат, товарищ Ленин.— загудели другие.— Просто еще не разобрался маленько, кто в какую дуду гудит...

— Да ты пойми, мил человек,— напирал на Ленина крепкий бородач, не выпускающий винтовку из рук,— ведь у мужика сейчас просто задница чешется, чтобы вскочить на лошадь и ударить в свою деревню. Там же землю помещичью делят, понимаешь? И без меня? А ежели лучший кусок заберут? А кто там теперь верховодит?.. А скоро весна — надо сеять на новой земле. А где взять зерно?.. У мужика же душа болит. Ему же не до войны теперь...

— А Россия? Отечество?— возразил молодой человек в шинели, перетянутой ремнями, видно, младший офицер из студентов.

— Мы отечество, милоч, понимаем не хуже тебя, держим фронт пока, не бросаем. Но ведь новая власть обещала мир, переговоры в Бресте ведет. Мы так понимаем, что мира добьется.

— А вот я смотрю,— сказал Владимир Ильич бородачу,— что вы обеими руками за мир, а винтовочку-то не бросаете, она прямо-таки прилипла у вас к рукам.

— Как же ее отпустишь-то,— сказал бородач,— когда тут то и гляди норвать завернуть обратно: войи, мол, серая скотинка, до победного конца...

— Ну а если переговоры в Бресте сорвутся по тем или иным причинам,— спросил Владимир Ильич,— и немцы начнут наступать? Выдержит ли это наступление наша армия в ее теперешнем состоянии?

Какое-то время солдаты молчали. Думали. Потом один из них, помоложе, спросил:

— А почему это переговоры в Бресте должны сорваться? Немец тоже устал, мира хочет.

— Вы имеете в виду солдат, оконников?— быстро обернулся к нему Владимир Ильич.

— Ну, а кого же!

— А переговоры в Бресте с нами ведут генералы. Дисциплина в немецкой армии крепка, вы это сами знаете. Пока что крепка...

— Верно. Немец, с одной стороны, брется, а с другой, офицера своего опасается. Офицер у него власть имеет еще, не то что наши...

— Вот видите,— сказал Владимир Ильич.— Немцы очень неохотно идут на уступки и требуют многого. Они могут потребовать аннексии, то есть захвата всех занятых ими земель...

— Армия будет защищать революционные завоевания до последней капли крови!— с чувством сказал молодой офицер.

— Хорошо, если так,— кивнул Владимир Ильич.— Это общее мнение?

Солдаты молчали, а бородач неторопливо закурил и сказал:

— Тут вроде как об разных армиях речь, дорогой гражданин. Старая мужицкая армия воевать больше не хочет. И ежели большевики с немцем не договорятся, то на хрена, извините, конечно, за это дело взылись? Уж лучше б душу людям не мучили...

На стене висел огромный план Петрограда. Возле него толпились командиры красногвардейских отрядов — всего человек около пятидесяти. В комнату вошли Ленин, Дзержинский, Вахромеев, комиссар Государственного банка Менжинский.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал Владимир Ильич.— Сначала коротко — для чего вас сюда собрали. В целях секретности мы не могли заранее предупредить вас об этом. Сегодня на рассвете мы должны национализировать все частные банки. Без этого победа социализма невозможна. Чтобы операция прошла успешно, ее нужно провести одновременно и быстро, одним ударом. Менжинский вышел вперед:

— Задача перед нами стоит не простая, товарищи. В городе двадцать один банк, четырнадцать банковских домов, двадцать одна банковская контора, двадцать три общества взаимного кредита, не считая сберегательных касс и прочей мелочи.

Дзержинский взял у Оболенского список: — Смирнов!

Вперед выступил рослый красногвардеец Путиловского завода.

— Санкт-Петербургский коммерческий. — Есть!

— Грузовик номер первый,— сказал Вахромеев.

— Москаленко!— вызвал Дзержинский.

— Я!— буквально выкатился ладный солдатик в шинели с башлыком и папахе.

— Балтийский торговно-промышленный. — Есть!

— Грузовик номер пять,— сказал Вахромеев.

— Железняков!

Матрос из первого ряда шагнул вперед.

— Российское общество взаимного кредита.

— Есть!

— Давай, браток, грузовик номер три.— Вахромеев повернулся к Дзержинскому:— И я с ними. Можно, Феликс Эдмундович?

— Поезжайте,— кивнул Дзержинский.

Оба матроса вышли. Дзержинский вызвал следующего:

— Захаров!

— Я.

— Банк графини Броницкой. Грузовик номер семь...

Тем временем Владимир Ильич отошел к столу, снял трубку телефона и сказал, прикрывая ее ладонью:

— Смольный, пожалуйста. Десяносто четыре. Да-да... Алло! Яков Михайлович, мы начали. Готовьтесь и вы — на заседании ВЦИК будет жарко... Нет, не надо гоняться за численностью. Лучше оставить колеблющихся в стане колеблющихся... Благодарю.— Владимир Ильич положил трубку и посмотрел в окно — там в ночной темени угадывались фигуры матросов и громады грузовиков.

Дворника растолкали сонного.

— А? Чего?..— он хлопал глазами.

Вахромеев его встряхнул:

— Ты дурочку не валяй. Отвечай на вопросы. Леонтьева, управляющего «Взаимокредитом», знаешь?

— Господи, как же... Барин наш, благодетель...

— Давай веди нас к этому благодетелю.

— Да подожди,— сказал Железняков.— Черный ход тут есть?

— Черный ход?— Дворник почесал затылок.

— Ну?— махнул наганом Железняков.

— Есть. Там, со двора.

Железняков с двумя матросами заторопился через подъезд во двор, а Вахромеев с остальными и дворником стал подниматься по широкой мраморной лестнице.

— Здесь,— дворник указал на высокие двери.

Вахромеев позвонил. За дверью было тихо. Тогда постучал.

— Кто там?— отозвался женский голос.

— Откройте! Именем Советской власти.

— Какой еще власти,— проворчали за дверью.— Никому не открою. Ишь, взяли моду стучать по ночам. Откуда я знаю, что вы не бандиты...

Вахромеев подтолкнул дворника к двери.

— Мироновна,— сказал вяло дворник,— это я, Николай, открывай... Тут матросы, все равно разнесут...

Дверь приоткрылась. Вахромеев рванул ее шире:

— Пошли!

Роскошная прихожая, шубы на вешалке, горничная в фартучке... Дородная женщина в халате, небрежно накинутом, взмахнув многогорожковым подсвечником, закричала:

— Все забирайте! Шубы на вешалке... Серебро в шкафу... Ковры, северский фарфор... Все! Только не убивайте!

— Прекратите истерику!— сказал Вахромеев.— Где Леонтьев?

— Нету дома, ушел...

И в это время из кухни донесся шум, грохот посуды... Вскоре Железняков втолкнул в комнату человека в шубе и с саквояжем:

— Драпануть хотели, да не удалось...

— Что вам нужно?— спросил Леонтьев.

— Для начала ваш саквояжик, пожалуйста,— сказал Вахромеев.

Саквояж упал к ногам Вахромеева.

— Ключи!

— Нет ключей,— ответил Леонтьев.

Вахромеев штыком взломал замок. Саквояж был пуст. Один листок бумажки лежал на дне.

Леонтьев умехнулся.

— Поедете с нами, откроете сейфы.

— Зачем? Там тоже ничего нет.

— Вы получили от Государственного банка на прошлой неделе сорок семь миллионов. Куда они делись?— спросил Вахромеев.

— Вкладчики разобрали.

— Ладно, пошли...— Вахромеев отшвырнул пустой саквояж.— И без шуток. Мы шуток не понимаем, ясно?

Жена повисла на Леонтьеве:

— Коленка, Коленка!..

— Он вернется. Если будет себя хорошо вести.— И Вахромеев слегка подтолкнул Леонтьева к двери.

— Минутку!— Железняков перехватил короткие взгляды, которым обменялся Леонтьев с женой. Поднял саквояж, достал бумажку, лежавшую на дне, и сунул в карман.

— Быдло!.. Хамы!.. Сволочи!..— стал ругаться Леонтьев.

Когда отряд Вахромеева с арестованными прибыл на Мойку, в помещение бывшего министерства финансов, там было снова многолюдно и шумно. Какой-то господин в котелке и расстегнутом пальто на меху возмущенно ораторствовал:

— Это не только беззаконие и варварство, это подрыв экономики страны! Развал! И комиссары будут отвечать за это перед народом!..

Вахромеев оставил Леонтьева рядом с кричащим господином и пошел докладывать Владимиру Ильичу.

Господин перестал кричать и обернулся к Леонтьеву:

— А, и ты здесь... Ну, что?

— Ни хрена не нашли товарищи,— усмехнулся Леонтьев.

— Неужто успел?

— Успел... На Лионский кредит. Пусть попробуют сунуться.

А в дверях снова шум.

— Я категорически протестую!— ругался господин с заметным иностранным акцентом.— Вы не имейте никакого права! Это международный скандал!.. Я буду жаловаться французский консул!

— Вот и Лионский кредит пожаловал,— сказал господин в котелке.

— Ах, сволочи!— процедил сквозь зубы Леонтьев...

...Вахромеев тем временем говорил Ленину и Дзержинскому:

— Денег не нашли. В сейфах пусто. В саквояже, с которым Леонтьев пытался ударить, только вот эта бумажка.

Дзержинский взял, разглядел ее.

— Ну! Прекрасно! Это квитанция о переводе наличности и ценных бумаг на Лионский кредит...

Банкир, сидевший перед Владимиром Ильичем в распахнутой шубе, закинув ногу на ногу, язвительно заметил:

— Господам матросам и солдатам вовек не разобрать, для чего эти бумажки и куда их пришить. Они даже на самокрутки не годятся, не та, так сказать, консистенция. Напрасно вы все это затеяли, по-моему.

— Что ж, позовем специалистов, понимающих в этом деле,— ответил Владимир Ильич. — Мы даже возьмем в консультанты любого из вас. Кто хочет работать — милости просим. Но сначала — ключи от сейфов. Контроль над всеми операциями банков будет в рабочих руках.

— Но, простите, это же незаконно.

— Ошибаетесь, господин хороший, все законно. Как Председатель Совета Народных Комиссаров я сегодня подписал декрет о национализации банков. К вечеру он будет ратифицирован Центральным Исполнительным Комитетом, то есть законодательной властью. Вот так...

Вечером на заседании ВЦИК обсуждался декрет о национализации банков. Выступал представитель социал-демократов-интернационалистов Авиллов:

— Совет Народных Комиссаров своим беспрецедентным решением захватить все банки, арестовать их директоров парализовал практически всю экономическую жизнь страны. Таким примитивным подходом, желанием все решить одним ударом топора вы только подорвете хрупкий организм кредита, понизите курс рубля и ничего, кроме

величайшего развала, не получите.

Редкие аплодисменты проводили оратора.

К трибуне стремительно вышел Ленин.

— Авиллов опять пытается нас запугать: дескать, мы идем в неизбежную пропасть. Газета «Новая жизнь», которая выражает мнение фракции предыдущего оратора, перед октябрьскими днями тоже писала, что из нашей революции не выйдет ничего, кроме погромов и анархических бунтов.

— Демагогия!— крикнул с места Авиллов.

— Нет, это не демагогия!— ответил Владимир Ильич.— А вот ваши постоянные речи о топоре — это уже настоящая демагогия. Вы говорите о сложности аппарата, о его хрупкости, о запутанности вопроса. Это азбучная истина, и она всем известна. И если эта истина используется, чтобы только затормозить все социалистические начинания, мы говорим: тот, кто становится на этот путь,— демагог... И вредный демагог! Если мы сегодня же не утвердим декрет, то это немедленно приведет к тому, что банки примут все меры для сугубого расстройтва хозяйства. Проведение декрета неотложно, иначе нас погубит саботаж.

Снова шум в зале. Свердлов позвонил в колокольчик:

— Товарищи! Товарищи! Теряем драгоценное время. Предлагаю закончить прения...

...После заседания, когда выходили из прокурорного зала, Владимир Ильич остановился, покачнулся, тронул рукой висок, но тут же взял себя в руки и двинулся дальше. Это, однако, не ускользнуло от внимания Дзержинского. Не ускользнуло и то, как Владимир Ильич рванул окно и жадно вдохнул свежий морозный воздух.

Подошел Горбунов:

— Владимир Ильич, прибыла немецкая делегация смешанной комиссии по урегулированию вопроса об обмене гражданскими пленными и инвалидами. Во главе делегации граф Вильгельм фон Мирбах.

— Хорошо, Николай Петрович. Я готов немедленно встретиться с Мирбахом.

— А я предлагаю эти переговоры отложить до утра,— вмешался Дзержинский.

— Это почему же?

— Потому что я вижу, как вы устали. Я просто настаиваю на этом! Иначе я буду вынужден поставить этот вопрос в ЦК.

— Ну вот, Феликс Эдмундович, сразу и ябедничать... Это нехорошо,— сказал Владимир Ильич.— Ладно, отложим разговор. Но завтра с утра — непременно. Предупредите об этом Мирбаха.

Утром Ленин принимал в своем кабинете графа Мирбаха. Граф, как положено, был в цилиндре и фраке. С ним перевод-

чик — молодой человек офицерской выправки. В переговорах принимали участие Свердлов и Бонч-Бруевич.

Мирбах и Ленин какое-то время молча разглядывали друг друга.

— Россия сделала громадную ошибку, напав на Германию, и царь Николай жестоко наказан за свое вероломство, — наконец сказал Мирбах.

— Я не стану отрицать вероломства царя Николая, — кивнул Владимир Ильич, — но полагаю, что оно не больше вероломства других европейских правителей.

— Я не уполномочен и не буду спорить с вами на политические темы, господин председатель. Я имею честь предложить вам от имени германского правительства и германских промышленников возобновить деловое сотрудничество, не дожидаясь окончания мирных переговоров.

— Что же, неплохая мысль, господин Мирбах. От предложений сотрудничать мы отказываться не будем. Но, насколько мне известно, основная ваша миссия — подготовка обмена военнопленными.

— Я буду откровенен с вами, господин председатель. Большинство русских военнопленных занято на работах в сельском хозяйстве и промышленности, и до тех пор, пока мы не сможем их заменить, нам будет трудно осуществлять обмен, так сказать, на паритетных началах.

— Насколько нам известно, — заметил Свердлов, — русские военнопленные исполняются на самой черной работе, без оплаты, без медицинской помощи, в страшных бытовых и жилищных условиях. Это же просто рабский труд. Мы требуем как можно скорее освободить русских военнопленных и обменять их на ваших, которых мы не задерживаем ни под какими предлогами.

— Ну, я полагаю, — сказал спокойно Мирбах, — что это мы будем еще обсуждать. Возможно, решению вопроса о скорейшем возвращении военнопленных поможет бы соглашение, по которому избыточная рабочая сила, существующая в России, каким-то образом, то есть за соответствующую денежную или иную компенсацию, могла бы найти себе применение в германской промышленности. Такое соглашение было бы в интересах обеих сторон.

— То есть, — сказал Владимир Ильич, — вы предлагаете нам торговлю людьми? На это мы не пойдем ни при каких условиях и ни за какие блага.

— Я передам содержание нашей беседы рейхсканцлеру. Надеюсь, он получит мой доклад еще до того, как произойдут какие-либо перемены. В России все так быстро меняется. Не прошло и года, как царствовал Николай, потом был Гучков, потом Керенский... Теперь вот вы, господин Улья-

нов... — Мирбах поднялся. — Благодарю за беседу.

Эта декабрьская ночь была в Петрограде на редкость холодной. Здание Смольного, несмотря на то, что все же топили, промерзло так, что изо рта шел пар и никто почти не снимал пальто, шинелей и даже шапок.

Владимир Ильич тоже был в пальто внакидку. Примостившись в уголке стола, он что-то писал. Шла обычная работа Совета Народных Комиссаров. Докладывал Сталин:

— Рада обратилась ко всем солдатам-украинцам с приказом немедленно возвращаться домой, не обращая внимания на запрет своих командиров. На основании того же приказа Рада пропускает казачьи части на Дон к Каледину, а наши части через свою территорию пропускать отказалась. Переговоры с Радой по прямому проводу ни к чему не привели. К сожалению, стала очевидной опасность войны между Советской Россией и Украинской Радой.

— Необходимо лишить Раду возможности спекулировать на национальных чувствах украинцев, — сказал Владимир Ильич. — Надо еще раз попытаться мирно разрешить конфликт. Товарищ Прошьян, могли бы вы принять на себя такую миссию и поехать в Киев на переговоры?

— Мог бы, конечно, — ответил Прошьян, — но не лучше ли наркому национальностей Сталину, это вроде как его департамент...

— При чем здесь департамент? — возразил Владимир Ильич. — Еще не хватало нам ведомственные барьеры возводить. Вам, представителю левых эсеров, проще будет договориться с Радой, это же ясно.

— К тому же, — заметил с усмешкой Сталин, — вы, товарищ Прошьян, новый нарком телеграфа и почт, то есть связи...

— Тут не до шуток, — сказал Владимир Ильич. — Воевать нам с Радой нельзя, это помешает открывшемуся в Харькове Украинскому съезду Советов. Пусть они решают свои проблемы сами. Однако Рада должна отказаться от попыток дезорганизации общего фронта и от помощи калединскому контрреволюционному восстанию. И еще. Там, в приемной, ждут представители сейма Финляндии. Они обратились к нам с просьбой о признании независимости, и я считаю...

Нарком труда Шляпников возмущенно перебил:

— Нельзя утверждать декрет о независимости Финляндской буржуазной республики! Это будет предательством интересов финляндского рабочего класса!

— О каком предательстве вы говорите,

товарищ Шляпников?— спросил жестко Сталин.— Я был в Гельсингфорсе всего две недели назад, выступал на съезде Финляндской социал-демократической партии с призывом к вооруженному восстанию, но они отказались и признали сенат Свинхуда. Или вы предлагаете нести туда революцию на штыках питерских рабочих?

— Разрешите мне слово?— поднялась нарком призрения Коллонтай.

— Пожалуйста, товарищ Коллонтай,— сказал Свердлов.

— У каждого из нас много друзей в Финляндии, с которыми мы связаны годами борьбы с царской охранкой, и я понимаю чувства товарища Шляпникова. Нам известно, что после ноябрьской стачки финская буржуазия усилила подготовку гражданской войны. Из Германии ввозится оружие, буржуазная молодежь обучается военному делу. Пролетариат тоже решительно готовится к борьбе. Так что нам волей-неволей в самое ближайшее время придется сделать выбор.

— Я думаю, никто не сомневается, на чьей стороне мы будем,— возразил Свердлов.— Но вот что писали мы сами: «Исходя из интересов единства и братского союза рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс в борьбе за социализм, Совет Народных Комиссаров еще раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделяться от России». По-моему, яснее не скажешь...

...В приемной действительно ожидали премьер-министр Финляндии Свинхуд, сенатор Энкель и советник финляндского правительства в Петрограде Идман. Свинхуд сидел, как каменный идол, опираясь на трость, недвижно и прямо. Энкель, нервничая, ходил из угла в угол. Идман пил чай и успокаивал своих коллег:

— Господа, я прекрасно знаю Ленина, он свое слово сдержит.

— Но о большевиках столько пишут и говорят...— сказал Энкель.

— О большевиках много врут,— махнул рукой Идман.

Раскрылась дверь, и в приемную вышел Владимир Ильич с небольшой скромной папкой в руках. Следом за ним — Бонч-Бруевич.

Свинхуд поднялся с кресла, и все трое встали в ряд, ожидая, что скажет Ленин.

— Я поздравляю, господа,— сказал Владимир Ильич,— с первым днем независимости Финляндской Республики. Вот Декрет Совета Народных Комиссаров... Осторожней, на нем еще не просохли чернила...

Свинхуд принял Декрет, поклонился:

— Благодарю вас, господин Ульянов, от имени народа Финляндии, правительства и от себя лично. Сегодня великий день и для Финляндии и для России.

На заседании Совнаркома решался последний вопрос.

— Кто за то,— сказал Дзержинский,— чтобы председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину предоставить отпуск по состоянию здоровья на неделю, по тридцатое декабря включительно?

Все подняли руки, кроме Ленина.

— Кто воздержался? Никого. Кто против? Ленин поднял руку.

— Ваш голос не считается,— сказал Дзержинский.— Запишите в протокол: принято единогласно. И попробуйте, уважаемый Владимир Ильич, нарушить партийную дисциплину.

Правительственный поезд № 4001 продолжал идти на юг. Проектор паровоза упирался в ночную морозную мглу, будто в стену.

В салоне Ленин, Дзержинский и Цыганков пили чай.

Матрос разливал кипяток. Дзержинский колот тесаком на ладони желтый сахар.

— Война многому научила,— говорил Владимир Ильич, грея ладони о жестяную кружку.— И тому, в частности, что берет верх тот, у кого лучше техника, выше организованность и дисциплина.

— Сербы говорят,— заметил Дзержинский,— «без немца нет машины».

— Да, это верно. Пока верно,— улыбнулся Владимир Ильич.— Значит — учись у немца! История часто идет зигзагами. Вышло так, что именно немец воплощает теперь, наряду со зверским империализмом, начало дисциплины, организации, новейшей машинной индустрии, строжайшего учета и контроля. А это как раз то, чего нам не достает, чему нам надо учиться, чего не хватает нашей революции. Это как раз то, чтобы перестать Руси быть убогой и бессильной, чтобы бесповоротно стать могучей и обильной.

Уезжали утром. Втроем — Владимир Ильич, Мария Ильинична и Надежда Константиновна. Сопровождали их комиссар Финляндской железной дороги Эйно Рахья и двое рабочих-красногвардейцев без винтовок. Они и вида не показывали, что сопровождают Ленина, лишь изредка обменивались взглядами с Эйно и старались держаться неподалеку от Владимира Ильича.

Провожали Бонч-Бруевич и Горбунов.

Вошли в вагон второго класса. Нашлись и свободные места рядом с двумя старушками, по всей вероятности, финками. Вагон был полон военных — солдаты, младшие офицеры.

Старушка подвинулась, дав возможность сесть Владимиру Ильичу, Эйно Рахья и женщинам.

Один красногвардеец сел впереди, другой сзади — так, чтобы виден был весь вагон от двери до двери.

— Вы уж поосторожнее там, — напутствовал Горбунов.

— Ладно, ладно, — махнул рукой Владимир Ильич.

И тут в вагон буквально влетела Коллонтай в сопровождении молодого человека, который волок три шубы.

— Господи, — сказала она, — еле нашла! А почему в таком вагоне?

— Потому что потому, — ответил Владимир Ильич. — Здравствуйте, Александра Михайловна.

А Бонч-Бруевич вполголоса пояснил:

— Владимир Ильич считает, что так безопаснее.

— Поехали с нами, — предложил Владимир Ильич.

— К сожалению, у меня срочные дела в наркомате.

— Ну да, а у меня никаких дел. Я отдыхающий...

— Не ворчите, — улыбнулась Коллонтай. — Вот. Наденете эти шубы, когда вам придется ехать от станции на санях.

— Что еще за шубы? — спросил Владимир Ильич с неприязнью.

— Казенные. Взятые со склада Наркомата.

— А... — Владимир Ильич отвернул полу одной из шуб, где были пришиты большие инвентарные бирки. — Это чтобы мы не продали шубы. Правильно, казенное добро надо беречь. — И замотал головой. — Зачем я еду? Куда я еду?.. Да, кстати, послушайте, там же граница!

— Ну какая граница, Владимир Ильич? — пожал плечом Эйно Рахья.

— Граница, я вам говорю. Я сам декрет подписывал. Ну вот, теперь скажут, что председатель Совнаркома эмигрировал... Э, да у нас же нет ни копейки финских денег, ни марочки!..

— Вот тебе и раз, — сказал Бонч-Бруевич.

Коллонтай выскочила из вагона и бегом по перрону — к кассе. Выгребла из кармана все деньги, протянула в окошечко:

— Пожалуйста, обменяйте на финские марки!

Кассир считал внимательно. Коллонтай торопила его:

— Пожалуйста, побыстрее! Поезд уходит...

— Всем быстрее, быстрее... — ворчал кассир. — Пожалуйста, сударыня, девяносто девять марок.

— А больше нельзя?

— Да что вы, гражданочка, на базаре? Советских порядков не знаете?

Поезд вот-вот должен был тронуться. Коллонтай прыгнула на подножку и высыпала Владимиру Ильичу деньги в ладонь:

— Вот, пожалуйста, девяносто девять марок. Я надеюсь, вам хватит... Там будет полный пансион, — задыхаясь говорила она. — Там чудесный врач. Натансон. Я его знаю сто лет. Я всех вас целую! Пока!

Владимир Ильич засмеялся:

— Под неустанными заботами наркома государственного призрения я чувствую себя настоящим инвалидом...

От станции лошади сразу взяли рысью и потащили легкие саночки по снежной дороге. Дорога была чудесная, по обе ее стороны высились янтарные сосны и пушистые ели, окутанные снегом. Но когда выехали в поле, вдруг пронзительно задула поземка. Владимир Ильич заботливо склонился к Надежде Константиновне, прикрывая ее от ветра. Во вторых санях ехали Мария Ильична и Ян Берзин.

Санаторий Халила — это несколько двухэтажных и одноэтажных бревенчатых домиков, уютно расположенных на небольшой полянке в лесу. Встретили приезжих администратор и главный врач санатория доктор Натансон.

— Берзин предупреждал о вашем приезде, мы подготовили отдельный домик, небольшой, но уютный, и если вы приехали не только отдохнуть, но и поработать, там вам никто мешать не будет, — говорил Натансон, провожая гостей к домику, стоявшему несколько особняком на опушке леса.

Внутри было светло, прибрано. Аккуратные занавесочки на окнах, больничная белизна подоконников — как-то не по-русски рационально и пусто.

— Устраивайтесь, — сказал Натансон. — Пообедаете, отдохнете и в четыре часа ко мне.

Берзин тоже собрался уйти.

— Минуточку, Ян, — остановил его Ленин. — А что тут за публика? Наши есть?

— Есть. Коля Молодняков. Помните его по школе Лонжюмо?

— Да-да, — кивнула Надежда Константиновна. — Сильно кашлял...

— У него туберкулез. Ну, еще несколько социал-демократов...

— Меньшевиков, вы хотите сказать, — усмехнулся Ленин.

— Да. В общем, Ноев ковчег,— засмеялся Берзин.— Кое-кто тут думал отсидеться, но, кажется, уже собираются дальше... Есть и постоянные клиенты этого санатория — несколько инженеров, врачей. Словом, публика интеллигентная.

Ленин, проводив его до крыльца, вернулся в комнату, где женщины разбирали вещи.

— Ну, как тебе тут? — спросила Мария Ильинична.

Ленин пожал плечами, ответил вполголоса:

— Не знаю... Честно говоря, эти клинические чистота и порядок всегда действовали мне на нервы. И вообще это все не по мне.

— Ян Берзин здесь почти месяц.

— Ян болен, а я здоров.

— А почему ты говоришь вполголоса?

— Разве? — удивился Владимир Ильич и рассмеялся: — Это привычка. Раз я в Финляндии, значит, от кого-то скрываюсь...

За обедом, в просторной чистой столовой, было человек около тридцати. Берзин жестом пригласил Владимира Ильича и женщин за отдельный столик возле окна. Уселись.

Группа за дальним столиком вдруг засуетилась: наклонили головы друг к другу, зашептались.

Владимир Ильич усмехнулся, а Берзин сказал:

— Это те самые...

— Ну да, социал-демократы. Я понял.

— С одним из них мы знакомы, Володя,— сказала Надежда Константиновна.— Как же его фамилия?..

— Хрусталеv,— сказал Ленин.— Бре-хун и путаник.

— Ну смотри, Маша,— сказала Надежда Константиновна,— уже все плавники стали дыбом. Чистый ерш. Вот что, Володя, мы приехали сюда отдыхать, и поэтому я прошу тебя ни в какие споры и дискуссии с ними не ввязываться.

— Угу,— кивнул Владимир Ильич.

— Пошли они к черту,— сказала Мария Ильинична.

— Согласен,— снова кивнул Владимир Ильич.

И тут один из социал-демократов поднялся из-за стола, подошел к ним, конфиденциально наклонился:

— Простите, вы Владимир Ульянов-Ленин? Я Хрусталеv. Вы меня помните?

— Помню,— кивнул Владимир Ильич.

— Случилось что-нибудь в Питере?

— Почему вы так решили?

— Потому что вы здесь...

— Вы ведь тоже здесь.

— Ну, я... Я здесь скрываюсь от вашей ЧК.

— А я приехал сюда отдохнуть,— сказал Владимир Ильич.

— Вы хотите сказать, что отдохнете и вернетесь обратно?

— Да, именно это я и хотел сказать.

— То есть у вас там все в таком порядке, что вы можете отпуск себе позволить?

— Да, гражданин Хрусталеv. У нас все в порядке, я могу позволить себе отпуск и могу позволить себе пообедать с семьей и друзьями.

— Прошу прощения... Извините,— сказал Хрусталеv, хотя, судя по всему, не был уверен, что получил от Ленина точную информацию.

Его приятели снова склонили головы и зашептались о чем-то.

Владимир Ильич засмеялся:

— Ах, как они ждут, что мы перекинемся... Не дождутся!

Потом он был на приеме у Натансона.

— Ну, как тут у нас? Первое впечатление?...— спросил доктор, отрываясь от осмотра пациента.

— Ян Берзин говорит: «Ноев ковчег»,— улыбнулся Владимир Ильич.— Спасаются от потопа революции.

— Есть и такие, конечно,— согласился врач.— Но большинство действительно нуждается в отдыхе и лечении... Разрешите, я посмотрю ваши глаза.

Врач поправил лампу, сдвинул на лбу рефлектор на стальном обруче.

— Вас часто мучают головные боли? — спросил он, помолчав.

— Нет, не очень... Бывают...— ответил Владимир Ильич.

— Вам кто-нибудь говорил о состоянии ваших сосудов?

— А что, дело серьезное?

— Сколько часов в день вы работаете, Владимир Ильич?

— Вы мне лучше скажите, какое лечение нужно, какие лекарства.

— И лечение, и лекарство только одно — побольше находиться на свежем воздухе и поменьше напряженной работы. Читать почти совсем... то есть категорически, помногу нельзя. Иначе... Если вы не будете соблюдать этого режима...

— Нет. Не буду,— сказал Владимир Ильич.— Об этом не может быть и речи!

...Потом он шел один по узкой тропинке в заснеженном лесу. Остановился, вскинул голову к верхушкам сосен. Жадно и глубоко вздохнул...

...А ночью, стараясь не шуметь, он работал в своем кабинете.

Утром следующего дня Надежда Константиновна сказала Марии Ильиничне:

— Кажется, первую ночь за последние несколько месяцев спал спокойно.

— Ну да, как же! — ответила Мария Ильинична, приглашая Крупскую в комнату Владимира Ильича. На столе лежали стопки исписанной бумаги. — «Как организовать соревнование», — прочла Мария Ильинична заглавие на листе, густо исписанном мелким почерком. — И еще темы двадцати трех статей, которые он собирает здесь написать за неделю.

— О, господи... — вздохнула Надежда Константиновна.

Владимир Ильич зашел в читальню посмотреть до завтрака полученные из Петрограда газеты. Здесь были почти все, кто отдыхал в санатории Халила. При появлении Ленина все смолкли, но в конце концов кто-то не выдержал:

— Большевики уже два месяца у власти, а где их обещанный социалистический рай?

— Какой рай, батежка мой? Ад хаоса, ад еще большей разрухи, чем до Октября. — Высокий дородный господин покосился на Ленина, но тот промолчал.

— Разрушать — это они умеют. Разрушать, уничтожать...

— Может быть, хватит уже разрушать? — прокричал из дальнего угла худой старик. — Может, пора уже что-то делать, приводить страну в порядок?

— А разве ничего не сделано? — поднял голову Владимир Ильич. — За несколько недель на месте империалистической лжи и затягивания войны поставлена демократическая политика мира. А рабочий контроль? А национализация банков? Это и есть первые шаги к социализму.

— Я не знаю, что вы называете социализмом, господин-товарищ, но убежден, что до социализма в России так же далеко, как до Луны, — усмехнулся высокий.

— Это шутки, а я серьезно хотел бы знать: когда вы собираетесь ввести социализм? — сердито спросил старик из угла.

— Откуда у вас это сентиментальное, пошлое представление о введении социализма? — вздохнул Владимир Ильич. — Обрывки какого социалистического учения вы ухватили, повторяя и переирая его? Только невежды и полужанки приписывают марксистам мысль или даже план, так сказать, ввести социализм. Социализм нельзя ввести! Он вырастает в ходе напряженной, до бешенства, до отчаяния острой классовой борьбы. Между капитализмом и социализмом лежит долгий период родовых мук...

— Глядишь, из-за этих родовых мук и мать может умереть.

— Господи, и за что нам такое наказание? — вздохнул толстяк.

— А вы бы, господа, хотели, — сказал Владимир Ильич, — по той немецкой половице: мыть шкуру, но только чтобы шкура всегда оставалась сухой. Так не бывает! Когда буржуазия...

— Здесь нет представителей буржуазии, — перебил молчавший до сих пор плотный и высокий мужчина. — Я инженер. Моя мать была мешанкой. Я трудился всю жизнь... — Он вышел из зала, хлопнув дверью.

Следом за ним вышли все остальные, кроме Ленина и Яна Берзина.

— Спорить с ними бесполезно, — сказал Берзин. — Они не хотят ни видеть, ни слышать того, что происходит в России.

— Ничего, придется. Не век же они надеются здесь отсиживаться.

За завтраком в столовой атмосфера была несколько напряженной. Видимо, о том, кто такой новый пациент санатория Халила, стало известно всем. И теперь в сторону Ленина, его жены и сестры смотрели кто настороженно, кто украдкой, кто нагло и даже враждебно, а кто просто с любопытством и удивлением...

Вечером в читальном зале Владимира Ильича уже явно ждали.

Вперед выступил толстяк:

— Гражданин Ульянов, когда мы спорили с вами утром, спор этот был, как бы это сказать, вслепую. Вы не знали, кто мы, и потому не придавали ни своим, ни, тем более, нашим словам того значения, которое они на самом деле заслуживают.

— То есть, — сказал Владимир Ильич, — вы хотите драться с открытым забралом.

— Вот именно, — подтвердил толстяк и продолжал: — Поэтому я хотел бы представиться сам и представить кое-кого из своих друзей. Имею честь — ваш покорный слуга инженер-путеец Мохов Андрей Сергеевич.

Ян Берзин пояснил с усмешкой:

— Бывший управляющий Николаевской железной дороги.

— Почему же бывший, — возразил Мохов. — Меня никто от должности не освобождал. Далее, Арнольд Арнольдович Ауэрбах, приват-доцент Петербургского университета.

Высокий худой господин коротко кивнул, привстав.

— Инженер Аркадий Васильевич Винтер, — продолжал Мохов, — крупный специалист в области топливной энергетики. Поднялся тот самый господин, который

утром заявлял, что здесь нет буржуев.

— Крупнейший в России патологоанатом Збарский Вениамин Михайлович и, наконец, инженер Авилов — управляющий оружейными заводами Михельсона в Петрограде. Ну, пожалуй, и все, кто достоин внимания. Как видите,— продолжал Мохов, ничуть не смущаясь тем, что обидел остальных присутствующих,— здесь нет буржуев. Вот гражданин,— Мохов указал на Яна Берзина,— судя по всему, инородец, изволил добавить мне титул «бывший», намекая на то, что мы все здесь бывшие. Хотелось бы знать, гражданин Ульянов, как вы, нынешний лидер России, представляете выход из хаоса без участия так называемых бывших. Без их знаний, опыта, их умения управлять... Я полагаю, ничегошеньки из вашего эксперимента, так сказать, не получится.

— Разрешите ответить? — спросил Владимир Ильич.

— Прошу вас.

— Совет и руководящие указания — одно, организация практического дела — другое. Интеллигенты сплошь да рядом великолепнейшие советы дают, но оказываются до смешного, до абсурдного безрукими, не способными провести в жизнь эти советы и указания. А сейчас, как никогда, верны слова Маркса: «Всякий шаг практического движения важнее дюжины программ». Никто не предполагает отстранять людей знающих, опытных, умеющих управлять, от жизни, от дела. Наоборот — милости просим, работайте. Но в ответ на эти предложения мы встречаем либо открытый, либо скрытый саботаж. Так что все эти разговоры либо ложь, либо демагогия!

— А вы хотите,— резко сказал Ауэрбах,— чтобы мы приползли к вам на коленях? Чтобы мы кланялись вчерашнему истопнику, которого вы назначили комиссаром, и слушали его несусветный бред, что и как надо делать?

— Так,— сказал Владимир Ильич.— Не хотите, значит, слушать людей из простонародья, рабочих и крестьян. Хотите другого — превратить свои знания в орудие защиты ваших привилегий!

— Мы просто не верим в вашу затею, господин Ульянов,— сказал Ауэрбах.— Не верим! И для этого у нас есть вполне серьезные основания.

— Дело не в том, обойдутся ли рабочие без интеллигентов или нет,— сказал задумчиво управляющий оружейными заводами.— Тут двух мнений быть не может. Разумеется, не обойдутся. Рано или поздно рабочие, если они удержатся у власти, создадут свою интеллигенцию. Дело в другом, господа. Без хозяина, без настоящего хозяина не обойтись, какие бы песни вы мне про

социализм не пели. Иначе расташут заводы, разворуют фабрики, и все пойдет прахом.

— Что ж,— сказал Владимир Ильич,— доля истины в этом есть. Но хозяин будет. И таким хозяином станет рабочий.

— Это слова!

— Нет, не слова! — сказал Владимир Ильич.— Я тоже понимаю, как нелегко бороться со старой привычкой смотреть на труд с точки зрения подневольного человека: как бы освободиться от лишней тяготы да урвать для себя кусок. Но эту борьбу уже начали сознательные рабочие. Они дают отпор тем, кто и теперь хотел бы относиться к народной фабрике по-прежнему: урвать побольше и удрать.

— Ну-ну, посмотрим,— с усмешкой сказал управляющий.

— Вот то-то и оно,— резко обернулся к нему Владимир Ильич,— что вы хотите остаться в стороне от дела и не хотите понять, что в этой войне нельзя оставаться нейтральным. Война идет не на жизнь, а на смерть.

— Бр-р! — передернул плечами Мохов.— Аж мороз по коже от ваших слов.

В читальне повисла тяжелая пауза.

— От имени всех присутствующих я хотел бы поблагодарить вас, гражданин Ульянов, за то, что нашли время и возможность для столь откровенной беседы,— нарушил молчание Винтер.

— Это моя обязанность как партийного пропагандиста. Я надеюсь, что хоть в чем-то убедил вас,— сказал Владимир Ильич.

Ранним вечером Ленин и Берзин возвращались с прогулки. Ленин шел быстро, и Берзин едва поспевал за ним.

— Владимир Ильич, не стоит так нервничать из-за этих...

— Простите, Ян, но как же не нервничать! Я много думал об этом в последние дни. Ведь все эти вопросы встанут перед нами как главные во время строительства социализма. Буржуазные критики и их прихлебатели восхваляют частную предприимчивость, конкуренцию, ставят нам в вину нежелание считаться с так называемой натурой человека. Они рисуют социализм как серую казарму. А я считаю, что социализм впервые создает возможность проявить предприимчивость, соревнование, смелый почин действительно широко, действительно в массовом размере. Но тут, конечно, надо бороться против всяких попыток установления единообразия сверху. Социалистический централизм не имеет ничего общего с установлением единообразия.

— Ян! Владимир Ильич!.. — навстречу им шел Урицкий.

Ленин обрадовался Урицкому:

— Здравствуйте! Рассказывайте, что в Петрограде?

— В Петрограде все спокойно.

— Удивительно,— сказал Ленин.

— Действительно странно,— подтвердил Урицкий.— Тем более, что к открытию Учредительного собрания съехалось великое множество бывших. Ходят упорные слухи, что Учредительное собрание положит конец большевистскому правлению, провозгласит демократическую республику и отменит принятые декреты...

— Этот номер у них не пройдет,— сказал Владимир Ильич.— Но повозиться с ними придется, выставить напоказ их косность, реакционность, весь их вчерашний либерализм... Что на Украине? Есть ли новости из Бреста?

— С Украины новости неплохие, Владимир Ильич. После двухдневного боя красноармейцев с гайдамаками власть в Екатеринославе перешла в руки Советов.

— Отлично, отлично!

— А в Бресте,— продолжал Урицкий,— руководитель нашей делегации товарищ Троцкий признал полномочия представителей Центральной Украинской Рады.

Ленин резко остановился:

— Иногда мне кажется, что он ведет себя по принципу: чем хуже — тем лучше... Ведь было же прямое указание Совнаркома: не признавать!

Урицкий вздохнул.

— Владимир Ильич, я вообще был против этих переговоров, но раз уж они идут... Может, Троцкому там виднее, в Бресте? Во всяком случае, немцы, окончательно сбросив маску миролюбия, перешли к политике угроз и ультиматумов. Нам предъявлены требования признать за Германией территории Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии.— Урицкий вопросительно взглянул на Ленина, но тот молчал.— Может, вообще переговоры на таких условиях продолжать бессмысленно.

— Переговоры будем продолжать, Моисей Соломонович, и добьемся мира во что бы то ни стало. Это наиглавнейшее условие существования Советской власти... Что еще нового?

— Ну... Из Швейцарии приезжает Платтен...

— Платтен! Он знает о революционной ситуации в Германии! Да и во всей Европе! — Ленин вдруг круто повернулся к Урицкому: — Вы когда уезжаете?

— Завтра.

— И я с вами поеду...

— Но, Владимир Ильич,— попытался возразить ему Берзин,— завтра только двадцать восьмое...

— Хватит! — резко сказал Владимир Ильич.— Я устал отдыхать.

В салоне поезда № 4001 верхний свет был притушен, горела только настольная лампа над столом, заваленным газетами и деловыми бумагами. За столом, голова к голове, яростно спорили Ленин, нарком труда Шляпников и нарком продовольствия Цюрупа.

— Ну, хорошо,— говорил яростным шепотом Шляпников,— а если национализированные предприятия или деревенская община не поддаются никаким уговорам, призывам и требованиям восстановления дисциплины и повышения производительности труда?

— Таких на черную доску! — сказал Владимир Ильич.— Или перевести в разряд больных предприятий и принимать срочные меры к их оздоровлению.

— То есть плодить иждивенцев, нахлебников? — спросил Цюрупа.— Которые привыкнут сидеть на шее у тех, кто работает?

— Нет,— возразил Владимир Ильич,— особо злостных нарушителей переводить в разряд штрафных предприятий, которые подлежат закрытию.

— А рабочих — на улицу? — спросил Шляпников.

— Мы ведь говорим не о тех, кто работает добросовестно. Но ни один жулик, в том числе и те, кто отлынивает от работы, не должен гулять на свободе. Он должен сидеть в тюрьме либо отбывать наказание на принудительных работах тягчайшего вида...

— Не слишком ли круто?

— Нет, не круто, если судить их будут сами рабочие. Кстати, даже простое введение гласности в этой области само по себе уже послужит к привлечению широких народных масс к самостоятельности решения этих вопросов... Иначе и быть не может в обществе, желающем строить социализм.

— Желаящем строить социализм или строящем, Владимир Ильич? — спросил Шляпников.

— А для чего же нам нужна передышка? — повысил голос Владимир Ильич.— Для чего нужен мир? Именно для того, чтобы строить социализм. Работать. Только бы нам не мешали... А наша революция именно тем и отличается от предыдущих, что подняла жажду строительства, жажду творчества масс. Только бы не мешали...

В последнюю ночь уходящего 1917 года по заснеженному Петрограду мчался разухабистый санный поезд. Крепкими, новость откуда взявшимися рысиками управляли такие же крепкие мужики. Баре в шубах, котелках, в енотовых шапках, с бутылками шампанского в руках, нарядные дамочки, цыгане...

Автомобилу пришлось подождать, пока вся эта гуляющая публика не пронесется мимо.

В машине, кроме шофера, были Владимир

Ильич и Надежда Константиновна.

— Догуливают... — Шофер тронул машину.

Переехали через мост на Выборгскую сторону и вскоре остановились возле здания бывшего Михайловского юнкерского артиллерийского училища, где теперь размещались Выборгский районный комитет РСДРП(б) и районный Совет со штабом Красной гвардии.

Ленина ждали матрос Цыганков, рабочие с Путиловского. Смирнов помог Надежде Константиновне выйти из машины.

— А мы уж думали, не приедете. Четверть часа до Нового года осталось...

Их тотчас же окружили.

— Товарищ Ленин, — спросил кто-то, — что насчет Учредилки? Откроем ее или как?

— Откроем непременно, — сказал Владимир Ильич. — Пятого числа.

— А на кой? Как бы ошибка не вышла. А то, гляди, понаехало в Петроград всякой сволочи...

— Около «Астории» и «Европейской» пройти нельзя, срамота одна. Буржуи гуляют, дамочки голые плечи показывают... Извозчики матерые в фартуках, как при царе...

Надо сказать, что с самого начала, от первой встречи в подъезде, и позже, в коридорах, и когда Владимир Ильич смотрел, стоя у двери в зал, как лихо отплясывали рабочие из самодеятельного танцевального ансамбля, — все это время за Лениным пристально наблюдали несколько человек. Чем-то они походили на его охрану, такие же аккуратные, подобранные, внимательные. Но одновременно и не походили, потому что было в них что-то театральное, нарочитое. То слишком уж поношенная солдатская шинель, из-под которой торчал стоячий воротничок офицерского кителя, то рабочий картуз над аккуратно выбритой холеной физиономией...

Тем временем разговор продолжался.

— Что-то уж больно они обнаглели, — сказал солдат. — Неужто надеются к старому повернуть?

— А неужто позволите? — в тон спросил Владимир Ильич.

— Не-е, это уж дудки...

— Раз такая у вас уверенность, так тому и бывать, — улыбнулся Владимир Ильич, — Учредительное собрание не будет долговечным, если не признает Советской власти и не одобрит ее декретов.

— А мир-то будет? — выкрикнул кто-то. — Аль это так, опять разговоры?..

Владимир Ильич хотел разглядеть, кто там спрашивает, даже встал немного и встретился взглядом с одним из тех, кто за ним наблюдал, с молодым человеком в солдатской шинели с поднятым воротником. Тот не выдержал, отвел глаза.

— Вот мы уходим завтра в окопы, на

фронт, так что мы — идем драться с немцами или как? — пробасил красногвардеец с повязкой.

— Вот это хороший вопрос, товарищ, — улыбнулся Владимир Ильич. — Немцы в Бресте требуют почти невозможного, и если будут сорваны переговоры, придется драться.

— Понятно... — загудели в толпе.

— А вы как считаете, молодой человек? — неожиданно обратился Ленин к тому, в шинели с поднятым воротником.

Тот растерялся, пожал плечами:

— Ну, в общем, да...

— Ого! — сказал Владимир Ильич, взглянув на часы. — Двенадцать. Новый год! Первый и, конечно, не последний советский! Социалистический!

Ленина и Крупскую в битком набитом зале встретили восторженными криками, громом аплодисментов...

...Молодой человек в солдатской шинели бочком выбрался из толпы, вышел на улицу и шмыгнул под арку. Из темноты выступили двое, руки в карманах пальто:

— Ну?

— Сейчас выйдем...

Люди на улице занимали позиции: молодой человек — в парадном дома напротив, двое других встали неподалеку за деревьями.

Шофер завел машину. Владимир Ильич и Крупская вышли из подъезда. Их провожали Цыганков и Смирнов. Из парадного напротив были отлично видны все четверо: как они стояли, о чем-то переговариваясь, смеялись.

Молодой человек подышал на руки, отогревая их, достал из внутреннего кармана шинели наган, взвел курок. И тут ему показалось, а может быть, так оно и было, что Ленин тоже взглянул в его сторону, и взгляды их снова встретились... Молодой человек опустил руку с наганом, мотнул головой, вытер лоб рукавом. Снова медленно поднял наган... Но тут подкатил автомобиль и заслонил Владимира Ильича...

...Машина ушла, и молодой человек откинулся к стене, глубоко вздохнул, закрыл глаза. Из темноты опять возникли двое. Один вцепился ему в лацкан шинели:

— Ты что же, сволочь?! Почему не стрелял?

— Не смог... — ответил молодой человек. И вдруг заорал: — Не смог, понимаешь?! Не смог!

— Тряпка ты, ротмистр, — презрительно бросил второй.

— Дерьмо! — Первый выдернул у молодого человека наган. — Пшел вон.

Второй устало сел на ступеньки лестницы. — Завтра он должен выступать в Михайловском манеже.

— Это точно?

— Точно. Готовятся там. Будут провожать эшелоны на фронт.

— Что ж, завтра, так завтра...

Огромный зал манежа. Более тысячи человек приветствовали Владимира Ильича криком «Ура!», вскинув винтовки вверх.

Но снова в толпе мелькали странные, подозрительные фигуры, чужие глаза...

Ленин с трибуны обратился к собравшимся:

— Я приветствую в вашем лице верных героев-добровольцев социалистической армии. Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, утверждают колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших. Нам надо показать, что мы — сила, способная победить все преграды на пути мировой революции!..

Владимир Ильич выходил из манежа под звуки «Интернационала», окруженный толпой красноармейцев, смеялся, о чем-то беседовал с Платтенем.

А те, кто наблюдал за ним, передавали сигнал по цепочке: кто чиркнув спичкой, будто прикуривая, кто потайным фонариком...

Владимир Ильич, прощаясь, представлял Фрицу Платтену:

— Вот наша гвардия: Вахромеев, Дыбенко... А это... — Он увидел высокого человека, выделявшегося экстравагантной шапкой и шубой. — Это Рис Вильямс, американский журналист, и его коллега Диана Битти. Товарищ Вильямс сегодня отлично выступал.

— Благодарю вас, — ответил Вильямс по-русски.

— У вас уже неплохо получается по-русски, — заметил Платтен.

— Я хотел бы поговорить с вами, Рис. И с Джоном Ридом. Передайте ему, — сказал Владимир Ильич.

— Что в Германии, Фриц? Как обстановка? — поинтересовался Вильямс у Платтена.

— Обстановка тяжелая. Даже слабая оппозиция рабочих, жаждущих мира, подавлена.

— Значит, на близкую революцию в Германии надежды мало? — спросила Битти.

— Почти никакой, — ответил Платтен. — В Германии умеют держать дисциплину. У них даже голод организован — чтобы и жить по-человечески не жили, и помирать не помирали.

— Что-то уж очень мрачно, Фриц, — сказал Владимир Ильич. — А немцы протестуют в Бресте против братания. Значит, боятся?

— Обращений к народу напрямую всегда боятся. Не любят...

Наконец сели в машину. Подвойский впереди, сзади Фриц Платтен, Владимир Ильич и Мария Ильинична.

...Машина свернула на Симеоновский мост через Фонтанку. В это время сзади и

откуда-то сбоку раздалась хлопки.

— Что это? Выстрелы? — спросила Мария Ильинична.

— Тебе показалось, просто автомобильный выхлоп.

Водитель нажал на газ, рванул машину вперед — через мост. Фриц Платтен сильной рукой пригнул голову Владимира Ильича. И вовремя, потому что следующая пуля задела руку.

— Стой! Стой! Гады!..

Стрелявшие кинулись врассыпную. Матросы погнались за ними, бахая из винтовок и маузеров. Убегавшие отстреливались. Одного из матросов ранили. Кто-то из убегавших перекинулся через барьер и упал в Фонтанку, пробив нестойкий городской лед. Другой запрыгал по крышам, но сорвался. Третьего задержали в подъезде. Он пытался застрелиться, но не успел, ему скрутили руки. Четвертый сгинул в ночи...

У Смольного осмотрели машину: пробито ветровое стекло, еще несколько дырок от пуль нашли на кузове.

Мария Ильинична увидела кровь на руке Платтена, ахнула.

— Ничего, — улыбнулся Платтен. — Неможно.

Мария Ильинична вынула платок.

— Давайте перевяжу. Давайте, давайте.

— Это все ерунда, — сказал по-немецки Платтен. — Но вы, товарищ Ленин, ездите без всякой охраны, выступаете на открытых собраниях, подвергая себя опасности. Зачем? Так нельзя.

— Идет борьба, — улыбнулся в ответ Ленин, — и в такое время ни один большевик в России не может уклониться от опасности.

Утром в кабинете Ленина был Дзержинский.

— Я не хочу отнимать у вас много времени, Владимир Ильич, но в связи со вчерашним покушением мне необходимо задать вам несколько вопросов.

— Каких вопросов, уважаемый Феликс Эдмундович? — Ленин взял с края стола пачку газет и передвинул ее поближе к Дзержинскому: — Вот, пожалуйста, здесь все написано, подробно, что, как и когда. И закончим на этом.

— Хорошо, Владимир Ильич. — Дзержинский даже не взглянул на газеты. — Но я должен поставить вас в известность, что мною будут приняты особые меры по охране вас во время Учредительного собрания.

— Это ваши заботы, товарищ Дзержинский, — сказал Ленин, давая понять, что разговор завершен. — Что-то вы выглядите неважно, Феликс Эдмундович. Может, вам поехать на недельку в Халила? Там неплохо, в общем-то...

— Ну да, — усмехнулся Дзержинский в

ответ,— то-то вы сбежали оттуда... А что это вы меня выпроваживаете?

Владимир Ильич рассмеялся:

— Да, честно говоря, вы с Бонч-Бруевичем немножко затерроризировали меня с этим покушением.

В приемной столкнулись две рабочие делегации. Сдерживая себя, выясняли отношения:

— Простите товарищи, но мы пришли еще затемно.

— Откуда такие прыткие?

— Мы с Сестрорецкого оружейного. А вы вот откуда такие нахальные?

— С Урала, чугунолитейщики... Семь ден добирались.

Секретарь пыталась их успокоить:

— Товарищи, товарищи, нельзя же так...

Из кабинета выглянул Владимир Ильич, улыбнулся:

— Проходите все вместе. И мне, и вам интересно будет послушать, какие проблемы волнуют рабочих столь разных районов... Прощу вас, товарищи.

Расселись вплотную друг к другу. Один из рабочих вынул листок:

— У нас тут написано...

— А вы пока бумажку-то оставьте. Давайте просто поговорим.

Немного помолчали. Потом один из уральцев сказал:

— Товарищ Ленин, вопрос вот какой. Советская власть за мир, а мы до сих пор выпускаем бомбы.

— А что вы могли бы делать из мирной продукции?

— Плуги лемешные, бороны, культиваторы, ну, и мелочь там всякую — чугуны, сквородки...

— Так что же вам мешает?

— Хозяин. Купец первой гильдии Смирнов. Он эти бомбы гонит и гонит...

— Это очень важный вопрос,— вступил в разговор сестрорецкий рабочий,— надо и наш завод передать целиком народу...

— Так, так... А вы у народного комиссара труда Шляпникова были? — спросил Владимир Ильич.

— Быть-то были... Не дождался мы его вчера. Все где-то бегаёт... Наверное, по важным делам.

— Он, конечно, занятый человек,— согласился Владимир Ильич,— но, думаю, не настолько, чтобы не побеседовать с рабочими о столь важных вопросах. Непременно зайдите к нему, сегодня же, а я позабочусь, чтоб он вас принял. Теперь о национализации. Вы, наверное, понимаете, что я как марксист обеими руками за то, чтобы предприятия принадлежали народу, и готов хоть сию минуту декрет подписать. Но тут

один очень важный момент: нельзя, чтобы это решение осталось на бумаге. Понимаете, о чем я говорю?

Рабочие молчали.

— Представьте: хозяина вы прогнали, взяли управление в свои руки. Что дальше? Знаете ли вы, кто вам поставляет металл, станки?

В ответ неопределенно что-то пробормотали.

— А как со сбытом? Кому вы будете продавать или отдавать чугуны, плуги и бороны? Тоже вопрос. И это только два вопроса из тысячи. Чтобы национализация прошла успешно, нужно прежде всего научиться управлять заводами, фабриками, цехами... А то старого хозяина мы прогоним, а нового — нет.

— Оно конечно,— сказал один из рабочих.— Как получается? Хозяин наш вроде как бы уже и не хозяин. Раньше попробуй вынеси что с завода. А теперь охрану уволили. Зачем за эту охрану платить, раз завод вот-вот отберут? Ну и появились такие: хапнет чего и бежит...

— Ну, а вы, рабочие?

— Так ведь вроде как свой же, тоже рабочий. Что ж, за хозяйское-то добро с ним воевать?

— Как же можно терпеть такие вещи, не понимаю! — сказал Владимир Ильич.— Это в корне необходимо пресечь. Этак по винтику, по кирпичику разнесут все к чертовой матери. Вы подумайте об этом, товарищи. Настоящими хозяевами быть не просто... — Он снял трубку, попросил: — Соедините меня, пожалуйста, с наркомом труда, со Шляпниковым... Занято? — Поднялся.— Ну, раз телефон у него занят, значит, на месте. Пошли к нему. Пойдем, пойдем, все вместе...

У приемной наркома труда Ленин остановился, пропустил вперед рабочих. Секретарша поднялась им навстречу:

— Товарищи, товарищи!.. Нельзя! Нарком занят... Вот видите, сам товарищ Ленин к нему.

— А я, знаете ли, подожду,— сказал Владимир Ильич.— Садитесь, товарищи. Подождем, пока Александр Гаврилович освободится.

Секретарша тут же упорхнула за перегородку в кабинет. Мгновенно оттуда выскочила вместе со Шляпниковым.

— Извините, товарищи, извините, Владимир Ильич, срочный разговор по телефону... Проходите, прошу вас...

— Спасибо,— сказал Владимир Ильич.— Как же так, Александр Гаврилович? Двое суток уральские рабочие здесь, а вы побеседовать с ними времени не находите? Нехорошо, батенька, честное слово, нехорошо...

Пятого января, в день открытия Учредительного собрания, еще только брезжил рассвет, батальон егерского полка занял соседнюю со Смольным фабрику, перекрыл мост через Неву, набережную, все прилегающие к Смольному улицы.

Отряд матросов в черных бушлатах с винтовками был построен во дворе Смольного. Командовал Железняков.

С Литейного напирала толпа — лавочники, городские обыватели, чиновники. Кое-где виднелись плакаты: «Вся власть Учредительному собранию!»

Две цепочки матросов преградили толпе дорогу. Винтовки с ремня не снимали, стояли спокойно и недвижно. Только желваки играли под скулами.

Из толпы выкрикивали:

— Долой большевиков! Долой Советы!..

Но когда подошли поближе, выкрики прекратились. В тишине было слышно только сиплое дыхание и шарканье ног. Навстречу вышел Железняков — в правой руке винтовка, левую вытянул вверх:

— Я прошу остановиться! Ни шагу дальше! Сегодня там,— Железняков указал в сторону Таврического,— будет решаться судьба России. Мы, бойцы революции, пламенно призываем рабочих идти в наши ряды, на бой за революцию, за мир, за хлеб! Мы призываем граждан, мы просим их не нарушать порядка, не вынуждать нас применять силу!

В ответ крики, свист...

А в Таврическом — столпотворение. То там, то здесь возникали стихийные митинги депутатов. Люди были, в основном, определенного сорта: чиновники, бывшие помещики, юристы — все, кто попал в избирательные списки еще до Октябрьской революции. Рабочие и матросы, охранявшие вход и проверявшие мандаты, резко выделялись в этой толпе. Были здесь и иностранные журналисты и дипломаты. Стояли особняком, пыхтели презрительно трубками.

Бонч-Бруевич окликнул проходившего мимо матроса:

— Цыганков!

— Есть!

— Помогите! Мне нужно к Урицкому! Дверь с надписью «Комендант» осаждала толпа.

Матрос попытался протолкаться плечом, но не тут-то было. Тогда он вынул маузер и гаркнул:

— А ну, разойдись, буржуйская сволочь!

Поддействию. Расступились. Бонч-Бруевич следом за Цыганковым протиснулся в комнату. Маленький стол Урицкого обступили со всех сторон.

— Граждане,— отвечал всем и каждому Урицкий,— пропуска выдаются во ВЦИКе! Обращайтесь в Смольный за пропусками! Дамочка, я не выдаю пропусков! Я ведаю только порядком в Таврическом...

— А порядка-то у тебя тут нет, Моисей Соломонович,— сказал Бонч-Бруевич.

— Да? А что я могу с ними поделывать? Здесь не ЧК, здесь учреждение демократическое.

— Ленин в Смольном ждет... Вот что, поезжайте-ка вы за Владимиром Ильичом, а я матросов попрошу по коридорам пройтись, это охладит некоторых словоохотливых демократов...

Матросы, строем шагавшие по коридорам Таврического, сразу отрезвляюще подействовали на депутатов. Они притихли, оправили галстуки и манишки, стали пробираться на свои места в зале. Кто-то из них спросил Цыганкова:

— Зачем матросы, товарищи?

— Для охраны Учредительного собрания. Депутат поднял руку и потряс ею в воздухе:

— Молодцы, матросы!

Рядом человек в кавалерийской шинели сказал с усмешкой:

— Ждешь, когда ответят: «Рады стараться, ваше благородие»? Не дождешься.

Приехал Владимир Ильич. Вместе с Бонч-Бруевичем и группой рабочих, прошел по многолюдному коридору, мельком оглядывая собравшихся.

— По-моему, там рядом с Черновым — Гоц. Или я ошибаюсь?

— Тут не только Гоц,— сказал Бонч-Бруевич,— тут еще человек десять из тех, что мы разыскиваем.

— Я прошу вас не трогать их.

— А если сбегут?

— Сбегут, так сбегут. Но арест их в Таврическом недопустим.

Наконец вошли в апартаменты, специально предназначенные для членов правительства. Здесь уже были Сталин, Свердлов, Дзержинский, левые эсеры Калегаяев, Спиридонова, Феофилактов.

— Чаю горячего? — предложил Свердлов.

— Спасибо, не откажусь... Ну и публика, какие-то пришельцы с того света, честное слово. Точно история нечаянно или по ошибке повернула часы назад.

Все немного нервничали. Калегаяев вынул из кармана часы:

— Когда же все-таки будем открывать? По-моему, все уже собрались.

— Раз уж мы обещали открыть эту говорильню,— ответил, смеясь, Владимир Ильич,— мы откроем ее. Сегодня. Яков Михайлович,— обратился он к Свердлову,—

я думаю, вам надо открывать как председателю ВЦИК.

— Но они там Швецов собираются пригласить,— сказала Спиридонова,— как старейшего депутата.

— При чем тут Швецов? — сказал Владимир Ильич.— Мы это собрание созвали, мы и будем его открывать. Чтобы не было никакой двусмысленности. Советская власть не слагала и не сложит своих полномочий. А вести собрание предлагаем вам, Мария Александровна.

Спиридонова вскинула удивленные глаза.

В комнате появился Урицкий. Видно было, что он чем-то расстроен, смущен и сильно замерз.

— Что с вами? — спросил Ленин.

— Шубу сняли,— вздохнул Урицкий.

— Как же так, Моисей Соломонович?

— Да вот, ехал в Смольный сообщить, что все готово. Для конспирации — на извозчике... А в переулке наскочили двое: сымай, барин, шубу, погрелся... Хорошо, еще шапку оставили. Извозчик с испугу сбежал, так я пешком, переулками... Вот... Замерз как черт...

Владимир Ильич едва сдерживал смех, но строго нахмурил брови:

— Кто ответственный за этот район?

— Я,— сказал Бонч-Бруевич.

— Что же это творится? Среди бела дня у начальника Петроградской ЧК шубу снимают. Феликс Эдмундович!

— Расследуем,— улыбаясь, кивнул Дзержинский.

— Ну, так-с... Раз все в сборе, пора начинать! — Ленин первым вышел из комнаты.

Открыв дверь в зал, приостановился.

На трибуну уже взобрался бородатый господин.

— Это и есть Швецов,— сказал Бонч-Бруевич.

— Ну и компания... Где мы должны сидеть?

— Идемте.

Швецов ораторствовал:

— Нам нечего дожидаться, пока Учредительное собрание откроет представитель той власти, которую мы не признаем. Мы сами должны открыть себя, и я как старейший уполномочен...

Громкий шум слева заглушил его слова. А справа эсеры, меньшевики и кадеты ответили грохотом кулаков. Шум, выкрики... Не доходило только до драки.

Владимир Ильич сел на свое место в ложе. Рядом — Бонч-Бруевич, Сталин, Дзержинский и другие члены правительства.

Рядом со Швецовым появился Свердлов.

— Что это такое? Вы зачем здесь? — Он спокойно отодвинул растерявшегося Швецова, взял в руки колокольчик.

Швецов постоял немного, махнул рукой и поплелся с трибуны.

В зале зашумели еще громче и яростней.

Кое-кто из матросов снял с плеча винтовку. Момент был напряженный. Казалось, огромная толпа, нависшая справа, вот-вот бросится на большевиков и растерзает их. Остекленевшие глаза, перекошенные рты, красные от злости лица.

Свердлов продолжал звонить в колокольчик. И мало-помалу зал, наконец, успокоился.

— От имени правительства и Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Учредительное собрание объявляю открытым! — Переждал гул и аплодисменты.— Для ведения собрания необходимо выбрать председателя. Фракция большевиков и левых эсеров предлагает Спиридонову Марию Александровну.

Снова аплодисменты, гул, свист, топот...

— Другие предложения есть? — спросил Свердлов.

К трибуне устремился правый эсер Церетели.

— Я предлагаю избрать председателем нашего долгожданного и полномочного собрания признанного лидера русской революции и партии истинных социалистов-революционеров Виктора Чернова!

Обвал аплодисментов справа, топот слева.

— Тогда уж лучше Керенского. Чего там! — выкрикнул с места Дыбенко.

Свердлов с трудом успокоил зал.

— Ставлю вопрос на голосование: кто за Марию Спиридонову?

Подняли руки большевики и левые эсеры. Счетчики быстро подсчитали: сто шестьдесят семь голосов.

— Кто за Виктора Чернова? Прошу поднять руки.

Справа взметнулось не менее трех сотен рук.

— Большинство за Виктора Чернова,— сказал, сохраняя спокойствие, Свердлов.— Прошу занять место председателя.

Чернов под грохот аплодисментов и одобрительные крики неторопливо пошел к трибуне. Проходя мимо Ленина, взглянул на него сверху вниз, как бы говоря: ну, вот и все для вас кончилось... На трибуне поднял руки, успокаивая зал. Свердлов поставил перед ним колокольчик, сел рядом с Лениным.

— Разрешите мне,— начал Чернов,— приветствовать в вашем лице свободных граждан свободной России, волей которых мы здесь собрались и волю которых мы будем осуществлять. Учредительное собрание представляет собой самое живое единство всех народов России и потому уже фактом от-

крытия провозглашает конец гражданской войне между народами, населяющими Россию...

Ленин обернулся к Свердлову:

— Это ужасно, слушать этих мумий социального фразерства Чернова и Церетели...

А оратор меж тем продолжал:

— Большевики предлагают нам проект так называемой декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Первым пунктом его провозглашается, что Россия объявляется республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам... Я думаю, что мы даже обсуждать не будем эту бредовую декларацию, ибо у нас есть гораздо более важные вопросы.

— Ну, тогда нам здесь просто нечего делать, — сказал Владимир Ильич, поднимаясь, и зашагал к выходу под вой, топот, свист, выкрики: «Скатертью дорога! Без вас управимся, господа большевики! Нахозяйничались! Довольно!»

Скворцов-Степанов подошел к трибуне и поднял руку:

— Прошу слова в порядке ведения собрания...

И в ответ снова гул, топот, крики, свист.

— Я хочу сказать вам вот что, — крикнул Скворцов-Степанов. Ленин даже приостановился в дверях, обернулся. — Сегодня стало окончательно ясно, что между нами все кончено. Мы с вами теперь по разные стороны баррикад!

— Вот это правильно, — сказал Владимир Ильич. — Вот это замечательные слова. — И первым стал аплодировать. За ним все большевики...

...Вернувшись в правительственные аппараты, надевая пальто и шапку, Владимир Ильич грустно проговорил:

— Я потерял понапрасну день, друзья мои... Тяжелый, скучный и нудный день... Пошли отсюда, товарищи. Займемся делом.

На площади Ленин был встречен огромной толпой солдат, рабочих, матросов. Потрясая винтовками, бросая вверх шапки, они кричали: «Да здравствует Советская власть!» «Да здравствует Ленин!»

Протиснулся Урицкий, доложил:

— Дыбенко дал матросам приказ разогнать оставшуюся часть Учредительного собрания.

— Ни в коем случае! — вскинул голову Ленин. — Напишите приказ: «Предписывается товарищам солдатам и матросам, несущим караульную службу в стенах Таврического, не допускать никаких насилий по отношению к контрреволюционной части Учредительного собрания и свободно вы-

пускать всех из Таврического дворца, никого не впуская в него без особых приказов».

Глубокая ночь. Поезд № 4001 медленно двинулся к югу.

Ленин в салоне остался один на один со своими мыслями.

— Теперь против нас поднялся гигант культурного, технического, первоклассно оборудованного, организационно великолепно налаженного всемирного империализма. С ним надо бороться, с ним надо умело бороться. Мы требуем серьезного отношения к обороноспособности и боевой подготовке страны. Мы объявляем беспощадную войну революционной фразе о революционной войне.

В салоне по-прежнему горела лишь настольная лампа, и из темной глубины наплыли воспоминания о спорах в ЦК накануне VII съезда.

Первым появляется лицо Троцкого с насмешливо-меланхолической полуулыбочкой. Позади угадываются Ломов, Крестинский, Урицкий, Свердлов, Бухарин, Сталин, Бубнов...

— В настоящий момент весь вопрос заключается в соотношении сил, — убежденно говорит Троцкий. — Мы должны просто учесть, что нам выгоднее. Превратить все наши силы в военные — это утопия. Поэтому армию необходимо распустить. Но распустить армию не значит подписать мир. Если немецкие империалисты будут наступать именно при нашей демобилизации, они этим ясно покажут всему миру и германским социал-демократам свой звериный оскал. Мне кажется, приемлемым является единственное: мира мы не подписываем, переговоры прерываем, но заявляем, что воевать не будем.

Лицо Сталина, курившего где-то у двери, выплывает из облака табачного дыма:

— Если немцы начнут наступать, а они непременно начнут, это усилит у нас контрреволюцию. Принимая политику Троцкого, мы создаем угрозу погубить революцию у нас. Считаю единственно правильным предложение товарища Ленина.

— Самая правильная позиция — это позиция товарища Троцкого, — говорит появившийся следом Бухарин, — Корнилова мы одолели разложением его армии. Тот же метод мы хотим применить и к немецкой армии. Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся еще на сто верст. Мы даже заинтересованы в этом. Не подписывая похабного мира, мы будоражим западно-европейские массы.

Бухарина сменяет Урицкий:

— Ошибка Ленина в настоящий момент

в том, что он смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международного полетариата. В революционной войне мы потеряем армию, но, подписывая мир, мы потеряем пролетариат!

— То, что предлагает товарищ Троцкий — затягивание войны,— входит в интересы империализма. Суть в том,— говорит Владимир Ильич,— что революционное движение еще и не началось на Западе. У нас оно уже имеет новорожденного и громко кричащего здорового ребенка, и если мы в настоящий момент не скажем ясно, что мы согласны на мир, мы его погубим.

— Я ставлю на голосование следующую формулу,— поднимается Троцкий.— Мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем.

Ленин стоит, отвернувшись к окну. Слышен голос Дзержинского:

— За предложение Троцкого — девять голосов. Против — семь.

На заседании Совнаркома дым, как говорится, стоял коромыслом. Шумно, накурено. Перед Лениным лежал длинный список обсуждавшихся вопросов.

— Давайте подведем итоги, товарищи. Сейчас не время заниматься ширококестельными и несбыточными планами. Необходимо вести черновую практическую работу: обеспечить выработку хотя бы гвоздей, плугов и мануфактуры. Из доклада товарища Шляпникова я так и не услышал, насколько фабрики обеспечены сырьем и топливом. Надо начать немедленно, при содействии Наркомтруда, Петросовета и ВСНХ, перевод заводов на производство продукции для железнодорожного транспорта и для обмена на хлеб. Возражений нет? Далее. Необходимо подготовить проект постановления об улучшении продовольственного снабжения тюрем.

— Время ли сейчас заниматься тюрьмами, Владимир Ильич? — сказал Оболенский.— В Питере голод.

— Благодарю за информацию, товарищ Оболенский. В Питере голод — это не значит, что заключенных не нужно кормить. Война развратила людей в тылу и на фронте, но мы боремся за человека, а не против него.

Вошел Горбунов с бланками телеграмм:

— Телеграмма из Киева. Началось вооруженное восстание рабочих против Центральной Рады. Застрельщиками выступили рабочие завода «Арсенал». И еще... О разгроме мятежа атамана Дутова, из Оренбурга... А это от вашего брата, Владимир Ильич. Сообщает об окончательной победе Советской власти в Крыму.

— Вот видите — шагаем! Всего несколько дней передышки...

Троцкий, собирая бумаги, с победной ухмылкой поднял голову.

— Когда вы возвращаетесь в Брест, Лев Давыдович? — спросил Владимир Ильич.

— В конце недели.

— Как предсовнаркома я требую, чтобы вы и далее затягивали переговоры, насколько это возможно. Но если немцы объявят ультиматум, мы должны отнестись к нему со всей серьезностью и мир подписать.

Троцкий пожал плечами:

— А как же голосование?

— Подчинять капризам внутривластных дискуссий судьбу России мы не имеем права,— жестко ответил Ленин.— Как народный комиссар иностранных дел вы ответственный перед Совнаркомом, а мы перед Исполнительным комитетом съезда Советов. Так что пока нас с вами советская власть не выгнала из правительства, прошу выполнять мои указания.

— Ну-ну...— ответил Троцкий и вышел.

— Об увеличении жалованья солдатам... О новом календаре нужно срочно решать. Удобнее всего ввести его с четырнадцатого февраля...— Голос Бонч-Бруевича куда-то уплывал, таял.

Правительственный поезд медленно тянулся вдоль перрона и наконец остановился. Напротив, через платформу, стоял состав теплушек. На раннем весеннем солнце сверкали сосульки. На перроне и в вокзале было пустынно, будто все вымерло. Но сквозь неплотно прикрытые двери теплушек внимательно смотрели чьи-то глаза.

Двери вагонов правительственного поезда раскрылись, и с площадок высунулись тупые рыльца пулеметов. С первого и последнего вагонов пулеметы сняли и выкатили вплотную к стоявшим напротив теплушкам. Напряженная тишина повисла над станцией Вишера...

...Ленин по-прежнему был один в салоне. Сидел на диване, глядя прямо перед собой...

...В сумраке салона проступали части зала, где проходили мирные переговоры в Бресте.

Перед немецкими генералами речь держал Троцкий:

— Наступил час решения. Мы более не желаем принимать участия в этой империалистической войне, где притязания имущих классов оплачиваются человеческой кровью. В ожидании того, мы надеемся, близкого часа, когда угнетенные трудящиеся классы всех стран возьмут в свои руки власть, подобно трудящемуся народу России, мы выводим нашу армию и наш народ из войны и твердо верим, что другие народы скоро последуют нашему примеру. Правительства Германии и Австро-

Венгрии хотят владеть землями и народами по праву военного захвата? Пусть они свое дело творят открыто. Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора...

Ленин резко поднялся:

— Вы сорвали переговоры о мире, Троцкий. А отдав приказ Крыленко о демобилизации армии, на что не имели никакого права, поставили русскую революцию под удар немецкой военной машины.

Троцкий обернулся и остался лицом к лицу с Владимиром Ильичом.

— Сколько бы мы ни мудрили, какую бы тактику ни изобретали, спасти нас в полном смысле слова может только европейская революция!

Какое-то время они молча смотрели в глаза друг другу...

...Неожиданно из-за окон вагона раздался крик:

— Полундра!

Владимир Ильич подошел к окну, приподнял штору.

Двери теплушек с лязгом открылись, и вооруженные люди посыпались на расчищенные от снега пути.

Из-за щитка пулемета встал Цыганков:

— Стой, братва! — крикнул он. — Я член Центробалта, матрос Цыганков. Именем революционной приказываю вернуться в вагоны! Считаю до трех. Раз!.. Два!..

— Эй, Цыганков! — раздался голос. — погоди, дай подумать...

— Быстрой шевели мозгами! Посчитай пулеметы и кончай волынку!

— Счас... — раздался голос откуда-то со стороны паровоза, и там дважды хлопнул выстрел.

— Не стрелять! — крикнул Цыганков пулеметчикам и вразвалочку зашагал к паровозу. — Кто шумел?

— Мы тут поговорили между собой... — Один из дезертиров кивнул на другого, уже лежавшего на рельсах.

— Оружие сдать придется, — сказал Цыганков.

— Сдать, так сдать... Пару винтовок оставьте нам для охраны?

— Это можно.

Пока перед цепью латышей, кто со злостью, а кто как надоевшую вещь, дезертиры бросали винтовки на перрон, какой-то матрос спросил Цыганкова:

— Говорят, будто в этом поезде Ленин едет...

— Кто тебе брякнул? Верить всякому трепу...

— А то б мы вам так запросто винтовочки сдали, если б не верили, — усмехнулся матрос.

Собранное оружие снесли в багажный вагон. Убрали с площадок пулеметы. Литер-

ный поезд тронулся от станции Вишера дальше, к Москве.

Владимир Ильич глубоко вздохнул и... снова услышал насмешливый голос Троцкого:

— Я считал более целесообразным отступить, чем подписывать мир, создавая фиктивную передышку... Ради единства партии я воздержался при голосовании резолюции о ратификации мирного договора... Но... Если вдуматься, что значит этот мирный договор? Только одно: революционный пролетариат при данных условиях не может дать того отпора, который вытекает из его положения господствующего класса в стране. Тогда скажите, что для революционного пролетариата советская власть является слишком тяжелой ношей, что мы явились слишком рано и должны уйти в подполье... Я не взял бы на себя ответственность за руководство партией в таких условиях.

В конце этой тирады фигура Троцкого стала отдаляться, сливаясь с темнотой. Владимир Ильич, задумчиво глядя в окно, тихо сказал:

— Неужели все так чудовищно просто? Одни будут строить социализм в России, бороться и умирать за него. Другие, не веря, мешать, прикрывая и оправдывая свое неверие фразами о высоких целях, идеалах, благе народа и суровой необходимости...

Тревожно стучал телеграфный аппарат, выбрасывая исписанную ломкими буквами ленту: «В ставке получена телеграмма Троцкого с предписанием в ночь на 29 января издать приказ о прекращении состояния войны и о демобилизации армии на всех фронтах...»

Под этот тревожный стук аппарата по коридорам Смольного торопливо шли Владимир Ильич, Бонч-Бруевич, Дзержинский, Сталин, Подвойский.

«Исходя из этой телеграммы, — продолжал стучать аппарат, — главоверх Крыленко подписал сегодня войскам приказ прекратить на всех фронтах военные действия против Германии и ее союзников и приступить к демобилизации...»

— Что это значит? — спросил растерянно Сталин. — Они что там, с ума походили?

Подвойский встряхнул ворох ленты:

— Может, пропустили сообщение о подписании мирного договора?

— Нет, такого сообщения не было.

И только Ленин сохранял спокойствие, хотя по лицу было видно, чего ему это стоило.

— Передайте в Ставку, — устало сказал он, — всеми возможными способами отменить приказ о демобилизации... Комиссарам

армий и начальнику штаба: задерживать все телеграммы за подписью Троцкого и Крыленко!

Но было поздно. Армия, и без того ручейками утекавшая с фронта, после приказа Троцкого неудержимым потоком стала откатываться на восток, бросая снаряжение, склады, оружие.

Уезжали на поездах, облепив их крыши, буфера, тендеры, тормозные площадки... Уезжали на подводах, на артиллерийских лафетах, бросив пушки. Уходили просто пешком, вразброд...

Эту февральскую ночь многие члены правительства провели в аппаратной Смольного.

— Из Ревеля сообщают, — читал Горбунов с телеграфной ленты, — о концентрации в этом районе немецких войск...

— Запросите Ревель о последних данных военной разведки. Примите самые энергичные меры к немедленной и полной эвакуации заводов! Аналогичные телеграммы вышлите в Минск, Псков, Двинск... — распорядился Ленин.

— Из штаба Западного фронта: «Немецкие аэропланы над Двинском. Перед фронтом концентрируется ударный кулак из нескольких германских дивизий».

Торопливо вошел Подвойский:

— Только что получена шифровка из Ставки. В связи со срывом переговоров в Бресте немцы объявили о прекращении перемирия с двенадцати часов 18 февраля.

— У нас осталось чуть больше суток... — сказал Свердлов.

— Немцы не начнут наступления, — заявил Троцкий. — А если даже начнут, они перед всем миром, перед пролетариатом всех стран и перед собственным продемонстрируют свое хищническое лицо и тем самым подпишут себе смертный приговор.

— Вообще, смешно думать, — негромко проговорил Ломов, — что сейчас мы получим отсрочку. Никакой отсрочки, кроме международной революции, быть не может.

— Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие, — покачал головой Владимир Ильич. — А почвы под ними нет. Вот суть революционной фразы. Вопрос же сводится к одному: посылать или не посылать телеграмму с предложением мира немцам. Вот и все.

— Нет необходимости посылать телеграмму с предложением мира, — сказал Троцкий. — Немцы полагают, что мы дождемся ультиматума. Даже если они начнут наступление, необходимо подождать, какое впечатление все это произведет на немецкий народ, и тогда предложить мир, если его не последует до этого.

— Как так последует? — спросил Ленин. — Сам собой, что ли? Я боюсь, что когда-нибудь про нас скажут горькую правду о том, что революционная фраза о революционной войне погубила революцию.

— Ну, это вы слишком, Владимир Ильич, — возразил Урицкий.

Уже днем Ленин поднялся к себе в комнаты. Хотелось побыть одному, поэтому он слегка нахмурился, увидев Марию Ильичичну.

— Ты здесь? Нездорова?

— Нет. Надя просила тебя подождать, а мне все равно надо закончить статью... Хотя час или два ты можешь позволить себе поспать? Ты очень устало выглядишь.

— Отвяжись, Медвежонок.

— Совещание кончилось или у вас перерыв?

— Кончилось.

— Что решили?

— Ничего, — Ленин вздохнул. — Считаю: все равно погибать! И не хотят понять, что это отчаяние, безволие, ожидание мифической помощи с Запада — позорнее самого позорного мира!

— Успокойся, Володя...

— Я спокоен. Вечером соберемся снова...

В двенадцать часов 18 февраля с немецкой пунктуальностью началось наступление германских армий по всему фронту.

Снаряды обрушивались на блиндажи, в которых еще оставалась часть русских войск, рвались на железнодорожных станциях, разбивая в щепы вагоны, паровозы, перроны, по которым металась безумевшая толпа... Кричали командиры и комиссары в телефонные трубки, требуя помощи, но связь была прервана...

Вечером в тот же день Центральный Комитет снова собрался на экстренное заседание. Присутствовали почти все те же — Ленин, Троцкий, Урицкий, Стасова, Сокольников, Иоффе, Сталин, Крестинский, Зиновьев, Свердлов, Ломов, Бухарин и Смилга, с совещательным голосом Стучка. Чувствовалась подавленность и растерянность.

— Говорят, взяли Двинск? — спросил Иоффе.

— Да, — ответил Троцкий и продолжал с трагической интонацией: — По слухам, немцы наступают на Украину. Если этот факт подтвердится, нам необходимо предпринять определенные шаги: обратиться в Вену, в Берлин с запросами.

— Да, надо действовать, — сказал Урицкий. — Самое вредное — это выжидательная политика.

— Какие могут быть запросы? — горячо возразил Свердлов. — Ждать нельзя ни минуты, а не то что до утра. Если принимать решение, то немедленно.

— Все формальности соблюдать теперь поздно, — поддержал его Сталин. — Немцы наступают, и у нас нет сил для сопротивления. Нам остается одно — возобновить переговоры.

Ленин поднял от бумаг усталые воспаленные глаза:

— Вчера, по-моему, никто не голосовал за революционную войну, а сегодня мы, не имея ни войны, ни мира, втягиваемся в нее. Шутить с войной нельзя. Если революционная война, то надо ее объявить, прекратить демобилизацию, а так, как сейчас, нельзя. Пока мы пишем бумажки, они берут города, продовольственные склады, вагоны с хлебом, а мы околеваем от голода. Играя с войной, мы проигрываем революцию! Мы могли подписать мир, который не грозил революции. Теперь у нас нет ничего. Теперь поздно обмениваться нотами, поздно занимать позицию выжидания. Нужно предложить немцам мир.

— Мы не сейчас играем с войной, мы играли с войной, когда в течение двух месяцев, не имея военной силы, тянули переговоры, — заметил Троцкий. — Предлагаю запросить немецкие требования с обязательством дать ответ в определенный срок.

— С неразберихой надо кончать, — сказал Сталин. — Это в литературе так можно поставить вопрос, как его ставит товарищ Троцкий. А на деле немцам стоит открыть ураганный огонь на пять минут, и у нас не останется ни одного солдата на фронте.

— Здесь заметны паника и растерянность, — вмешался Бухарин, — а ведь события развиваются так, как и должны были развиваться. Все, что сейчас происходит, мы предвидели. Мы говорили: либо русская революция развернется, либо погибнет под давлением империализма. Теперь уже нет возможности уклониться от боя. Если даже возьмут Питер, рабочие будут драться на улицах, на баррикадах! Мы можем и мужиков поднять на немцев. У нас теперь только наша старая тактика — тактика мировой революции.

— Бухарин и не заметил, как перешел на позицию революционной войны, — сказал Владимир Ильич. — Мужик на революционную войну не пойдет и сбросит каждого, кто будет открыто к ней призывать. Революционная война не должна быть фразой. Мы не готовы к войне, и я предлагаю заявить, что подписываем мир, который вчера предлагали немцы. И если они выдвинут новые, еще более жесткие требования, то и их все равно надо принять.

— Я ставлю на голосование свое предложение, — сказал Троцкий. — Перемирия не

требовать, но запросить у немцев, чего они хотят.

— Я предлагаю поставить этот вопрос по-другому, — возразил Владимир Ильич. — Обратиться к немецкому правительству с предложением немедленного заключения мира. Кто за?

Проголосовало семь человек: Ленин, Смилга, Сталин, Сокольников, Свердлов, Зиновьев и, поколебавшись, Троцкий.

Ленин даже не улынулся этой победе. Он смертельно устал...

Позже в своем кабинете Владимир Ильич принимал Цюрупу:

— Центральный Комитет рекомендует вас наркомом продовольствия вместо уехавшего в Сибирь Шлихтера. Работа архитрудная. Как у вас со здоровьем, товарищ Цюрупа?

— Ничего, Владимир Ильич, не жалуюсь.

— Необходимо наладить хозяйство, иначе пропадем. Монополия на хлеб должна быть жесткой и нерушимой...

В кабинет заглянул Горбунов:

— Прибыл Крыленко.

— Пригласить немедленно. Извините, Александр Дмитриевич, что не договорили, но такое время сейчас.

— Я понимаю, Владимир Ильич.

Проводив Цюрупу до двери, Владимир Ильич остановился, пропуская входивших Крыленко и молодого офицера в шинели, перетянутой ремнями, со следами недавно снятых погон.

— Разрешите рекомендовать как дикпурьера к немцам прапорщика Турчана Владимира Михайловича, — сказал Крыленко.

Ленин пытливо взглядылся в лицо молодого офицера.

— Мы с ним однокашники по Московскому университету, — продолжал Крыленко. — Головой ручаюсь...

Владимир Ильич протянул Турчану запечатанный сургучом пакет:

— Вы должны передать его полномочному представителю германского командования в Двинске. Только ему и никому другому. Ни при каких обстоятельствах... Даже под угрозой вашей собственной жизни... Получить ответ и вернуться как можно скорее.

— Мы даем ему вагон, два паровоза и взвод латышских стрелков для охраны, — сказал Крыленко.

— Счастливо, — Ленин протянул руку Турчану. — Будем ждать вас.

Во двор Смольного входила дивизия сестрорецких рабочих. Оркестр, развернутые знамена, на бойцах короткие полушубки. Через другие ворота вольным шагом входили кронштадтские матросы...

Бонч-Бруевич, стоявший рядом с Лениным у окна, сказал:

— Дивизия сестрорецких рабочих, моряки Кронштадта и латышские стрелки уходят на фронт.

— От немцев есть ответ на нашу радиogramму?

— Нет. Кроме подтверждения, что они ее получили.

На станции Унтяны, захваченной немцами, в темном сарае томился прапорщик Турчан. Он сидел в углу, обхватив руками колени. Вскочил, стал стучать кулаками в дверь:

— Не смеете меня здесь держать! Я уполномоченный представитель советского правительства! Меня ждут в Петрограде! Доложите обо мне генералу Гофману!

В ответ солдатская брань:

— Молчать, свинья! У Гофмана и без тебя забот хватает.

Полки рабочих, матросов, солдат шагают по улицам Петрограда. Грузятся в вагоны. Поезда с революционными войсками движутся на фронт. По дорогам идут броневики и конная артиллерия. В море выходят военные корабли...

Из автомобиля, который мчался навстречу отступающим с фронта войскам, выпрыгнула молодая работница с пачкой листовок:

— Воззвание Совета Народных Комиссаров! Немцы наступают на Петроград! Социалистическое отечество в опасности!..

Звучит голос Владимира Ильича за кадром: «Священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита Республики Советов! Всем Советам, революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови... Социалистическое Отечество в опасности!.. Да здравствует Социалистическое Отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!»

Солдаты, отступавшие с фронта, перестраивают ряды. Звучат четкие слова команд... Примкнув штыки, рабочие, солдаты, матросы неудержимо идут вперед... И вот уже немецкая часть выбита из окопов...

На станции Унтяны двери сарая распахнулись, вошли два офицера германской армии:

— Господин Турчан, генерал Гофман ждет вас!..

...Турчан четким шагом вошел в кабинет Ленина, молча протянул конверт.

Владимир Ильич пробежал глазами текст германского послания. Лицо его дрогнуло словно от сильного приступа боли...

На заседании ЦК Свердлов огласил германские условия:

— По новым условиям Советская Россия должна потерять всю территорию Прибалтики и часть Белоруссии. Турции мы должны отдать Карс, Батум и Ардаган. Вывести войска с Украины и подписать соглашение с буржуазно-националистической Центральной Радой... Германское правительство предлагает принять изложенные нам условия в течение сорока восьми часов.

— Сорок восемь часов, очевидно, считается до завтра, до семи утра,— меланхолично заметил Троцкий.

— Так! — решительно сказал Ленин.— Политика революционной фразы окончена! Ибо если эта политика будет теперь продолжаться, я выхожу из правительства и Центрального Комитета. Для революционной войны нужна боеспособная армия. У нас ее нет. Надо принимать условия, другого выхода я не вижу.

— Что ж, вести революционную войну при расколе партии мы не можем,— развел руками Троцкий.— Хотя доводы Владимира Ильича далеко не убедительны. Даже если бы мы принуждены были сдать Питер и Москву, это было бы не так уж плохо. Мы бы держали весь мир в напряжении. Но для войны нужно максимальное единодушие, а его у нас нет. В такой ситуации я не возьму на себя ответственность голосовать за войну.

— Энтузиазма прежнего нет. И ничего нельзя поделывать,— уныло сказал Зиновьев.— Есть только всеобщая усталость... Мы вынуждены принять предложение немцев. Надо было, конечно, подписывать договор раньше, но если время упущено, что ж делать... Надо хотя бы теперь подписать.

Поднялся Бухарин, потрянул листком с немецким ультиматумом:

— Эти предъявленные условия несколько не оправдывают того прогноза, который был дан Лениным! Хуже ли их нынешние предложения, лучше ли — не в этом дело. Дело в том, что в принципе они для нас неприемлемы. Как быть, например, с требованием о разоружении советских войск? Я полагаю, что теперь это главное.

— Можно не подписывать этот похабный мир,— сказал Сталин,— но начать мирные переговоры необходимо. Либо передышка, либо гибель.

— Передышки не будет,— возразил Дзержинский.— Если мы подпишем этот договор, то лишь укрепим германский империализм. Подписывая этот мир, мы ничего не спасем... Но... внести раскол в партии и принять отставку Ленина?.. Нет, этого мы не можем.

— Сталин неправ, когда говорит, что можно не подписывать мира,— сказал Владимир Ильич.— Если вы его не подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской власти! У меня нет ни малейшей тени колебания. Я ставлю свой ультиматум не для того,

чтобы его снимать. Я не хочу больше революционных фраз!

— Я отказываюсь от слова,— махнул рукой Иоффе.— Мне больно говорить... Я не хочу говорить...

Поднялся Урицкий:

— Наша капитуляция перед германским империализмом задержит зарождающуюся революцию на Западе, и советская власть не спасется подписанием этого мира.

— А подписать его нужно! — спокойно сказал Свердлов.— Сильной, организованной армии у нас пока еще нет, и с этим необходимо считаться.

Ломов тяжело поднялся и веско сказал: — Ленин грозит отставкой. Ну что ж... Напрасно этого некоторые пугаются. Надо брать власть без Владимира Ильича, идти на фронт и делать все возможное.

После этих слов повисло тягостное молчание. Всем было неловко смотреть друг другу в глаза. Молчание нарушил Дзержинский:

— Может быть, объявим перерыв на пятнадцать минут? Запросим фронт. Может, положение наших войск не так уж плохо?

— Не нужно перерыва,— сказал Урицкий.— Новая информация никого здесь не убедит.

Троцкий откинулся в кресле, сказал негромко, будто размышляя:

— Условия, предложенные нам теперь, стали, конечно, хуже, чем были в Бресте. Этого я не отрицаю... Зато теперь ясность полная, и ни для кого не может быть сомнений в империалистических стремлениях Германии в этой войне. Я не согласен с Ильичом, что, если мы не подпишем этот мир, нам непременно грозит гибель. Хотя, конечно, опасность есть. Но опасность есть на обоих путях — и на пути мира, и на пути революционной войны. В позиции Ленина много субъективизма, и у меня нет уверенности в том, что она правильна. Но я не хочу мешать единству партии... И потому не могу оставаться на посту наркома иностранных дел и нести персональную ответственность за нашу внешнюю политику.

И снова воцарилось тяжелое молчание.

— У Германии,— сказал, наконец, Сокольников,— совершенно определенный план — удушить нас. Мы подписываем эти условия как отсрочку для подготовки революционной войны, я так понимаю. И подаю голос за подписание мира.

— К революционной войне нужно серьезно готовиться. Я это устал повторять,— сказал Владимир Ильич.— Как и то, что основная масса крестьян и рабочих сейчас за мир. Предлагаю прения прекратить и поставить на голосование: принять ли немедленно германские предложения?

Троцкий воздержался, Ленин проголосовал — за. Бубнов — против. Крестинский воздержался. Дзержинский воздержался. Иоффе воздержался. Стасова — за. Урицкий — против. Зиновьев — за. Свердлов — за. Бухарин — против. Сталин — за. Ломов — против. Сокольников и Смилга — за.

— Итого, за принятие германских условий — семь,— сказал Владимир Ильич.— Против — четыре. Воздержалось — четыре. Итак, мы готовим делегацию в Брест...

— А допускает ли Владимир Ильич,— спросил Ломов,— открытую агитацию против подписания мира?

— Допускаю,— ответил с яростным спокойствием Ленин и, помолчав, добавил: — Но кто виноват в том, что новые условия хуже, тяжелее, унижительнее? Не те ли, кто голосовал против брестского мира, отвечая на прежние предложения немцев фанфаронством и бахвальством?..

Правительственный поезд подходил к Москве, к Николаевскому вокзалу. На перроне не было почти никого. Только две или три фигуры встречавших, видимо, сильно замерзших от долгого ожидания...

Владимир Ильич, Надежда Константиновна и Мария Ильинична в сопровождении Бонч-Бруевича и Цыганкова, подхватив свой скудный багаж, вышли из вагона...

Перед ними была Москва, холодная, полупустая, голодная, живущая, казалось, одной всепоглощающей жаждой всеобщего мира и счастья...

А дальше пойдут кадры старой хроники, на которой снят выступающий на митинге Ильич. Звучат его слова:

— Благодаря достигнутому миру, несмотря на все его тяготы и непрочность, Российская советская республика получает возможность на известное время сосредоточить свои силы на важнейшей и труднейшей стороне социалистической революции, а именно, на задаче организационной. Итак, мы, партия большевиков, Россию убедили, мы Россию отвоевали у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся, мы теперь должны Россией управлять. Это самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких экономических основ жизни десятков и десятков миллионов людей, и это самая благородная задача, ибо лишь после ее решения в главных и основных чертах можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической республикой.



РУДОЛЬФ КОНСТАНТИНОВИЧ ТЮРИН (родился в 1938 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор и соавтор сценариев художественных фильмов «Памятник», «Прощание с Матерой», «Вкус хлеба», «Птицы наших надежд», «Кровь и пот», «Серебряный Рог».

Сценарий «День как день» готовится к постановке на киностудии «Мосфильм».

РУДОЛЬФ ТЮРИН ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

3 ЧАСА 07 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ 1983 ГОДА
Ночь. Горница. Пряхин лежит в постели с открытыми глазами. Стучат часы.

Шла посевная. Хозяйства района сеяли вовсю. А Пряхин все не начинал, смутно предчувствуя близость какой-то беды. Лежал и думал: три дня потеряны. Терять четвертый? Сеять или еще ждать? Ответ не приходил. И 26-летний колхозный бригадир не мог спать.

Стучат часы. Пряхин сбрасывает одеяло. Босой шлепает к висящему на стене барометру. Чиркает спичку. Глядит. Барометр показывает на «ясно». Пряхин стучит ногтем в стекло прибора. Еще чиркает спичку. Глядит. Опять — «ясно».

Жена Зоя, ей 27, на год старше мужа, шарит под кроватью, запускает в Пряхина тапочком.

— Уймись, дай часок поспать!

Пряхин ложится, закрывает глаза. Слушает стук часов. Дремлет. И видит сон.

...Был летний полдень. Был двор, яркая залитая солнцем трава. Было ему, Мишке, два года, и сидел он без штанов на травке. И был петух. Громадный, черно-золотой, с гребнем и в шпорах. Ходил у ног Мишки, стерег кур. И Мишка зачарованно, с тайным ужасом и восторгом следил за ним — ярким, картинным, грозным. Петух остановился. Поднял лапу со шпорой, скосил на Мишку

круглый строгий глаз. «Конец!» — подумал Мишка и начал потиху умирать от страха. Но заорал вдалеке соседский крик. В ответ петух тряхнул гребнем, присел, вдруг дернулся на голенастых ногах вверх и отозвался таким хриплым, оглушительным кукареканьем, что Мишка... Но уже сбегала с крыльца тогда еще не умершая молодая в красной кофточке мать...

Проснулся от того, что тормозили в плечо. Вскинулся со сна.

— А?! Чего?! Кто? Где?

— Стучат, — сказала Зоя.

Стучали с улицы, в раму окошка.

Пряхин сбрасывает одеяло. Босой шлепает в кухню. Лезет на табурет у окна. Высовывает голову в форточку.

— Пузырев, ты? Привез? Ехай к весовой, я сейчас.

Слышен гул отъезжающего от дома трактора.

Пряхин слезает с табурета. Одевается.

В кухню выходит недоспавшая Зоя. Включает свет. Ставит на газ чайник.

— Кто был?

— Силос из «Коминтерна» приехал, — ответил Пряхин.

Кашляя, выходит на кухню отец, старик Пряхин.

— Во, всех поднял, — говорит мужу Зоя.

— Не сплю я,— отвечает старик. Набросив кожух, выходит во двор.

Собирая завтрак, Зоя выговаривает Пряхину:

— Огород садить собираешься? Поросятка брать? Не брать? Одного? Двух?

— Трех.

— Не idiotничай. В сарайке пол под коровой валится, того и гляди ноги себе переломает. Парник время ладить, рамы выставлять. Калитка и та вон на одной петле скрипит. А у него, у хозяина, ни до чего руки не доходят!

— Сев у меня,— огрызается Пряхин.

— Сей! Чего не сеешь? Чего дурью маешься? Глянь, чего от меня осталось!— Ловит руку Пряхина, кладет и удерживает на своих ребрах.— Шупай, шупай!

Пряхин делает нарочито деловое лицо, шупает. Зоя бьет по рукам.

— Пусти-ка, вцепился!

Ставит на стол завтрак. Пряхин садится. Берет вилку. Есть не может: нет аппетита. Ковырнув яичницу, кладет вилку.

— Жри!— приказывает Зоя.

— Не хочу.

— Глянь, на кого похож стал. Почернел весь.

— Почернеешь...

Пряхин садится у порога обувать сапоги. Надел один, разул обратно. Идет в горницу к барометру.

Мимоходом заглядывает в детскую, к ребяташкам.

Семилетняя Оля, школьница, спит одна. Марину, ей пять, кладут с младшим, трехлетнем Алексеем. Сбивши одеяло, он спит поперек постели, закинувши ножонки на лицо Марины.

Пряхин укладывает сына на место. Не присыпаясь, Алексейка тотчас занимает прежнее положение. Пряхин перекладывает еще и еще. Бодает малыша носом, стыдит:

— Алексейка, Алексей Михайлович, слышь меня, Алексей Михайлович? Ты зачем сестренку обижаешь?

Звенит будильник. Зоя бросается на часы с подушкой. Держит, пока не отзвенят. Выталкивает Пряхина из детской.

Пряхин возвращается к сапогам. Обувшись, просит:

— Принеси-ка, прибор там забыл.

— Кого забыл?

— Не кого. А чего. Барометр дай, в горнице!

Зоя приносит, ворчит:

— Все в дом тащат, а он из дома.

Пряхин не отвечает. Стучит по стеклу барометра. Прибор показывает на «ясно».

— Опять к суху кажет!— Просит Зою:

— Ну-ка, ты постучи.

Зоя стучит.

— Опять к суху. Лучше стучи!

Зоя стучит пальцем по голове Пряхина.

— Ладно, это мы еще будем поглядеть!— говорит Пряхин.

Встает. Надевает болоньевую куртку, кепку. Запихивает барометр в карман. Выходит.

— Калитку хоть сегодня налады!— кричит Зоя.

Пряхин не отвечает.

Старик Пряхин стоит у калитки. Курит тайком от сына в рукав. Услышав Михаила, прячет сигаретку, разгоняет дым. Поздно!

Подошедши, Пряхин молча обыскивает отца. Ищет в карманах, в шапке, за отворотами чесанок.

Находит, уничтожает табак.

Старик виновато, как мальчишка, шмыгает носом. Из рукавов кожушка висят на веревочках варежки, как это делают малышам, чтобы не потеряли.

— Еще увижу, обижусь,— говорит Михаил.

Выходит со двора. Следом, чтобы приласкаться, выскакивает пес Рыжа. Михаил гонит его обратно, пес возвращается. Убедившись, что Михаил уже далеко, старик выуживает из-под кожушка и раскуривает утанный от обыска окурок.

4 ЧАСА 14 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ

Весовая. Горит тусклая электролампочка. Стоит колесный Т-150 с двумя прицепами, груженными силосом. Работает на холостых двигатель трактора.

Скорым шагом подходит Пряхин. Кричит в кабину водителя:

— Глуши! Сколь уже я с вами, с трактористами, лаюсь: «не жгите горючку, экономьте, считайте!»

— Не свое, чо считать,— отвечает тракторист.— Но тут же глушит движок, вылезает наружу.

— Слова нам, Степаныч, горох об стенку. Нас в лоб бить надо, это мы понимаем.

— Рублем бить буду, по карману. Тогда сразу считать начнете.

— Тут уж никуда не денешься, тут уж придется!— охотно соглашается Пузырев.

Пряхин обходит прицепы с силосом. Пузырев следует за бригадиром, пинает сапогом скаты колес.

— Сколько тут?— спрашивает Пряхин, оглядывая привезенный силос.

— Вон кладовщик бежит. Взвесит, скажет. Ставиться на весы?

— Погоди.

Пряхин берет с прицепа горсть силоса, пробует на вкус, выплевывает.

— Что-то, Пузырев, не то ты привез!

— Наоборот, самое то, что надо!

Подходит кладовщик.

Пряхин, желая проверить себя, предлагает силос на пробу кладовщику.

— Пробуй.

Кладовщик, икнув, отказывается:

— Ну его, с утра не заедаю.

Пряхин жует силос. Сплевывает. Берет новую щепоть.

— Коровам маленько оставь,— шутит Пузырев.

Кладовщик выговаривает трактористу:

— Первый рейс делаешь и чуть не всю ночь две тележки везешь!

— Через Выселки шел, напрямки дорога не пускает,— оправдывается Пузырев.

Пряхин, не вступая в их разговор, выплевывает силосную жвачку и объявляет:

— Не годится такой силос, морозом бит.

— Не может того...— возражает Пузырев.— При мне свежий траншей вскрыли.

— Вот мерзлого сверху и накидали!— говорит кладовщик.

— А ну, дай попробовать,— говорит Пузырев.

Жует силос.

— Нормальный!

— Обратно вези,— говорит Пряхин.— Коровы его есть не станут.

Пузырев обижен:

— Я жру, коровы не станут?

— А ты его проглоти,— говорит кладовщик.— Глотай его, глотай!

— Сам глотай!— тракторист выплевывает жвачку.— Я в «Коминтерне» наглотался! Приехал, они смеются, подначивают: «Не стыдно, на новеньких тракторах с протянутой рукой ездить побираться?» Сгружай! Больше туда не поеду!

— Мы «Коминтерну» тридцать тонн фуражного зерна за силос отдали. Свое едешь брать, не побираться.

— Не поеду!— уперся Пузырев.

Обходит злосчастные прицепы с силосом, зло пинает скаты колес.

— Вот тебе пятьдесят граммов этого твоего силоса. Ешь. Не съешь — обратно повезешь,— говорит Пряхин.

— А съем — не поеду? Годится!

Пузырев жует силос.

Чикуров, кладовщик, дает ценные советы:

— Мельчя жуй! Мельчя! И глотай его, глотай!

Пузырев мычит, грозит знаками: «уйди!» Съесть силос, сухой, выжатый морозами,— не может. Уходит за трактор. Возвращается, утирая рот.

— Все. Больше об этом не говорю,— объявляет Пряхин.— Посевная...

Пузырев лезет в кабину. Яростно запускает двигатель своего мощного Т-150.

Пряхин идет улицей. Впереди огромная, почти непреодолимая весенняя лужа.

Пряхина нагоняет и обходит Пузырев на Т-150 с прицепами.

Пряхин цепляется за борт задней тележки,

благополучно, с «удобствами» переезжает лужу. Спрыгивает. Идет дальше...

Светает. Но дома и дорога еще темны. Лишь дом скотника Петра Бобыкина распахнут настезь и ярко светится электричеством.

На воротах красным светом мигает-гаснет и снова мигает аварийный стоп-сигнал. Рядом сидит, дремлет Бобыкин. Шляпа валяется у ног.

Пряхин поднимает, надевает ее на Бобыкина. Тот скидывает опять.

Скотнику Бобыкину изменила жена. С горя Бобыкин «гудел» и не желал выходить на работу.

Пряхин поднимает шляпу. И опять Бобыкин ее скидывает.

— Петро!

— Что?

— Ты чо это?

— Ничо!

— А мигалка зачем? Сломался, чо ли?

— Нинка моя сломалась. С городским. А я теперь борделю открыл, красный фонарь повесил. Заходи! Тут Нинка Бобыкина живет! Каждый заходи, отказа никому не бывает!

— Об детях подумай!

— Не надо мне! Ничо мне теперь не надо!

Пряхин выключает стоп-сигнал. Гасит в доме электричество. Затворяет распахнутые окна и двери. Возвращается к Бобыкину. Садится рядом, спрашивает:

— На работу думаешь?

Бобыкин дремлет, не отвечает.

— Петро!

— Чо?!

— Спрашиваю, на работу думаешь?

— Не надо мне!

— Чего?

— Ничего не надо! Дипсомания у меня! Гуляю!

Пряхин встает. Поднимает шляпу. Туго напяливает ее на голову Бобыкина.

— Дипсоманику, Петя, я из тебя вечером вышибу. Чтoб завтра же — на работе. Все! Об этом больше не говорю. Посевная.

Машинный двор. Шеренгой стоит готовая к севу техника.

Пряхин обходит ее, как командир свой боевой строй. Затем пытается завести свой старенький, до предела изношенный «газик». Мотор за ночь нахолодал, не заводится.

Подходит ночной вахтер Хвостов.

— Подсобить?

— Дерзай!

Пряхин остервенело вращает рукояткой коленвал.

Не заводится.

— Шихта!— ругает машину вахтер.— Подсосу дай и газку!

Вдвоем с помощью рукоятки запускают мотор.

Старый Хвостов охает, не может разогнуть спину.

— Поясница?

— Ну! Ночами не сплю. И парил, и гладил, и чо только с ей не делал... Шихта!

— Вина выпей.

— Не, это не лекарство!

Согнувшись пополам, боком, как краб, ползет к будке. Останавливается. Спрашивает:

— Сеяться-то нынче думаешь?

— Надо бы,— отвечает Пряхин.

— Давай! А то как бы нам в дурачках не остаться.

Пряхин не отвечает. Выезжает за ворота.

Едет селом с включенными фарами.

За селом дорога светлеет, и Пряхин включает фары.

Пряхин ходко гонит машину. Вдруг резко тормозит, останавливается. Выходит. Идет по дороге назад. Поднимает с обочины брошенный или утерянный буксировочный трос, почти новенький. Кладет находку в машину. Гонит дальше.

Сперва решает оглядеть Афонинское поле. Сворачивает прямо на пахоту. Едет, отворив дверцу. Время от времени останавливается. Не бросая руля, хватает горсти земли. Мнет, нюхает и кидает. Так в разных углах поля.

Затем глядит поля седьмое, тринадцатое, восьмую клетку. Берет почву с глубины. Смявши ком, пускает с высоты роста на-земь: комья не рассыпались, значит, влага держится, но сеять было пора, пора!

Проверил озимь. Вырвал несколько зеленых кустов, поглядел корневую систему.

К полю «У березок» выруливает, дав круг.

Подъезжает к копнам прошлогодней соломы, не сожженной почему-то механизаторами. Вытаскивает из «газика» канистру бензина. Плеснув, поджигает копны.

Садится. Долго наблюдает огонь. Достает и глядит на барометр: «ясно». Но сырой белый дым с копен валит по земле. Смотрит на часы.

5 ЧАСОВ 41 МИНУТА 29 АПРЕЛЯ

В этот миг всходит солнце. Освещает поля.

Пламя пылающих копен меркнет в его лучах.

Пряхин поднимается, встречает восход светила. Затем опускается в соседний ложок. Поросший ельником, березой, кустами, он еще держит в себе твердый серый снег. Под наледью журчат чистые, прозрачные ручейки.

Очистив об снег налипшую на сапоги глину, Пряхин лепит снежок, кидает в елку. Хотел было напиться, но ручейки были слишком слабы. Поискал подснежники,

не нашел. Полез по склону к машине...

Домой гнал!

Застучало в раздатке. Встал. Заглох. Минут двадцать бился с машиной. Вышибало обе низкие передачи. Пришлось ехать, не снимая руки с рычага передач.

В конторе толкался, курил народ. Механизаторы, шоферы, животноводы, сеяльщики, кантарщицы с семенного склада.

Пряхин на ходу здоровается — сразу со всеми. С порога кидает на стол кепку. Распахивает форточку. Вытряхивает из пепельницы окурки. Присутствие множества посторонних и непосторонних людей вовсе не мешает ему. Все делает так, как если бы был в комнате один. Достает из ящика стола молоток и гвоздь. Вбивает гвоздь в стену, вешает барометр. Садится и сразу снимает телефонную трубку.

— Район? Синоптики? «Пролетарец» на аппарате. Дайте погоду. Какую? Хорошую, разумеется! Даете? Спасибо. Без осадков? Верится. Но с трудом. Дым в поле к земле валит, сам наблюдал. Сеять? Не опасаться? Ваши б слова да богу в уши! — Кладет трубку. — Ладно, погода хорошая, настроение отличное, будем идти вперед. Гладышева ко мне!

— Тут я!

Гладышев, мальчишка-механик по кличке Сейсекунд, возникает перед Пряхиным, как черт из коробки. Обут в разношенные, с обрезанными голенищами валенки: левый валенок — черный, правый — белый.

— Звали?

— Звал. Низкие передачи на «газике» вышибает. Еду — рукой держу. Глянь, чего там.

— Сотая доля секунды! — Гладышев исчезает.

Пряхин не спеша оглядывает собравшихся.

— Первый вопрос животноводам. У тебя, Тамара Тимофеевна, доярки руки на ферме моют?

— Дак должны б мыть... — вяло отвечает завживотноводством.

— Вчера мыло у рукомойника потрогал, сухое.

Пауза.

— Второй вопрос, Тамара Тимофеевна. Выбракованный скот на мясокомбинат собираешься отправлять?

— Надо бы отправлять...

— Третий вопрос, Тамара Тимофеевна...

Кормач Жижин весело перебивает:

— Чо ты все ей, Степаныч. Мне тожеть какой вопросик задай!

— Задаю. Когда ты, Жижин, в рабочее время прекратишь поддавать? Тридцать второго? Какого месяца?

Механизаторы смеются:

— Он только пол-теленка пропил!

— Еще пол-теленка осталось!

Натягивают Жижину кепку на уши. Тот отбивается. Курит цыгарку в рукав, пуская дым вниз к полу.

Пряхин вновь обращается к завживотноводством:

— Ну так чего, Тимофеевна? Работать будем?

— Не справляюсь — снимайте. Дояркой пойду. Мое при мне было и опять останется.

Влетает Сейсекунд.

— Докладаю, Михаил Степаныч, сделано!

— Спасибо, Толя.

Сейсекунд исчезает. Прерванный разговор с животноводами продолжается:

— Знаешь, Тамара Тимофеевна, что в жизни самое трудное? — говорит Пряхин.— Хомут по своей шее найти! В узкий влезешь, мало на себя взял, жить скучно. Широкий — натрет, опять плохо. Так что решаю для себя: или — или...

Пауза.

— Все. Об этом больше не говорю,— объявляет Пряхин.— Посевная...

Женщины встают.

— И еще вопрос,— останавливает женщин Пряхин.— Петю Бобыкина давайте как-то на ноги ставить. Теряет себя мужик.

Реплики присутствующих:

— Нинка-то, жена его верная, где?

— У матери в Королях прячется.

— Бойтся домой идти; мол, убьет.

— Убьет? Да где это бывало? Где нынче таких мужиков найти?

— Да вас бы всех поубивать, ну!

Пряхин останавливает перепалку:

— Может, к ему ребятишек из интерната привезти, все живая забота, все не один?

Женщины молчат, думают.

— Ладно, тут чем-то сам думать буду,— говорит Пряхин.— Готовьте стадо к выпасам. В летних лагерях что-нибудь сделали?

— Ковырялись маленько,— отвечает Жижин.

— У нас к тебе, Михаил Степаныч, встречный вопрос,— говорит бригадирка фермы Грахова.— Когда ты этого паразита кино-механика обуздаешь?

Реплики:

— Глушит, гад, телевизоры, ничо не дает глядеть!

— Вчера концерт Хазанова показывали, он как включил помехи, ну ничо не слышать! Прямо такая я злая на жизнь! — говорит тетя Любка.

— Ладно, разберусь,— обещает Пряхин. Животноводы уходят.

Остаются механизаторы Коробейников, Суханов, Мымрин, Тепляков, Шадрин, шоферы, слесари, сеяльщики, кладовщик Чикуров, учетчица Инна Малюганова. Всех интересует главное: начнут ли сегодня сев? Но никто не считает приличным задать этот вопрос в лоб. Все молчат.

Наконец, кто-то из механизаторов не выдерживает:

— Сеять-то седня будем, нет?

— Надо. Но боюсь,— говорит Пряхин.— Предчувствие у меня нехорошее. Может, еще денек подождем, а?

Взрыв реплик:

— Чего ждать?

— Свалить скорее да братья за свои огороды!

— Дело не в своих огородах, об общественном болеем!

— Об своем тоже не грех поболеть! — горячится молодой Суханов.— Я вон с семьей в отпуск собрался, самолетные билеты на семнадцатое мая взял, а не отсеемся, куда я с ими?

— Сей, Михаил Степаныч, сей, пора, не прогадаешь!

Пряхин молчит, решает. Механизаторы ждут, не мешают.

— Ладно, когда-нибудь, а сеяться надо,— говорит Пряхин.— Ставь, Инна Ивановна, свой стакан!

Одобрительный гул голосов.

Толкаясь, подравниваясь в затылок, механизаторы образуют очередь к столу Малюгановой.

Она достает журнал медконтроля. И ставит на стол перед механизаторами граненый стакан.

Каждый, кому предстоит сесть за руль и рычаги, должен дыхнуть в этот стакан. Понюхав его, Малюганова определит, нет ли паров алкоголя. Только тогда ставит штамп допуска к работе.

Как всегда, процедура не без шуточек.

— Дуй.

— Да ты налеп сперва!

— К пустому-то и рука не идет!

Очередь быстро подвигается.

— Еще дыхни.

— Да это ж накурился я!

— Дай-ка пульс.— Считает пульс по секундомеру.— Закатывайся, меряться будем.

— Да не ехать мне, на ремонте я!

— Без разницы.

Достает прибор измерения давления. Слесарь вынужден подчиниться. Закатывает рукав рубахи, садится.

— Если кровь сдавать, не отказывайся, заработок! — шутит Суханов.

Проверив давление, ставит штамп допуска.

Пока заканчивается медконтроль, Пряхин занимается другим.

— Солому на седьмом поле зачем не сожгли? Сеять сейчас начнете, по всему полю растащите!

— Сожечь надо...

— Сожег уж, — ворчит Пряхин. — Под горох клетку кто готовил? Ты, Суханов?

— Ну?

— Под горох поле надо готовить, как лысину. Чтоб блестело! А у тебя комки, идешь — спотыкаешься. Как убирать будешь? Врукопашную? Забыл, как вручную убирать?

Поворачивается к кладовщику Чикурову:

— С патронами к респираторам как?

— А никак. Нету.

— Я прошлый год привозил сто штук. Шестьдесят задействовали, а где еще?

— Искать надо.

— Ищи! — резко приказывает Пряхин. — С гранозаном работаем, ртуть. Отравим людей, кто отвечать будет?

Вступается кто-то из пожилых:

— Да ранешние года тряпку, собачью повязку на морду намотаешь, и все. Рожи синие! Ну, поблюешь малость, кровью отхаркнешь — и снова вперед!

— Руками или ногами?

— А это уж как повезет!

— Вчера Колю Колесо на кантарке поглядел, синющий весь. Документы, говорю, предъявляй, так не признаю.

Медконтроль закончен. Малюганова убирает стакан, журнал, приборы. Механизаторы встают как один.

— Чо, Михаил Степаныч, пошли?

— Идите, я сейчас.

Механизаторы выходят.

Пряхин снимает телефонную трубку.

— Синоптики? Снова насчет погоды. Безоблачно, без осадков? Спасибо.

Кладет трубку. Включает радию. Эфир полон голосами и гулом посевной. Хозяйства, район, «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», райком и сельхозуправление — все говорят, кричат сразу и обо всем.

Район напирал, требовал, грозился, убеждал, выводил на чистую воду и стучал кулаком по столу:

— «Луч», почему не закрываете боронование зяби? А сеете почему чуть-чуть? Требуем, чтобы вся техника и люди были только на полях. А по молоку зачем на два литра вниз слетели? Буренок своих кормите-поите?

— Молоко будем жать, хоть сами доитесь!

— Гореть надо, а вы тлеете там!

— Прогноз на лето засушливый. Задача — удержать влагу. Ловить каждый час и сеять! сеять! сеять!

И гнал в область цифры сводок:

— Подготовка почвы — сто две тысячи шестьсот га, девяносто семь процентов. Сев — двести девяносто тысяч сорок во семь, тридцать два процента. Подкормка озимых — семнадцать тысяч семьсот семьдесят три, четырнадцать процентов...

Хозяйства в свою очередь требовали с района, жаловались, грозились, спорили и обижались:

— Молоковоз не дадите, молоко в лог лить буду!

— Два движка привезли, это их первые ласточки. Ни один завести не можем. Насмерть отремонтировали!

— Удобрений дайте! Азотных дайте! Аммиачной воды дайте! Завтра? А мне сегодня надо, не завтра!

— Это нормально, когда один только дает, другой только берет? Я не мать родная, всех не обогрею!

И гнали сводки в район:

— Сев — триста пятьдесят три га, процент — двадцать один от плана. Прикатывань — двести шестьдесят, процент — сорок от плана. Подготовка почвы — четыре тысячи семьсот семнадцать, процент — девяносто три от плана...

Пряхин выключает тумблер — тишина.

Пряхин включает тумблер — рев и треск эфира, ругань, команды, яростный раскаленный ритм посевной.

Выключив радию, встает, берет кепку. Останавливает звонок председателя колхоза Краскова.

— Пряхин, ты? Здоров! Чем занимаешься? Сеешь?

— Приступаю.

— Давай! И чтоб через час все у тебя там крутилось и вертелось!

7 ЧАСОВ 52 МИНУТЫ 29 АПРЕЛЯ

Пряхин выходит на крыльцо конторы. Команда:

— По тракторам!

Механизаторы забираются в кабины.

— Флаг подымать? — спрашивает Сейсекунд

— Подымай, — разрешает Пряхин.

На флаштоке возникает, трепещет под ветерком флаг Славы Трудовой.

— Запускай!

Тишину машинного двора взрывает рев тракторных дизелей. Еще минута-другая, и они ринутся вперед, на поля. Через кабинное стекло напряженное лицо Суханова: ему не терпится больше всех.

Пряхин вскидывает вверх руку.

— Внимание! — Замирает с поднятой рукой.

Закрыв глаза, Пряхин слушал внутри себя: не ушло ли предчувствие? Было — не ушло, было — тут. И Пряхин дает отмашку.

— Глуши!
Дизели глохнут. Трактористы нехотя покидают кабины. Реплики:
— Недолго музыка играла!
— Да, хорошо день начался...
— Хорошо и кончится!
— Ты, кукушка, не кукуй, продай шубу, купи ...чо?

— Знаем чо, уже купляли!
Подходят к Пряхину.
— Подождем часика два, что-то мне небо не нравится,— говорит Пряхин.— Коробейников, цепляй к «казахстанцу» нож, ехай, срежь возле складов ухабы. Остальным быть тут.

— Во! — комментирует недовольный Коробейников.— Всем во семь, а кому так восемь!

— Чтoб как карты дороги были! — предупреждает Коробейникова Пряхин. Подзывает Шадрина.— Пригляди тут. Я в летние лагеря сгоняю.

— Флаг опустить? — спрашивает Сейсекунд.

— Не надо.

Вдвоем идут к «газику». Пробуют отлаженные передачи.

— Порядок! — говорит Гладышев.

— Отвечаешь?

— Руками делал! — обижается Гладышев.

Прежде чем уехать, Пряхин смотрит в кулак на чистое безоблачное небо. Сидит в машину, уезжает.

Оставшись один, Гладышев тоже смотрит через кулак в небо: любопытно, чего мог углядеть там Пряхин.

У ворот Бобыкина «газик» останавливается. Бобыкин по-прежнему дремлет на лавке.

Шляпа валяется на земле. Пряхин, подняв, надевает ее на Бобыкина. Возвращается к машине. Едет к коровникам...

...Здесь, забрав плотника Одиссея, доярок тетку Любу и Грахову, а также Жижина, едут в лагеря.

— Глянь, Михаил Степаныч, какие нынче озимые сильные, жалко даже скоту стравливать.

— Не жалея, молоко будет.

Озими кончаются, идет паханное.

— Это какое поле, четвертое? — говорит Пряхин.

Сворачивает на пашню. Едет, отворив дверцу. На ходу выхватывает несколько горстей почвы. Смотрит, растирает в пальцах, кидает. Выезжает на дорогу.

— Гляжу: сеять, нет?

— Сей, чо там! — говорит Жижин.

— Погода не внушает. Уж слишком хорошая,— говорит Пряхин.

— Погода и почва — два главных фактора,— резюмирует Одиссей.

— Ну! Как в том анекдоте... — говорит Жижин.— Вопрос: что мешает развитию сельского хозяйства? Ответ: четыре фактора — лето, зима, весна, осень.

— И еще Гидрометцентр, пятый фактор,— говорит Одиссей.

— Раньше без факторов жили,— говорит тетка Люба.— И ничего, обходились, сеяли и жали. И в поле росло.

— Землю знали. По-крестьянски как? Пройдет босичком по полю, пальчики не мерзнут, сеять пора,— говорит Грахов.

— А то еще деда старого из избы выволокут, штаны с него спустят и голой задницей в пашню посадят. Посидит недолго и тут же тебе сообщает, прогрелась земля или нет, сеять тебе или ждать,— рассказывает тетка Люба.

— В Митрошино тоже один дедок был,— говорит плотник Одиссей.— Тот наоборот, штаны не снимал. Горсть почвы схватит и на плешь себе покладет. Тоже определял, не ошибался. И погоду умел предсказывать.

— Погоду само лучше на вине глядеть. Обману не бывает,— говорит Жижин.

— Ну дак чтобы на вине, да чтоб обмануло, когда такое бывает! — язвит Грахов.

Жижин не обращает внимания, рассказывает:

— Купляешь бутылку в магазине. Взбалтываешь раз или там два. И тут же на свет глядишь. Если пузыречки в ей веселенькие, смеются и все вверх к горлышку бегут — к суху, вниз — к мокроу.

Пряхин рассеянно:

— К мокроу, говоришь?

— Ну!.. Безотказное средство! Хочешь, щас бутылку берем и...

— Не берем, так верю.

— Зря, а то щас бы, в момент, всю погоду бы знали, к суху ли, к мокроу.

— К мокроу, так знаем. У вас, у мужиков, к суху-то когда бывало? Все к мокроу!

Пауза.

— А «Столичную» взять, покажет?

— Еще лучше покажет.

— А если и «Столичную», и «Сибирскую», тут уж вообще, как по телевизору, к суху покажет и к мокроу,— говорит тетка Люба.

Пряхин вдруг тормозит. Выходит из машины. Возвращается с молотком, кидает его под сиденье.

— Плохая привычка, но хорошая: как увижу чего на дороге валяется — подбираю. Утром трос буксировочный нашел, как раз троса у меня не было; вчера — плоскогубцы; теперь — молоток; еще бы

ключ накладки восемнадцать на двадцать два найти.

— Закажи, пусть кто-нибудь потеряет.

— Придется!

Показываются лога, всхолмленные скалы с ельником и кустами черемухи. Местность красивая, живописная, с речкой. В низине пространство, обнесенное жердевой оградой, и дощатые строения. Это летний лагерь для дойного стада. В логах пасут. В загоне доят и держат коров ночью.

У ограды останавливаются. Выходят из машины.

Часть жердей выбита из столбов, валяются на земле. Жижин выбирает одну, меряет растопыренной пятерней.

— Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать... — Вручает жердину тетке Любе. — Стой тут, Любаша. И держи. Крепче держи!

Догоняет Пряхина, Одиссея и Грахову. Они обходят лагерь, решая, где и какой нужен ремонт.

Пряхин шатает столб ограды.

— Пропал. Пиши: затенить.

Одиссей достает тетрадку и карандаш. Шатают второй столб.

— Тоже пропал.

Идут дальше.

— Этот крепкий, стоит.

Пряхин дотошно проверяет каждый столб, доску, строение.

— Тут настил выборочно смени, где погнило.

— На яме обноску сделай, чтоб, случаем, корова туда не свалилась, — наказывает Грахову.

— Обшивку ямы заказываешь?

— Ни к чему. Жолоб протянешь и хватит, — говорит Пряхин.

Осматривают сарайку из щелястого горбыля.

— Тут у нас что, конюховка?

— Вишь, щели какие, досками прошить?

— Не надо, не цыплят держать — лошадей.

Пробуя крепость двери, Пряхин ударяет ногой. Дверь падает внутрь.

— Работа называется!

— Переделаю, — говорит Одиссеем.

Глядят сторожку пастухов. Топчан, рванный матрас, стол, смятый чайник, ложка, стены, обклеенные фотографиями киноактрис, надпись углем: «Трактир — «Берлога Гоши». Валяются консервные банки, сор, тряпки.

— Ребята баловались или рыбаки. Вишь, костер на полу жгли.

— Запирать на зиму надо.

— Амбарный замок повесь, сорвут!

Глядят раму окна.

— Тут чо, в окне-то? Не стекло ли тут бывает?

— Ну!

— Вставить?

— Вставь, снова побьют.

Жижин, разыгравший тетку Любу, решает подшутить и над Граховой.

Приносит ей ржавый, искривленный гвоздь, вырванный где-то из доски.

— На!

— Чо это?

— Гвоздь.

— Где выдрал? Поди и немедленно обратно вставь, мне туточка лето работать!

Жижин уходит и возвращается.

— Дырку тую никак не найду!

— У, паразит!

Грахову лупит его по спине. Отняв гвоздь, идет искать дырку сама...

Закончив осмотр лагеря, возвращаются к машине.

— Тетка Люба, ты чо с жердиной стоишь?

— Дак сказали стоять, сказали: нужная.

— Кинь ты ее!

Поняв, что ее разыграли, тетка Люба кидает жердь, гоняется за хохочущим Жижиним.

Наконец, усаживаются в машину, отъезжают.

Жижин на заднем сиденье с бабами. Хватает их, тискает враз обеих. Женщины визжат, дубасят Жижина по спине и плечам...

Приезжают и бегом осматривают еще два ближайших отгонных лагеря.

— Навоз сгребли, а бульдозером столкнуть не догадались, — ворчит Пряхин. — Поплывет от дождей, в грязи коровы будут стоять, руки бы оторвать за такую работу!

— Сами себе создаем, — говорит Жижин. — В Америке безработица отчего? От того, что делают раз — на сто лет. А мы делаем сто раз, зато каждый год. У нас безработицы не бывает.

...Разворачиваются домой.

За логом, у лесополосы испугивают зайца. Распахнув дверцу, Жижин пронзительно, по-разбойничьи, свистит зайцу вдогонку.

На взгорке «газик» глохнет, останавливается. Толкают, катят его всей гурьбой. Едут дальше. Снова глохнет. Снова вылазят и катят «газик» гурьбой. Так трижды.

— Ой, Степаныч, на фиг тебя с твоим персональным транспортом, накатал! — охает тетка Люба, запыхавшись, без сил падая на сиденье...

У зерноскладов встречают трактор Коробейникова, ровняющего дорогу.

— Кто ж так ровняет!

— Птичку видно по полету, Коробейникова по помету.

Пряхин останавливается. Бежит к трактору ругаться. Возвращается сердитый.

— Шаньги мажет, а не дороги гладит! Бровки-то тоже сшибать надо?!

Возле фермы высаживает пассажиров.
Гонит в контору.

11 ЧАСОВ 00 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ

Сигнал точного времени.

Пряхин подруливает к конторе.

На машинном дворе младшие школьники дают концерт для механизаторов. Откиннутые борта грузовика являют собой сцену и концертную площадку. Дети, обряженные в костюмы, изображают сборщиков урожая с корзинками, а также «колоски», «огурцы», «репки» и «сорняки». Водят хоровод, поют:

Мы корзиночки несем,
Хором песенку поем.
Урожай собирай и
На зиму запасай.

Мы ребята — молодцы,
Собираем огурцы,
И фасоль, и горох,
Урожай у нас неплох.

Едем, едем мы домой
На машине грузовой.
Ворота отворяй,
Идет с поля урожай.

Механизаторы аплодируют малышам.

Пряхин у «газика» с Гладышевым-механиком.

— Руками, говоришь, делал?

— Ну?

— Ногами теперь сделай, опять в коробке шестерня не цепляет.— Идет в контору.

— Председатель звонил, сеем ли,— докладывает Шадрин.

Пряхин кидает кепку. Смотрит барометр: «ясно». Делает звонок синоптикам.

— Без изменений? Спасибо.

Включает радию. Эфир по-прежнему полон звуками и голосами посевной. Рев техники, сводки, команды, жалобы, пикировка хозяйств с районными службами.

— Спрашиваю, патриотизм в тебе, Захаров, есть?

— Нету во мне патриотизма. Своей головой живу. И эти двести га, списанных по акту, не признаю.

— А советскую власть признаешь?

— Надо признать.

— Давай признавать. И советскую власть. И двести гектаров.

— Из обкома звонят, зачем плохо сеем корнеплоды. Сеять! И сеять немедля! Далее, часть хозяйств сеет картофель непротивленными семенами. Это значит, опять будет ржа и колорадский жук. Опять школьников заставим жуков в бутылочку собирать? Совхоз «Дружба», вас, в частности, спрашиваю. Об чем думаете там?

— Мы своим умом не живем, нам его сверху, в инструкциях спускают.

— Давай, Виктор Петрович, не будем?

— Давай, Вячеслав Федорович, не будем. Я человек маленький.

— Маленький, а грехи большие. Вам дано все: земля, средства, техника, люди. Так давайте производить!

— Чего я тут произведу, если у меня инициативу опять отымают?!

— Кто?

— ДаК Кузнецов Игорь Игнатьевич, кто ж еще!

— Не отдавай! Дерись! Тебе эту инициативу Пленум ЦК дал!

— ДаК ведь у нас в глубинке-то как? Одной рукой дадут, другой тут же назад отымут. Я ему про устаревший зигзаг волевого руководства, а он снова лезет: «Приструню, говорит, вас, на первый-второй рассчитываться у меня станет!» Это что ж получается, опять на бумажку с печатью работать толкают?

Ответить не успевают. Врывается «Коминтерн», яростный от обиды на «Сельхозтехнику».

— Шесть дизелей из одиннадцати враз полетело. Такого еще и в кино не бывало! Я бы «Сельхозтехнику» эту знаешь на какое название переименовал?..

Диспетчер перебивает:

— «Коминтерн»! «Коминтерн»! Вы чо там матюгом по радици несете, не стыдно?

— А разговор без матерка, что документ без печати!

— Я вам покажу документ, я покажу! И тут же врывается цифирь сводок из дальних хозяйств:

— Сев: план шесть тысяч семьсот, сделано тысяча пятьсот сорок шесть, процент — двадцать три. Культивация зяби: план пять тысяч шестьсот семьдесят семь, сделано четыреста двадцать, процент — восемь...

Пряхин выключает радию. Тишина. Звонок предколхоза Краскова.

— Сеешь?

— Нет еще...

Кладет трубку на стол, давая Краскову прокричаться. Время от времени прислоняет к трубке ухо и снова ждет.

— Агроном к тебе выезжает! — объявляет Красков и кладет на рычаг трубку.

11 ЧАСОВ 50 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ

— Агроном бежит!

Пряхин встает, выходит на крыльцо встречать агронома. «Запорожец» пылит к селу.

— Чего у него с рулевым-то? Гляди, как кидает,— говорит Гладышев, наблюдающий приближающуюся машину.

Пряхин дает команду механизаторам:

— Заводи!

Трактористы лезут в кабины. Грохот дизелей. Двор окутывается дымом.

Подъехавший агроном с ходу обрушивается на Пряхина с вопросом:

— Почему стоишь?! Почему не сеешь?! Земля не готова?! Погода не нравится?! Погода как по заявке. Сей!

— Завелись, сейчас поедем,— отвечает Пряхин.

Агроном поворачивается к сеяльщикам:

— Как настроение? Боевое?

— Как скажешь, так и будет.

— Скажу, долго с севом раскачивается.

— Мы, русские, всегда долго раскачиваемся.

— А раскачаешь, не остановишь...

— А остановишь, опять качать надо.

Смеется.

Взгляд агронома упирается в Гладышева с его черно-белыми валенками.

— Валенки-то разные зачем?

— Чтоб ноги не путались,— отвечает Гладышев.

Агроном достает бумагу для Пряхина:

— Вот официальный прогноз синоптиков на декаду. Прими под расписку и сей. Писни тут...

Пряхин расписывается.

— Все, я тебя предупредил,— говорит агроном.— Земля у тебя готова, погода в кармане — сей!

Садится в машину. Уезжает.

— Глуши! — приказывает Пряхин.

Механизаторы глушат трактора. Покидают кабины. Суханов недоволен Пряхиным больше всех: зло хлопает дверцей.

— Был бы дождик, был бы гром и не нужен агроном.

— Обед! — объявляет Пряхин.

...Бортовая машина с обедом. Две поварихи разливают в миски. Механизаторы по цепочке, из рук в руки передают их на длинный стол под навес: это столовая.

На столе щедрой горой хлеб, соль, ложки. Оживление, шуточки:

— Намаялись, пора кашу хлебать!

— Ешь — потей, работай — зябни!

Хвалит поварих:

— Суп не схлебнуть, обжигает!

— Горячие девки!

Пожилые поварихи отвечают:

— А нам всем по двадцать!

— После пятидесяти?

— Ну. Три раза по двадцать и хорошо!

Пряхин сидит один с краю стола и в разговорах не участвует. Проглотив две-три ложки супа, встает.

— Коклеты еще, Степаныч! И компот!

— Спасибо, не хочу,— отвечает он поварихам.

Идет в контору.

Садится и сидит: ему тяжело быть на людях — хочется сейчас побыть одному — может быть, для того, чтобы принять единственно верное решение... Снимает телефон-

ную трубку, но позвонить не успевает.

Влетает Гладышев:

— Парторг едет!

Пряхин кладет трубку. Встает, идет встречать парторга.

Подкатывает «Москвич» парторга Селезнева. Выйдя из машины, парторг неторопливо оценивает обстановку. Задирает голову на трепещущий сверху флаг. Говорит Пряхину:

— Флаг-то, гляди, выцвел весь. Белый. Капитулируешь, что ли?

— Наоборот! — отвечает Пряхин.

— Так смени. Нового нет? Привезу.

Сует руку Пряхину.

— Здоров. Докладай, какая обстановка?

— Обстановка: сверху давят и снизу жмут,— отвечает Пряхин.

— Сверху понятно: сводка, начальство. Снизу кто?

— А вон, свои трактористы жмут. Одному огород сажать, другой в отпуск самолетные билеты взял, третьему тоже невтерпех, зудит.

— Инициатива снизу? Одобряю! — говорит парторг.— У тебя вон обязательство висит: «Закончим сев к девятому мая», а ты еще и не начинал!

Подходят отобедавшие механизаторы. Селезнев здоровается с каждым за руку.

— Как дела, орлы?

— Перевыполняем! — язвит Суханов.

Парторг вытаскивает из машины наглядную агитацию. Бланки боевых листов, рулоны типографских призывов. Развернув один, вслух читает:

— «Кто на севе допускает брак, тот урожаю враг».— Передает Пряхину и механизаторам.

— Чего с ими делать?

— Выучить!

— Наизусть?

Команда:

— Заводи!!!

Механизаторы занимают места в кабинах. Грохот моторов, дым.

— Винный отдел закрыт? — спрашивает Селезнев.

— На период посевной,— отвечает Пряхин.

— Одобряю. Передовикам поощрения назначил?

— Грамоты.

— И все?

— Кофе с молоком, за обедом.

— Отстающим?

— А у нас таких не бывает,— шутит Пряхин.

— Я опускаю руки,— отвечает парторг.— Подымай людей и — вперед!

«Москвич» парторга скрывается за бугром.

— Глуши! — приказывает Пряхин.

Дизели глохнут. Но трактористы не покидают кабин. Лица угрюмы.

Пряхин понимает: это вызов и ему, Пряхину. Психологический поединок. Поэтому весь напряжен, стоит, не уходит. Ждет, когда механизаторы покинут кабины.

И они не выдерживают. Выходит один... второй... третий... Суханов вылезает последним. Нарочито бережно и аккуратно прикрывает дверцу кабины, но Пряхин видит, как в нем все кипит и клокочет от сдерживаемой ярости.

— Перегорят люди,— тихо предупреждает бригадира Шадрин.

Пряхин не отвечает. Поворачивается, уходит в контору.

Через минуту врывается Гладышев.

— Сам едет!!!

«Сам» — это председатель колхоза Красков.

Пряхин поднимается, идет на крыльцо встречать.

Подбегает Красков. Грузный, большой, со старческой одышкой, выбирается из машины. Ни на кого не взглянув, не поздоровавшись, проходит, устало опускается на ступеньку крыльца. Молчит.

Постояв, Пряхин садится рядом.

В стороне стоят, ждут механизаторы: вид их угрюм и виноват.

Долгая, тягостная пауза.

Помолчав, Красков, наконец, спрашивает:

— Один пишешь, два в уме?

— Предчувствие у меня... какое-то нехорошее,— говорит Пряхин и виновато смолкает.

— Землетрясения ждешь? Камней с неба? Или в народную примету уверовал: «Черны тропинки — урожай на гречу. Небо звездисто — на горох»? — Глядит на механизаторов.— Вы что стоите?

— А мы что? Нам, как скажут. От приказа работаем,— отвечают механизаторы.

— Мы Степаньчу говорили: «запряг — ехать надо!» А то получается: дела не делаем и от дела не бегаем...

Долгая пауза.

— Письменный приказ на посевную получил?

— Получал,— говорит Пряхин.

— Подпись свою на ём ставил?

— Ставил.

— Дай-ка сюда,— говорит Красков.

Пряхин достает и подает приказ.

Красков медленно рвет бумагу на мелкие клочки.

— Нету теперь приказа. И не было. Хоть вовсе нынче не сей. Но хлеб осенью — дай!

Тяжело поднявшись, Красков идет к машине. Садится за руль. Уезжает.

Механизаторы, постояв и не дождавшись от Пряхина приказаний, разбредаются по машинному двору.

Пряхин остается один.

Сидит на крыльце: решает, как быть.

... Мимо, по улице, на свиноферму идет Галя Алферова. Молоденькая девчонка, недавняя школьница, принявшая на ферме группу поросят.

Смутилась, всыхнула, даже споткнулась, увидев Пряхина.

— Здравствуйте, Михаил Степанович...

Пряхин, очнувшись, поднял голову, ответил:

— Здравствуй, Алферова.

И вновь опускает голову, погружается в свое.

Девушка проходит. Останавливается. Оглядывается на Пряхина. Молчит. Угрюмо, с тоской глядит на него.

— Ты чего, Алферова?

— Я? Ничего... — Отворачивается. Спешит дальше.

Пряхин кричит вдогонку:

— Все у вас там в порядке?

Алферова снова останавливается.

— Где? О чем вы?

— Ну, на свиноферме? И вообще, у тебя? Алферова опускает голову. Не ответив, идет дальше. Пряхин глядит вслед.

...Поднявшись, Пряхин идет к тракторам.

Дает команду:

— Заводи!!!

Механизаторы лениво поднимаются.

— Опять кино делать или как?

— Заводи!!! — приказывает Пряхин.

Рев дизелей. Облако выхлопных газов окутывает весь двор.

— Внимание! — Пряхин вскидывает вверх руку.

Закрыв глаза, Пряхин слушал внутри себя: не ушло ли, наконец, предчувствие? Было — не ушло, было опять — тут. Поэтому вместо команды вперед, дает отмашку: — Глуши!

Трактора глохнут. И лишь Суханов, врубив скорость, вдруг бросает свой дизель вперед. Пряхин кидается наперерез.

— Куда?!

Чуть не подмявши его гусеницами, Суханов вышибает трактором сварные ворота. Выкатывает на улицу. Пряхин выбегает за ним, встает перед дизелем, не пуская его вперед. Суханов выскакивает из кабины. Ударяет дверцей так, что осыпается стекло. Швыряет Пряхину ключи.

— Сей! А я в отпуск пошел!

— Сперва поставь дизель на место, — приказывает Пряхин.

Мгновенье Суханов колеблется. Затем прыгает в кабину. Рывком дает газ. Задом гонит дизель к линейке. Ставит на место. Глушит. Вылезает из кабины. Демонстративно прислоняется к радиатору, крутит на пальце ключи.

— В отпуск собрался, иди, — говорит Пряхин.

— Погожу, — отвечает Суханов.
— Годи, — соглашается Пряхин. —
А за сломанные ворота с аванса вычту.
Механизаторы поднимают, оттаскивают в
сторону покореженные ворота.
— Сев на сегодня отменяю! — объявляет
Пряхин.

Малюганова ставит на стол свой граненый
стакан.

Механизаторы выстраиваются к нему в
очередь. Послерабочий медицинский кон-
троль на алкоголь так же обязателен, как
утренний. Один за другим дуют в стакан.
Малюганова отбирает и аннулирует утрен-
ние разнарядки.

Реплики механизаторов:
— Сегодня крепко мы дали!
— С семи до семи! Это сколь семь по-
лучается?

— Свой уровень держим!
Влетает Гладышев:
— Еще едут! Кавалькада!
Медконтроль останавливают.

Пряхин идет на крыльцо встречать...
Первой идет «Волга», вторым — «газик»,
третьим — «Москвич», четвертым — «Запоро-
жец».

— Сейчас напылят! — говорит Гладышев.
Подъехав к конторе, машины тормозят —
все разом.

Из «Волги» выходит секретарь райкома
Юдин, хлопает дверцей. Из «газика» —
Красков, хлопает дверцей. Из «Москвича» —
Селезнев, хлопает дверцей. Из «Запорож-
ца» — агроном тоже хлопает дверцей; за-
мок не закрывается, и агроном ударяет
дверцей еще и еще...

Юдин кивком здоровается с механизато-
рами. С Пряхиным за руку. И в упор
спрашивает Пряхина:

— Ты кто?
Агроном все не может справиться с
дверцей. Юдину это мешает, он резко оборо-
чивается. Бросив свою дверцу, чтобы боль-
ше не шуметь, агроном присоединяется к
группе начальства.

Юдин повторяет:
— Спрашиваю, Пряхин, ты кто? Астро-
ном? Звездочет? Синоптик Гидрометцентра
Союза ССР? Ты — бригадир! Хлебороб! Зна-
чит, сеять и жать должен, а не хиромантией
заниматься!

Пряхин молчит.
— Начиная. Прямо при мне. Это — при-
каз, — говорит Юдин.

Команда:
— По местам!
Механизаторы садятся в кабины за рычаги.
— Заводи!

Трактора окутываются дымом. В нетер-
пенье подрагивают траки гусениц. Еще ми-
нуту, они ринутся вперед, на поля.

Напряженные лица и руки механизаторов
на рычагах.

— Внимание! — Пряхин вскидывает вверх
руку. И вдруг сникает, отворачивается. Под-
ходит к Юдину. — Не могу! Предчувствие
у меня дурное...

Механизаторы, не глуша дизелей, оставя-
ют кабины.

Юдин молча отодвигает Пряхина. Подхо-
дит к механизаторам.

— Коммунист?
— Да.
— В кабину.
— Коммунист?
— Нет.
— В кабину.
— Комсомолец?
— Да.
— В кабину.
— А пионерам можно? — спрашивает Су-
ханов.

— Нужно! — отвечает Юдин. — Пионер
всем ребятам пример.

Дизели газуют с новой силой. Юдин по-
ворачивается к Пряхину, спрашивает:

— Сам начнешь или еще за тебя рабо-
тать?

Пряхин молчит. Вдруг, решившись, засту-
пает на свое место:

— Внимание!
И все же еще раз послушал и поискал
внутри себя проклятое, измотавшее его пред-
чувствие и нашел. Было все так же, на
месте, было под сердцем, было тут!

— Пошел!
Тракторы разом устремились к воротам.
Два при этом едва не столкнулись. И один
за одним пошли со двора.

Парторг привязал и самолично поднял на
флашток новенький ярко-красный флаг.
Юдин пожал Пряхину руку.

— Поздравляю с началом!
— Причитается с тебя, Пряхин! — сказал
агроном.

Пряхин принимал поздравления, но ра-
дости не ощущал. Более того, перехватил
дизель Шадрина:

— Поломайся потом! Понял меня?
— Боюсь, Миша.
— А ты не бойся!
Тормозит дизель Чикурова:
— Сломайся в борозде, Саша!
— Как это?
— Так. Молча!

Тормозит Суханова.
— Контрольный высев наладишь и ломай-
ся, понял меня?

— Понял. Не буду.
— А я говорю, ломайся!
— А я говорю, нет! Запряг — ехать
буду!

... У края поля механизаторы цепляют
к трактору сеялки.

Пряхин делает еще попытку оттянуть сев. Тщетно! Присутствуют наблюдатели: Юдин, Красков, парторг, агроном.

Суханов первый выводит сеялку на поле. И Пряхин сдается. Сев начинается в 14 ЧАСОВ 47 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ.

... Пряхин помогает наладить норму высева, когда к агрегату подлетает на мотоцикле Гладышев.

— Степаныч, чепе на свиноферме!

— Чего?

— Галька Алферова с ума спрыгнула, сбесилась!

Бросив агрегат, Пряхин гонит на мотоцикле к свиарникам.

У распахнутых ворот стоят две «скотовозки» с мясокомбината. Один водитель спит в кабине. Другой читает газету на солнышке. Увидев Пряхина, предупреждает:

— Пять минут ждем и уезжаем!

Пряхин и Гладышев входят в свиарник.

Здесь завживотноводством Тамара Тимофеевна, Жижин, свиарники.

Алферова, с вилами в руках, не подпускает их к своей клетке. Там, сгрудившись плотным строем, стоят подсвинки, тоже, кажется, готовые к бою.

Алферова была недавней школьницей, и эти подсвинки были первой группой, выращенной ею. Теперь их должны были загнать в скотовозки и отправить под нож, на мясокомбинат.

Пряхин отстраняет свиарок, выходит вперед, на вилы.

— Алферова!

— Не подходи! Я их соской поила! А теперь их на колбасу?! В мясорубку?

— Алферова!

— Они не как ты! Они все чувствуют! Они плакать умеют!

— Алферова!

— Ненавижу!

— Брось вилы!

— Не подходи! Ненавижу!

По лицу видно, что девчонка не в себе и может натворить самого страшного.

Пряхин идет на вилы. Алферова отступает.

— Осторожно, Степаныч!— предупреждают свиарники. — Взбесилась же, пырнет!

Пряхин осторожно, но продвигается. Алферова отступает. И вдруг бьет вилами.

Мимо. Пряхин увертывается, и зубья вил срывают лишь щепу со столба стойки.

— Ах, гадючка, гли, чо делат! — вскрикивают свиарники.

Жижин и Гладышев подталкивают друг друга.

— Сзади кому-то зайтить надо, сзади!

— Клетку-то перелезь!

— А пырнет?

— Не боись, сам боюся!— говорит Жижин.

Пряхин приказывает:

— Отойдите!

Снова идет на вилы. Алферова зорко сторожит, отступает. Снова бьет.

— Ай!— вскрикивают свиарники, закрывая глаза, чтобы не видеть.

Но снова мимо: увернулся. Опять идет вперед. Алферова сторожит, отступает.

Вдруг, всхлипнув, швыряет на пол вилы. Бросается из свиарника.

— Алферова!..

Пряхин настигает ее на улице. Хватает за плечи. Рывком поворачивает к себе. Рыдая, Алферова вдруг обнимает его шею руками...

— Миша, миленький! Я ведь тебя одного... Одного! А если б попала? Убила бы? Косолапый ты мой! Убила бы!!!— Целует лицо, плечи, одежду, руки.

Пряхин, ожидавший чего угодно, только не признаний в любви, отшатывается.

— Ты чо это, Алферова?! Ты чо! Люди же смотрят, Алферова! Нельзя мне, семья у меня!

Девушка отталкивает его, гневно кричит в лицо:

— Алферова! Алферова! А у меня имя есть! И душа! Понял?— Садится как стояла, прямо на землю. Плачет.

— Галья...

— Уйди! Ненавижу таких... деревянных.

Швыряет в него комок земли. Лицо ожесточенно, и она уже не плачет.

— Уйди!

Пряхин поворачивается, уходит. Только теперь ему до конца понятно все происшедшее с Алферовой здесь, в свиарнике.

Потупившись, говорит свиаркам:

— Грузите!

Идет улицей к конторе. Подсохшая тропка вьется у заборов и палисадников. Проезжая часть улицы залита водой, нещадно разбита тяжелой техникой. Вспомнив о кинемеханике, сворачивает к клубу. Дверь в кинобудку заперта. Стучит.

Кинемеханик Угаркин, по-уличному Коля-Коля, собрал электронный глушитель и вечерами забивал помехами оба канала телепрограмм, чтобы люди шли смотреть фильмы в клуб.

— Угаркин, открой!

— Нету меня!

— Открой, говорю!

— Читай, Степаныч, там написано!

Это намек на дверную табличку: «Посторонним вход воспрещен».

— С тобой в правлении беседовали? Что ты им обещал?

— Я культуру в село принес! Самое важ-

ное из искусств! Кино! В ём, как в облепихе, что хочешь есть!

— Глушилкой зрителя на свою облепиху загоняешь?

Гремит запор. Появляется Угаркин. Это юный парнишка.

— У тебя, Михаил Степаныч, план есть? И мне из района спускают. Чем я его выполню, когда у меня в зрительном зале полтора зрителя сидит?

— Тебя механизаторы бить собираются, знаешь? Где глушилка твоя? Дай-ка ее сюда!

— Не выйдет!

Запирается на засов.

— Угаркин!

— Ну?

— Открой!

— Не имею права!

— Открой, говорю!

— Посторонним вход воспрещен!

— Ладно, ты у меня тут долго сидеть будешь!

Пряхин подпирает дверь будки жердью.

— Выйди теперь!

Угаркин стучит изнутри.

— Отвори, Степаныч, не балуй! Афиши расклеить надо! Вечерний сеанс мне сорвешь!

— Вот и хорошо!

Припирает еще крепче.

— Жрать же хочу, не обедал еще, ну! — кричит Угаркин.

— Обедай! Сам сказал, кино как облепиха, в ём все витамины есть!

Идет дальше. Через дорогу, у магазина, уборщица Куприяновна сажает цветы. Клумбы по новой моде — старые тракторные шины с насыпанной землей. Потом их мажут для красоты известью.

Пряхин останавливается.

— Здоров, Куприяновна!

— Здравствуй-ка, Миша.

— Незабудки сеешь?

— А не знай чо вырастет!

— Огурца посеи. Иду выпимши, откушу на закуску, еще и другим останется, — шутит Пряхин.

— Дак придется, — отвечает Куприяновна.

— Виктор-то пишет?

— Пишет.

— Как живет?

— Ой, да хорошо живут! Все есть. И это есть, и это есть, и то есть, все есть. Духовно живут! Ой, духовно!

— Привет от меня пиши!

— Он и свои всегда шлет, это уж обязательно!

спит, вероятно, дома. Пряхин поднимает, кладет шляпу на лавочку.

В конторе только Малюганова.

— Звонили, Михаил Степаныч, сказали, к восьми часам на селекторное.

— Кого там делать?

— Сказали: обязательно.

Пряхин заводит «газик». Едет к сеющим агрегатам. Клонит в сон: не спал фактически двое суток.

У поворота на гравийку тормозит встречную «пушку», доставляющую семена к сеялкам. В нарушение инструкции фары грузовика не включены, руков хобота не подвязан, мотается и хлещет по ветру. Шофер безусый, не служивший еще в армии мальчишка.

— Ты, Сполохов, зернышки какие возишь?

— Протравленные.

— А зачем фары не включил? Зачем руков на хоботе не подвязал? Вон болтается... Завяжи мешок-то, людей отравишь!

Помогает подвязать руков...

Едет дальше. Сворачивает к сеющим агрегатам.

У Шадрина, как всегда, все в порядке.

Тепляков сеет подозрительно бойко.

Заметив подъезжающего Пряхина, Тепляков останавливается. Выскакивает из кабины на пахоту. На голове — танковый шлем, обут в домашние тапочки.

Пряхин в забрызганных грязью сапогах. Местами топнет в пахоте. И Тепляков шутит:

— Чё в грязных-то сапогах!

Идут проверить норму высева. Проверяют рядки и глубину заделки семян. Кое-где видны зернышки.

— Гляди, не заделано!

— Сам, поди-ко кинул! — отшучивается Тепляков. — В карман-то брал, покажи?

— Гляди, танкист, опять не заделано.

— Цепь таскаю, должна заделывать!

— Должна, а не заделывает! Ладно, дождик пойдет, зарует, а нет?

— Так вырастет!

— Нет, — говорит Пряхин. — Так у нас тут с тобой ничо не вырастет! Сей, будто главное поле страны делаешь. Секёшь?

— Ну!

От Теплякова едет к Суханову.

В местах загрузки пахота рябит рассыпанным зерном. Делает замечание сеяльщикам: неопрятно загружают бункеры.

— Мимо сыпать будете, сниму баллы за качество! — предупреждает Пряхин. — А не поможет, в штаны протравленного овса насыплю!

Идет мимо дома Бобыкина. У ворот валяется его шляпа. Самого Бобыкина нет:

Время ехать на центральную усадьбу колхоза, где обязан присутствовать на районной

селекторной переключке. Ехать не хочется. Тянет в сон. Но ехать надо.

Выруливает с полей на гравийку. И дальше ничего не помнит...

Спит, смотрит сон.

Шестилетним мальчишкой плетет пастуший кнут. Когда плетенье готово, Мишка крепит его к кнутовищу. Пробует на удар. Хлесь! Хлесь! Хлесь!

Кнут стреляет как из ружья. Эхо отдается от стен сарайки, от поленицы дров.

Во дворе появляется Витька, закадычный дружок. Кнута у него нет. Есть колесо, которое он ловко катит правилкой. Разумеется, кнут тотчас обменен на колесо. И вот оба, босые, мчатся по улице к пруду. Мишка гонит перед собой колесо и оно, как заворуженное, не падает... Позади Витька с кнутом. На бегу щелкает кнутом, и он сухо и хлестко ударяет, словно стреляет. Хлесь! Хлесь! Хлесь!

И солнце, и крапива, и лопухи, и утоптанная тропка, упруго толкающая в пятки, и восторг упоительного гона, и ветер в ушах, и гулкие удары сердца...

...Пряхин просыпается. «Газик» стоит, уткнувшись лбом в бампер районного рейсового автобуса.

— Двадцать минут стоим ждем, когда проснешься! — сообщает водитель.

Взглянув на сидящих в автобусе пассажиров, Пряхин заводится, молча отъезжает.

20 ЧАСОВ 15 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ

Селекторное уже идет. В диспетчерской — Красков, парторг Селезнев, агроном, специалисты, представитель РАПО, комсорг, члены правления.

Опоздавший Пряхин садится у входа.

По голосу из радиции узнает первого секретаря райкома Юдина: сегодня он сам ведет из районной диспетчерской селекторное.

— Колхоз «Родина», вам слово, пожалуйста.

— Докладаю. По севу, где почва спелая, отсеяли. Где сыро, нет, комки. По животноводству: все летние лагеря готовы, один нет. Послезавтрава выпускаем скот в загоны.

— По картофелю скажи, Николай Васильич.

— Готовим семенной материал. Привлекли пенсионеров и школьников. Но с кем сидеть его буду? Городские-то шефы уедут.

— Николай Васильич, кто с вами сеет зерновые, те останутся и картошку садить. Есть решение: в город никого не отпускать, ни одной справки не давать, пока картошку не посадят!

В диспетчерскую входит опоздавший главный инженер, молодой специалист с усиками и в галстуке. Вытирает листками блокнота

тавот с рук. Садится рядом с Пряхиным.

Красков, не слушая радицию, спрашивает:

— Пряхин, сеешь?

— Ну! — отвечает Пряхин.

— Патронов к респираторам достали, бери!

Коробка с патронами идет по рукам к Пряхиному. Семеновод Тая сует еще и горстку гороха.

— На, зубки поточи!

— У него и так острые, — шутит парторг.

Снова голос Юдина:

— «Фрунзе», слушаем вас.

— У нас три вопроса. Первый — не вывозят нетелей. Второй — нетелей не вывозят. Третий — опять не вывозят нетелей. Четвертый...

— Погоди, Есин, ты сказал, три вопроса?

— Не три, а тридцать три!

— И все тридцать три про нетелей? Три да три дырка будет.

— А мне дырку и надо! Хоть через нее с кормами выскочу, пока нетели эти меня самого не сожрали!

Реплики присутствующих:

— Хазанов!

— Хазанову до него далеко!

— Вывезем твоих нетелей, Есин. Какие еще вопросы? — спрашивает радиция.

— Табаку в магазин завезите, нечего курить мужикам, уши пухнут.

— Еще?

— Чо-то еще попросить хотел, забыл...

— Потом вспомнишь. «Путь Ильича», слушаем ваши вопросы.

— Нету у нас вопросов.

— Хорошо работаете!

— По-другому не умеем. Токо так будет, — рубит «Путь Ильича» и отключает свою радицию.

Реплики присутствующих:

— Во, дает!

— Ну дак это ж Виктор Лександрыч!

Вновь голос Юдина:

— «Пролетарец», слушаем вас.

Красков берет микрофон:

— Первый вопрос: не возят аммиачную воду на подсолнух. Второй: безнарядное звено по овощам готовит поливную технику, нет аккумуляторов к дизелям.

— И не будет, — говорит Юдин. — С аккумуляторами на уровне области решаем. Аммиачную воду с завтрава начнут по графику возить, чтоб всем было не больно. Встречный вопрос к тебе: Пряхин, которого толкать ездили, сеет?

— Сеет.

— Вниманию всех, — говорит Юдин. — По подсолнуху еще замечаем, чтоб сеяли в смеси с бобовыми и злаковыми. Сеять только в смеси! Теорию кто-то по-другому выдумал, она вредная, товарищи, выбросьте из головы! Подсолнух просим и требуем сеять только в смеси!

Пряхин встает, чтобы уйти. Говорит Краскову:

— На вечернюю дойку успеть надо...

Красков кивком отпускает. Пряхин выходит.

Гонит «газик» домой. Но голоса, азарт и горячка селекторного не отпускают и тут. Над полями, дорогами, линиями электропередач, над деревнями и поселками эфир радиопереключки:

— «Красный луч», живы?

— А то!

— Кто у рации? Филимонов, ты?

— Ну!

— Как жизнь, Сергей Сергеич?

— Какая там жизнь? Слезы! Плачем да смеемся, не обману!

— Докладай, чего сделал. Об чем назавтра думаешь?

— Назавтра об чем думаю? Думаю, как пятью затычками восемнадцать дырок заткнуть!

Район толкал, подстегивал, требовал, казнил и миловал, выделял и не выделял, гнул свою неуклонную линию: количество, качество, сроки, хлеб, молоко, мясо...

Хозяйства отбивались, ярились от забот, нехваток, неувязок, обид и нервотрепки.

— Почему, как правило, стройматериалы даете в разгар посевной и уборочной? Да у меня ж вся техника в поле! Людей на вывозку кирпича? Да у меня ж коров доить некому! Что предлагаю? Сами кирпич мне везите!

— Как посевная, так у вас пекарня ломается и с хлебом перебой! всю страну булками кормим, у самих корки сухой нет. Скоту буханками скармливаем? Нету такого! Ну, может, и бывало. По двадцать буханок несознательные берут? Сознательные по сколь? По девять? Чего ж им еще делать остается?!

— Не верю этому крупному деятелю! У него один лозунг: «Выглядывай и жди — золотое правило!» Как метла, на обе стороны метет!

— Давай не будем?

— Давай не будем!

Поля, столбы, зелень озимых, подсохшая и уже пыльная гравийка, небо с редкими птицами, сожженные гербицидами елки лесополосы, «зьябка» с ползущими по ней тракторами, и над всем этим — голоса радиопереключки.

Коровник. Вечерняя дойка. Пряхин обходит корпуса.

Несколько автопоилок текут; до отказа заполнен один жижесборник; часть телят простужена, кашляют, потому что в корпусе

повреждены кормораздатчиком наружные двери, гуляют сквозняки; мыло у ручной мыльницы опять сухое.

Все упущения записывает в книжечку. Ставит Жижина в коровнике у пробитой двери.

— Меня в дыру видишь?

— Ну?

— И я тебя. А вот завтра, с утра, сделай так, чтобы ни я тебя, ни ты меня в дыру эту не видел!

Зажигает спичку, она гаснет.

— Сквозняк, вот телята и кашляют.

Самолично идет проверять, продоены ли коровы.

Выборочно с подойником садится под нескольких коров. Выясняется: группа молодой, начинающей доярки Кайгородцевой не продоена.

— Вперед рук-то ногами торопилась! В кино надо скорей! Вот и не продоела! — объясняет доярка.

Жалуются:

— Марли нет, кусочками делим!

— Штопаем, в кипятке варим, гладим да и опять через те кусочки молоко цедим.

— Ведер не хватает, горстями подсыпку в кормушки таскаем!

— Халаты новые обещали, нету!

Все эти упущения на совести завживотноводством Тамары Тимофеевны, но Пряхин делает пометочки в свою книжку.

— Завтра, на утреннем наряде все эти вопросы и поставим!

Устал. Но должен еще съездить в поля, к ночным агрегатам. И едет.

Сумерки. Село солнце.

У агрегатов застает кухню. Только что накормили трактористов.

Похолодало. И поварихи в теплых платках, в ватниках. Укладывают в свой грузовик термосы, фляги, пустые миски.

Шадрин, Суханов и Тепляков курят, греются в кабине трактора.

— Пищу варим, — говорит Шадрин и приглашает Пряхина: — Айда, посиди, погрейся.

Пряхин забирается к потеснившимся трактористам:

— Об чем вы тут?

— Покойного Багирова вспомнили.

— Который до Краскова в Зимницах председателем был?

— Ну! — отвечает Шадрин и продолжает свой рассказ. — Забрали у него этого любимого парторга в райком, толковый мужик был, они с им срабатывались. Без парторга остался, один, надо где-то другого брать. Где? Постороннего неохота, шептун попадетсЯ, будет в райком бегать, секретарям шептать. Решил ставить в парторги своего агронома, Евдохина Виктор Афанасьича. Все преиму-

щества за им. Не пьет — хорошо. Много молчит — хорошо. Толковый, дело знает — опять хорошо. Идет к Евдохину домой, с предложением. Глядит, жинка его белье во дворе на веревках развешивает, стирка была. А Евдохин Виктор Афанасьич белишко это отжимает и жинке в руки подает. Постоял Багиров, понаблюдал, махнул рукой: «Эх, говорит, Евдохин! А ведь я тебя за мужика считал!» Повернулся да и пошел, и больше об Евдохине разговору никогда не было.

— Крутой был, что говорить!

Пауза.

— Ладно, обстановку давай,— говорит Пряхин.— Седьмую клетку дошибли? Девяносто третье поле начали? Это сколь же всего получается?

— Считай. Два «зила» по пять тонн высеяли по два и две десятых на гектар, да тринадцатое поле взяли. Гектаров восемьдесят достали сегодня, грубо скажу, не упаду!

Достают термос.

— Кофий будешь?

Делают по глотку.

— Не взяло,— говорит Суханов и делает еще глоток.— Во, теперь взяло!

Тепляков смеется:

— Ты как тот, которому по пятьдесят граммов пить хорошо! Пришел так же один в буфет. Выпил сто пятьдесят — не берет. Еще сто пятьдесят — не берет. Еще сто пятьдесят — опять не берет. Разозлился: «Эх, говорит, лейте еще пятьдесят!» Ему говорят: «Бери уже не пятьдесят, а сто пятьдесят, ниже себя-то не опускайся!» Уперся: «Нет, лей пятьдесят!» Выпил — взяло! Говорит: «Зачем три раза по сто пятьдесят пил? Сразу бы пятьдесят и — хорошо!»

Пряхин, а следом и трактористы выбираются из кабины.

— После ночи отдыхать, а то вы у меня скопытитесь,— предупреждает Пряхин.

Отвечают:

— У нас еще не бывало, чтоб в поле спали!

Расходятся по агрегатам. Включают дизели и свет фар.

Пряхин едет домой.

22 ЧАСА 30 МИНУТ 29 АПРЕЛЯ

На въезде в село «газик» снова ломается. Ночь, темно. Попытки исправить поломку наощупь — безрезультатны. Бросив машину, идет на машинный двор.

Гладышев тут. Спрашивает:

— Опять?

— Ну! Чуюк не доехал. Вон стоит, отсюда фары видны.

Гладышев выводит мотоцикл. Уезжает ремонтировать.

Пряхин идет в контору. Глядит барометр. Делает звонок синоптикам.

— Без существенных? Спасибо.

Теперь можно и домой.

Улица. Темно. Редкие лампочки на столбах.

От клуба молодые голоса, чей-то фонарик, смех. Кончилось кино, идут по домам.

Тут городские, приехавшие на посевную, и свои, местные. Кто-то, дурачась, запекает и тот же бросает. Снова смеются.

Пряхин переходит дорогу, чтоб выйти навстречу. Хорошо бы перехватить непутевую Кайгородцеву, убежавшую в кино, не додоив коров.

Высматривает... Нету. Спрашивает кого-то из местных:

— Кайгородцеву не видали?

Отвечают:

— Ее днем-то с огнем, а ты ночью.— Смеются.

Идут мимо городские. Вдруг какая-то девушка... Алферова!

Тоже узнала, съежилась, напряглась.

— Добрый вечер, Галя!

Мгновенная заминка и ответ:

— Здравствуйте, Михаил Степанович.— И скорей мимо.

Городские с фонариком сворачивают к общежитию. Пряхин снова переходит дорогу.

...У самого дома догоняет на «газике» Гладышев. Распахивает дверцу.

— Садись, Степаныч!

Ехать до смешного ничего. Но Гладышев настойчив. Чтоб не обидеть, Пряхин уступает, садится. И почти сразу выходит.

— В гараж ставиться? — спрашивает Гладышев.

— На свалку!

— Таку-то шихту и на свалках не берут, а мы в гараже держим да еще и ездим как-то! — бурчит Гладышев.— Ключи вам занести?

— Вахтеру кинь!

Гладышев уезжает.

В кухне горит свет. Это не спит Зоя.

Пряхин толкает калитку. Петля сорвана, кособочит: так и не вырвал часа наладить.

От сарая с лаем кидается пес Рыжка.

— Ты чо, одурел?! Не узнал?

Из дома выходит Зоя.

— Во, хозяинной домой пришел! Куси его, Рыжка, куси!

Пряхиному смешно и грустно: детей не видит, ладно! А тут своя собака не признает, готова кинуться на горло!

Пряхин стоит, молчит. Вдруг начинает лаять на пса по-собачьи. Лают друг на друга.

— Не налаялся еще за день-то,— говорит Зоя.

Выдернув из поленицы чурку, Пряхин запускает в собаку. Сразу узнав хозяина,

пес виновато скулит, ласкается, просит прощения.

— Ладно, не юли,— говорит Пряхин.

Заходит в дом. Скинув в сених сапоги, идет умываться.

Зоя дает свежее полотенце.

— Мылом трись! Нацеловали свинарки?

— Во, уже и тебе свистнули?

— У нас не завянет! — отвечает Зоя.

Она в нарядном платье, в прическе. Стол в кухне празднично накрыт.

Пряхин глядит. Хочет понять и не понимает.

— День рожденья? У кого? — Бьет себя кулаком по лбу.— У Маринки!

— Вспомнил...

Пряхин обнимает жену за плечи:

— Ну, прости! Ну, замотался! Забыл! Из башки вылетело! А ведь позавчера еще думал, как бы не забыть! Как бы не забыть! — Целует Зою в щеку.— Прости!

Зоя отстраняется. Пускает даже слезу. Но заметно смягчает.

— Они так тебя ждали! Так ждали!

Пряхин лупит себя кулаком в лоб.

— Ладно, чего там, наливай,— говорит Зоя.

Пряхин поднимает графинчик с водкой. Ставит обратно. Говорит:

— Раз пошла такая пьянка... Давай глаженую рубаху!.. Праздник — так праздник! Зоя приносит рубаху. Говорит:

— Тогда уж и галстук...

Сама повязывает Михаилу галстук. Вынимает из волос и причесывает Михаила своей гребенкой.

— Подушу еще...

— Ну их!

— Терпи, праздник.

Садятся к столу.

Зоя показывает самодельные подарки детей.

— Это вылепил из пластилина Алексейка.

— Талант! — говорит Пряхин.— Гляди, какую моржу вылепил.

— Сам ты моржа. Это же наш песик Рыжка.

— Прости, не признал,— огорчается Пряхин.

— А этот букет с поздравлением рисовала Оля. Нравится?

— Об чем речь!..

— А этот домик склеила и раскрасила сама именинница, Мариша. И сама же себе подарила.

Пряхин делает немедленную попытку подняться.

— Хоть гляну на них, а?

— Сиди,— приказывает Зоя.

Пряхин садится.

— А этот вот сарафанчик ей — от меня. А эти сандалики — от тебя.

— Может, отца подыдем, а? — говорит Пряхин.

— Сплю я! — отзывается старик из-за перегородки.

Пряхин наливает. Держит рюмку в руке, не пьет: задумался.

— Чего? — спрашивает Зоя. — Все на столе, пей, ешь.

— Устал, руку до рта не подыму.

— А кваску? Клюквенного! А яблочек моченых?

Идти надо во двор, к леднику. Зоя набрасывает куртку, переобувает туфли.

— Я мигом, сиди!

Пряхин остается один. Сидит, сложив на стол тяжелые, набрякшие в венах руки. И выглядит сейчас значительно старше своих двадцати шести лет.

День прошел, но не убавил забот, а прибавил. И все же главное сделано: начат сев. И хорошо, очень хорошо, что дурные предчувствия и страхи не сбылись. День как день. Не лучше и не хуже других. И теперь Пряхину даже думалось: пусть таких удачных дней будет побольше.

Налил и выпил водки. Негромко включил дешевенький репродуктор. В Москве били полночь.

...Когда вернулась Зоя, Пряхин спал, уронив голову на руки.

Москва, как всегда, вершила день огромной страны Гимном.

Вдвоем со стариком Пряхиным довели Михаила в горницу, к постели. И он уж не слышал, как его раздевали, укладывали. Он смотрел сон.

...Будто он, колхозный бригадир Пряхин, как в детстве мальчишкой, гонит по улице колесо. За ним с топотом и криком гонятся и никак не могут настичь Красков, Бобыкин в шляпе, агроном, парторг, трактористы, киномеханик Угаркин, животноводы, Юдин, Гладышев в черно-белых валенках, Суханов, Малогоанова и плотник Одисей — целая толпа.

Но впереди всех, с кнутом, закадычный дружок Витька. Кнут оглушительно стреляет в его руке. А Пряхин мчит вперед, колесо уронить нельзя, и он, задыхаясь, выбиваясь из сил, мчит и мчит его. Падает, вскакивает и снова вперед, вперед, подгоняемый стреляющим кнутом и улюлюкающей погоней...

Вот и ворота дома — спасенье!

И снова был яркий летний полдень. Двор. И он, махонький Мишутка, сидящий на изумрудной траве. И был огненно-черный петух, в шпорах и ожерелье. Ходил взад-вперед, косил глаз. И вдруг заорал свое чудовищное кукареку во все петушиное горло. А Мишка захлебнулся ревом. Но с крыльца уже сбегала к нему мать.

Подхватила с земли, прижала к себе. И он, Мишка, укрытый теперь от этих ужасов и страхов, счастливо и благодарно всхлипнул и засмеялся сквозь слезы...

Плачущий во сне Пряхин просыпается от того, что рядом с ним жена Зоя.

— Миша, милый, ты что? Во сне что-то увидел, да? — И тоже плачет. И утирает его и свои слезы.

— А?! Чего?! Кто?! Где?! — вскидывается Пряхин.

— Стучат, вставай, силос привезли.

Глядит на часы.

1 ЧАС 50 МИНУТ 30 АПРЕЛЯ

И Пряхин поднимается. Спал мало, и оттого трудно стоять на ногах, кидает. Идет

в кухню, распахивает раму. В лицо, в грудь бьет свежий ночной воздух.

Под окном Пузырев. Его могучий Т-150 с тележками силоса ждет на дороге.

Пузырев подает в окно горсть силоса.
— Пробуй, Степаныч!

Жуют. Оба жуют. Пряхин выплевывает, говорит:

— Годится!

Пузырев тоже выплевывает, говорит:

— Не то слово! Сам бы горстями жрал, коров жалко!

— Ехай к весовой. Я сейчас...

Идет к порогу обуваться.

— Дай, помогу,— говорит Зоя.

— Сам,— отвечает ей Пряхин. — Сам!



АЛЕКСАНДР ЛЕОНАРДОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ (родился в 1947 году) закончил режиссерско-театральное отделение Московского государственного института культуры и Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. Автор сценариев художественных фильмов «Сто дней после детства», «Деревня Утка», «Голубой портрет», «Серафим Полубес и другие жители Земли», «И на камнях растут деревья», «Старая азбука» и др., а также нескольких пьес, идущих в театрах страны и за рубежом. За сценарий фильма «Сто дней после детства» А. Александров удостоен Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

Фильм по сценарию «Башня» ставит на киностудии «Ленфильм» режиссер Виктор Трегубович.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

БАШНЯ

Темнело. Иван Васильевич включил ближний свет. Пространство вокруг машины сразу сомкнулось. Шоссе шло вниз, и машина медленно погрузилась в туманную реку.

Он глянул на жену, сидевшую рядом, и она отозвалась, кивнула ему, улыбнувшись одними глазами.

Скорость пришлось сбросить. Машина как будто плыла, упругие волны тумана то набегали, то отступали с шоссе. Фары освещали круговороты и завихрения туманной реки, пронизывали клубящийся поток и упирались, словно в стену. Когда Иван Васильевич притормаживал и загорались стоп-сигналы, туман кроваво насыщался этим цветом. Повернув голову, он искоса посмотрел на дочь, которая спала на заднем сиденье, устроившись на цветастых спальнях мешках. Вздрогнув, она приподняла голову:

— Ого! Какой туман!

Теперь он смотрел на дочь уже в зеркало. Дочь потягиваясь, потерла кулачками глаза. Коротко остриженные волосы ее топорщились со сна, как у мальчишки, а на лице воз-

никла детская сонная улыбка. Перед самой поездкой дочери вздумалось подстричься совсем коротко, и эта короткая стрижка отчего-то была приятна Ивану Васильевичу, возможно, напоминая ему те года, когда он познакомился со своею женой, тогда еще студенткой, вот такой же коротко стриженной.

— Ну вот, косяком пошла осень. Журавли — на юг, а мы, как прикурки, на север, — сказала дочь.

— Не забывай, — тут же возразила мать менторским тоном. — У тебя все-таки институт!

Этот тон ей совсем на шел. Когда жена начинала так говорить, всегда, даже в прежние «короткостриженные» года, маленькая девочка, которую он любил, удалялась, таяла и место ее занимала другая, та, на которой он никогда не женился бы.

— Да пропади он пропадом! — огрызнулась дочь. — К тому же ты прекрасно знаешь, что у меня осталась неделя от практики. Все равно буду болтаться в Москве.

— Тебе все равно, где болтаться, а у отца, в отличие от тебя, институт начинается с первого сентября.

— А-а! — отмахнулась дочь и, наклонившись, достала из сумки большой персик.

— С двадцать шестого августа,— уточнил Иван Васильевич.

— Что?! — переспросила жена.

— С двадцать шестого августа, говорю, начинается институт. Я и так опаздываю.

— Тем более,— сказала жена и повернулась всем телом к дочери:— Опять невымытый?!

— Я предлагала сразу вымыть все! — взвилась дочь.

— Мы бы их не довезли!

— Мы и так их не довезем,— усмехнулся Иван Васильевич, глядя на дочь.

— О-о! — показала на него дочь рукой, в которой был откушенный персик.— Папаша всегда резонен! И вообще, если уж на то пошло, персики никто не моет.

— Прорва! — только и ответила на это мать.

И все стихло, только было слышно, как шуршит под колесами недавно накатанный гравий.

— Черт возьми! — сказал Иван Васильевич после некоторого молчания.— Ужасно скользко! Шоссе недавно залили. К тому же что-то с маслом! — Он постучал пальцем по доске. Красная лампочка продолжала гореть.

— Это опасно? — спросила жена.

— Возможно, и нет. Но дальше ехать нельзя.

— Почему?

— Надо выяснить, в чем дело, а то движок может сгореть.

Из тумана выплыл указатель, и Иван Васильевич притормозил рядом с ним. На щите было написано: «ГАИ — 1500 м».

Иван Васильевич кивнул на прощание милиционеру, выскочил из будки ГАИ и легкой трусой пробежал до машины, из которой за ним наблюдали мать и дочь.

— Ну что? — спросила жена, когда он сел.

— Что, что! В городе станция, разумеется, есть. Но она в воскресенье и понедельник не работает. Станция на трассе, а работает с двумя выходными! Голову отвинтил бы тому разгильдяю, кто это придумал! Да и так все это чушь — там местные за две недели записываются по ночам, чтобы попасть! Куда уж нам!

— Что же теперь делать? — спросила жена.

— Да тут кое-что гаишник посоветовал.

Иван Васильевич тронул машину с места, глянул на приборную доску — лампочка по-прежнему горела.

— Ничего, потихоньку доползем,— сказал он сам себе.— Тут два шага.

Машина осторожно съехала с шоссе на грунтовую дорогу.

Моросило. В свете фар курился туман, съедаемый дождем. Машина остановилась перед железными воротами в бетонной стене, рядом с которыми была такая же железная калитка. Сквозь решетку ворот видна была аллея, освещенная двумя-тремя лампочками на столбах под простыми железными колпаками.

Иван Васильевич вылез из машины. Накрывшись с головой плащом, пошел к калитке.

— Господи! — вздохнула дочь.— Так не хотелось возвращаться, а теперь скорей бы доехать.— Она достала из сумки щетку и, смотря в зеркало заднего вида, сначала взъерошила свои короткие волосики, потом причесала их.— Приеду, позвоню Машке...

— И вы будете трепаться два часа,— в тон ей ответила мать и повернула зеркало к себе.

— А ты, конечно, хочешь, чтобы это делала ты с Валентиной.

— Оставь! — отмахнулась мать, не желая пикироваться.— О чем мне ей рассказывать?

— Ой ли?

— Что ты имеешь в виду? — Голос матери стал жестче.

— Так... Ничего. Куда это мы приехали? Видишь, там какая-то башня!..

...Через некоторое время они стояли в полутемных сенях. Дверь в горницу была распахнута, и хозяин, невысокого роста мужчина лет шестидесяти, с плоским, широкоскулым лицом, в черных защитных очках, зазывал их, видимо, от стеснения чересчур суетясь:

— Да заходите, заходите, мы гостям всегда рады!.. Не стойте на пороге.

— Ох уж мне это русское гостеприимство! — прошептала мать на ухо дочери. Они все еще оставались в темных сенях, отец уже прошел в горницу вслед за хозяином.— «Заходите-заходите, добро пожаловать», а там клопы, вонь... Я лучше бы в машине спала.

— Нет уж! Я не карлик! Мне ноги девать некуда...— довольно громко ответила дочь.

Они по очереди переступили порог. Рядом с хозяином возникла хозяйка. Темно-русые волосы были собраны сзади в пучок. Она была моложе хозяина. Морщины так же недавно появились на ее лице, как и седина в волосах.

— Супруга моя,— представил ее хозяин. Та выступила вперед и протянула руку сначала Ивану Васильевичу, потом его жене:

— Таля. Таля.

— Иван Васильевич.

— Таля? — переспросила жена.— А что это за имя?

Хозяйка, не поняв, пожалала плечами и улыба-

нулась. Морщинки радиусами сбежались к ее лучистым глазам.

— Полностью как? — настаивала гостя.

— А-а! Наталья... Наталья Матвеевна.

— А я Кара Семеновна.

— Ага! — кивнула Наталья Матвеевна и еще раз взглянула на мужа. В лице ее промелькнуло невольное недоумение. — Проходите в горницу. И ты. Как тебя зовут? — обратилась она к девушке.

— Ксюша. Ксения полностью.

Сидели за столом, допивали чай. Хозяин отчего-то и за столом был в черных очках.

— Вам с супругой, стало быть, на кровати постелено, а дочь на диване устроится, — говорил он.

— Спасибо, Иван Филиппович. Вы не волнуйтесь, перекантуемся как-нибудь, — успокоил его Иван Васильевич. — Одну ночь.

— Будем надеяться, — сказал тот. — Завтра Копытов с Черепановым придут, вмиг разберемся...

Ксюша, засмеявшись, чуть не поперхнулась чаем. Иван Филиппович внимательно посмотрел на нее.

— Копытов и Черепанов, смешно ведь?

— Черепанов, он механик. В сервисе работал, ушел только. Я и сам механик, но он по профилю. Завтра поутру и разберемся.

Когда они вошли в отведенную им комнату, Наталья Матвеевна еще достигала Ксюшину постель.

— Ну вот. На новом месте приснишь жениху невесте.

— Боже сохрани, — сказала Кара Семеновна. — А где, милая, у вас туалет?

— На дворе, на дворе, — как будто поклонившись, отмерила слова Наталья Матвеевна. — По дорожке и направо. Там лампочка горит.

— Вот я и пойду, — сказала Ксюша.

— Подожди, — остановила ее мать. — Я с тобой сейчас...

— Не беспокойся, я не боюсь!

— Зато я боюсь, — сказала мать. — Эгоистка!

Мать и дочь вышли на аллею, в конце которой горел одинокий фонарь под колпаком.

— Знаю я эти туалеты, — бурчала Кара Семеновна. — Там в темноте запросто можно провалиться в отхожее место. Был у нас такой период в жизни с твоим отцом — он меня по деревьям вздумал возить. Одно лето я отсидела в этой ссылке. Ночью на двор выйти целая проблема. Фонарь с собой берешь, а там через крапиву лезть... Ужас! Но я его быстро от этой блажи отучила. Степень комфорта, милая, определяют только туалеты! — Кара Семеновна остановилась.

— А по-моему, в деревне было прекрасно! — с вызовом сказала Ксюша.

— Ты была маленькая и ничего не помнишь. К тому же ты ходила на горшок, который мы привезли с собой! Я, пожалуй, рискну.

И она двинулась по дорожке в темноту.

— Не бойся, никто не посягнет на твою честь, — бросила ей вслед Ксюша.

Потом внимание ее привлекло горевшее в доме угловое окошко. От нечего делать она пролезла к нему, нагибаясь под деревьями и отводя ветки кустов. Сквозь зашторенное ни до конца окно было видно, что кто-то сидит в кресле и читает, но кто, как Ксюша не вертелась, разобрать было нельзя. В поле зрения были только рука с книгой да плечо в свитере.

— Ксюша! — услышала она испуганный шепот матери. — Ксюша!

— Руки вверх! — Ксюша возникла за ее спиной.

Мать вздрогнула, потом вздохнула:

— Перестань! И так я вся в напряжении.

— Брось, мамочка, все же прекрасно. Отдохнем. Лучше же, чем всю ночь сидеть в машине...

— Не знаю. Мне как-то не по себе. Почему он все время в черных очках?

— Может, у него глаза больные? — предположила Ксения.

Среди ночи гости услышали сильный крик, донесшийся с хозяйской половины, потом глухой удар в стенку, возню. Женский голос что-то бормотал, скрипела кровать. Наконец, все успокоилось.

— Вань! — Кара Семеновна прижалась к мужу. — Мне страшно... Крик какой-то нечеловеческий...

— Подумаешь! — прошептала со своего дивана Ксюша. — Что-нибудь приснилось.

— При тебе резать будут — ты не испугаешься, — прошептала Кара Семеновна.

— Кара, ну зачем ты так? — вмешался Иван Васильевич.

— Ничего, папа, она права. Действительно, не испугаюсь. — И дочь отвернулась к стенке.

Утро было хоть и прохладное, стылое, но солнечное. Ксюша, сунув руки в карманы коротенькой куртки, прошлась по аллее высоких туй, которые так странно смотрелись среди желтеющих берез и тополей. На бугре, усыпанном желтыми листьями, высилась темно-коричневая деревянная водонапорная башня с большим баком наверху, вокруг которого шла галерея. Бак был выкрашен в голубой цвет, но краска местами уже облезла, и из-под нее пробивалась ржавчина.

Ксюша поднялась на бугор к башне и взглянула в открытую дверь. Винтовая дере-

вянная лестница, прилепившаяся к стене, уходила наверх. Никаких пролетов не было, лишь наверху под баком находилась площадка. Сверху спускался канат, перекинутый через блоки. Ксюша внимательно осмотрела все внутри и вышла, прикрыв за собой дверь.

За башней она обнаружила небольшую, с двумя окошечками, каменную постройку, к которой примыкала крошечная верандочка — похоже, не для дела, а для соразмерности объемов. На солнечной стороне у стенки веранды, в венском кресле сидел, вытянув ноги, молодой парень в светло-коричневом свитере. На коленях у него лежала большая выпуклая линза, которую он сосредоточенно полировал фланелью.

— Привет,— сказала Ксюша, заходя так, чтобы солнце не мешало ей разглядеть его.

Парень поднял глаза, прищурился от солнца. Лицо у него было светлое, даже просветленное, глаза голубые до блеклости. Смутившись, он кашлянул и опустил глаза.

— Здравствуйте.— Он стал заворачивать линзу в тряпицу.

— Интересно, вы Копытов или Черепанов?

— Я — Веня! — сказал юноша и снова смутился.— А вас как зовут?

— Вениамин, насколько я понимаю обстановку, вы хозяйский сын? Скажу прямо, воспитания вам, конечно, не хватает! Я вот с вами разговариваю, а вы сидите...— Она прошла еще несколько шагов вдоль веранды, круто развернулась.— А между тем я...— она осеклась, увидев прислоненные к креслу с другой стороны костыли.— Извините, я не знала...

— Ничего,— сказал Веня.— Я ведь мог бы и встать, только постеснялся.

— Ксения! — протянула она ему руку.— А что с ногами? — поинтересовалась она довольно бесцеремонно.

Он ответил просто, как, видно, привык отвечать и другим:

— Болел я... Три года назад отнялись. Теперь лучше. На костылях могу. Мне дядя Ваня тренажер сделал.— Он приподнял в кресле, но Ксюша остановила его:

— Сиди уж... Так это не твой отец? Отчим, что ли?

— Нет.

— А кто же?

— Просто так. Человек. Он меня взял, когда это со мной случилось.

— А-а! — протянула Ксюша и вдруг спохватилась: — Откуда взял? У тебя что, родителей нет?

— Да-а я...— смутился парень.

— Замнем для ясности,— отрезала Ксюша.— А почему здесь все огорожено?

— Охранная зона.

— А почему же часового нет? — наседа-ла Ксюша.

— Здесь просто питьевая вода,— усмехнулся Веня.— Правда, вторая скважина запасная, на случай выхода из строя водопровода. Так что огорожено просто, чтобы чистота была.

— Ясно. А у тебя ноги не болят?

— После тренажера болят. И по ночам. Мне по ночам снится, что я иду... Сначала я представляю, что я иду, а потом иду на самом деле... И ноги болят.

— Это ты ночью кричал?

— Слышали? — смутился Веня.— Это не я, это — дядя Ваня. А что?

— Жутковато...

— Мне тоже сначала было страшно. Он почти каждую ночь кричит. Война ему снится.

— Что, до сих пор? — удивилась Ксения.— А мой отец не кричит, хотя тоже воевал. Два года. Бортрадист-стрелок... Помоему, мы здесь крепко увязли...— вздохнула она, переменяв тему.— Когда еще эти механики появятся...

— Да вон они! — кивком головы показал в сторону Веня.

Ксюша повернулась и увидела, что по дорожке мимо них идут двое мужчин: один лет пятидесяти, в зеленой вязаной одежде, с помятым алкоголическим ликом, другой моложе лет на десять, с бегающим острым взглядом, нервным, подвижным лицом и аккуратно подстриженными усиками.

Старший приподнял кепку в знак приветствия, младший только внимательно глянул.

Машина была поднята на смотровую площадку возле бетонного забора. Под ней ходили Иван Васильевич в комбинезоне и хозяин в промасленной ковбойке, из-под которой виднелась тельняшка. На нем по-прежнему были черные очки.

Показались Черепанов с Копытовым. Первым подошел тот, что помоложе, Черепанов.

— Держи краба, дядя Ваня! — протянул он руку Ивану Филипповичу.

— Дядя Ваня на гармони, на гармони заиграл, заиграл в запретной зоне — застрелили наповал! — продекламировал Копытов и захохотал.— Без обид, Иван! — хохотнул он еще раз и тоже пожал руку Ивану Филипповичу.— Саня! — поздоровался он и с гостем.

— Черепанов Дмитрий! — последовал его примеру после некоторого раздумья его спутник.

— Иван Васильевич,— отвечал гость.— Ну что, ребята, поможете? — И униженно залепетал: — Масло что-то... Давление...

— Так-так... — раздумчиво произнес Дима. — Не с этого начали, сгоняй вниз.

Иван Васильевич поспешно полез наверх, сел в машину, включил двигатель.

— Кто такой, дядя Ваня? — спросил Дима.

— Проезжий. Надо помочь.

— Был бы человек хороший, а помочь мы никогда не против. А, Сань?

— А что ж, Сане червонец сшибить не помешает!

— Чирик, Саня! Теперь повсеместно говорят «чирик». Если сшибить! А если заработать, то по-прежнему — десять рублей.

— «Чирик!» — сказал Саня. — Слово-то какое мерзкое!

— Совершенно верно. Надо, чтобы ты испытывал отвращение к нечестно заработанным деньгам.

Они одновременно посмотрели, как съезжает вниз машина.

— А почему это нечестно? — вдруг обиделся Копытов.

Кара Семеновна заглянула на кухню, где суетилась, готовя обед, Наталья Матвеевна.

— Тяля, давайте я вам помогу, а то, право, мне делать нечего.

— Не надо, не надо, справимся. Вы отдохайте.

— Какой уж тут отдых! Ожидание — это не отдых, — вздохнула Кара Семеновна и села на табурет. — Ваш мальчик болен? Я видела, как он, бедненький, на костылях мучается! — И вдруг спросила: — Муж есть?

— С чего вы взяли? — удивилась Наталья Матвеевна. — Не пьет и никогда не пил.

— Да? — недоверчиво посмотрела на нее Кара Семеновна и решила про себя, что та скрывает от нее правду.

— А мальчик вообще не наш, приютили. Наши-то родные уже разлетелись. Сын в Северодвинске работает, дочь замужем за майором. Парню тридцать лет, а он уже майор.

— Да-да... — пробормотала Кара Семеновна и поднялась. — Я фруктов принесу к обеду...

— У нас яблочки есть. — Тяля попробовала было возразить, но Кара Семеновна ее остановила:

— А это персики. Все равно, милая, мы их теперь не доведем...

...На расстеленном куске брезента лежали части мотора.

— Вообще-то вы правильно сделали, что дальше не поехали, — сказал Дима Черепанов, протирая какую-то деталь.

Возле машины появилась Кара Семеновна.

— Здравствуйте, — кивнула она Диме и

обратилась к мужу: — Ваня, я возьму фрукты, нам к столу пойдут...

Когда она шла с сумкой обратно, перед ней на аллее возникла дочь.

— Ну-ка, дай мне персиков, — запустила она руку в сумку.

— К обеду! — Кара Семеновна потянула сумку на себя.

— Ну, дай, дай, мамочка, там мальчик такой милый.

— А-а, ему? Ладно, отнеси. Только не крути ему голову.

— Ну что ты, мама, это было бы немилосердно. — Она скользнула в сторону, но, приостановившись, добавила: — Но он очень милый.

Открылась дверь в насосную, и первой в нее прошла Ксюша, затем с трудом через порог перетащив свое тело Веня.

Кругом тянулись аккуратно выкрашенные в красный, синий и желтый цвета трубы. Старым резным диваном с потрескавшейся кожаной обивкой и двумя такими же креслами была выгорожена комнатка. Было чисто, сухо, кафельный пол блестел, на столике в банке стояли яркие астры.

— Красота кто понимает! — сказала Ксюша. — Да здесь жить можно! Похоже на центр Помпиду.

— Можно, — согласился Веня. — Здесь Дима иногда остается.

Вдруг резко включился мотор и заработал насос.

— Шумновато только! — засмеявшись, крикнула Ксюша.

— Это ненадолго. Он у дяди Вани на автоматике. Здесь вообще все на реле, уже лет двадцать, как все автоматизировано. И один работает, а по штату на башне должно быть пять человек.

— И что, — усмехнулась она, — один пять зарплат получает?

— Нет, зарплата, как была, так и осталась.

Мотор выключился. Ксюша опустила на диван, откинувшись. Веня хотел было сесть рядом, но, передумав, как-то боком съехал в кресло напротив, вытянул вперед ноги с костылями.

— Значит, ты тут и лето, и зиму кукуешь? И никуда?

— Уже три года, — кивнул он.

Она глянула на Веню и неожиданно с душой прочитала несколько строк:

Помниш ли,

помниш ли в тихия двор

шъпот и смях

в белоцветните вишни?

Ах, не пробуждайте светлия хор,

хорът на ангели

в дните предишне —

аз съм заключник в мрачен затвор,
жалби далечни и спомени лишни,
сън е бил, сън е бил тихия двор,
сън са били белоцветните вишни!

— Красиво,— сказал он.— Только с чего ты взяла, что здесь, как в тюрьме?

— А ты что, понял? — удивилась Ксюша.

— Язык-то славянский. Только какой, не понял.

— Болгарский,— пояснила Ксюша и, заметив, что он опять крутит в руках линзу, спросила: — А зачем тебе линза?

Он глянул на нее внимательно, видимо, что-то для себя решая, и только потом ответил:

— Мы с дядей Ваней телескоп мастерим. Вообще-то труба уже была. Старинная... В ней только линз не было.

— Ну и где же она?

— На башне.

— Пошли! — загорелась вдруг Ксюша.

— Это вечером надо. И чтобы небо чистое было.

— Пошли, я хочу сейчас. Мне важен факт. Просто хочу залезть туда, ясно?

— Спекся масляный насос. Придется менять,— сказал Дима Черепанов и присел на лавочку, вытирая «концами» руки. Он посмотрел снизу вверх на Ивана Васильевича и выразительно вздернул брови.

— А если чего-нибудь придумать? — по-своему истолковал его взгляд Иван Васильевич.

— А чего придумаешь? Одна надежда — на станции достать. Сегодня выходной, придется загорать.

— Да-а,— задумчиво пожевал губами Иван Васильевич.

— Завтра с утра,— сказал Иван Филиппович гостю,— я тебя на станцию отвезу.

— Так мы у тебя опять заночуем, Филиппыч? — спросил Иван Васильевич.

— Кто же тебя гонит? — улыбнулся тот.— Скоро обедать будем.

— Ну тогда к обеду, может, в магазин сгонять? — обрадованно предложил Иван Васильевич.

— А здесь пьющих нет! — отрезал Дима.

— Как? — повернулся к нему Иван Васильевич. Тот молча пожал плечами.— Что, совсем? — обратился он снова к Ивану Филипповичу.

— Все некогда да некогда,— отчего-то застеснялся тот.— Так мимо и прошел. До войны не успел — мал был. У нас парню, пока не женится, пить не давали. А с войны голова у меня слабая стала.

— А вы? — с надеждой спросил Иван Васильевич Копытова.

— А мы свою цистерну выпили,— хохот-

нул Саня.— С перевыполнением на триста процентов. Образу мою видишь, Иван Васильич? Над таким образом и подобием поработать надо долго и крепко. Без выходных. Алкоголизм, скажу тебе по секрету, не отдых, а тяжкий, изнурительный труд. Так что носить мне эту морду по гроб, и на тот свет с ней пойду, другой на такой случай не припас.

— Понял,— сказал Иван Васильевич.— А я все-таки дерну, как говорят, с устатку, что-то я перенервничал. Против не будете?

— Мы-то нет. А вот что скажет супруга? — усмехнулся Дима, покосившись в сторону.

— Ну, супруга, супруга...— Тут Иван Васильевич заметил, что к ним направляется его Кара Семеновна.

Веня взбирался по винтовой лестнице, держась с одной стороны за перила, а другой рукой налегая на костыль. Ксюша, часто оборачиваясь, шла чуть впереди. Они были уже на середине лестницы, когда костыль сорвался со ступеньки и Веня упал. Костыль улетел вниз, в пролет.

— Ну вот,— сказал Веня, припадая к перилам и вытирая пот с лица,— теперь не дойти.

— Ерунда! — возразила Ксюша.— Вставай!

— Не могу.

Она присела рядом с ним.

— Обними меня за плечи. Да положи вот так руку, чего ты стесняешься.— Она перекинула его руку через свое плечо.— Вставай! Тут немного осталось.

Поднялись еще на несколько ступенек.

— А как же ты сам сюда забираешься?

— Мне дяля Ваня помогает. Раньше, когда ноги не двигались, он на спине таскал...

Они выбрались на площадку. Здесь стояло два стула. Ксюша помогла сесть Вене, потом села сама.

— Ну вот, видишь, все оказалось не так трудно.

С башни были видны желтые перелески да лента пасмурной реки, а с противоположной стороны — окраина города.

— Ты весь мокрый.

Она достала платок и стала вытирать Вене лицо. Он вздрогнул и замер. Ее лицо было совсем рядом. Она разглядывала его с удивлением, приближая к нему свои серо-синие глаза.

— А ты красивый,— сказала она.

— Разве для мужчины это имеет какое-нибудь значение? — ответил он и отвернул взгляд.

Она хмыкнула:

— Конечно, имеет! Еще как имеет! — Притянула его к себе и поцеловала в губы.—

Если бы ты не был красивый, может быть, я и не захотела с тобой целоваться.

Она снова поцеловала его, только уже крепче, по-настоящему, и откинулась на спинку своего стула. Веня сидел, боясь шелохнуться. Она на него не смотрела, а вытянув вперед ноги, скрипела своими кроссовками.

— Смотри-ка,— показала она ногой.— Дядя Ваня с моим папашей куда-то намылились.

Внизу Иван Филиппович завел мотоцикл, а Иван Васильевич сел к нему в коляску. Копытов заторопился к воротам, нажал на стене какую-то кнопку, и ворота открылись, пропустив мотоцикл. Копытов посмотрел им вслед, снова нажал кнопку и пошел к дому, не дожидаясь, пока ворота закроются.

Кара Семеновна сидела в кресле возле верандочки, подставив лицо солнцу. Кофточка у нее на груди была расстегнута, и она машинально теревала пуговку. Услышав шаги, она открыла глаза и увидела шедшего мимо Диму Черепанова.

— Как вы думаете,— спросила она,— они скоро вернуться?

— Через полчаса.— Дима хотел пройти мимо, но Кара Семеновна остановила его:

— А вы не желаете развлечь даму, пока она в одиночестве?

— Вам со мной будет неинтересно,— буркнул он, но тем не менее взял второе кресло и поставил его рядом.

— Последнее солнышко,— сказала Кара Семеновна.— Люблю солнце. Мы все его дети. Кстати, а почему наш хозяин все время в черных очках ходит?

— Молния в башню ударила, а он внизу с мотором возился. Откачать — откачали, а зрение село. С одним глазом совсем худо. Вот он очками и прикрывается.— Дима нервно теревил усики и поглядывал по сторонам.

— А вас сколько лет? — спросила, улыбувшись, Кара Семеновна.

— Тридцать восемь. А вам?

— А мне сорок четыре. Я и не скрываю. Мы могли бы понять друг друга.

— И что бы мы могли понять? — Дима повернулся к ней, но она молчала, прикрыв глаза.

— Красивая труба! — сказала Ксюша, рассматривая медную астрономическую трубу на штативе.— О! Здесь что-то написано.

— «Рейхенбаум». Это фирма,— сказал Веня.— Труба начала прошлого века. Фокусное расстояние один метр. Светосила с нашими линзами один к пятнадцати.

— Здорово,— сказала она.— Только я в этом не волоку!

— Сейчас поставлю линзу, поймешь... — сказал Веня.

По-прежнему сидя в кресле, он стал возиться с трубой, стоявшей перед ним, а Ксюша, облокотясь о перила, посмотрела вниз. Заметив свою мать и Диму, покачала головой и недовольно хмыкнула.

Обедать было накрыто на большой веранде дома. Закатное солнце светило в маленькие окошки веранды. Наталья Матвеевна раскладывала по тарелкам салат. Бутылка водки стояла перед Иваном Васильевичем, а рюмки — еще перед женой, Натальей Матвеевной и Ксюшей. Иван Васильевич закончил разливать.

— Ну что ж, я один в окружении прекрасных дам. Тогда с самого первого тоста — за них! За тех, кто иногда делает нас счастливыми! — Он поднял рюмку и выпил залпом.

— Посторонись, душа, обожгу! — крикнул Копытов, глядя на Ивана Васильевича.

Следом и дамы выпили каждая по полрюмочки, лишь Ксюша шархнула всю рюмку.

— Ты что это? — уставилась на нее мать.

— Отстань! Как хочу, так и пью! — поморщилась та то ли от выпитого, то ли от материнских слов.

— Иван,— обратилась Кара Семеновна к мужу,— больше ей не наливать.

— Ладно,— буркнул тот и, заметив взгляд Копытова, спросил: — Что, совсем не хочется?

— Тайна, покрытая мраком! — ответил тот.— Хотите легенду души моей?

— Конечно, хотим! Хотим ведь, правда? — толкнула Ксюша в бок сидящего рядом с ней Веню.

— Давай, дядя Сань!

— Легенда души моей! — обвел всех взглядом Саня Копытов и, приподнявшись, постучал указательным пальцем по бутылке.— Слушайте, люди, про то, как я бросил пить.

— А я под это дело вторую вдогонку пушу! — сказал Иван Васильевич, быстро налил и махнул.

— Был я однажды в запое. Сколько дней, точно не скажу, потому что и сам не знаю,— начал Саня.— Только просыпаюсь как-то утром в парке, а передо мной поляна и трава на ней зеленая. А на этой траве стоит какая-то конструкция. Вроде газонокосилки, только очень большая. Как увидел, так ножом по сердцу и полоснуло — не наша! Потому что вся так и светится! Хочу я подняться, а ноги не слушаются...

— Похмельный синдром! — вставил Дима, но Саня был увлечен и только отмахнулся от него.

— И вдруг выходит из этой конструкции женщина, вся в серебряной одежде, и руку ко мне протягивает. А я молчу, ничего не понимаю. «Дурачок, — говорит она, а рот при этом не раскрывает. — Протяни руку». Тут я встаю и протягиваю руку. Думаю, здороваться будет. А она мне дает три шарика белых. «Держи, — говорит, — Копытов!» Я аж задрожал: и фамилию мою знает! «Проглоти, — говорит, — Саня, один шарик!» Я, как чумной, не подумавши, и проглотил. И предстала передо мной вся моя мерзопакостная жизнь, как на картинке. Ну до того страшная, что подробности опускаю. Я перед ней, перед женщиной, на колени. Учи, говорю: что мне делать с такой жалкой жизнью? «Проглоти, — говорит, — второй шарик. И никогда больше пить не будешь!» Никогда?! «Никогда!» Нет, говорю, я так не могу! «А ты выпей, а третий шарик пусть всегда при тебе будет. Если станет тебе, Саня, неумогу, проглотить и снова развяжешь. И будешь пить уже до скончания века».

— Так и сказала — «развяжешь»? — подел его Дима.

— Так и сказала...

— А где же он, этот шарик?

— Секрет души моей. Шарик всегда при мне будет! Как залог моей воли! — Саня похлопал себя по груди.

— Слушай, Сань, а это тебе не в элтэпэ приснилось? — улыбнулся Дима.

— Может, и в элтэпэ! — очень искренне заржал Копытов.

— Пап, а что такое элтэпэ? — спросила Ксюша.

— Лечебно-трудовой профилакторий.

— А он правда все это? — повернулась она к Вене.

— Да нет, конечно, — пожал плечами тот. — Травит.

— Я, милая девушка, — откликнулся с другого конца стола Копытов, — слушал голоса иных миров. И пел неземные песни.

— Сань, воспроизведи, — попросил Дима. В это время вошла Наталья Матвеевна с большой кастрюлей, из которой торчал половник.

— Ставь сюда, Наталья! — засуетился Копытов. — Щи да каша — пища наша.

Кара Семеновна взяла тем временем бутылку и передала ее Диме Черепанову.

— Дима, уберите, пожалуйста, на кухню. Или куда там...

— Стоп-стоп-стоп! — успел перехватить бутылку Иван Васильевич. — Умри, несчастная! Я тысячу километров провел за баранкой, могу я расслабиться?

— Расслабляйся! — с презрением сказала Кара Семеновна. — Тебе уже даже собутыльников не надо!

— Кара, зачем ты так?!

— Иван Васильевич, налей мне, — сказал Иван Филиппович. — Выпью за компанию. Мне бы сразу надо было. — Он посмотрел на Кару Семеновну с укором.

— Зря вы так на меня смотрите, я его лучше знаю, — ответила она.

— Давай-давай, Ваня! Молодец, пехота! Мы ведь, Кара, как-никак оба добровольцы. Я с сорок третьего, он — с сорок первого...

— А почему ты позже? — спросила Ксюша.

— Эх ты! Догадаться не можешь? Человек, два уха! Потому что он на два года меня старше. Поняла, ума палата?

— Теперь поняла.

— За наши трудные военные дороги, и за то, что сидим здесь сейчас! — сказал Иван Васильевич, поднимая рюмку.

— И за то, что мир на матушке Земле! — добавил Иван Филиппович.

— Да, — согласился Иван Васильевич. — Хотя им, может быть, этого не понять. Как сказал Блок: «Истинная ценность жизни и смерти определяется только тогда, когда дело доходит до жизни и смерти». Давай, тезка!

Они выпили, остальные молча смотрели на них.

Ксюша сидела в комнате на диване и листала книгу. В комнате был полумрак, на улице уже темнело. С веранды доносились голоса, то оживленные, то затихавшие. Она привстала было, чтобы снова выйти на веранду, но тут раздался стук костылей и она снова села.

На пороге, повиснув на костылях, возник Веня и смущенно заулыбался ей.

— Чего встал-то? Заходи! — пригласила она. — Садись. Что они там, завели фронттовую пластинку?

Веня поставил костыли и как-то боком, резко опустился на диван, чуть завалившись в ее сторону.

— Говорят, — сказал он, устраиваясь.

— Твоя? — показала она ему книгу.

— Моя.

— «Э. и Б. Стренгем. Астрономия. ОГИЗ. 1941 год», — прочитала Ксюша вслух. — Сорок первый год. У меня такое ощущение, что есть годы, когда одно только событие и было, а тут смотришь, книги выходили. Люди про небо думали. Как сейчас. Ты в институт поступать думаешь?

— Думаю. На физмат, астрономическое отделение. Только мне встать надо.

— И тебе правда охота этим заниматься? Какая разница, что там?

— Все, что там, все и здесь. Ты книгу Чижевского читала? «Земное эхо солнечных бурь»? В ней доказано, что Солнце влияет на тебя, на меня, на все болезни, эпидемии... Звезды влияют, Луна... Мы себя никогда не поймем, пока про те миры не узнаем.

На веранде заиграла гармонь. Ксюша улыбулась.

— Дядя Ваня? — спросила она.

— Он.

— Ну и что мне про него понимать? Механик в насосной при водонапорной башне. В свободное от работы время играет на гармонии.

— Да, механик. У него принцип, если хочешь знать! Каждый должен делать что-то полезное для общества. Насущное... Растить хлеб, даже улицы подметать. А остальное... Ты бы слышала, как он про Вселенную рассказывает.

— Он? Что-то не верится...

— У него своя теория. Он говорит, что есть три Вселенные. Одна — блондинка, другая — брюнетка, третья — шатенка, и у всех свой характер, и все три — матери родные всего человечества.

— Идеализм какой-то...

— Не идеализм, а поэзия! Это разные вещи.

Иван Филиппович вовсю наяривал на гармони, а захмелевший Иван Васильевич хватал его за руки и выкрикивал:

— Постой, Иван, постой!

Гармонь смолкла.

— Слушай меня! — провозгласил Иван Васильевич и широко развел руки в стороны.

И вдруг этот, с простонародным русским лицом человек звонко и голосисто запел по-грузински «Тбилиси». Все смолкли, внимая рокочущей грузинской речи. Только Кара Семеновна, поморщившись, встала и вышла.

Когда песня кончилась, Саня Копытов бурно зааплодировал, а изумленный Иван Филиппович спросил:

— Слушай, тезка, ты что, грузин?

Иван Васильевич счастливо расхохотался.

— Нет, — обнял он Ивана Филипповича. — Просто учился я волею судеб в грузинской школе в Тбилиси. И грузинский знаю с детства.

— Во счастливый! — сказал Копытов. — А я, кроме мата, ничего с детства не знаю...

В сенях Наталья Матвеевна шепотом уговаривала женщину с растрепанными седь-

мы волосами, в сереньком, замурзанном пальтишке с отвисшими карманами:

— Уходи, Паша! Христом богом прошу, уходи.

— Нет, Таля! — качала та головой. — Что, я не могу сына повидать? Я навестить его пришла!

Дверь из дома в сени резко открылась, донеслись с веранды звуки гармонии, и появилась Кара Семеновна. Остановившись на пороге, она презрительным взглядом окинула гостью.

— Ах, да у вас гости?! — взбодрилась Паша, и в голосе ее появились скандальные нотки. — Ах ты гадина, Наталья! От меня скрываешь! Боишься замараться? Мол, родственники у тебя не те!

— Да какая ты мне родственница, горе одно, — вздохнула Наталья Матвеевна и повернулась к Каре Семеновне.

— Так я тебе не родственница? — плаксиво загундосила Паша. — Что же ты моего сына забрала? Отдавай моего мальчишка! Зачем ты его прячешь?! Я в милицию пойду, я — в исполком...

— Паша, перестань! Иди куда шла. Ты же знаешь, ему всегда хуже после твоего прихода...

— А я сразу догадалась, — погрозила ей пальцем Паша. — Иду, а во дворе машина стоит. Ее, что ли? — Она указала на Кару Семеновну. — Ну, думаю, гости богатые. Богатенькие мои, может, кто бедной женщине и поднесет стопочку. Мы же не скупенькие? А нам ведь только стопочку и надо!

— Паша, не позорь нас...

— Подождите минуту, — сухо сказала Кара Семеновна и вышла в комнату.

— Вот видишь, с пониманием, — сказала Паша и уселась на стул.

— Ох, Паша, тяжело на тебя смотреть, — вздохнула Наталья Матвеевна.

— А ты не смотри, — сказала та уже совершенно другим, отрешенным голосом. — Я сама на себя не смотрю.

Вошла Кара Семеновна, протянула деньги:

— Возьмите, здесь пять рублей...

Паша поднялась, взяла деньги и, не поблагодарив, вышла. Она шла по двору, опустив плечи, и не разу не обернулась.

— Какая гадость! — сказала Кара Семеновна. — Она даже спасибо не сказала.

— А за что ж тут спасибо говорить? — тихо проговорила Наталья Матвеевна.

— И пришли мои предки с Дону в Сибирь, — рассказывал Иван Филиппович. — Потому и прозвали нас в Сибири чалдонами. Как бы из двух слов составили — «челн» и «Дон». Сели они в верховьях Иртыша, на притоке Бухтарме. Это зна-

чит по-нашему бешеная. Каждый ставил дом свой на роднике, баню — на роднике. Чтобы всегда чистая вода была. У каждого — своя... Так и жили по заимкам.

— Так вот чего ты на скважине сел, — сказал Дима. — Это у тебя кулацкие крови сработали.

— Не кулацкие, а казацкие, — спокойно отвечал ему Иван Филиппович. — А вода, Дима, она — основа всего, всей жизни на Земле.

— Знаю, в школе учили. Аш-два-о! Только не думай, что ежели ты тут сел, ты ее сохранишь.

— Я ее тут сохранию, а другой — в другом месте, — все так же спокойно пояснил Иван Филиппович.

— А другой в другом месте испакостит, — резко сказал Дима. — Бессмысленное занятие.

— И что ж, — вдруг вступил в разговор доселе слушавший Иван Васильевич, — давайте все пакостить? Кто больше? Давайте ничего не делать, так, что ли?

— Я этого не говорил. Только противостоять невозможно. Можно все понимать и лишь присутствовать... — Он махнул рукой, встал и вышел из комнаты.

— Обозленный народец, — кивнул ему вслед Иван Васильевич. — С гнилой философией...

— Это он устал. Душа заблудилась, — вздохнул Иван Филиппович.

Смеркалось. Дима Черепанов вышел на крыльцо.

— Вы не курите? — раздался совсем рядом голос Кары Семеновны.

— Не курю, — грубовато отрезал он.

— Не курите, не пьете... — Она усмехнулась. — Да у вас тут прямо мужской монастырь какой-то...

— Угадали, — сказал он. — И под меня можете не подкатываться. Я таких штук насквозь вижу.

— Хамите? — спросила она, и по-прежнему в ее голосе чувствовалась улыбка. — Значит, побаиваетесь. — Достала сигареты и закурила.

— Не скрою, побаиваюсь, — ответил он после некоторого молчания. — Одна такая фря мне жизнь сгубила.

— Ну уж! А не наговариваете вы на женщину? Может, это в вас чего-нибудь не хватало?

— Во мне всего хватало! — почти выкрикнул он. — С избытком!

— Так может, ей избыток и мешал? — улыбнулась Кара Семеновна. — И перестаньте на меня кидаться. Смотрите, какой вечер хороший. Давайте пройдемся... — спусти-

лась с крыльца, и Дима, повертевшись, все же последовал за ней.

Ксюша и Веня по-прежнему сидели рядышком на диване. В комнате почти стемнело, но света они не зажгли.

— Ладно, ладно, — отстранилась от нег после долгого поцелуя Ксюша. — Войти могут в любую минуту.

— Могут, — согласился он.

— Да и вообще что толку.

— Ты мне нравишься... — сказав это, он отвернулся.

— Да что ты как красная девица! — произнесла она раздраженно. Он молчал, и Ксюша дрогнула: — Правда, нравлюсь?

— Правда, — сказал он.

— Ну да, конечно. Ты же сиднем сидишь три года. Любая понравится. Извини.

— Чего извиняться. Может, это и правда.

— Ах, правда! — повернулась она к нему. — Что ты сказал?

— Нет, не любая, — улыбнулся он. — Правда, что никого не вижу. А ты такая...

— Ты не знаешь, какая я, — отрезала Ксюша. — А хочешь про меня все знать? Я тебе все расскажу. — Он молчал. — Всю правду? Хочешь? — настаивала она.

В дверь тихо постучали.

— Это тетя Таля, — сказал Веня. — Входите!

— Хотите телевизор смотреть? Там кино... — заглянула в дверь Наталья Матвеевна.

— Ты хочешь? — спросил Веня Ксюшу. Она отрицательно покачала головой.

Дверь открылась, появился Иван Филиппович, а из-за его спины выглядывал Ксюшин отец.

— Вот и молодежь наша! — провозгласил Иван Филиппович.

— А чего без света сидите? — поинтересовался Иван Васильевич.

— Вечеряют, — пояснил за них Иван Филиппович. — А мы, Веня, в обсерваторию, на башню. Там холодно и ясно. Небесные светила в своем плавном математическом ходе скрывают сокровенную загадку бытия! — И, закончив столь витиевато построенную фразу, он победно посмотрел на всех и поправил черные очки.

— И как же тебя сюда занесло из Сибири? — спросил Иван Васильевич своего тезку, когда они вышли на улицу.

— Это история долгая. В ней и война вся, и две смерти моих... Шел, шел я через всю страну по военным дорогам и... остановился. С сорок четвертого на шахте в Сталиногорске уголек рубил. Здесь неподалеку... Для меня в сорок четвертом война кончилась, тоже девятого мая, когда Севастополь осво-

бодили. Я там партизанил в Крыму после плена. Так до конца войны на шахте и пробыл. Был со мной там мастер артиллерийский Аркадий Шарапов. Все сбежать подготавливал обратно на фронт. Надо было. Я ведь два раза бегал, один раз от австрияков, другой — от немцев. Да от своих бегать как-то постеснялся. А были такие, что бежали.

Они подошли к башне, Иван Филиппович открыл дверь, но, остановившись, хлопнул ладонью по стене.

— Вот она моя забота, почитай, тридцать лет! Я ее сам закладывал.

Вышли на площадку — перед ними мерцал огоньками городок. Оба тяжело дышали. Иван Филиппович наконец снял черные очки и потер глаза.

— У тебя со зрением что-то?

— Одним глазом почти ничего не вижу.

— Ранение? С войны?

— В том-то и дело, что нет. В мирное время молния шаркнула. А за всю войну, кроме контузий, ничего не было. Пешком через бои, через рукопашные, через плен, лагерь, катакомбы — и ничего! Один раз похоронка матери, другой раз — без вести! Мне моя жизнь одну книгу напоминает, читал когда-то в больнице. Я ведь после войны лечился много: ранить меня не ранило, а морально убило. Так вот та книга, кажется, «Заколдованный странник» называется...

— Зачарованный... — поправил Иван Васильевич.

— Во-во! Уж столько на него всяких несчастий валилось, а он все шел и шел, даже когда ему в пятки щетины нарезали, и то ушел. Через муки, но ушел. Так и я ходил. А потом решил остановиться. На этом месте вот этими руками заново жизнь строить. Конечно, в меру своих способностей... Строить-то начал, а душа у меня все ночная, по ночам зверем кричу. Жену первую замучил, бросила меня. Детей у нас не было, не хотела. Считала, что от меня дети припадочные будут. В общем, чего тут рассказывать, пятнадцать лет я по врачам мыкался. Бывало, проснусь поутру и думаю, жизнь-то как прекрасна! Тая, кричу, жизнь — прекрасна! Люди, кричу, прекрасна жизнь! Выходите, будем строить, будем творить чудеса. Живите, люди, насаждайте сады, рожайте детей. И мысли у меня все хорошие и все о мире... А война все во мне сидит, никуда не уходит да так мучает, что сил нет. Гармонь купил, на гармонию болельщик разгонял. А сны приходят и приходят — анафемские! Рукопашная снится. Первая. Немцы навалились. Вася Прялкин, матрос, здоровый такой, спереди меня колет, отбивается, а я стою и философствую. Жалко мне — люди. А он кричит: «Обороняй меня! Ваня, обороняй меня!» Пробили его с двух сторон. А я все стою, пока не увидел,

как он наземь упал... Потом уж я не философствовал, я вот этими самыми руками... Я — кулаком, я — за горло, я кадыки рвал! И с тех пор я шел по своей земле, я даже в окружении шел и не скрывался. Когда мы бронепоезд наш «Комсомолец Чувашии» взорвали и по-двое, по-трое из немецких тылов пробивались, я шел один по дороге, комбинезон на мне такой замасленный был, что трудно разобрать, чей он, а шапки не было. Иду, а по другой дороге, рядом, немцы, я им кулак показываю — грожу, а они смеются, думают, наверное, свой, да пьяный!

Он замолчал. Молчал и Иван Васильевич. Потом он тихо сказал:

— А я полтора года, что воевал, под колпаком отсидел. Стрелок-радиот. Сбивали нас два раза — живой остался, обгорел малость, а больше ничего... Чего-то мне пить охота! — повернулся Иван Васильевич к собеседнику.

— Пить? А как же звезды?

— Не хочется мне чего-то на звезды смотреть, — сказал Иван Васильевич. — В горле пересохло, водички бы холодной!

Они вошли в насосную, сейчас в ней было тихо — моторы не работали. Лампочка горела только в узком проходе, а вся насосная была погружена в полумрак. С дивана, стоящего к ним спинкой и отгораживающего комнатку, вдруг приподнялся Дима Черепанов. Вид у него был растерянный.

— Это ты, дядя Ваня, я вот тут у тебя...

— Ночуешь? А что ж ты не сказал? Тебе бы Тая белье дала...

— Да тут есть все, я по-походному.

— Мы только воды попьем, спи, спи! — махнул рукой Иван Филиппович и, подойдя к белой раковине, взял с нее стакан, ополоснул и налил воды.

Пока Иван Васильевич пил, фигура Димы все нелепо торчала из-за дивана.

Они вышли, а Дима сел на диван. Оказалось, что рядом с ним сидит на диване Кара Семеновна.

— Пронесло, — выдохнул Дима.

— Что пронесло? — удивилась она. — Я и не думала скрываться!

— А что же вы затихли, как мышь?

— А чего вы врать стали? Не могла же я после ваших слов встать и объявиться. Ну, ладно... Я пойду!..

— Подождите, — попытался он удержать Кару Семеновну.

— Чего так?

— Ну подождите, прошу вас.

— Нет уж, теперь мне действительно надо идти, а то сейчас меня хватятяся. Раньше надо было.

— Что раньше?

— Раньше думать, — сказала она и прошла мимо него.

Иван Васильевич и Кара Семеновна лежали в постели и оба не спали. Иван Васильевич приподнялся на локте и посмотрел на диван, где, положив руки под щеку, сладко спала их дочь.

— Спит,— шепотом сказал он и придвинулся к жене.

— Ты что, с ума сошел?! В чужом доме! — прошепела она.— Захмелел, что ли?

— Малость есть... — сознался Иван Васильевич.— Хорошо мне отчего-то. Просто вспомнилось, Кара, как мы вот так же в чужом доме в первый раз... Как тряслись от страха. И шорохи, и чужие люди рядом. И мы все по дыханию пытались угадать, спят они или не спят...

— Спи. Размечтался,— слегка толкнула его в бок Кара Семеновна.

Утро Веня обычно начинал с тренажера. Довольно-таки сложная конструкция, состоящая из ременных передач, пружин и прочих приспособлений, стояла на верандочке возле насосной. Веня полулежал в тренажере, изо всех сил работая ногами. Вконец измотавшись, он откинулся на спинку кресла и замер. Пот катился по его лицу, рубашка на груди была мокрой. За пыльными окошками верандочки стыл осенний сад. В саду под умывальником, раздетый до пояса, умывался Дима Черепанов. Веня потянулся за костылями, стоявшими возле окна, и увидел, что...

...к Диме подошла Ксюша. Она окинула его фигуру оценивающим взглядом.

— Ну, как спалось? — спросил он, вытирая лицо.

— Нормально. А вам как?

— Мне не очень, если честно. Никак не могу уснуть.

— Небось пишете по ночам?

— А если и пишу? — усмехнулся он.

— Я это сразу поняла — больно злой вы. Напрасно стараетесь, писателей у нас развелось! Скоро работать некому будет.

— В Исландии на каждые пятьдесят человек — один поэт. Голые камни на острове — и ничего, живут! Даже своего нобелевского лауреата имеют!

— У них быть исландцем — это уже значит быть поэтом. Он и селедку ловит, и стихи пишет. Вы ведь, как я понимаю, селедку не ловите? Сидите где-нибудь ночным сторожем, в лучшем случае, истопником...

— Откуда такие сведения?

— Оттуда! — сказала Ксюша.— Знаю вашу среду. Мой отец, между прочим, доцент кафедры зарубежной литературы, не хухры-мухры. Четыре языка знает, не считая грузинского и русского.

— А причем здесь ваш отец?

— Не о нем речь, а о его учениках. Тоже — кто истопником, кто сторожем, кто мусорные

бачки выносит. Стоило институт кончать! А соберутся, ты только посмотри на них! Джойс, Кафка, Пруст, Камю... Филологи! С метлой.

— Устроиться по специальности не так просто.

— Если силенок нет, нечего и рыпаться!

— Ну и словарь у вас. Вы сами-то кто, позвольте спросить?

— Я? Я — историк. Будущий,— вызывающе сказала Ксюша.— Диплом буду писать о Паисии Хилендарском. Слышали, наверное? — добавила она с издевкой.

— Не слышал,— сказал Дима.— Всегда завидовал тем, кто получает информацию с молоком матери. И все имеет от рождения. Языки, библиотеку... Одного они только, как правило, не умеют...

— Чего же?

— Пользоваться этим как следует.— Закинув полотенце на плечо, он двинулся к насосной.— Все по верхкам, все по верхкам...

— А вы завидуете. Завидуете! — крикнула Ксюша.— Может, мы просто не хотим этим пользоваться! Что, съели?! Поэт!

— Прозаик,— буркнул Дима и двинулся дальше.

Кара Семеновна стояла у окна и тоже наблюдала, как ее дочь во дворе общается с Димой. Иван Васильевич пыхтел за ее спиной, облачаясь в комбинезон.

— Знаешь,— сказала она мужу,— а ведь Ксюша крутит с хозяйским сыном, с этим безногим.

— Кара! Во-первых, тише. Во-вторых, он — не безногий! Есть надежда, что он будет ходить. Мне Иван Филиппович рассказывал. А в-третьих, пусть развлекаются, и ей скучно, и ему тем более. Что он видит здесь, кроме этой бетонной ограды?

— Уж больно мы добрые, Ваня. А потом, я не верю ей.

— Кому? Ксюше? Почему, Карочка?

— Что-то она затаилась...

— Ты говоришь, как о кровном враге...

— Мы и есть враги. Женщины всегда враждуют. А мы с ней, ты верно подметил, враги кровные, все-таки мать с дочерью...

— Какую чушь ты несешь, Карочка. Извини меня, конечно...

— Ну-ну. Ты еще всего про нее не знаешь. Тебя еще ждет разочарование, мой бедный хмырь! — Она подошла к мужу и чмокнула его в лоб.

Иван Филиппович сидел за рулем мотоцикла, а Иван Васильевич усаживался в коляску.

— Нет,— сказал Иван Филиппович Диме, стоявшему рядом.— Ты лучше оставайся,

— Я все-таки знаю там все входы и выходы,— возразил он.

— А нам и не надо. У нас один вход и один выход.

— Через этот выход ты, Филиппыч, ничего не вынесешь.

— Ладно-ладно,— пробурчал Иван Филиппович.— Ты тем более...— Он завел мотоцикл.

Дима закрыл за ними ворота, а когда повернулся, увидел Кару Семеновну.

— Почему же они вас не взяли? — усмехнулась она.

— Потому что, к сожалению, меня там все хорошо знают. Я раньше работал на этой станции. Золотое дно, доложу вам, милая Кара Семеновна.

— Что ж ушли с «золотого дна»?

— Да в том-то и дело, что я там золото не мыл. Конечно, деньги мне были нужны для осуществления жизненных планов, брать приходилось, но по совести, а чтобы совесть была сговорчивей, мы ее алкоголем воспитывали. В этой связи и жизненные планы отодвигались... Замкнутый круг! Да что я вам, собственно, рассказываю...

Разговаривая, они дошли до насосной.

— Нет, рассказывайте, рассказывайте, Дима,— взяла его за плечо Кара Семеновна.

— Тогда, может, зайдем? — предложил он.— Там теплей...

...Кара Семеновна расположилась на диване, а Дима сел в кресло. Здесь действительно, было тепло и уютно. Неувядшие астры, по-прежнему, стояли в банке на столе.

— Ну и однажды резьба сорвалась,— продолжал Дима.— Вылетел я с работы. Права качал не там, где надо. И взяла меня злость. Только объект я не тот выбрал. На своих бывших коллег озлился. Ну, думаю, погодите! Стал у станции болтаться, с утра свои лечебные сто грамм приму и болтаюсь. Очереди, людям ждать не хочется, а я тут как тут: кому дверь починить, кому стекло вставить, кому еще что. На станции пятнадцать берут, а я три, они — двадцать пять, заметьте, сверх стоимости по преysкуранту, а я — пятерку. Люди ко мне пошли. Само собой, к обеду у меня всегда на пару бутылок было.

— Догадываюсь, чем все это кончилось...

Он глянул на нее ожесточенным взглядом, встал, прошелся.

— А вы догадливая, как и дочь. Больницей все это кончилось. Отходили меня бывшие коллеги, как при капитализме...— Он подошел к раковине, ополоснул стакан и налил воды.— А в больнице я с Саней Копытовым познакомился. Он там обмороженный лежал. По пьянке замерз... И сошел на него там, в больнице, дух в виде белого голубя, медсестры Валентины, у которой он сейчас

и проживает. Да и я там угол снимаю...— Дима выпил воды, подошел к двери и накиннул крючок.

— Почему угол? — проследила за ним Кара Семеновна.

— Потому что прописан я у бывшей жены в однокомнатной квартире, где она проживает с ребенком.

— Вашим ребенком? — усмехнулась она, наблюдая, как он приближается.

— Моим...

— Девочка или мальчик?

— Девочка! — сказал Черепанов. Он стоял прямо перед ней, глядя сверху вниз...

На станции техобслуживания Иван Васильевич придвинулся к окошку стола заказов — подошла очередь.

— Вам что? — спросила его толстая молодая женщина, едва подняв глаза.

— Масляный насос надо сменить...

— Масляных насосов нет!

— Понимаете...— Иван Васильевич неуверенно протянул в окошко удостоверение.

— Что там у вас? — спросила она грубо и, едва приоткрыв документ, тут же брезгливо захлопнула.— Для участников войны есть особая очередь. Можете записаться.

— Но я же проездом, я не могу ехать дальше.

— А мне какое дело? Можете лететь...

— Что? — не понял он.

— Я говорю, если ехать не можете, можете лететь.— Она развела в сторону ладони, изобразив крылышки.— Во чудила! — кивнула она подруге.— Ехать не может... Вся страна ездит, а он не может. Фронтоник!

— Этот, что ли? — глянула на Ивана Васильевича девушка.— Что-то молод для фронтоника.

— Девушка, милая, красавица, нам бы только насос, а поставим сами,— влез в разговор Иван Филиппович.

— Для кого я, может, и милая, но не для вас! Посторонитесь, товарищ фронтоник,— сказала приемщица язвительно.

Они отошли. Иван Васильевич горько подвел итог:

— Я, Вань, ничего другого не ожидал. Сфера обслуживания.

— Их бы всех здесь! — Иван Филиппович поднял свой кулачище.

— С этим кулаками не совладаешь. Воровство, как крепостное право, надо сверху отменять...

— Чего, участники, пригорюнились? — подошел к ним потертого вида мужичок.

— Вам что? — уставился на него Иван Васильевич.

— У меня своя линия. Я тебя на территорию проведу, с людьми познакомлю, а ты мне «чирик» отвалишь.

Мужчины переглянулись.

— Думай, дядя. У них на складе все есть. Для сообразительных...

Иван Васильевич полез в карман комбинезона, достал десять рублей, сунул мужичку в нагрудный карман потертого пиджачка. Тот прихлопнул карман ладонью:

— Считай, уже в сберкассе!

Через несколько минут они были у ворот станции.

— Дядя Костя, пропусти! — крикнул мужичок привратнику, и ворота открылись.

Следом за парнем въехали на мотоцикле оба Ивана. Перед воротами станции и внутри стояла длинная очередь «жигулей» всех моделей...

...Иван Васильевич и его спутник стояли в дверях склада. По длинному коридору к ним шли мужичок и кладовщица, женщина средних лет, в синем халате.

— Ты это... не торопись, Иван... — сказал Иван Филиппович. — Осмотреться надо.

— Эти, что ли? — подошла ближе кладовщица.

— Эти, Зинаида, — кивнул он. — Корешки мои. Ну, я пошел. Вы уж тут сами...

— Чего надо? — грубо спросила она.

— Да ведь... Он что, не сказал? — засуетился Иван Васильевич. — Масляный насос...

— Откуда сами? — спросила она.

— Он проездом, из Москвы, — объяснил Иван Филиппович.

— Понятно, — сказала она. — Нету масляных насосов. — Лица у мужиков вытянулись. — Но один лежит. Хорошему человеку оставлен. Можно выписать, но это будет стоить...

— А как же хороший человек? — спросил Иван Филиппович.

— Будете брать? — Она повернулась, чтобы уйти.

— А ты нам покажи его хотя бы, хозяйка, — попросил Иван Филиппович.

— Чего показывать? — удивилась она. — Вон лежит. В масле. Прямо с завода. Наряд надо выписать, работу оплатить...

— А кто же нам наряд выпишет, если их на складе нет? — поинтересовался Иван Васильевич.

— Скажешь, Зина один нашла...

Они вышли со склада. Иван Филиппович вдруг остановился:

— Мотоцикл завести сможешь?

— Смогу. А что?

— Заводы и жди!

— Ты что, Иван?

Тот махнул рукой и снова скрылся за дверями склада...

... Мотоцикл уже тарахтел, когда подбежал Иван Филиппович со свертком в руках. Сунув сверток в коляску, крикнул озадаченному товарищу:

— Садись, быстро!

— Иван, ты что, украл?!

— Садись, садись! — отмахнулся тот.

Мотоцикл рванул с места.

— Ах ты подлюка! Ах, подлюка! — раздался женский визг от дверей склада.

Рванув дверь, закрытую снаружи на засов, кладовщица наконец вышибла ее и побежала по двору, криком собирая всех, кто попадался на пути.

Ворота были открыты, в них въезжали «Жигули».

— Дядя Костя, не выпускай! — кричали привратнику издалека, но мотоцикл, чудом извернувшись, уже выскочил за ворота.

Иван Филиппович круто завернул за угол. — Давай наверх! — сказал он ошарашенному Ивану Васильевичу.

Как ни в чем не бывало они прошли в зал, где выписывали наряды.

— Извините, вы уже были, — посторонил очередь Иван Филиппович. — Зина просила передать, что один масляный насос нашла. Выпишите наряд.

— Так бы давно, дядя, — ухмыльнулась приемщица. — А то участник войны!

Иван Филиппович подмигнул спутнику...

... Однако у дверей техстанции их ждала кладовщица.

— Вот они! — крикнула она. — Паскудники! Зови милицию!

Два дюжих парня двинулись к мотоциклу.

— Зачем милицию, Зин? Не надо милицию, Зин, — приговаривал один, поглядывая по сторонам.

— Вот этот! — подскочила к Ивану Филипповичу кладовщица. — Ворюга!

— Держи, лавочница! — сунул ей Иван Филиппович квитанцию. — Помни нашу доброту.

Та мельком глянула на наряд и завопила в голос:

— Нет, что делают, ребята! Грабят!.. Оплатили!..

— Ах ты лабазница! — с укором сказал Иван Филиппович. — Люди работают, производят... Сколько же вас к каждой детали прилипло!

Вдруг один из слесарей схватил Ивана Филипповича за грудки и толкнул. Иван Филиппович покачнулся, но на ногах устоял.

— Коля, сейчас я ему! — рвался к нему второй.

Но тут выбежал вперед Иван Васильевич и громко что-то закричал по-грузински. Все ошарашенно замерли. Потом один из слесарей сплунул и сказал кладовщице:

— Кошелка!

— Коль, я ж думала интеллигентные люди! Кто ж теперь их отличит. Чего он там, Коль, кричал?

— Наряд не потеряй, — напомнил ей Иван Филиппович.

— У, гад! — повернулся к нему один из слесарей. — Я тебя запомню!

— Запоминай, — сказал Иван Филиппович. — Запоминай!

... Они ехали на мотоцикле по шоссе, и Иван Васильевич, сидевший в коляске, размахивал руками и во весь голос распевал «Тбилисо».

Копытов и Наталья Матвеевна за кухонным столом, покрытым клеенкой со стершимся рисунком, играли в карты.

— А Валентина где? — поинтересовалась Наталья Матвеевна.

— У нее дежурство... Девчонка-то вокруг Веньки так и вьется!

— Хорошая девочка. Только скорей бы уезжала. Парень совсем голову потерял. Уж я-то вижу.

— Жаль пацана. Жаль пацана, это с одной стороны. А с другой стороны, может, мы чего, Матвеевна, недопонимаем...

— Эх, ты! — она подкинула ему оставшиеся карты. — Старый ты пьяница, даже в карты играть не научился.

Ксюша и Веня сидели в машине. Она — на переднем сиденье, а он — сзади, боком, вытянув ноги и упершись спиной в дверь. Накрапывал мелкий дождичек.

— Я тебе честно скажу. — После некоторого молчания продолжила разговор Ксюша, потянувшись к рулю и включила щетки, они заерзали по мокрому стеклу. — Я люблю честность. Ты на меня особенно не надейся. Я ведь... С тобой... Конечно, не просто так, ты не думай... Но все-таки другому я не сказала бы... — она повернулась к нему. — Я ведь, сколько ни пыталась, никого не могу полюбить. Я и сама страдаю от этого...

— Ты никого не любила? — спросил он почему-то обрадованно.

— Да не смотри ты на меня так! Не думай только, что я маленькая девочка! Почему-то все так думают. Были у меня мужчины, были... — Она отвернулась.

— И все равно ты не знаешь, что такое любовь.

— Зато я хорошо знаю теперь, что такое ее отсутствие. Раз-другой переспшишь, а потом и вспомнить противно.

Они молчали. Щетки на стекле стали пронзительно скрипеть, потому что стекло высохло, дождик кончился. Ксюша выключила щетки. Веня приподнялся:

— Пойди сюда.

— Что? — встрепенулась она и как будто не услышала его и услышала одновременно. Он притянул ее к себе и поцеловал.

Так они и целовались через сиденье, пока не услышали, как кто-то стучит в ветровое

стекло. Отпрянули друг от друга. В ветровое стекло, наклонившись, смотрел на них Дима Черепанов. Он молча показал на открытые ворота, в которые въезжал мотоцикл.

Ксюша открыла дверь, выскочила из машины, увидела мать. Но тут же справившись с растерянностью, спросила шепотом:

— Где ты была?

— А я что, обязана тебе отчет давать? Скорее я должна спросить тебя, что ты делала, но я и так видела... И вообще, перестань разговаривать в таком тоне с матерью.

Дима Черепанов тем временем уже развернул брезент, в котором были части разобранного мотора. Рядом стояли оба Ивана.

— Сейчас обедать будем! — возвестил Копытов, подойдя к ним. — Таля там такого кролика заделала!

— Надо помочь? — повернулась к нему Кара Семеновна.

— Таля просила Ксюшу.

— Ах, Ксюшу! — обиделась Кара Семеновна.

— Масло привезли? — спросил Дима, оторвавшись от работы.

— Обедать, обедать! Все идут обедать! Работать потом...

Иван Филиппович вдруг осекся — рядом стояла невеста откуда взявшаяся Паша. Была она навеселе, но вид имела грустный. Рукав пальто был испачкан известкой, подол — землей, зато в руках она держала букетик астр в целлофане.

— Ну что ж ты, Ваня? Ты меня пригласи, я не откажусь. Ради праздника...

— Паша! — неожиданно резко выкрикнул Иван Филиппович. — Мы же с тобой договаривались, Паша!

— А мне плевать на все уговоры! — взорвалась и она. — Да! Вот такая я! Стопарь вдела и прикатилась. Держите меня, мальчики, упаду! — Она и в самом деле покачнулась, улыбнувшись жалкой улыбкой. — Что ж ты затих, Ванечка? Знакомь с гостями. Санек! — раскрыла она объятья. — Кого я вижу. Друг дома и семьи...

— Паш, имей совесть, — отозвался Копытов.

— Санек, уж ты-то меня не гони. С этой я уже знакома, — махнула она рукой на Кару Семеновну, от чего та передернула плечами. — Она мне вчера на банку подбросила. Это муж ее, сразу видно — не хахаль! А эта девчужка, как я понимаю, дочь... Хорошая дочь! Вся в мамашу пойдет...

— Перестаньте паясничать! — не выдержала Кара Семеновна.

— Ах ты лярва, — очень спокойно отвечала Паша. — Ты на меня голос не повышай. Я — гражданка! Я никому не позволю на себя голос повышать. Со мной по-хорошему

все что угодно можно сделать. А с голосом — на-ка выкуси! Чем ты лучше меня? А? Чем?

— Ксения! — сказала Кара Семеновна. — Иди в дом, тебя давно ждут.

— Правильно, гони дочку, нечего ей на меня смотреть. Она на тебя насмотрелась. Как будто я не знаю, какие вы все, мужские жены. Это вы с виду такие гладенькие, такие холеные...

— Замолчите! — выкрикнула Кара Семеновна. — Какое вы имеете право? Вы нас в первый раз видите.

Иван Филиппович попытался увести Пашу.

— Паша, не надо... Уходи.

— Ах, не надо?! Забыл, как Паша к тебе от живого мужа бегала? Что зенки выкатил? Где тогда твой стыд был? Мой-то вот он! Мой стыд уже весь на виду. — Она распахнула полы пальто. — Вся перед тобой.

— Паша, не надо. Зачем ты? Сейчас не время. Кто же виноват? Ты пойди отдохни там в насосной...

Вдруг все услышали стук и, повернувшись, увидели, что из машины выбирается Венья, стуча костылями о кузов.

— Сынок, стой! Я же к тебе шла! — кинулась к нему Паша, но он, переставляя костыли, сделал несколько шагов прочь. — Сынок, мы же давно не виделись. Они же меня к тебе не пускают. Они говорят, что ты меня видеть не хочешь. Ведь это неправда, сынок?! Скажи, что неправда!

— Ты лучше не приходи, — все так же не поворачиваясь, глухо сказал Венья. — Не приходи, мама.

— Сынок, неужели ты забыл свою маму? Сиротинка моя... — Она шла к нему, и все расступались. — Ты маму не ругай. Мамка — дрянь, но все равно маму не ругай. Она родила тебя. Тебе на том свете за маму все отплатится. Мама тебя любит. Я знаю, — махнула она рукой, и жест вышел какой-то жалкий, короткий, — ты маме все простишь...

— Мама, не надо, — сказал он, тихо поворачиваясь. — Не плачь...

— Да она пьяная! — вдруг закричала Ксюша. — Она же юродствует. Никого она не любит!

Ксюша подбежала к Паше, вырвала у нее из рук цветы и стала букетом хлестать ее по лицу. Паша закрывалась руками. Когда подбежал Саня Копытов и стал оттаскивать Ксюшу, она уже и сама остановилась. Букет был истрепан.

Все молчали.

— Как же так? Как же так? — недоуменно повторяла Паша. — Никто не знает, что у меня день рождения, мне и сказать кому... Вы же люди. Я же шла... У меня день рождения. Сынок! — говорила она уже совсем другим голосом и припадала к Венье.

— Мама... — гладил он ее по голове. —

Успокойся. Ты прости ее. Она хорошая, ты прости, мама...

— Я сама... сама... все знаю... — затихала Паша.

А Ксюша вдруг вырвалась из рук Копытова, который, забывшись, все еще держал ее, и, отбежав в сторону, выкрикнула:

— Психи! Психи недорезанные!

Время близилось к вечеру, когда Ксюша подошла к верандочке возле насосной. Свет не горел. Она поднялась на две ступеньки и вошла. В кресле тренажера сидел Венья. — Ты чего здесь? — спросила его Ксюша. — Хотел зарядкой заняться, да сил нет. Она подошла, села на табурет, пододвинув его поближе к Венье.

— Они уже там кончают, — сообщила она.

Венья молча кивнул.

— Знаешь, что я придумала? — она заглянула ему в лицо, склонив голову набок. — Я останусь с тобой. Сейчас на неделю. Я уже взрослая, они разрешат. Я потом сама вернусь в Москву. Я понимаю, как тебе тяжело...

— Ты что, серьезно?!

— Да...

— Нет, ты шутишь, — покачал он головой, все еще не веря.

— Не шучу. Я люблю тебя. Я знаю, ты все сможешь. Такие, как ты, очень сильные.

— Нет, ты правда?! — Он приподнялся в кресле. — Повтори!

— Я останусь с тобой... Я буду тебе помогать. Хотя бы просто быть рядом. Я даже на заочное могу перевестись. И когда-нибудь ты встанешь и пойдешь сам. Может быть, даже очень скоро... Я недавно прочитала, что одна англичанка была слепая от рождения. И был у нее друг с детства. И вот однажды, когда ей исполнилось уже восемнадцать лет, он внезапно сказал ей, что никогда не женится на слепой. Это так ее потрясло, что она разрыдалась и вдруг различила какие-то круги, точки, пятна... и прозрела. Видишь, как бывает... И знаешь, чем это закончилось? Она вышла за него замуж.

— Это у нее было сильное потрясение.

— Дурачок, это у нее была любовь.

Он взял ее руку.

— Я всегда думал, что буду один. Меня дядя Ваня вытягивал. Я уже не верил. Там в башне веревка висит на блоках. На ней дядя Ваня воду в ведрах поднимает, когда лестницу моет. На меня столько раз накатывало. Дай думаю, доползу... и, как отец, веревку на шею...

— А что с ним такое было?

— Пил всегда, сколько себя помню. Приходит ночью, и сразу драка. Мать тогда еще не пила. Я проснусь и начинаю кричать, чтобы кто-нибудь услышал. А однажды вскочил ему на спину, в волосы вцепился

и повис. Тут уж он кричал, но ничего сделать не мог, а я больше всего боялся отпустить волосы, думал, скинет и убьет...

— Веня, бедненький,— погладила она его по волосам и по лицу, обняла.— Теперь все будет по-другому. Все! Ты сиди тут и жди меня.

Ксюша подошла к мужчинам, которые возились возле машины.

— Папа,— позвала она.

— Чего? — оторвал он взгляд от мотора.

— Ты занят?

— Не очень,— ответил за него Дима.

— Можно тебя на минуту?

Иван Васильевич вытер руки «концами» и подошел к дочери.

Они зашли в комнату, где на диване полужела, положив руку на лоб, Кара Семеновна. Увидев их, она приподнялась:

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю,— пожал плечами Иван Васильевич.

— Вот что, мои дорогие родители, сограждане,— сказала Ксюша,— я вам хочу кое-что сообщить.

— Может, не стоит? — засомневалась Кара Семеновна.

— Стоит,— отрезала дочь.— Дальше вы едете без меня, а я остаюсь здесь еще на неделю.

— С какой стати? — спросила мать.

— Допустим, мне хочется.

— Нет, ты можешь объяснить толком?.. — заволновался Иван Васильевич.

— Могу. Я чувствую, что я здесь нужна. А там видно будет.

— Очень вразумительно. Нет, Иван, ты только послушай, какой бред она несет. Ты сама послушай себя со стороны.

— Мамочка, давай не будем. Считай, что я говорю отцу.

— Постой, Ксюша, что-то я не понимаю,— растерялся тот.

— Сейчас поймешь,— вскочила Кара Семеновна.— Видит бог, что я долго терпела. И я тебя предупреждала, Иван! А ты и слушать не хотел. Она уже успела закрутить здесь с хозяйским сыном.

— Не трогай его, мама!

— Я его не трогаю! А вот тебя... Знаешь ли ты, Иван, что твоя дочь давно путается со всеми подряд? Что у нее мужики идут с десятого класса? Знаешь ли ты, что она сейчас беременна?

— Это правда? — тихо спросил Иван Васильевич, глядя на дочь.

— Частично.

— Что значит частично? Я тебя спрашиваю, это правда?! — заорал Иван Васильевич.

— Папа, я тебе потом все объясню.

— Чего там объяснять, твоя дочь — шлюха! — резко выкрикнула Кара Семеновна.— В наше время все было по-другому.

— Я не знаю, как и что там было в ваше время,— зло отчеканивая каждое слово, сказала Ксюша,— но я хорошо знаю, кто ты есть сейчас. И все из-за тебя было. Если хочешь знать, я тебя так любила, я папу так любила. А ты... Это ты! Я все время видела тебя, я и в первый раз из-за тебя все сделала, и на юге, и здесь начала, чтобы тебе досадить, потому что ты сама...

— Замолчи! — задохнулся Иван Васильевич.

— Да чего мне молчать! Она изменяет тебе чуть ли не у тебя на голове, а ты ни черта не видишь!

— Иван, я надеюсь, у тебя есть остатки самолюбия и ты поговоришь с ней! — сухо сказала Кара Семеновна и вышла.

Воцарилась тишина. Иван Васильевич постоял, постоял и боком опустился на диван.

— Прости, папа.— Дочь села рядом.

— Чего же теперь делать, Ксюша?

— Я останусь, папа,— попросила она.

— А с этим как? С беременностью?.. Ведь надо что-то делать.

— Да нет ничего,— ответила дочь.— Я ей назло сказала.

— И в остальном ты тоже соврала? — спросил он с надеждой.

— Нет,— покачала она головой.— В остальном правда. Только я никого не любила.

— Как же, Ксюша... без любви-то?

— Ну, папа,— сказала она с детской, обезоруживающей улыбкой.— Любовь все не приходит и не приходит.

— Ничего не понимаю,— сказал Иван Васильевич.

Дима Черепанов, сидя на корточках, промывал в консервной банке с бензином какую-то деталь. Подошла Кара Семеновна:

— Не помешаю?

Дима взглянул на нее снизу вверх.

— Отчего же?

— Я покурю, ладно? Ничего?

— Ничего. Вон там у машины встаньте.

Кара Семеновна отошла, прислонилась к машине.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Случилось. И очень давно. Выходила замуж за писателя, а на самом деле он оказался доцентом. Даже не профессором, а доцентом. Доцент — это его потолок. Потолок бездарности.

— Как же вы легко в бездарности записываете...

— Не легко, не легко, Димочка. Я на это жизнь убила.

— А меня тогда куда записать?

— Мы с тобой одного поля ягоды. Все понимаем, а ничего сделать не можем. Тоже, стало быть, бездарности, только с умом.

— Не лестно,— усмехнулся Черепанов.— Я-то вообще о себе несколько другого мнения.

— Ладно,— совсем по-доброму улыбнулась Кара Семеновна,— не обижайся... У тебя все впереди. Ты молод, зол, упрям! Но этого мало... Тебе нужно помочь. Хочешь, я помогу? У меня в Москве есть связи практически во всех художественных сферах.

— Раньше бы я отказался. Гордость не позволила бы.

— А теперь согласишься... — почти ласково сказала ему Кара Семеновна.

— Да. А теперь скажу — да! Хочу! Мне, Кара, только толчка не хватает. Я чувствую, чувствую, что нужен только толчок. А энергии у меня хватит.

— Да, энергии у тебя хватит... — задумчиво сказала она.— Хорошо. А сейчас мне нужна твоя помощь.

Веня по-прежнему сидел на верандочке. Услышав шаги, он обрадованно обернулся, но тут же сник — это была Ксюшина мать.

— Вы можете догадаться, по какому я поводу, Веня?

Он молчал.

— Я бы могла просто вам все это запретить, но прежде мне хочется поговорить с вами, как со взрослым человеком. Не хочу, чтобы ее поступок нанес вам травму. Как бы вам это сказать.. Вы юны, неопытны, вы многого не знаете... В общем, все эти слова уже сотни раз говорили таким молодым людям, как вы.

— И наверное, сотни раз эти советы никто не слушал.

— Вот как! — усмехнулась Кара Семеновна.— Вы уже настроены против меня? — Нет, что вы! Я не к вам лично...

— Это она вас настроила. Но она много жлет. Она и вам, вероятно, наврала. Она вот хочет остаться с вами, а всего вам не сказала...

— Вы ошибаетесь, у нас был откровенный разговор. И она сказала мне все.

— И что она беременна?

— Как? — повернулся к ней Веня.

— По вашей реакции вижу, что не сказала.

— Это неправда. Это вы нарочно.

— Нет, это правда, можете спросить у нее самой.

— И что же она будет делать?

— Вот видите, вы не знаете, что делать. Для вас это непосильно,— мягко увещевала Кара Семеновна.— Ребенок. К тому же чужой ребенок. Но и за чужим ребенком нужен уход. А вы... Вы и сами — ребенок...

— Раз она не сказала, значит, у нее были на это причины,— упрямо пробурчал Веня.

— Я думаю, она просто забыла об этом,— усмехнулась Кара Семеновна, наблюдая за ним, и, видимо, оставаясь довольной этим наблюдением.

— Она обязательно сказала бы мне потом,— упрямо повторил он и добавил, улыбувшись: — И это был бы наш ребенок.

— Как быстро вы строите воздушные замки! — вспыхнула Кара Семеновна.— Это, вероятно, ваше привычное занятие? Ничего у вас не выйдет. Моя дочь уедет со мной. Если надо, я ее по рукам-ногам свяжу и в багажнике увезу, ясно?! — Она вышла, хлопнув дверь.

Иван Васильевич и Ксюша все еще сидели в комнате на диване. Слышно было, как на улице Дима Черепанов гонял мотор, форсируя обороты.

— Ты думаешь, дочка, я ничего не вижу. Ошибаешься, я не слепой. Мне обидно, больно, но я привык, я привык к унижению. Я со всех сторон унижен. Но я пытаюсь ее понять, она ведь тоже страдает. Во всяком случае, мне так кажется, или я хочу, чтобы так было. Ведь она чего-то ищет. Об одном только думаю: только бы она меня не бросила, только бы не ушла. Все вижу, а думаю только об одном.

— Она-то от тебя никогда не уйдет, потому что она тебя поработила. И меня хочет... Давай вместе уйдем, у тебя одного сил не хватит. Уедем куда-нибудь. А хочешь, здесь останемся?

— Скажу тебе честно, я Ивану Филипповичу завидую. Я душой здесь отмяк. Нет, что я говорю? Глупость, мечта о рае... А ты останься. Я в это не верю, а ты останься. Здесь люди хорошие...

— Правда, папка? — обрадовалась она.— Ты мне правда разрешаешь?

— Одна только просьба: не говори матери. Я попробую ее уговорить, чтобы до утра подождала.

— Ничего ей не скажу. Только ему... — Она поцеловала отца и выбежала из дверей.

Тут же она столкнулась с матерью, но та, взглянув на Ксюшу, ничего ей не сказала.

— Что это она такая веселая? — спросила Кара Семеновна у мужа.

Он поднял голову и, прежде чем ответить, долго смотрел на нее.

— Я ей сказал, что мы поедем только утром. Только не хвали меня. Я это сделал ради нее.

Ксюша сбежала с крыльца, но почему-то вдруг остановилась, замешкалась и повернула к машине, возле которой продолжал возиться Дима Черепанов.

— Ну что, Данила-мастер, не выходит твоя чаша?

— Через час сможете ехать,— буркнул Дима.— Хотя тебя-то мне и не хотелось бы отпускать.

— А чего это уже на «ты»?

— Для интиму.

— А-а,— протянула она.— Со мной это не пройдет.

— Со всеми проходит,— сказал Дима.

— А со мной не пройдет!

— Так чего же ты сюда бежала?

— Просто так... — не нашлась Ксюша.— Я думала, мама здесь. Вы ее не видели?

— Видел. Она вошла в дом перед тем, как ты из него вышла. Вы просто не могли не встретиться.

— Глаз тренируете? Для писательской деятельности? — снова взяла насмешливый тон Ксюша.

— Все смеешься, хорохоришься, а на душе-то беспокойно... Слишком мы еще малы и неопытны.

— Это смотря в чем? — тряхнула головой Ксюша.

— Уверен — во всем.

— Не берите на себя такую смелость.

— Я слышал, вы хотите остаться? — Дима подошел поближе и заговорил тише.— У вас далеко идущие планы?

— Кто вам сказал? — напала на него Ксюша.— Кто вам сказал?!.. Понятно! Значит она вам уже доверяет. Да, собственно, какое это теперь имеет значение? Ну так что вы от меня хотите?

— Нет, это вы от меня хотите, иначе не стояли бы здесь и не слушали неприятные вещи.

— Допустим.

— И допускать нечего. Все видно невооруженным глазом, то есть без всякой трубы. Даже астрономической.

— Вы — пошлая!

— Я реалист. Вы хотите наперекор своим родителям остаться здесь? Зачем?

— А уж это совсем не ваше дело. Стало быть, есть надобность.

— Я почти два года провел здесь и могу точно сказать, что надобности нет.

— Вы никого не любили,— Ксюша, словно жалея его, покачала головой.

— Ты тоже! — Дима был резок.

— Неправда!

— Правда! — Он взял ее за обе руки.— В тебе есть только желание любви, а самой любви нет. И вообще еще неизвестно, можешь ли ты любить... Может, проверим? Для чего ты хочешь остаться? Ну? Для чего? Возиться с калекой?

— Он — не калека!

— Он — калека!

— Он встанет! И пойдет! Сам! Он уже многого достиг.

— Да, иногда он чего-нибудь достигает, а потом любое нервное потрясение отбра-

сывает его назад. Он не встанет. Никогда. Ты хочешь выносить за ним «утку»?

— Отпустите меня,— попросила слабым голосом Ксюша, и он отпустил ее руки. Она дрожала.

— Замерзла? — спросил он.— Подумай над тем, что я тебе сказал. Ты же не хочешь плакать над ним, а потом бежать к другому под покровом ночи. Да нет, ты до этого не дойдешь. Ты сбежишь гораздо раньше. Поиграешь в сострадание и сбежишь. Так, может быть, честнее это сделать прямо сейчас, пока не поздно?

— Вы жестокий, гадкий человек! Зачем вы мне это говорите? Я не хочу этого слушать... — Она отвернулась, еле сдерживая слезы.— Все было так хорошо. Раз в жизни я хотела сделать что-нибудь хорошее. Я сама себя любила за это.

— Не плачь,— искренне пожалел ее Дима.— Все у тебя будет хорошо.

— Я не пойду в дом,— сообщила она ему отчего-то доверительно.

— Не ходи...

— Я к нему тоже не пойду... Зачем я вас слушаю? Зачем я говорю с вами?

Она двинулась куда-то в сторону, в сад. Дима догнал ее, развернул к себе, она почти не сопротивлялась.

— Пусти,— слабо сказала она, но он обнял ее крепче, поцеловал.

Ноги у Ксюши подкашивались. Вдруг сзади кто-то кашлянул. Они отпрыгнули друг от друга.

Из-за кустов появился Саня Копытов. Ксюша, заплавав, убежала.

— А, Санек! — неестественно радостно провозгласил Дима.— Ты чего? — спросил он уже настороженной.

— Подойди сюда,— сказал тот.

Дима медленно отступал.

— Ты чего?

И тут же Саня сбил его с ног.

— А-а! — криво улыбнулся Дима, снова вставая.— Ты все слышал!

— Не только слышал, но и видел! Падла!

— Напрасно ты, Саня, я же правду сказал. Я всегда, Саня, правду говорю. Без правды, Саня, мир долго не продержится... Ты же видел, она сама поняла!

Саня снова кинулся к нему, но Дима успел отскочить на порядочное расстояние, и тот остановился.

— Ты все там с машиной закончил, правдолюбец? — показал он на брезент.

— Осталось несколько гаек законтрить,— с готовностью ответил Дима.

— Я сам сделаю, а ты, сука, проваливай отсюда. И к нам с Валентиной не появляйся. Пока я здесь, собери вещички и мотай!

— Это за то, что я правду сказал?

— Да за такую правду!.. Когда мы с тобой из больницы вышли, ты помнишь, какие мы

слабые были, как по улицам учились ходить, как вместе держались, чтобы никто не подбил, чтобы снова у магазина не оказаться. А что ты сейчас сделал? Девчонка уедет, туда ей и дорога! А ты Ивана предал, ты меня предал, Веньку!

— Ладно,— примирительно сказал Дима.— Я давно уж за вас не держусь, только случая не было. Разводите чувства, как другие шизики розы. А кругом ложь, обман, воровство, плевали все на ваши чувства. Все! Я засох тут, пора и о себе подумать. Любого гада, который встретится на моем пути — уничтожу и с пути не сойду. Я за правду...

— Я вижу, ты сильный стал. Ты со своей правдой-маткой далеко пойдешь. Ты этой правдой любому глаза выколешь! Иди-иди! Но мне не попадайся.

— Ох, испугался я тебя! — озлобился Дима.— Уеду я отсюда, уеду. Только и мечтаю, как выбраться из этого стоячего болота, у меня уже и план давно готов. И найдутся люди, которые помогут. А вы здесь — не люди, а идеи ходячие. И плевать я на тебя хотел. Я теперь ничего не боюсь. А ты, Саня, все равно к магазину скатишься. Сердчишко у тебя болезное. Не с таким сердчишком в завязке быть!

— Сука! — сказал Саня.— Уходи!

Черепанов повернулся и пошел к воротам, а Саня постоял, смотря ему вслед, а потом пошел к машине, выбрал на брезенте нужную гайку и полез с головой в мотор.

Была ночь. Иван Васильевич и Кара Семеновна спали. Иван Васильевич проснулся, почувствовал, что его тормошат. Открыв глаза, он увидел перед собой одетую дочь.

— Ты чего? — спросил он.

— Вставайте, вставайте!

— Чего? Чего? — проснулась Кара Семеновна.

— Я вас прошу, уедем сейчас же. Я очень прошу!

Родители переглянулись.

— Одевайтесь, Иван,— строго приказала Кара Семеновна...

... Веня лежал в постели и не спал. Вдруг он услышал, что во дворе заводят мотор, потом зажгли фары. Он вскочил, с трудом спустил ноги, подхватил костыли и переметнул тело к окну. Машина разворачивалась, свет фар скользнул по комнате, ослепил Веню. На мгновение он опустил голову к плечу. Послышались приглушенные голоса, хлопнули в последний раз дверицы, закрылись, скрипя железом, ворота...

И этой ночью, как почти в каждую ночь, Ивану Филипповичу приснился сон, от которого он вскочил с душераздирающим криком, в холодном поту. Таля тоже просну-

лась и теперь сидела рядом, обняв его.

— Ничего-ничего,— высвободился он.— Спи, спи...

— Ты куда? — тихо спросила она.

— Пойду, уже утро, а ты еще спи...

Накинув телогрейку поверх рубахи, он надел черные очки и вышел из комнаты. По дороге привычно заглянул в комнату Вени. Постель была раскрыта, костылей не видно. Что-то ударило Ивана Филипповича в сердце. Он бросился из дому.

На крыльце он остановился на мгновение. Направился к башне, сначала медленно, потом быстрее и, наконец, побежал.

У входа в башню стоял прислоненный к стенке один костыль, другой валялся рядом. Иван Филиппович рванулся внутрь. Башня гулко ответила на хлопок двери, все ее пространство было пусто, покачивалась от ветра веревка.

Иван Филиппович бросился наверх. Взялся он долго, по пути приседал, Прихватывало грудь, сосало под ложечкой.

Выбравшись наверх, он распахнул дверь на площадку и вздрогнул. На полу, закинув голову, лежал Веня.

— Венька! — бросился он к нему, поднял голову, стал трясти.— Венька, ты чего?!

Тот приоткрыл глаза.

— Я заснул, дядя Ваня. Как дошел сюда, упал и заснул. Мне сны хорошие снились — вот иду я и иду...

— Веня, ты что... Как же ты здесь, сынок?.. — Иван Филиппович растерянно огляделся по сторонам.

— Я сам, дядя Ваня, дошел, костыли бросил и дошел. У меня такое чувство, дядя Ваня, как будто меня на куски разрубили, а потом водой живой окропили, как в сказке, и все срослось, и я снова ожил...

— Веня! — закричал Иван Филиппович.— Венька! — Он обнял его, стащил с себя телогрейку, укутал, сел рядом, привалил к себе.— Венька!

Он снял очки и сощурился.

— Дядя Ваня,— попросил Веня,— закрой глаза, солнце всходит. Ты совсем ослепнешь.

— Ничего, ничего,— приговаривал тот.— Я все вижу.

— Что же ты видишь, дядя Ваня? Ты же щуришься! — улыбнулся Веня.

— Я все вижу. Вот пришли мы с тобой на Иртыш. А вода в Иртыше теплая, ласковая. Поплыли мы... Ты ведь не умеешь, но я тебя научу... Пльвем, а Иртыш журчит, переливается, шепчет мне на ухо: «Где ты был, Иван, сорок четыре года? Где ходил, Иван, и пошто вернулся, родной?»...

— Ты плачешь?

— Плачу, Веня, плачу... Как ты думаешь, Веня, это будет?

— Будет. Это будет!



СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛАЗУТКИН (родился в 1945 году) после окончания Московского энергетического института работал инженером. В 1977 году закончил сценарный факультет ВГИКа.

Фильм по литературному сценарию Сергея Лазуткина «Сад» снимает на киностудии «Мосфильм» режиссер Али Хамраев.

СЕРГЕЙ ЛАЗУТКИН

САД

СОНЕТ

— А х, сестренки! Так умирать не хочется...

— Не умирай.

В синем небе облачко. Наше облачко. Такое пухленькое, упитанное, как бабушкина ватрушка. Оно всегда тут висит с ранней весны и все лето, и мама...

— И перестань петь этот дурацкий марш! Ты мне мешаешь читать. Ты слышишь, Ася?

Под облачком розовые голуби-вертуны ходят кругами. Ну вот, дождалась — завертелся один, падает к покосившемуся кресту на зеленой маковке. Самой церкви отсюда не видно — ее загораживают кусты сирени. Вечно цветущей. Это так! Сирень, огибая наш сад плотным кольцом, цвела все лето, и мама, навещая меня, обязательно жаловалась, что от сирени у нее болит голова. Мне всегда грустно вспоминать об этом лете, потому что это был наш последний год в Поповке — суровой зимой наш старинный, наш чудесный сад погиб; дедушка и бабушка переселились к нам в город (дом в Поповке почему-то сгорел), а осенью сорок первого саперы взорвали и нашу церковь — она оказалась слишком хорошим ориентиром для немецких летчиков, бомбивших Тулу.

К сиреновой грозди подлетел бархатный шмель.

— Я потрясена! Сто тысяч поверженных врагов за два дня. Нет, битвы Македонского достойны пристального изучения!

Представляю: Томка. Двоюродная сестра. Она младше меня на целый год — ей только пятнадцать. А зануда! Сегодня она особенно в ударе, потому что сегодня день изучения тактики крупной наступательной операции. Совсем дошла девушка.

Томка вычитывает всю эту муру из своего талмуда с кровавым обрезом, водит пальцем по зеленой странице с жирными, как пивявки, стрелками, а когда в наш заливчик на краю сада залетает ветерок со склона, прижимает карту широкой ладонью. Да, она как всегда сидит по-турецки, но сегодня для маскировки она к тому же и в зеленой накидке, как в коконе. Из узла под горлом торчат зеленые ослиные уши. Ха!

— Ха-ха!

— Нет, Аська! Ты поразительно небосбранныя!

Томка просто обожает воспитывать, вот только поправит очки мамашиним жестом — мизинцем, навстречу серым глазам.

Ну что говорила! Томка поправила очки, покосилась на уснувшую в траве Валерию

(ее родную, а мне тоже двоюродную сестричку) и изрекла:

— Я потрясена! Ты совершенно не воспитываешь себя перед грядущими трудностями! Какая близорукость! И потеря бдительности! Незнание тактики и стратегии — лишний козырь в руках врага! И вообще...

А по розовому платью Валерии тем временем пробирался кузнечик. Легкомысленный-легкомысленный. Интересно, почему блондинки так не любят загорать?

— И вообще,— продолжает нотацию Томка,— у тебя же есть конкретное дело. Ты ведешь тактическое наблюдение и пишешь пьесу к своему дню рождения — так почему, спрашивается, ты не хочешь это дело делать добросовестно, Ася?

На красном канте глубокого выреза кузнечик остановился и прыгнул вниз. — Ася!

И тут роскошная грудь нашей блондиночки-красотки вздрогнула, и Лярка, улыбнувшись из сладкого сна, томно пробормотала: — Витенька... перестань... пожалуйста...

— Ах, Витенька, мой дружок!

— Аська, прекрати передразнивать мою старшую сестру! — возмутилась Томка.

— Ха! Интересно, чем это твоя старшая сестра занимается ночью, если днем спит? В ее-то семнадцать...

— А с этим мы как-нибудь без тебя разберемся, ты же просто завидуешь ее роскошному телу,— прищурившись, высказалась Томка. Вот зараза!

— Да, очень! — Ася обиделась.

Она перевернулась на живот, натянула на себя зеленое покрывало, оставив снаружи только голову — черный кудрявый шар.

Разбуженный разговором, из травы поднялся наш здоровенный псина Марс. Потягиваясь, он подошел к Асе и рухнул рядом, толкнув девушку боком.

— Не мешай. Не видишь, что ли, я пишу пьесу.

Марс взглянул на чистый лист бумаги и улыбнулся.

— Ах ты мой милый блохастик,— Ася ласково погладила Марса по морде.— Мой единственный друг. Если б ты знал, как мне все надоело. Все-все, даже ты. А может, ты хочешь дослушать сказку?

Марс радостно закивал.

— Даже так? — удивилась Ася.— Ну хорошо, слушай, только у нас сегодня тактические учения и я обязана наблюдать, так что будем совмещать два дела. Дай-ка мне бинокль.

Марс завертел головой.

— Держи, песья Шахерезада,— фыркнула Томка.

Не отрывая глаз от талмуда, она придвинула мне бинокль.

— Ах-ах, великий ученый,— передразнила

я ее и объяснила Марсу: — Ученый — это тот, кто насаживает на иголку все живое. Вот если бы у тебя были крылышки... Погоди-ка.

По косогору вниз скользнула быстрая тень.

— Вижу ворона старика Иннокентия,— сообщила Ася.

Черный ворон спланировал к двум большим камням — ледниковым валунам у подножья холма. Выбрал коричневый, прыгнул на него, поджав правую изуродованную ногу и коварно следя желтым глазом за белесой спиралью гадюки, которая поспешно разматывалась под серый с ледяными прожилками валун.

— Так на чем мы остановились? — спросила Марса Ася.— Ах, да, я тебе рассказала, как у одного короля родились три прекрасные дочери, как он их прятал от дурного глаза в подземном дворце и как однажды они упростили отца выпустить их на волю. Ну, слушай дальше. Эту сказку я придумала специально для тебя.

Марс устроился поудобнее, закрыл глаза, и я стала рассказывать, продолжая наблюдать за тем местом, куда спряталась гадюка.

Эта гадюка тоже наша. Я помню ее тыщу лет. Она не кусачая и все равно уж очень противная. Днем она всегда ползала погреться на дорогу.

А за дорогой поле, желтое и густое, как шерсть. Волнами. Долгими-долгими. До жутко мрачного Сурового массива. Он был всегда чем-то недоволен. Над ним вечно копилась черная туча, и, словно побаиваясь темного леса, юлила к нему подлиза Лапа. Лапа — наша страшно ленивая речка. Она делит поле пополам, а возле Поповки через нее переброшен березовый мостик.

— Так вот. И вышли прекрасные сестры в сад погулять, увидели красное солнышко и деревья и цветы невиданные и несказанно обрадовались, что им волен белый свет, бегают по саду — забавляются, всякой травкой любят. А ехало тем временем мимо них Лихо-беда, кривое да хромое, да на голове мешок.

Тот день был несусветно жаркий. Звук — и тот, казалось, прижался к прохладной земле. В небе тоскливо кричал от одиночества сокол-сапсан. Летали под облаком голуби. Томка читала. Лярка спала. По Лапе в сторону Сурового массива плыла вода.

Да, я чуть не забыла — в Суровом массиве водились волки, а тем летом появилась в наших местах волчица-людоед. Бр-р-р! То ли дело наш липовый лес, старинный, светлый. Щеглы в нем летают. Он совсем рядом, за Лапой, за березовым мостиком, — уступом. Сухая березка на углу, на самом повороте дороги. За нее только-только

скрылся наш сосед — старик Иннокентий в черном плаще.

— Том, а, Том,— позвала Ася.— Ты знаешь, я вот думаю, что живи сейчас Пушкин, я бы ну обязательно влюбилась в него.

Тамара подняла голову и прищурилась.

— Что эту сказку ты украла у Пушкина, я сразу поняла. Кроме этого, в тебе говорит испанская кровь твоего отца,— разумно сказала она, поправляя очки.— И вообще ты находишься как раз в том возрасте, когда влюбляются во всех мужчин подряд.

— Не суди по себе.

— Я и не сужу. К примеру — своего музыканта-флейтиста любишь?

— Володьку?

— Именно.

Ася задумалась, покусывая ноготь.

— Да, безумно,— решительно согласилась она.

— А с Сережкой гуляешь! Вот и доказательство.

— Ха, ну и что? Мало ли я с кем гуляю,— не приняла логики сестры Ася.— А еще я была безумно влюблена в актера. О боже!

— Обсуди это с Лярой.

— О боже, как он был красив — весь седой, жутко похожий на пожилого Сергея Есенина, с белыми бакенбардами и без ноги.

— Какая гадость!

— А еще у него была палка с черным пуделем на ручке. Он ею колотил свою жену. Ах, как я ей завидовала! Интересно, Пушкин тоже дрался?

— Аська, какая же ты...— ужаснулась Томка.

Ася отмахнулась, вскочила и, хохоча, прошла, как гвардеец, вскидывая правую ногу и руку одновременно. Перешагнула через всхрапывающего Марса.

— Вот так он ходил,— сообщила она подбоченясь и под укоризненным взглядом сестры вдруг поскуичнела, снова улеглась на траву.

— И опусти ноги,— готовясь уткнуться в свой талмуд, приказала Томка.— Совсем опусти! Как ты не понимаешь, что ты слишком хорошая мишень для вражеского снайпера. Твой плацдарм: наша Поповка — Суровый массив. Пиши пьесу и наблюдай за передвижением противника. Возьми бинокль.

— Ах, Томочка, как же ты мне надоела,— пожаловалась Ася.— И бабушка не зовет полоть картошку.

Ей действительно было очень-очень скучно.

Над рекой вдоль липовой рощи летела сорока. Пролетела было сухую березку на углу липового леса, но вернулась и юркнула в ее крону.

— Нашу сороку вижу,— тоскливо сообщила Ася.— Она спряталась на сухой

березке и сквозь скрюченные ветки наблюдает странный экипаж на дороге. Может, сбежим, а, Том? Пока бабушка не зовет. Так купаться хочется.

— Не носи отсбятины,— приказала Томка.— Отсюда не видно, кто едет по дороге. Сообщай только то, что видишь.

— А если я все вижу глазами сороки?

— Дура!

А между прочим, как позже я узнала от Вальки-сороки, нашей почтальонши, в тот день мимо Поповки проехало Лихо. Да, да, самое обыкновенное Лихо. Оно лежало в телеге, а телегу тащила шаткая лошадка. Жутко скрипели оси, на деревянных спицах кивали безвольные головки клевера, а рядом с колесом, точно привязанная к нему скрипом, переставляла ноги песочная собака с жалким бездомным взглядом. За собакой плелся упитанный щенок той же бродячей породы, пытаюсь пристроиться на ходу к сухим материнским сосцам на тощей кошелке живота.

Дорога шла узкая. Слева тянулась липовая роща, справа — густые желтые заросли. С желтого полотна поля вырвалась и вонзилась назад стайка перепелок.

По просеке во ржи от дороги быстро уходил наш сумасшедший сосед Иннокентий, старик огромного роста. На ходу его черный плащ до пят развевался, левой рукой он поправлял длинные седые волосы, а в правой его руке была странная палка-дубинка, от которой в земле оставались зловещие квадратные дыры. Возле березового бревна на середине поля старик остановился, огляделся.

— Тук-тук-тук,— жалобно издало дерево, отзываясь на больно циркавший по боку стальной коготь страшной клюки.— Тук-тук.

Из ржи по-звериному упруго поднялся небритый человек с воспаленными глазами, пригнулся и, прихрамывая, заспешил на стук, держа наготове наган.

— Сил нет,— простонали под березкой оси.

Сорока глянула вниз — в подвехавшей телеге на клевере лежало странное тело: не то пугала, не то пассажира с корзиной на голове. Из-под корзины также выглядывал и кованый угол дерматинового портфеля, а от портфеля в человеческой последовательности были разложены следующие вещи: бежевые толстовка и галифе (на толстовке лежал коричневый ремешок), галифе были заправлены в начищенные дорогие сапоги, рядом с правым мертвым сапогом из-под травы выглядывала резиновая головка палки, левый сапог при езде покачивался.

На повороте лошадка чуть-чуть задумалась и со вздохом свернула к мосту.

— Ох-хо-хо. Сплошное издевательство,— простонало под корзиной.— Слышь, как вас там... Гражданин. Сколько ж можно? Гово-

рил, пятнадцать верст, деньги взял, а сам пьяный. Матом ругаешься!

Возница вздрогнул, выглянул между плечом и проломленным козырьком надвинутой на лоб фуражки, тяжело вздохнул.

— Вот так всегда — одни вздохи, — пожаловалось «пугало». — Чай, нынче сороковой год, в три часа инспекция, а оси скрыпят — душу травят. А поди узнай в бумагах после твою скрыпу — кто есть вредитель? По глазам он, может, и свой... Вот ты, к примеру! — Из сена появилась и легла на ремешок костлявая рука. — Очень подозрительно! Деньги дерешь, сало пропиваешь — отсюда и скрып! Как ваша, гражданин, фамилия?

Но вместо ответа сквозь стеление осей пришел опять вздох, и инспектор жалобно проговорил:

— Долго еще хоть до Кукуевки?

— Мне почем знать, — буркнул наконец в ответ человек в фуражке. Подавил икоту. Добавил: — Чай, Поповка будет, там и Скоморошки... небось.

Телега въехала на березовый мост.

— Па-по-вка, Ска-аморошки, — передразнивая бревенчатую трясушку, проворчал инспектор. — И где же это твоя Поповка, ну?

— А кто ж ее знает где — на юру... небось, — ответил возница, пригнувшись под ветви орешника, и выкатила телега к нашей Поповке на юру.

На юру — значит, на крутом, как шишка, холме. На вершине его, где располагалась Поповка, был разбит старинный сад. Это правда — настоящий старинный сад. И хотя от моста, а потом и с дороги, что, обогнув нашу Поповку, упиралась в деревню Скоморошки, некоторые принимали наш сад за самый обыкновенный лес — домов не видно, только выглядывает над деревьями зеленая маковка с косым крестом, да рядом кудрявая голова моего дуба, — я вас уверяю: мой сад действительно жил лет двести, а то и больше.

Впрочем, если приглядеться, то все-таки можно заметить на сбегавшем к реке склоне разноцветные домики пасеки деда и зеленый лоскут бабушкиного огорода; можно разглядеть и нашу беседку, а рядом с ней качели — они спрятались за сирень.

— И это что ж, Поповка? — удивился инспектор. — Подозрительно. А дома где ж? Кто там живет?

К вершине дуба пролетел наш ворон.

— Я жду ответа! — прикрикнул инспектор.

Возница посмотрел на сад, потом на инспектора и сплюнул.

— Ну, чё причаился, — жалобно отозвался он. — Кто живет, кто живет — а мне почем знать... твою мать... кто тут живет? Никольские в саду живут с внучками. Дьяк Иннокентий живет... небось.

— Что-о? Что? Товарищ! — ласково вдруг так проговорил инспектор, укладывая ладонь на палку, как на топорище. — Ты это как разговариваешь? Това-а-риш! Ты знаешь, с кем это так разговариваешь?! А?! Поговори у меня. Жива!

И спина возницы все поняла — съежилась. Инспектор, довольный произведенным эффектом, улегся на клевер, помолчал и, ткнув палкой в наше облачко над церквушкой, сказал с раздражением:

— Вот и облако... Сколько смотрю — все на одном месте. Подозрительно. Как бы пожар не случился...

Сплетница-сорока перелетела на верхушку нашей беседки. Повертела головой, приметила бабушку с самоваром на крыльце дома, розу на сидении качелей. Качели у нас были самые настоящие, с металлическими штангами и веревкой для раскачивания — лохматый конец на земле. Им-то и заинтересовался красавец-пегух. Ба, а это что за безобразие? В два взмаха сорока перелетела на абрикос, одиноко стоявший посередине клеверного лужка, и гневно застрекотала на нашего дураля поросенка Тишку. Действительно, дуралей. Видел бы его Иннокентий. Даже нам бабушка запрещала ходить в розарий, а этому хоть бы что! Весь усыпанный лепестками роз, поросенок вышел к роднику на границе розария и клеверного лужка, близоручко взглянул на сороку и ткнулся пяточком в самый центр лужицы, в нежный сосочек ключа.

От возмущения с сорокой чуть не случился припадок.

— А ну помолчи! — прикрикнула на сороку бабушка с крыльца и позвала: — Ася, Тома, Валерия... Девушки, полоть картошку!

Из сада на склон вырвались три девичьи фигурки и припустились к реке. Впереди, размахивая покрывалом, как флагом, неслась легконогая Аська, за ней сосредоточенно, с талмудом под мышкой, бежала Томка, за Томкой — ее старшая сестра красавица Валерия, еще томно-вялая ото сна. Вдогонку за девушками уже спешила сорока.

— Гляди, девушки, — чему-то очень обрадовался инспектор, приподымаясь. — Живут же люди... а тут...

Телега как раз встала возле валунов. Возница достал кувшин. Не теряя времени даром, приподняла хвост лошадка; прильнула к оси, слизывая черную сальную жижу, песочная собака, к ее животу пристроилась щеночек...

Вот теперь от валунов наша церквушка видна целиком, рядом с ней зеленый домик садовника и бывшего дьяка Иннокентия, а из-за холма появились и веселые крыщи Скоморошек.

Инспектор кряхтя сел, снял с головы корзину.

— А эти Никольские, небось, хорошо живут? — спросил он.

— Бр-р-буль, — согласился возница.

Инспектор поскреб ногтем серые перышки волос, шлепнул ладонью по затылку — убил слепня и, разглядывая врага, выругался:

— Сволота... Давно я тут не был. Ишь, зажили как, сады развели, девушки бегают... зажрались! Охо-хо. Лиха на вас нет, вот что я вам скажу... товарищи.

И только инспектор произнес эти слова, как над Суровым массивом загрохотало и от леса, точно огромная бурая свинья, через рожь, понесся на Поповку стремительный смерч.

Лошадка вскрикнула — из-под колес с визгом вылетели мать со щенком; ойкнув, рухнул в телегу инспектор.

Ухнула от первого ураганного шквала Поповка. Вбрана старика Иннокентия прямо вышвырнуло из ветвей дуба, да так, что расправить крылья он успел только над самой землей.

От второго шквала — застонала Поповка.

Ну и досталось нашему по-летнему драчному коту-бандиту Васечке. Вытянувшись в струну, он промчался по серой дорожке через сад, тараня лбом град разноцветных мячиков — яблок, слив и груш. Когда же плодовая часть нашего сада оказалась позади и до коричневого дома деда осталось проскокить розарий и клеверную лужайку, земля под ногами бедного Васечки вдруг присела, лопнуло небо, а из черного пролома с сатанинским хохотом выпрыгнул и сожрал — на глазах зависшего в воздухе кота сожрал! — одинокое абрикосовое дерево остро-мордый огненный пес.

В саду началось такое!

Слава богу, дверей у беседки не было, а то что бы стало с нашими зверьми?

Оттолкнувшись от мокрой спины пса, в изнеможении вывалился на стол Васечка.

Втиснулся под кровать с разбегу поросенок Тишка.

Брезгливо смотрел на них с полки над Томкиной кроватью хромой ворон Иннокентия.

Гудевший над головами зверей купол беседки стал протекать. Струйки полились на стол, на одеяла... Кот перепрыгнул на сухую подушку и принялся вылизываться, передергивая боками и вглядываясь безумными глазами в абрикос, факелом полыхавший в ночи.

Вечером, когда мы вернулись в Поповку, Томка очень заинтересовалась обгоревшим деревом. Трижды оглядела его с головы

до ног, долго что-то искала в земле, наконец похлопала ладонью по стволу несчастного абрикоса, как по хорошо врытому столбу.

— Поразительно! — заявила она. — Дерево сторело, но где же след от удара молнии? Не правда ли странно, сестричка?

Розоволосая красавица Валерия на мгновение замерла со стопкой постельного белья перед голубой тенью беседки.

— Я сказала, не правда ли, сегодня чудесный вечер, чтобы заняться твоим испанским? — коварно улыбнулась Томка, поглаживая своего фаворита бандита Васечку, тоже розового.

На закате после грозы мой сад был действительно чудесный. Яркий. Звонкий. Сочные длинные тени. А запахи! Сирени, черной смородины, клевера, роз — все вместе! И дорожка еще не подсохла, сохраняла на секундожку влажный след.

Проверив эффект со следом, Томка заглянула в беседку.

— Ты что, опять собираешься на гулянку? — поинтересовалась она с порога.

С этих слов обычно и начинался Томкин ежевечерний монолог по поводу моих и Ляркиных «гулянок под луной с деревенскими оболтусами». Томка прямо с ума сходила по вечерам от ревности.

Валерия заправляла постель.

— Валерия, ты слышишь меня? Твое легкомыслие меня убивает — переэкзаменовка через месяц, а ты за лето палец о палец не ударила. Ну конечно, когда? Днем ты спишь, вечером шляешься со своим... а ночью, извините, ночью я сплю.

Лярка улыбнулась.

— И я требую прекращения с сегодняшнего дня этих гулянок под луной! Или ты думаешь, я от тебя отстану? Напрасно! Я ответственна за тебя перед нашей мамой и слово свое сдержу, не задумываясь о жертвах. Я жду ответа!

Мамаша Томки с Ляркой, надо сказать, вся из себя фиолетовая дамочка-дворяночка, бледненькая, глазки спрячет и тю-тю-тю. Мы с мамой зовем ее Тютюшей. На мой день рождения припрется!

— Томочка, выйди, пожалуйста, мне нужно переодеться, — попросила Лярка.

Милая Лярка, как же ты чудесно говорила — очень мягко, чуточку пришепетывая.

Но от Томки не так-то просто было отделаться. Она вышвырнула Васечку вон и продолжила:

— Ну хорошо, это твое дело, провалишь ты испанский или нет. А Аську зачем втянула в свои гулянки? Она доверчивая и очень влюбчивая девушка. У Аськи возраст сейчас такой. А что за тип этот ее Сергей, ты сама знаешь — бабник и хам, самонадеянный деревенский обольститель. И

ее нужно спасти от него. Ее еще можно спасти, если за это дело мы возьмемся вместе. Мы должны объединить...

— Я просила тебя выйти,— уже твердо повторила Лярка.

— Ясно! — прищурилась Томка.— Придется принимать меры.

И так каждый вечер! Потом бабушка звала нас ужинать. Вот только пропоет кудрявоголосый пастуший рожок...

Пропел пастуший рожок.

— Му-у-у,— заголосили с дороги коровы.

— Девушки, ужинать,— голос бабушки из сада.— Ася! Зорька идет.

— Она на дубе,— ответил голос Томки.

— Ба, я не хочу есть,— голос Лярки.

— Аська, иди есть,— голос Томки.

— Иду.

Ася дописала последнюю строчку, сложила листки, сунула их в карман, обернулась к осколку зеркала, привязанному к стволу зеленой лентой, вздохнула и стерла с губ ярко-красную помаду. С верхней ветки неодобрительно смотрел на нее ворон.

— Брысь, — шикнула на него Ася.

Ворон упал вниз. Пора и мне спускаться, не хочется.

Под облаком кружили подкрашенные закатом голуби. Белел силуэт церкви за листвою. Зато двор перед церковью и зеленый домик рядом видны хорошо. За домиком погост сползал вниз по склону, пряча среди деревьев кресты. Там уже вечер. Оттуда выступила черная фигура старика Иннокентия. На плечо старика уселся хромой ворон. Возле дома Иннокентий что-то сказал ему — ворон стремительно улетел и, не успев старик отпереть висячий замок на двери, вернулся, держа в клюве веточку петрушки. Сумасшедший потрел по голове понятливого ворона. Резко обернулся. Я еле-еле успела спрятаться от его страшных глаз.

В комнате бабушки ярко светила керосиновая лампа. Томка уже сидела за столом и лопала из миски гречневую кашу с молоком, когда Ася заглянула в окно. И ела же наша Томка, надо сказать, — за троих!

— Ой, Томка, что скажу — сумасшедший Иннокентий опять куда-то ходил. А хромой ворон понимает человеческий язык. Нет, это Иннокентий понимает звериный язык, — выпалила Ася. — А где бабушка?

Томка дожевала и, не глядя на Асю, ответила:

— Поросятка кормит. Ты пьесу закончила?

— Почти. Ты знаешь!

— Как это почти?

— Очень просто. Ты знаешь! Это будет спектакль — объяснение в любви. Пушкина и Анны Керн. Анной будет Лярка, я — Пушкин. Представляешь — ночь, волшебный старинный сад...

Ася вскинула руки, чтобы показать, каким будет ночью волшебный старинный сад...

— Удивительная расхлябанность! — воскликнула Томка. — Надеюсь, ты сегодня не идешь на гулянку?

— С чего ты это взяла? — удивилась Ася.

— С того, что я призываю тебя к благоразумию — послезавтра твой день рождения, а ты не можешь написать какую-то пьесу. А во-вторых, я хотела поговорить с тобой серьезно. Ася!

— Валая, — согласилась Ася. — Только подай сначала миску с огурцами... Спасибо. Зорька! Зорька! Иди сюда.

На зов из сада прибежала молодая пятнистая коровка. Ася поцеловала Зорьку в лоб, вручила ей соленый огурец.

— Теперь ступай, — приказала она корове. — У нас жутко серьезный разговор. Я слушаю вас, Тамара.

Томка сдержалась, отложила ложку, встала.

— Ася! Это касается тебя и Лярки, — заявила она решительно. — Молчи! Вы помешались на гулянках... Но вас еще можно спасти, если ты в этом поможешь мне. Теперь решай сама. Судьба Валерии в твоих руках, — патетически закончила она. — Так ты идешь сегодня в Скоморошки?

— Непременно,— ответила Ася, покусывая огурец.

— Очень хорошо,— прищурилась Томка.— Тогда я знаю, как мне следует поступить!

В тот вечер мы собрались у Насти Скворцовой. Она жила одна. Молодежи набралось как никогда много. На гармошке играл наш пастух Венька Кривой. Танцевали. В основном, кадрили.

Мы с Валькой Сорокиной сидели в углу. Она гадала. Витька с Ляркой танцевали тоже. Со стороны сразу было видно, что у них любовь. И вообще, не понимаю, за что так не взлюбила его Томка? Мне Витька нравился — высокий, спокойный, такой вроде рохла — Иванушка, видели бы вы его, когда он дрался с тремя ребятами сразу.

Томка и Сергей стояли возле печки. Беседовали. В платье Томка была очень даже ничего. И очки сняла. Щеки покраснелись.

От дружного притопывания сотрясался пол.

— Нет, как ни гадай — не любит он тебя, — скорбно сказала Валька. — Вот твоя соперница, — она показала червонную даму.

— Может, на четырех дамах попробуешь? — попросила Ася.

— Напрасно. Он-то что говорит?

— Кто?

— Пиковый король.

— Предлагает встретиться.

— Плохо. — Валька оглянулась на Сергея, собирая карты. — Очень плохо. Коварство вижу у него в сердце, но есть одно средство, — совсем по-цыгански прошептала Валька, разглядывая пикового короля.

— Говори, — потребовала согласная на все Ася.

— В полночь... — голос у Вали сорвался, — точно в полночь надо назначить свидание ему на кладбище или в церкви. Если полезет целоваться — не любит. И помни... — Вообще-то Вальку среди девчонок считали колдуньей. — ... И помни: в его губах отравя. Поцелует — пропадешь. Помни это, как заклятье. Глянь, что он сделал с Настей.

Хозяйка дома, Настя Скворцова, большеголовая, хрупкая девушка, сидела в компании подруг рядом с гармонистом и неотрывно смотрела на Сергея измученными глазами.

— Только раз и поцеловал, — шептала Валька. — И пропала она. Совсем высохла от любви.

Кончился танец. Разгоряченные ребята побежали на улицу. На середине комнаты сходились новые пары. К Насте тоже подошел парень и, взяв за руку, стал силой вытаскивать на танец.

— Не тронь ее! — прикрикнул на него Сергей и обернулся к Томке: — И что же ты предлагаешь, Тамара?

— Оставьте Асю в покое, — потребовала та ни много ни мало. — У нее сейчас особый возраст — она влюбляется в кого попало.

— А ты?

— Кроме того, вы через пару недель уйдете в армию, а вам, насколько я знаю, надо еще разобраться с Настей.

Глаза Сергея стали злые-презлые.

— Поэтому я обращаюсь к вашей интеллигентности — оставьте Асю в покое.

Сергей дослушал Томку и крикнул гармонисту:

— Венька! Вальс!

Танго оборвалось. Ребята зароптали.

— Много на себя берешь, Серега! Венька, играй танго.

— Вальс, — приказал Сергей.

Полупьяный Венька заиграл дерганый вальсик.

— Пойдем? — предложил Сергей.

— С вами? — усмехнулась Томка. — Ни за что.

Томка поднырнула под его руку и выскользнула из комнаты.

«На крыльце целовались Лярка с Витькой.

— Идиоты, — обругала их Томка.

Гармонь заиграла танго.

Сергей был выше Аси на голову. Красивый. И губы ничуть не роковые. Глаза черные, холодные, как у полководца.

— У тебя умная сестра, — сказал он улыбаясь.

— Вы ей тоже нравитесь, — поддержала разговор Ася.

— Что-то не заметил.

— Ну конечно. Вы привыкли, что девушки сами бросаются вам на шею. Не правда ли?

Сергей рассмеялся.

Танцевал Сергей мягко, поправляя спадающие зачесанные назад волосы, глядел в глаза. Еще бы усики — ну вылитый Гарри Купер или Милый Друг молоденький. Сергей развернул Асю. Теперь наступил его черед видеть полные слез Настины глаза.

— Так вам удобней за Настей наблюдать? — спросила Ася.

— Сегодня погуляем? — предложил он.

— Возможно... — загадочно ответила Ася.

— Где?

Гармонь заиграла кадрили. От восторга я захлопала в ладоши. Боже мой, ну как мне рассказать, как я любила кадрили — больше всего на свете! Мамочка, милая, прости — тем летом я кадрили любила даже больше тебя и особенно притопывать на развороте. Эх, топ-притоп. И топ-притоп... А когда у нас, у девчонок, получалось одновременно — становилось страшно и сладко.

Сережка ходил вокруг меня петухом и подпрыгивал, как молодой козлик.

— Так где встретимся? — притопывая, выкрикнул он.

— На кладбище. В полночь. У черного памятника.

— Идет, — рассмеялся Сережка.

— Смотрите, не обманывайте.

Сережка обманул. Я прождала его до половины первого, потом немного погуляла, разглядывая надписи на могилах, и снова вернулась к черному памятнику. Месяц светил ярко. На кладбище было скучно и тихо. Так тихо, что были слышны какие-то шепоты за спиной, но стоило мне обернуться — шепоты прятались за куст.

— Ха, испугалась. И не надоело прятаться, — сказала я им.

Тихо повизгивал у ног Марс. Тогда, чтобы шепоты отвязались, я стала отламывать от могильного венка цветки и напевать по весеннему утру, распахнутое окно и звонкую, кудрявую девушку, которую уговаривают проснуться и прислушаться к веселому пенью гудка.

Шаги. Далекие, гулкие.

— Ну, что я говорила, — дрожащим шепотом сказала Ася псу, — Сережка не такой трус, как ты. Он обязательно...

Нет, не шаги — топот. Напролом, через кусты. На Асю черной летучей мышью с криком: «Черт, черт, черт!» стремительно надвигался скачками безумный Иннокентий. Блеснула его страшная клюка над головой. Взвизгнув, умчался в темноту Марс.

Опомнилась Ася уже у церкви. Пробегая мимо, она покосилась в ворота и увидела такое!..

В саду зловеще расхохотался филин. Валерия нырнула под одеяло.

— Томочка, как страшно,— прошептала она оттуда.

Тамара прислушалась.

Ночь — за свечой, в дверном проеме беседки: в доме звякала посудой бабушка; тоскливо переговаривались о дневных делах деревенские псы в Скоморошках. Потрескивал фитиль.

— Ну и трусиха ты, Лярка. А еще старшая сестра называется,— проворчала Тамара.

Она сидела в постели. Коробка для кол-лекции на коленях.

Тамара поправила гребень в волосах и, придерживая у плеча одеяло, достала с полки над головой новую коробку. В ней — приколотые булавками бабочки; желтые, голубые.

— А вдруг с Аськой на кладбище что-то случилось? — встревоженно проговорила Валерия.

Тамара любовно расправила примятое крыло лимонницы, достала из кармана ко-войки спичечный коробок, а оттуда — уди-вительного, почти прозрачного розового мо-тылька.

— Чепуха,— ответила Томка.— И потом, только дуры боятся ночного кладбища. Это такое же общественное место, как и все остальные.— Она вытащила из воротника ко-войки булавку и приколотла мотылька на новое место обитания.

— А я боюсь мертвецов,— пожаловалась Валерия.

За стеной беседки простонало. Лярка вздрогнула, обернулась — из-за косяка д-вери вдруг стал расти кладбищенский цвет-ок. Появилась скрюченная красно-когтистая рука.

Валерия всхлипнула, с ужасом всматриваясь в пришельца.

— Ну и дура ты, Аська,— спокойно сказала Тамара.

Чуть покачиваясь на длинных, здорово выросших из-под платья ногах, в грубых баш-маках, Ася медленно продвигалась к столу, облизывая кровавые губы.

— Вытри помаду,— сказала Тамара.

Она открыла очередную коробку. На рас-пятых стрекот упал кладбищенский цвет-ок.

— Сейчас получишь.— Тамара отбросила цвет-ок на стол и добавила презрительно: — С черного памятника и я бы принесла. «Вампир» не ответит — он подбирался к жертве.

— Протяни мне руку,— провыл «вам-пир»,— для поцелу-у-уя.

— Началось,— фыркнула Тамара.— Кста-ти, к вашему сведению, вампиры пьют кровь из горла.

— Много ты понимаешь.— «Вампир» уселся рядом с Валерией, потербил вздра-гивающую под одеялом сестру и вдруг ан-гельским голосом произнес: — Ой, сестрички, что я сейчас видела...

Из-под одеяла вынырнули заплаканные глаза Валерии.

— Что?

— Вруниха,— сказала Тамара.

— На себя посмотри,— отрезала Ася.

— Асечка, расскажи,— попросила Вале-рия.

— Это страшно,— безразлично бросила Ася,— и потом некоторым... некоторым не интересно.

— Ладно, говори,— сказала Тамара. Она как раз закончила разбор своих сокровищ.

— Нет смысла — все равно не поверите.

— Потому что все время врешь!

— Как хотите.— Ася подошла к своей по-стели, поправила подушку, задумалась, вжи-ваясь в новую роль.— Как хотите,— повто-рила она.— Если вам не интересно, как на кладбище я чуть не попала в лапы старика Иннокентия, что, кстати, подтверж-дает мои подозрения, что он колдун... А потом, что я видела в церкви!

— Асечка, подожди,— попросила Вале-рия.— Том, можно?

— Ладно,— великодушно согласилась Та-мара.

Валерия перебежала к сестре, прижалась к ней. Ася, выдержав паузу, накинула на плечи серое одеяло и, вскинув как-крылья руки, превратилась в огромную черную бабочку на стене, над сестрами.

— Я случаем вырвалась из цепких лап колдуна Иннокентия, увернулась от железной клюки, которой он хотел пронзить меня,— голосом из прошлого заговорила Ася,— и выбежала к церкви. Было тихо, и я уже прошла мимо, как что-то страшно захо-хотало в ней.

— Наверное, наш филин,— подсказала трезвая Тамара.

— Томочка, я умоляю,— проговорила Ва-лерия сладким от безопасного страха голо-сом.

— Я вошла,— Асины руки с трудом рас-пахнули застывшую от столетнего холода скрипучую дверь,— и увидела! Во мне все так и задрожало — передо мной стоял, по-тупившись, воин. Весь в золоте. И сказал он мне: «Ася! Беда пришла в наш дом, страш-ная беда — предал святую Русь и меня мой брат Радивой окаянный, служит он им, басурманам». Тут мы видим чудное виденье: на помосте валяются трупы, хлещет кровь ручьями, как потоки осени дождливой. Горе! В церкви турки и татары! На амвоне

сам султан безбожный. Держит он наголо саблю. Кровь по сабле сбежав струится с вострия до самой рукояти...

Кровь сбежала в сжатый кулак Аси и закапала на поникшую голову Валерии. Ася дотронулась до русских волос, разглядывая сестру холодно-жестоким взглядом убийцы. Поежилась.

— И меня вдруг объял холод. Вздрогнул воин — он увидел брата-предателя, Радивоя окаянного. С той самой веревкой, которой он удавил родного отца. Басурманской чалмой покрытый, край полы он у султана целует. А султан прислужников кликнул и сказал: «Дать кафтан Радивою! Не бархатный кафтан, не парчовый, а содрать на кафтан Радивоя кожу с брата его родного».

— И все это ты видела стихами? — усмехнулась Тамара.

— Томка, перестань, — набросилась на сестру Валерия.

— Дура ты, Томочка, — с сожалением сказала Ася.

Ася снова вскинула руки-крылья, оглядела сестер и невидимую публику по темным углам, покосилась на черный прямоугольник ночи в саду и простерла к нему руки для молитвы.

— Громко мученик к господу взмолилсь! — речитативом профессиональной плакальщицы произнесла она и, ойкнув, бросилась в постель к сестрам. Упала на стол свечка, а за мгновение, как ей погаснуть, увидели завизжавшие сестры привидение.

— Цыц, — приказало оно.

Чиркнула спичка. Загорелась свеча. Привидением оказался дед. Небольшого роста, в белой холщовой рубахе, дед лукаво улыбался.

— А ну спать, а то живо всех в дом отправлю, — грозно произнес он и, обернувшись к входившей бабушке, добавил: — Не спят, черти.

Бабушка поставила на стол кринку с молоком, покрытую тремя ломтями серого хлеба. Бабушка была широкая и выше деда. Она села перед свечой, взяла вязанье.

— Ступай, спи, — сказала она деду, вытягивая из кармана передника бесконечную нитку.

Прошла и легла в свою постель красавица Валерия. Заскрипела пружинами, открываясь к стене, Тамара.

— Как молочка хочется, — попросила Ася.

— Спи, — сказала бабушка, — тебе с утра драть корову.

— Лярка мне проиграла. Ей вставать утром.

— Не Лярка, а Валерия, — поправила бабушка.

— Все спи да спи, — подразнилась Ася. — Так сказку хочется. Ба, расскажи о волшебном клубке.

— Да устала я больно, внученька. — Она отложила вязанье и задумалась, глядя на свечку.

— Тогда песню спой.

— Песню можно, — легко согласилась бабушка.

— Какая же ты все-таки, Аська, дрянь, — выпрямилась в постели Тамара. — Лярка и так за тебя прошлый раз доила. У тебя есть чувство ответственности?

— Ха! — с вызовом ответила Ася и тоже села.

— Девушки, спать! — прикрикнула бабушка.

Мы улеглись. Бабушка переставила свечу поближе и запела о чем-то далеком и печальном-печальном, со вздохами и шелканьем спиц в паузах. Сразу же захотелось спать, глаза сами закрывались-валились-лись...

Ася вздрогнула и проснулась.

— Ой, бабушка, а жаворонков мы забыли в этом году испечь?

— Эко что вспомнила, — вздохнула бабушка. — Рожь-то когда отцвела — колядки скоро.

Бабушка провязала до конца ряд, взглянула на внучку. Ася спала, подложив под щеку ладони. Чуть всхрапывала во сне Томка. Заснула со счастливой улыбкой Валерия.

Бабушка поцеловала и ее, оправила одеяло, огляделась, пряча вязание в фартук, взяла со стола Асин цветок, свечу и, перешагнув через спящего на порожке Марса, вышла в сад.

В саду она остановилась, прислушалась.

— Это вы, Иннокентий Сидорович? — спросила бабушка темноту.

На границе света выступил сумасшедший старик в черном плаще.

— Что не лежится? — спросила его бабушка.

Старик вытер рукой лицо.

— Черт приходил, — сдавленно сказал он. — Эй, говорит, живой кто есть? Есть, говорю. Выходи. А к Маше на могилку дашь сходить, проститься, спрашиваю. Беги, старик, если успеешь, отвечает... Успел.

Вокруг пламени оеди вилась мошкарка.

— А вы плюйте на сон-то, Иннокентий Сидорович, — сказала бабушка, — ступайте постпите.

— Я похожу.

Захрустел гравий. Звякнула клюка о качели.

— Храни тебя, господи, — тихонько сказала бабушка.

Она перекрестила ночь, в которую ушел старик, потом рот, перекрыв дорожку нечистому к лакомой душе, и пошла к дому, унося в руке желтый одуванчик.

В комнате дед чистил свою саблю осколком кирпича.

— Иннокентий-то совсем плох. Опять черт

к нему приходил,— сказала бабушка, разбирая постель.

Наконец погасло окно в доме деда, а еще через мгновение из беседки выскользнула в сад белая тень. Тень бесшумно пронеслась по саду, свернула возле розария в кусты сирени, выбежала в заливчик и, бросившись на шею черной тени, выступившей из ночи, зашептала, всхлипывая:

— Я думаю, умру, а бабушка все сидит, сидит... Витька, милый. Я ждала, ждала... и заснула. Я чуть не сошла с ума — вдруг ты ушел,— Лярка тихо разрыдалась.

— Кто-то идет.

Лярка с Витькой исчезли в темноте, и в заливчик вступила, ну конечно же,— Томка.

— Лярка, вернись. Ты слышишь, я все знаю. Я умоляю тебя вернуться... Лярка,— жалобно позвала Томка.

Проснулась Ася от солнечного зайчика. Не открывая глаз, отклонилась, но прямоугольник солнца, скользя по подушке, вновь уперся в лицо. Ася рывком села — никого.

От сотен лучиков, пробивших тугую зелень, светилась стена беседки. Кринка с пухом, рядом кусок серого хлеба, белая рваная дорожка тянулась от него к разбудившему Асю зеркалу. Над пролитым молоком гарцевала серая пчелка.

За деревом мелькнул бок Марса. Ася схватила хлеб, выбежала в сад — Марс исчез, покачивались качели, роза на сидении. Через прореху в сирени Ася выбежала на косогор и медленно вернулась.

Роза была срезана совсем недавно: лепестки ее в середине еще не успели раскрыться и тихонечко шевелились, пропуская росу внутрь. Ася провела лепестками по щеке, потянулась, протягивая хлеб и цветок сиреневой ветке, зашла в сад, осторожно ступая босыми ногами по серой дорожке. Свернула в кусты сирени на минутку, а когда хотела выйти — из-за поворота появилась Тамара. Ковбойка без рукавов, белые штаны с пряжками под коленями. Тамара занята делом — она вырывает по одному цветку из фиолетовой головки клевера и кладет его на острый язык. Язык у нее длинный бесподобно — достает до кончика носа. На носу у Тамары подорожник. Из карманов на груди выглядывают спичечные коробки.

— Пятнадцать,— считает она. Остановилась. Поправила очки мизинцем и, не оборачиваясь в сторону Аси, сказала: — Шестнадцать. Все будет бабушке сказано. Для вас и общественных мест не существует?

Ася вышла из кустов, одернула мужскую

рубашку. Тамара с осуждением оглядела сестру.

— Хоть бы постеснялась так ходить,— сказала она.

— Я не виновата, что рубашка короткая,— огрызнулась Ася.

— Ты всегда ни в чем не виновата. Опять розу подбросили? Интересно.— Томка отобрала у Аси розу, оглядела черенок, оборвала два лепестка и, лизнув, прилепила их на щеки.— Ладно, не скажу бабушке,— сказала она, удаляясь.— Семнадцать.

— Зануда,— прошипела ей вслед Ася.

Зато в глубине куста белой смородины Асю ждал сюрприз — пять пестреньких яичек. Ася осторожно потрогала их пальцем, сдвинула ветки над гнездом и побежала дальше, вдоль розария, к своей любимой яблоне. За деревьями она заметила старика Иннокентия и деда в противогазе. Иннокентий, как всегда в черном плаще до пят, опирался на свою страшную дубинку. Мой дед — неисправимый лентяй — сейчас, под руководством Иннокентия, белил известкой ствол серебристого тополя — гордости нашего сада.

— Выше, выше бери, сукин ты сын,— гудел Иннокентий.— Помру, сад совсем запустить.

— Все помрем, Иннокентий Сидорович,— философски заметил дед. Он почесал шею, снял за хобот противогаз. Продолжил мысль: — Вот надьсь стою, значит, у Зорьки, жрет эта прорва, а я думаю: и что же ты, дура, все жрешь да гадишь? Так и мы — помрем, и никто доброго слова не скажет.

Дед взглянул на задумавшегося над его словами Иннокентия, натянул противогаз.

— Так, что ли, али выше? — проворчал он.

— Выше.

— Все выше и выше, и выше,— запел дед, намыливая ствол.

А вот и мой дуб. Старый — в два обхвата. Над нижней веткой — дупло.

Привстав на цыпочки, Ася запустила руку в дупло, пошарила там, ничего не нашла; прикрыла дупло выгоревшим лоскутком мха и кустами вышла к дому деда. Заглянула в окно.

Так и знала: наша Золушка — возле стола. Ах-ах, скромная, красивая девушка с золотыми руками. Руки у нее по локоть в тесте, щеки в муке. Лярка задумчиво улыбается, точно знает что-то такое, что знают только красавицы, и — вот умора! — трет, не замечая, запястьем по груди. Ха! И вымазала ее тестом. Заметив, испуганно оглянулась в комнату.

— Встала, что ли? — окликнула от крыльца бабушка.

В руках у нее бутылка-четверть. А носу бабушки красный, как у пьяницы,— это от мелких-мелких сосудов, что от носа и по-

тяжелым щекам сбегались к голубым маленьким глазам. Бабушка дала поцеловать себя, оглядела босые, покусанные комарами ноги внучки, короткую рубаху, бугорки грудей, погладила лохматую Асину голову и сказала:

— Сходи-ка в лавку. Иннокентий Сидорович сказывал, утром керосин привезли.

— Сейчас, ба.

— Да приоденься, а то бегаешь, как лохмота,— девица ведь! — крикнула вдогонку Асе бабушка.

Каркнули черные репродукторы на столбе возле сельмага.

Витька взглянул на них и опять нырнул по пояс в распахнутую пасть полуторки.

За Витькой наблюдали от палисадника две старухи и Валька-почтальонша. Они сидели на сваленных к постройке неотесанных бревнах. Делать было нечего, бабушь морило под платками, надвинутыми на глаза, и они нехотя переговаривались.

— Ишь стала, как ломовая к трактиру,— проворчала одна, кивнув на грузовик.

— Ну,— согласилась соседка.

— На лошадке б давно, чай,— и на базаре.

— Э-хе-хе.

— Антихристы! Ишь повесили,— старуха кивнула на столб с тремя черными раструбами,— прям на церкву наставили.

— Ох-хо-хо,— опечалилась подруга.

На крыльце, по всему видно, шофер — кожаная куртка, форменная кепка — доедал хлеб. Заглядывая ему в рот, поодаль сидели рядышком желтая собака и щенок.

Возле перил — молодежь. Сбрасывались, прячась в тени. Деньги собирал Сергей. Он был хмур. Пересчитывал мятые бумажки, ошибался, злился. Рядом, прислонившись к столбу, тосковал, поглядывая в сторону сидящей с бабками молоденькой почтальонши, синеокий на один глаз парень. Синеокий сплунул и осторожно дотронулся до синяка, словно проверил — на месте ли глаз.

— Гляди, твоя прет,— толкнул он Сергея.

В ситцевом сарафане, чуть длиннее дедовской рубахи, с вытянутой рукой вбок — подалее от бидона, к магазину подходила Ася. Подходила, как принцесса,— на магазин, следовательно, и на ребят не смотрела, а на приветствие вставшего со ступенек шофера только кивнула.

— Ася! — окликнула ее почтальонша с бревен.

Ася побежала к подруге.

— На сеновал бы её...— высказался один из парней, хохотнув, но, взглянув на Сергея, смолк.

— Аська, что скажу,— затараторила, как сорока, почтальонша, отводя Асю под репродуктор.— Это тайна. Просто ужас!..

— Валька! — властно окликнул почтальоншу Сергей.

Когда Валя отошла, одна из бабок заговорила с Асей.

— Девушка, а, девушка,— добрым голосом начала она.— Ты что ж, милая, подол-то до пупа задрала бы.

— Не ваше дело,— огрызнулась Ася.

Она отпихнула свисавшие со столба провода, перешла на другую сторону.

— Не мое-то не мое,— потрясываясь от смеха, закивала бабка.— Кобелей вона сколько. Кабы матери своей дело-то не принесла. Хе-хе-хе.

Вернулась почтальонша и доложила:

— Сережка тебя приглашает гулять сегодня. Ребята сейчас едут на медосмотр, в военкомат. А вечером в Кукуевке гулять будут. Поедем?

— Вот еще.

Почтальонша подозрительно кивнула и опять затараторила:

— Ой, что говорят! Говорят, у Колошиных ведьма снова ночью корову выдоила — отвела за веревку в лес и выдоила, ну до капли. Ты что, с Сережкой целовалась?

— Что я, дура? — фыркнула Ася и покраснела.

— Смотри. И про Павла, старшего сына вашего Иннокентия, не знаешь? Ужас. Его опять выдал Венька-пастух возле Барской усадьбы. Он хромал на ту же ногу, как и волчица, что загрызла Фролку Цаплина. Понимаешь?!

Ася помотала головой, и ей стало почему-то страшно.

— Но почему это Павел? — осторожно спросила она.— Чепуха какая-то. Я сама видела бумагу из лагеря, где написано, что Павел умер во время перевозки заключенных.

— Вот именно! Умер, а ходит. Теперь понимаешь?

— Не-ет.

— Оборотень! — с ужасом произнесла Сорока.

— Оборотень?

— А ты как хотела? Теперь, пока он не передумит тринадцать человек или своего брата Кольку, он не отступит.

— Кольку? Но почему Кольку?

— Это он Павла погубил,— торжественно сообщила Валя.— Я сама слышала, как Колька по пьянке рассказывал, что он, Колька, раскрыл гнездо вредителей на заводе. И Иннокентий все где-то бродит. Я за ним давно смотрю. А как сразу он высох! Значит, жди похорон!

— Ты думаешь, он?..

— Покарай меня бог — пьет его кровь оборотень.

И вдруг, что-то вспомнив, полезла Сорока в сумку и достала оттуда алую атласную ленту.

— Прелесть какая! — ахнула Ася, разворачивая ленту.— Это мне? Что же ты не положила в дупло?

Загудела машина.

— Потом расскажу,— заторопилась почтальонша, чмокнула Асю в щеку и поспешила за старухами к подъехавшему зеленому армейскому автобусу со звездой на лбу.

Возле крыльца Ася остановилась — пройти в магазин мешала нога Сергея.

— Поедешь? — спросил он, похлопывая рукой перила.

— Уберите ногу!

— А то что?

— Уберите, пожалуйста, ногу.

— А как не уберу?

Ася скрестила на груди руки и приготовилась ждать вечно. Сергей убрал ногу.

— Благодарю вас,— сказала воспитанная Ася. И споткнулась. Грохнул бидон о ступени. Ребята загоготали.

— Очень умно! — бросила сверху Ася и впорхнула в магазин.

— Пр-р-раз-два-пр-р-р-надцатое августа сорокового году,— вновь заговорили черные репродукторы, расстреливая Скоморошки и белую красавицу церковь на юру.— Повторяю... Пр-р-р...

Так начался день пятнадцатого августа. Я хорошо запомнила его, потому что назавтра у меня был день рождения, а еще я услышала тогда гул в земле. Мы, как всегда, валялись в нашем заливчике на краю сада, спасаясь от полуденной жары.

Лярка спала. Томка, ссутулившись, колдовала над своим талмудом, изучая в нем теперь уже не карту военных действий, а цветной рисунок мужчины без кожи, с иглами, втокнутыми в бордовые мышцы, как в подушечку.

— Ты что-то сказала, Ася? — спросила Томка.

— Земля гудит.

— Чепуха! — авторитетно заявила Томка, что-то выписывая в блокнот.— Этого не может быть. Мы вне зоны сейсмоактивности.

Ася дотронулась мыском ноги до заснувшей в траве Валерии:

— Лярка, хоть ты послушай — ведь земля гудит.

— Отстань от моей старшей сестры,— приказала Томка.

— Сколько ж можно дрыхнуть без задних ног! — возмутилась Ася.— Мы же договорились репетировать.

— Ася! Как ты говоришь?! Думаешь, вырядилась в парня, то можно разговаривать, как хулиган?

Ася сейчас действительно очень походила

на парня: волосы она убрала под картуз железнодорожника, брови девушки «срослись» на переносице, выросли лихие усы.

— А иди ты,— огрызнулась Ася.

Она улеглась на траву. Где-то рядом ныл комар. Из Скоморошек доносился марш «Прощание славянки». Переругивались ребята на косогоре. Ребята учились щелкать хлыстом. Тот, что в фетровой шляпе с загнутыми полями, этаким Наполеончик — Федька. Он верховодит в компании, и хотя кнут для него явно тяжел, продолжает выбрасывать его из-за спины, ожидая звонкого, как выстрел, щелчка.

— Аська, ну стрельни,— позвал с косогора Федька и подбоченился.— Тебе что говорят, Аська!

— Не отстанешь — отниму хлыст,— пригрозила Ася.

— А хо-хо не хо-хо?

— Дурак!

Поглядывая на сестер, в сад пролетела сорока. Вот дрянь — она все лето шпионила за нами.

Из Сурового массива блеснул солнечный зайчик.

— Томка, падай! — крикнула Ася.

Томка распласталась на траве, приставила к очкам бинокль.

— Вижу. На вышке два человека,— сообщила она.

— Дай мне.

Томка отдала Асе бинокль. Задумалась, покусывая травинку. Потом приникла к траве — земля гудела.

— Да, ты права,— констатировала Томка.— Похоже, учения уже начались.

— Том, может, сходим, а, Том, ведь интересно,— возбужденно заговорила Ася.

— Возможно-возможно. Я думаю, этот гул как-то связан с передвижением бронетанковой части на полигоне.

— Ася-а-а! — позвала из сада бабушка.

— Иду! — крикнула Ася. И снова шепотом: — Ну что, Том, идем на полигон? Ведь так интересно!

— Нет,— усаживаясь, ответила Томка.— Нам запрещено ходить в Суровый массив и на полигон, в частности.

— Ну вот, в прошлом году прозевали, да? Хотите и сейчас? — Ася расстроилась.— А ну вас... — Она вскочила.

Снова позвала бабушка из сада.

— Аська, ну стрельни,— канючили снизу ребята.

— Я сейчас,— сказала Томке Ася.— Ты почитай пока Лярке. Лярка, слышишь? Учи роль.

Ася сбежала к ребятам, а Тамара, проведив ее взглядом, достала из книги листки бумаги.

— «Объяснение в любви А. Пушкина и А. Керн. Полночь. Старинный сад,— прочи-

тала она.— Пушкин: Ах, Анна, что слава поэту без вашей любви? Все богатства мира и золотую лиру своего таланта я отдаю за один ваш поцелуй».

Тамара поморщилась, разбирая текст. Щелкнул выстрел.

— Здорово! — сказал Федька восхищенно.

Ася отбросила хлыст за спину и предложила:

— Хочешь, шляпу собью? Я видела в кино.

— Давай, Федька,— загорелись ребята.

— Наши дурака,— презрительно процедил тот.

— Как хочешь.— Бросив ребятам хлыст, Аська направилась к саду.

Бабушка ждала возле двери домика Иннокентия. Она передала внучке стопку чистого белья и корзинку с овощами, отперла замок и ушла в домик, приказав:

— Подожди тут.

Но я бабушку не послушалась и осторожно вошла вслед за ней. В этом доме я не была с тех пор, как умерла тетя Маша. После ее смерти Иннокентий как-то сразу превратился в мрачного старца, жил сам по себе и, как утверждала Томка, «свихнулся от тоски» по горячо любимой жене. И Томку и меня мучил один вопрос: что же по вечерам так аккуратно записывал Иннокентий в толстенную книгу с бронзовым окладом?

И теперь эта книга лежала на столе.

— Гляди, задаст тебе Иннокентий Сидорович,— пригрозила от распахнутого сундука бабушка,— что пришла без спроса.

— Я быстро, бабушка,— проговорила Ася, уже раскрывая книгу.

Записи были разными почерками и разноцветными чернилами, совсем выцветшими в начале, и Ася, перелистав несколько страниц, вдруг почувствовала, что может читать. Это была летопись! Самая настоящая летопись!

— Бабушка! — воскликнула Ася.— Ты только послушай. «В лето шесть тысяч девятьсот четырнадцатое. Князь Юрье Смоленский отъеха из Новгорода в Торжек, убил тут неповинно служащего ему князя Вяземского и его княгиню, уязвив своим похотением окаянным на его подружке. Она же мужески воспротивився ему и земши нож и удари его в мышцу на ложе его. Он же тут и убия ея, руце и нози отсече и в реку вверже. И с того князь Юрье сбежа к Фрде». С ума сойти! «Бысть знамение на Похре: иде кровь от иконы святые Богородицы». Настоящая летопись,— пробормотала Ася, перебросила страницы и прочитала: — «Июля двадцать восьмого одна тысяча семьсот девяносто девятого году освещена церковь каменна Алексая богия человека. И на юру сад заложися». Бабушка, так это про нашу церковь и наш сад! Вот здорово.

— На-ка, примерь, насилу нашла,— ответила бабушка.

В руках у бабушки была желтая куртка. Куртка была ничего — правда, чуть великовата и пахла сыром. Надевая ее, Ася успела прочитать уже в самом конце:

— «...был большой снег. Того же дни граф Лев Николаевич Толстой помре. Поклон ему от народа. Родились: Пелагея от Марии и Гаврилы Хомутовых; Вениамин от Серафимы и Ивана Лыковых (пастуха)»... Ба, да это же наш Венька-пастух! А может, и ты тут есть?

— Может, и есть. Да не вертись,— одернула Асю бабушка. Она оглядела внучку и, довольная, сказала: — Сидит справно. Иннокентий-то ее Павлику купил, а его аккуратно и забрали.

— За что, ба?

— Кто же знает. Взяли, и все. Ну что, канитель, подойдет курточка для театра?

— Конечно.

— Тогда сымай пока. Сестры-то чем заняты? Картошку полоть надо.

— Нет, нет, бабушка, это невозможно. Мы очень заняты,— категорически заявила Ася.— Я же говорила, мы репетируем. Извини, я спешу!

Пробегая мимо ворот церкви, Ася заглянула туда. Неподалеку от входа рядом с вывернутой из пола плиткой сидел и «делал дело» Васечка-бандит.

— Ах ты, гад какой, чем ты тут занимаешься, злодей?! — крикнула Ася наглому коту.

Васечка стремглав умчался в церковь.

А вернувшись в заливчик, я увидела прелестную картинку: Лярка все еще спала! Вот ведьма!

Ася на мгновение задумалась и, присев, вдруг громко прошептала:

— Томка, прячься! Витька идет!

И тут Валерия словно взлетела, ударила плечом о толстый сук и, не чувствуя боли, стала быстро оправлять волосы, отыскивая глазами Витьку. Но Витьки нигде не было... Хохотала Аська, держась за живот. Смотрела с брезгливым недоумением Томка.

Лярка поняла, что ее разыграли, рухнула на землю и зарыдала, поглаживая расцарапанное до крови плечо. Тамара бросилась ее успокаивать.

— Идиотка! — выкрикнула она зло хохочущей Асе.— Ты же знаешь — она очень чувствительна к физической боли. Лялечка, милая. Какая ты, Аська, бессовестная! У тебя нет никакого чувства вины!

— У тебя его зато жутко много!

Из сада вышла бабушка.

— Снова подрались? Тогда на прополку картошки! — командовала она.

— Ведь жарко, бабушка,— заныла Ася. Поднялась с травы подурневшая от слез Валерия.

— А у меня день рождения! — вспомнила Ася. — Мне нельзя полоть картошку.

— Завтра, а не сегодня, — съехидничала Тамара.

— Ну и что? Ну и что? А кто репетировать будет?

— Девочки, переодеваться!

— Сама переодевайся, — тихонько проворчала Аська. Она, как хулиган, медленно и заплетаясь в ноги, подошла к кустам и увидела в сирени лицо Витьки.

— Ой, там пчелы кусаются, бабушка, — с удвоенной тоской запричитала Ася. Подбежала к Валерии и шепнула: — Витька!

— Правда, бабуля. Я так боюсь пчел, — не спуская глаз с кустов, стала упрашивать Лярка.

— Она их так боится. Она очень чувствительна к физической боли, — от жалости к сестре у Аси даже выступили слезы.

— А я что знаю, — собралась съябедничать Тамара.

— Как больно, — захныкала вдруг Валерия.

Незаметно для всех она схватила пчелу с куста, сжала ее в ладони и сейчас показывала укус.

— Я же вам говорила! — театрально воскликнула Ася. — Бедная Лялечка! Надо быстрее в холодную воду. Бежим к реке!

Возле дороги девушек догнали Витька и Томка.

Проснулся Марс. Он мотнул головой, выгнав из ушей мух. Тяжело спланировав к большим камням ворон старика Иннокентия поохотиться за нашей гадюкой.

Бабушка улыбнулась. Опершись рукой о колено, она подобрала картуз и куртку Аси, книгу Томки, листки. Вдогонку за сестрами запешила сорока.

От березового мостика донесся смех.

Сразу хочу сказать: в тот день сорока обнаглела совершенно — перещеголяла даже Томку в ее ревности к сестре. Где бы мы ни были — на речке, на покосе или в лесу, где случайно наткнулись на орешник и обобрали его вчистую, — лишь стоило Витьке приблизиться к Лярке, как сорока принималась вопить. Наконец нам это надоело, и в Барской усадьбе на обратном пути к дому мы дали сороке бой. Мы — Витька, Лярка и я. Томка злорадствовала. Мы делали так: Витька с Ляркой пряталась в кусты и громко целовались, сорока подлетала, вопила, и мы одновременно обстреливали ее шишками. Получалось здорово. Мы хохотали и гонялись за сорокой.

Голос Лярки: Витька, вон она! Она полетела к склепу.

Сорока поспешно перелетела пруд, хотела спрятаться в щель-амбразуру в стене из серо-

го камня и вскрикнула от страха — из полутьмы барской усыпальницы на сплетницу печально взглянул деревянный Христос с красной капелькой на щеке.

Заметив выбежавших к склепу людей, шумно поднялась с воды ленивая стайка уток. Утки сделали круг над водой, пронеслись над небольшим желтым домом на берегу и скрылись за деревьями.

Возле склепа мы решили отдохнуть. Последней, не торопясь, к склепу вышла Тамара. Она разглядывала на ходу свою пленницу — голубую стрекозу.

— Нет, эта сорока доведет меня, — обратилась к ней Ася, вытягиваясь на траве. — Я же говорила — она шпионит за нами. Что поймала?

— Стрекозу. Очень удачный экземпляр. — С этими словами Томка пронзила голубую добычу иголкой, которую вытасила из воротника ковбойки, и отправила насекомое в коробок. Оглядела компанию на траве и заметила: — Долго вы намерены здесь валяться? Уже четверть пятого.

— Томка, ты что наделала? — с ужасом воскликнула Ася. — Она же живая — стрекоза! А если бы тебя так — иголкой?

— У тебя в голове много мусора. — Томка занесла данные о стрекозе в блокнот. — Тебе следует срочно подтянуть свое мировоззрение. Последнее время, я вижу, ты очень боишься смерти.

— Да. Я не знаю...

Томка спрятала блокнот и изрекла:

— Бояться смерти глупо. Ты — форма существования белковых тел, а как форма ты не можешь бояться или не бояться смерти. Это диалектика. Ты умрешь — родится другой. Тебя ведь не спросили, хочешь ты родиться или нет. Тебя родили — и все!

— Как это так? — растерялась Ася. — Моя мама...

— Так, — оборвала ее Томка. — Если бы спросили — другой разговор. И потом: боится смерти тот, кто верит в поповскую чепуху. А ты комсомолка! Надеюсь, вы не боитесь смерти?

— Вроде нет, — ответил Витька.

— Вот видишь — Ляркин дружок не боится.

— А ну тебя, — огрызнулась Ася и обратилась к Валерии: — Лярка, я вдруг сейчас подумала — а если это сорока утащила твое колечко? Нет, серьезно, сороки — патологические воровки. Надо срочно найти ее гнездо.

Лярка пожалала плечами, улыбнулась и, опуская руку от волос, как бы невзначай нежно погладила плечо лежавшего рядом Витьки.

Щелкали скорлупки орехов. Лярка и Витька выуживали их из узла, сделанного из Витькиной рубахи. Томка сидела, прислонившись спиной к серой стене, и грызла орехи собственного запаса — из карманов. Все устали.

— Как искупаться хочется, — поглядывая на Витьку, сказала Лярка. — Ась, пойдем?

— У меня нет купальника.

— А мы так. Витька здесь посидит. А ты, Том?

— В этой луже?

— А я пойду.

Вставая, Лярка опять как бы случайно оперлась о плечо Витьки. Ха, знаем мы эти «невзначай». Мне иногда казалось, что Лярка умерла бы на месте, если, проходя мимо Витьки, не коснулась бы его руки, плеча, волос. А эти их вечные доедания яблочек друг за другом? Томка прямо с ума сходила от этого всего.

Вернулись утки. Они прилетели из-за желтого барского дома, чтобы сделать круг-разведку над прудом.

— Ружьишко бы сейчас, — помечтал Витька.

— Неплохо бы, — согласилась Ася, разглядывая дичь.

— Ах-ах, мальчикам пострелять хочется! — противным голоском влезла в разговор Томка. — А еще какие инстинкты одолевают нашего Витеньку?

Витька промолчал — сделал вид, что занят орехами.

— Вы и разговаривать со мной не желаете? — продолжала Томка.

— Томка, перестань. — взмолилась Ася. — Ты за день всем ужасно надоела! Ты что, взбесилась сегодня?

— Спасибо, Асенька. И вам, Витя, я тоже надоела?

— Да, — согласился простодушный Витька.

— Значит, вы меня не любите?

— Нет, — чувствуя подвох, ответил Витька.

— А Валерию?

Витька очень внимательно посмотрел на Томку.

— Ясненько, — совсем как ее матушка, гаденько, сказала Томка, — может, и жениться вы хотите на моей сестре?

— Да, если она пойдет, — глухо ответил парень.

— Чудненько! Ты слышишь, Асенька? Чудненько. И когда это произойдет? Этой ночью или когда вы окончите ваш пятый класс?

Витька побледнел — удар был что надо, под дык.

— Томка... — ужаснулась коварству сестры Ася.

— А с тобой мы поговорим по дороге. Томка пошла по тропке вдоль пруда. Ася догнала ее.

— Ты что наделала? — набросилась она на Томку.

— Все кончено!

— Что — кончено? — испугалась Ася.

— Все! Я умываю руки — завтра приедет мать, пусть разбирается с ними сама. Проклятое лето. У меня нет больше сил спасать

Лярку. Она одержимая. — В голосе Томки было столько отчаяния! — Я устала.

Впереди показался дом.

— А знаешь, Том, — сказала Ася, помолчав, — я рассказала Вальке Сорокиной, что Лярка допивает последний глоток из Витькиной чашки, и она считает, что Лярка колдует.

Томка чуть не померла со смеху.

— Ха-ха, что-что? Колдует? Ну и дура она, твоя Сорока!

— А какого черта ты оскорбляешь моих подруг? — обозлилась Ася.

— Потому что она элементарная деревенская дура с головой, набитой опилками! Впрочем, как и все твои подружки.

— Ха! Значит, и у тебя в башке опилки?

— А я теперь тебе не подруга, — серьезно сказала Томка. — Теперь я совсем одна. Вот так новости! Ася растерялась.

Девушки вышли к дому и остановились возле мраморных ступенек.

— А раньше ведь мы дружили? — осторожно спросила Ася.

— Раньше — да, — вздохнув по прекрасному прошлому, сказала Томка. — Пока ты не начала с Сережей шляться.

И мне вдруг стало так грустно — до слез.

Валерия и Витька плавали наперегонки от одной белой кувшинки к другой, и от их тел на бледно-зеленом ковре цветущей ряски долго не заживали черные рубцы.

— И оставьте меня в покое! Я от вас устала! — воскликнула Томка. — Ну что ты так на меня смотришь? Ты, кажется, собиралась зайти в дом — так ступай. Оставь меня!

— Хорошо, — послушно согласилась Ася.

Барский дом был небольшим — комнат на пять, уютный и очень грустный. На стенах кое-где еще висели картины, но совсем почерневшие. Мебели, дверей, рам в окнах давно не было. Как еще крышу не унесли. В детской комнате что-то грызла здоровущая нахальная крыса. Зеленый сморщенный бант на ручке двери. Осторожно коснувшись его пальцем, Ася прошла в библиотеку: гора книг в углу, в другом — куча тряпья, окурки. Сильно пахло табачным дымом. Книга на подоконнике.

Мелькнуло небритое мужское лицо за кустом бузины. Нет, показалось.

— Томка, ты где? — испуганно позвала Ася, пятясь к выходу из комнаты. — Томка!

Бабочка оторвалась от розового мрамора ступени и мимо сорванной с петель резной двери перелетела к когда-то желтой стене барского дома, а от стены — вниз, под окно, в крапиву. Бабочка была величиной с ладонь — фиолетово-коричневая, с желтой бахромой, на каждом крыле по ярко-синему глазу. Вдруг она взлетела — увернулась от Томкиной руки.

— Кретинка. — Обругав бабочку, Томка

заглянула в окно дома и, лизнув обожженную руку, недовольно сообщила: — Своим криком ты мне помешала поймать траурницу. Я за ней все лето гонялась.

— Здесь в доме кто-то ночует, — сказала Ася с сомнением.

— Возможно. По латыни ее называют «Ванесса антиопо». Очень редкий экземпляр для наших мест. Оказывается...

Ася стояла перед полуразрушенной печкой, которую, видимо, пытались разобрать, и не один раз — осколками изразцов и красного кирпича был усыпан раздетый от паркета пол, но несколько бело-голубых квадратов еще сохранились. Ася потрогала пальцем глазурь на печальном лубочном блаженном в веригах посреди веселой ярмарки.

— Оказывается, — продолжила, щелкнув орехами, Тамара, — то, что некоторые принимают за красоту на крыльях насекомых — информационный справочник о данной особи. Если хочешь отодрать изразец — там на печи скоба. Отец говорит, это уникальные изразцы, изображающие житие юродивого Василия Блаженного.

На печи действительно лежала скоба. Ася потрогала ее и, подобрав с пола голубой осколок, подошла к окну.

Над водой кругами ходила стайка уток. Пруд был совсем рядом, внизу, такой романтически запущенный, грустный, как у Васнецова. От усадьбы к нему вели деревянные ступеньки. Полуживая ива возле воды. Сорока на иве. Серая стена склепа на той стороне.

Ася прислонилась к косяку, задумалась, глядя на пруд.

— Как же все здесь грустно... Ты знаешь, Том...

— Знаю, — освобождая новое ядрышко, ответила Томка. — Нет, попадаются и спелые. Толстая скорлупа — признак вырождения. Очень интересно!

Последняя фраза, впрочем, относилась к Витьке и Валерии, которые, собирая кувшинки, наткнулись на камень в воде и теперь шумно воевали за него.

— Ну-ну, продолжайте, — с осуждением глядя на влюбленных, сказала Томка. — Ты хочешь сказать, у тебя такое ощущение, что ты когда-то здесь жила?

— Да... Откуда ты узнала?

— Поздравляю! И кем?

— Что кем?

— Барышней или крестьянкой? — прищурилась Томка и, взглянув на пруд, рассвирепела: — Вот гады, совсем обнаглели!

— Ну и ревнующая ты, — рассмеялась Ася.

— Аська! Камень нашли! — звонко позвала Валерия, брызгая водой на Витьку. — Иди к нам. Витька отвернется!

Лярка сидела в воде, как русалка, — по пояс голая, бесстыдная, с лилиями в волосах. А красивая же была наша Лярка!

Загадочно поглядывая на Витьку, она манила его пальцем.

— Што, юноша, попалша? — шептала она.

И Витька действительно попался — он глядел на русалку шальными от любви глазами, а когда та обняла его за шею, не сопротивляясь, припал к ее груди.

— Аська, прыгай! — крикнула Лярка.

— Бегу!

Ася выпрыгнула из окна и помчалась вниз к пруду, снимая на ходу платье.

Суровый массив за желтым полем, кусочек Лапы, пустынная дорога — вот и все, что видно с вершины моего дуба, — такая густая у него листва. Вверх и вниз по его морщинистому стволу спешат муравьи. К вершине они бегут резвее. Там, в складке коры, — пахнущая дурманом янтарная рана.

А еще выше могучие ветви образовали удобную развилку. Здесь можно сидеть как в кресле и смотреть по сторонам. Или в зеркало. Это я привязала зеркало к стволу — просто так. Здесь мое любимое место, и я часто забираюсь сюда, чтобы почитать письма от Володьки или когда Томка особенно надоест, или чтобы просто поплакать, ведь так хочется иногда поплакать, потом подумать о маме или ни о чем — прислониться затылком к шершавой коре и подумать. Со всех сторон ветви раскачиваются. Шуршат. И ты словно в зеленом море... Суровый массив набух сумерками и сизым туманом.

Я уже говорила, что над Суровым массивом вечно копилась гроза, а что творилось там ночью, не поверите: стрельба, крики «ура», еще какие-то крики, усиленные динамиками, — «сабзай» или что-то в таком роде, а в тот вечер из леса наполовину выехал танк. Танк повертел-повертел башкой и укатил.

Томка покачивалась на качелях с котом на коленях. Мимо нее в беседку прошла Валерия.

Отсюда, сверху, розарий и клеверный лужок — как в оправе, в кустах смородины. Сорока на черном абрикосе.

Пора спускаться, а не хочется. Ася вздохнула, сложила письмо треугольником, спрятала в карман, оглянувшись, соорудила себе рожницу в зеркале. Прислушалась к голосам внизу.

— Кто были? — сурово интересовался дед.

По случаю завтрашнего моего дня рождения он был уже навеселе, сидел на крыльце, зажав между коленями полную четверть только что сваренного самогона и затыкал бутылку тряпичной пробкой.

— Говори! Кто приходил?

— Отстанешь ты от меня, банный лист, — с сердцем сказала бабушка, ненавидевшая

пьяного деда.— Я те третий час говорю. Военные были. Спросили Иннокентия да пошли.— Бабушка вытерла руки о передник, вздохнула: — Черт худой. Долго еще варить-то? Девушкам мыться надо.

— Успеют, — по-чапаевски прищурился дед.— Контра!

— А ну тебя. Сердце что-то болит, — пожаловалась бабушка и позвала: — Валерия, что ли, ужин собирать?

— Мы пирогов наелись, бабушка, — отозвалась Валерия, выставляя на подоконник противень с пирогами.

От пирогов валил пар, а румяные они были!

— Ба, я тоже не хочу, — откликнулась Томка с качелей.

— И я не буду.

Подхватив с противня пирог, Ася подбежала к деду, стянула у него из миски огурец, чмокнула деда в щеку и побежала к Тамаре, перекидывая пирог с руки на руку.

— Девка! Огоны! — высказался ей вслед дед.

— Готовишь, готовишь на их, — обиделась бабушка.— Дай-ка, обормот, — она забрала у деда бутылку.

Когда дверь за ней хлопнула, дед позволил себе «праздник»:

— Назад! Старуха! — не особенно громко, но свирепо выкрикнул он и, вытряхнув огурцы из миски на землю, продолжил: — Зарублю! Чапаевца? Издеваться?

Дед растоптал пару огурцов на земле, отыскивал третий...

— Деда! Перестань! Ты мешаешь, — крикнула с качелей Ася.

Дед заулыбался и, желая поговорить, побрел к внучке.

— В баньку, в баньку, — приказала ему Ася.

Дед ослабил, поклонился с благодарностью и ушел, а Ася, сильно оттолкнувшись от земли, стала раскачиваться.

На закате, в тени беседки, Томкино лицо позеленело и стало, как у нашей директрисы-химички, ну точно — и смотрит так же объективно, как в колбу.

Томка дочитала письмо, сложила в трехугольник.

— Нечто подобное я и ожидала, — чуть брезгливо начала она.— Типичное письмо музыканта. Все они чокнутые, живут в мире грез, и мне, поверь, горько...

ЖТ Я просто умираю от тоски по нему, — театрально воскликнула Ася на взлете.

Ася! — испугалась за сестру Томка.

О боже, как он играет на свирели, — на очередном подъеме сообщила Ася.

— Они все помешаны на чувственных влечениях, которые всегда оканчиваются трагично, — настаивала на своем Томка.

— Нет, я не выдержу — как я его люблю! Я — его. До конца.

Ася взлетела над кустами сирени и увидела, что через липовый лес просачивалось и собиралось к мосту пестрое стадо коров, а, вернувшись к земле, Ася увидела потрясенную Томку.

— Аська, милая, что ты говоришь? — проговорила та.

— Я конченный человек, — обреченно сказала Ася, чиркнув ногой по земле.

— Нет, нет, Аська, ты не должна так говорить, — совсем растерялась Тамара, — Господи, ну что мне с вами делать? Эта с Витькой по ночам бегают. И ты...

— Что, что ты сказала? — заинтересовалась Ася, сразу затормозив качели.— Ты видела Лярку с Витькой ночью?

— Да... случайно.— Поняв, что проговорила, Томка покраснела.— Я должна была знать правду! У меня нет больше сил спасать ее! Я решила все рассказать маме.

— Ты — шпионила за ними?!

— Вот еще, — фыркнула Томка. Она сразу стала прежней.— С Ляркой все кончено! Я снова предлагаю тебе дружбу — тебя еще можно спасти. Ты целовалась с Володькой?

Ася пожалала плечами.

— Да или нет?

— Целовалась, — призналась Ася.— Три раза. Ну и что?

— Все ясно!

— Ну что ясно? — разлилась Ася.

— Все!

— Томка! Ну почему? Почему я не могу дружить с тобой и любить Володьку?

— Выбирай!

В беседку вошла Лярка, на нас — ноль внимания.

— А ты уверена, что Витька с Ляркой... — шепотом спросила Ася.

— Да! И я не хочу повторения трагедии. Ты согласна дружить?

Теперь, когда Томка рассказала о своей тайне, она решила относиться к людям жестче, но терпеливее, с жалостью.

— Да, — без энтузиазма согласилась Ася.

— На всю жизнь? — прищурилась Томка.

— Да.

— Честное сталинское?

— Ну, честное сталинское. А ты не врешь про Лярку?

— Без «ну».

— Честное сталинское.

— Только ты все равно человек ненадежный, — с сожалением сказала Томка.

— Я буду надежной, — вяло дала клятву Ася.— Хочешь, я сегодня с Сережкой не поеду в Кукуевку?

— Хочу! А как быть с твоим музыкантом?

— Я с ним распрощаюсь, — грустно по-

обещала Ася.— И вообще, он скоро уйдет в армию. О боже, как я его любила!

От звонко-гортанного крика пастушьего рожка проснулся Марс на склоне. В тень от холма на дорогу вступило стадо. И замычало, показывая Поповке колокольчики на шеях. Цокнул бич. Просигналила на мосту полуторка. От реки на поля потянулся туман.

Полуторка вывезла на дорогу орущих женщин в белых, расшитых красным блузках. Слов частушек не разбираешь. Косы, как стяги,— над головой. На колдобинах частушка взвизгивала. Возле валунов, на границе тени, косы вдруг ожили, обнажили плоски жал.

— Зорька, Зорька-а!

Зорька, игриво взбрыкивая, неслась на зов. За ней прямо к Марсу стремительно катилось рыжее пятно. Молодой волкодав!

Марс приподнял губу, предъявил желтый клык — волкодав затормозил и, захлебываясь от ненависти, заплясал на месте. Замер, боком вызывая на честный бой. В ответ Марс презрительно зевнул. Тогда волкодав, заметив черную фигуру, что от камней поднималась к Поповке, понесся на Иннокентия.

— Кар-кар,— на помощь Иннокентию поспешил ворон. Закружился над псом.

На прыгавшего перед ним волкодава старик даже не взглянул. Волкодав изменил тактику: пропустив вперед Иннокентия, вцепился в авоську, плотно набитую пачками папирос, трепанул как следует и тут увидел в глазах железного старика такое, отчего рыжая шерсть на его загривке разом вздыбилась, а тело обмякло. Пес утробно рыкнул и, выбросив вперед клыкастую пасть, вдруг пополз задом-задом по траве, вниз под уклон и к стаду под победный крик ворона с плеча уходившего старика.

Перед домиком своим старик остановился.

День угасал, обжигая зеленые маковки. И, прощаясь с солнцем, над церковью галдели галки, раскручивая немыслимые хороводы; под облачком чинно, кругами, летали подкрашенные закатом голуби. За голубями наблюдал из сада кот Васечка.

Старик пригрозил коту дубинкой, перекрестился на церковь.

Вскоре за ситцевыми занавесками загорелся огонек лампы, распахнулось окно, и худой, совсем не страшный, старик уселся перед книгой с бронзовым обрезом. Под керосиновой лампой на белоснежной скатерти лежала пачка папирос. Старик выставил на стол несколько пузырьков с чернилами, достал ручку.

Об Асину ногу потерял кот и получил под хвост.

К окну стали слетаться голуби. Они раскланивались в благодарность за угощение, рас-

сыпанное на подоконнике, и с шумом взлетали, спасаясь от выскочившей из-под скатерти гусыни.

Окутанный дымом старик смеялся.

— Ступай, ступай. Они друзья,— басом говорил он, поглаживая шипящую голову огромной коричневой ладонью.— Что-что? Кот? — переспросил старик, подставив гусыне ухо.— Ну, с котом мы живо! Девушка? Ася? Она хорошая девушка. У нее завтра день рождения. Ей исполнится шестнадцать лет, и нам тоже следует подумать, что ей подарить. Может, ты сама у нее спросишь?

Ася отпрыгнула от окна. В саду она оглянулась — из окна вылетела тлеющая папироса.

Лярка уже ждала своего Витьку под обгоревшим абрикосом, на темно-фиолетовой от сумерек клеверной площадке. Ася присела рядом с раскинувшейся на траве Валерией, отодвинула разбросанные по клеверу Ляркины волосы.

— Он не придет,— всхлипнула Лярка.— Я это чувствую.

— Опять ты за свое! Как же ты мне надоела,— строго сказала Ася.— Можно тебя причесать?

Лярка пожалала плечом.

— Тогда подымайся.

И Лярка стала подниматься — всплывать из фиолетового озера, как русалка,— осторожно, чтобы не порвать струйки волос: вначале животом, грудью, шеей и только потом измученным от истомы лицом...

Лярка выпрямилась, встряхнула волосами.

— Девочки! — изумленная виденным, вскричала Ася.— Лярка, ты же не знаешь, кто ты! Томка! Скорей сюда! Бери блокнот и пиши!

— Ответ музыканту? — Томка вышла из беседки.

— Я все теперь знаю.— Ася вскочила и, размахивая руками, заговорила: — Абсолютно все знаю. Никакого свидания, никакого Пушкина! Это будет... фантазмагория!

— Как-как? — презрительно переспросила Томка.

— Пиши — тиха языческая ночь.

— Может, все-таки украинская?

— Полная луна только-только проснулась и, выскользнув из седых волос облака, осветила наш сад голубым и сонным. И сразу все ожило: заголосили деревенские псы, забранились на псов лягушки, забухали тритоны, ухнул спросонок филин.

— Филина изобразишь ты? — съязвила Томка.

— Но чу! — колокольчики. Ближе. Ближе. Лярка, как замороженная, смотрела на Асю.

— И вот въезжает на нашу лужайку экипаж. «Скорее, скорее. Раз в тысячу лет я не проспала полнолуния, а вы медлите,—

приказывал капризный голос.— Да не сюда — к фонтану». И правда, только она сказала — из нашего родничка ударил фонтан, а карета вдруг разлетелась на тысячи розовых мотыльков. Хозяйкой бала будет Лярка. «Ну слава богу, добрались,— проворчала хозяйка бала.— Где музыка? Филька!» «Здесь»,— ответит Филин с дуба. «Свети! Да не как в прошлый раз. Ах, как мне все надоело. Мои волосы спутались. Эй, кто там? Я сказала, музыку!» Заиграла музыка из кустов. Засветились Филькины глаза. Стало светло как днем. Начался бал. Как вдруг...

С дороги троекратно прозвучал гудок полторки.

Лярка вспорхнула и уже крутилась возле зеркала, примеряя кружевную бабушкину шаль, когда в комнату вбежала Ася.

— Так! — выкрикнула Ася с порога.— Уезжаешь?! Шаль надела?! Предательница! Я тоже хочу в Кукуевку!

— Мала еще,— ответила бабушка от печи.

— А ей можно? Хитрые какие.

От обиды у Аси задрожали губы.

Бабушка не ответила — она колдовала над пирогом.

— Ну бабушка, ну милая, самая-самая,— просительно заговорила Ася, обнимая ее.— Ты же знаешь, я так люблю танцевать.

— Видишь, подгорает. Мука-то совсем никуда,— горестно вздохнула бабушка.

— Нет, я умру, если ты не отпустишь меня! — топнула ногой Ася.— Я утоплюсь! Лялечка, скажи ей... Я так люблю танцевать.

— Посидишь нынче дома. И тебе следует.

Бабушка обернулась к Валерии — Лярку как ветром сдуло. Хлопнула дверь — Ася поняла, что остается дома, рот ее искривился и, выпрыгнув в окно, она припустилась за сестрой.

Догнала она Лярку возле полторки — сдернула с ее плеч бабушкину шаль, запрыгнула в переполненный молодежью кузов.

— Аська, к нам,— позвала от кабины Валя-почтальонша.

— Витька, поехали! Кого ждем? — крикнул синеокий.

— Не заводятся. Серега, крути еще.

Пробираясь к кабине, Ася поздоровалась с Настей Скворцовой. Синеокий посторонился, как бы невзначай крепко обняв Валю под грудь. Валя смутилась, робко убрала его руку и зататорила:

— Что скажу! Письмо взяла? Ужас! Кладу я его в дупло, а Иннокентий как выйдет... Пашку, его сына, видели в Барской усадьбе?

— Да-а... Откуда ты знаешь?

— Она все знает,— склонился над Асей Сергей.— Витька!

И Ася оказалась, как и почтальонша, в плену.

— Сейчас же отпустите! — рассердилась она.

Но дернула машина, Ася вцепилась в борт, а от следующего рывка оказалась в объятиях Сергея.

— Повторить! — крикнул синеокий.

Витька повторил — в кузове завизжали девчонки, а Сережка наклонился к Асе и поцеловал крепко-крепко в губы. От него пахло гречневой кашей и вином. Вокруг кричали ребята, держась друг за дружку, чтобы не вывалиться за борт. Хототали девчонки, отбиваясь от рук парней. Валька тормошила Асю за плечо:

— Тебе плохо? Плохо, да? На тебе же лица нет.

— Ну, Серега, ты даешь — во поцеловал девку, аж до живота! — кричал приятель Вали.

Сергей хохотал вместе со всеми, обнимая побледневшую Асю,— напоказ внимательному тяжелому взгляду большеголовой Нasti — взгляду из-за спин и рук веселящейся молодежи.

Ярко вспыхнула спичка. Свет от нее выхватил костлявое лицо Иннокентия, глубокую, красного кирпича, рану в стене.

— В церкви бы не курил, Паша,— попросил Иннокентий.

— Какая она к черту церковь.

Сноп лунного света из-под купола упирался в кучу мусора на церковном полу.

— Может, останешься до зимы? Оставайся, Паша,— жалобно сказал Иннокентий.— Куда же тебе больному.

— Не все ли равно, где подыхать. Мне бы только Кольку холоуя подловить, ну да видно, его сучье счастье... — Павел швырнул на пол папиросу, придавил ногой.— Все, отец, некогда мне с тобой болтать. Чую, уходить надо сегодня. С матерью простился — прощай и ты. Не поминай лихом, коль не встретимся больше... Что молчишь? Прощай.

Прихрамывая, Павел пошел к алтарной двери.

— Павлик,— жалобно позвал Иннокентий.

Павел остановился.

— Что еще?.. Говори, старик.

— Паша, а как же я? — наконец сказал Иннокентий.— Возьми меня с собой, Паша. Не дождусь я тебя, помру.

— Зачем ты мне? — жестко ответил тот.

— Паша, возьми — не дождусь я тебя. Знаю — смерть идет.

— Тем более, к чему ты мне такой?

Старик стоял, привалившись плечом к ране в стене, и плакал.

— Старый черт,— простонал сквозь зубы Павел. Он подскочил к старику и рывком

прижал его к себе. Яростно заговорил: — Замолчи, старик, слышишь, замолчи — ты-то что мне душу травмишь? Нет ее у меня больше. Понял, отец,— отбили мою душу. И озлился я. Ох, как озлился, аж зубы ноют. Всех бы гадов передудил. Ну прости, прости. Что же теперь делать, раз все так повернулось. Слышь, отец,— все. Нельзя мне сейчас мякнуть. Ладно... Беру с собой.— Павел отстранился от отца.— Тихо. Идет кто-то. Стой тут.

Павел достал наган и бесшумно выскользнул через алтарную дверь на склон.

В церковь прокрался кто-то в белом. Раздался шепот:

— Томка, давай быстрее.

Появилось второе привидение.

— Простыня за сучок задела,— сказала Томка.— Ты уверена, что они здесь пройдут?

— Конечно. Сделаем так — они появятся, и мы кричим: «У-у-у!»

— Ладно. Только ты не подумай, что мы помирились,— я по-прежнему считаю тебя предательницей.

— Хорошо, хорошо,— оборвала ее Ася.— Слушай дальше. А Сережка как ему даст — тот кубарем. А Сережка говорит: «Если еще будешь лапать Аську — убью». Представляешь? Ой, Томка...

Луна в ту ночь была удивительно ясной, настолько, что через двор можно было разглядеть фиолетовые кисти на кустах сирени. Налетел ветерок, и в глубине сада засверкал осколками листьев серебристый тополь.

— Как в театре, правда, Том?

— Замечательно красиво,— съехидничала Томка.— Ну, слушаю тебя дальше. Только не ври.

— В церкви не врут,— серьезно ответила Ася.— Он очень хороший, Сережка, добрый. Он мне стихи читал свои... такие смешные... А потому ушел искать Настю,— грустно сказала Ася.— А знаешь, Том, ты только не смейся, я, наверно, очень глупая — я решила, что сегодня спать не лягу и обязательно дождусь рассвета. Мне всегда было обидно, что я не видела в своей жизни ни одного рассвета.

— И как ты намерена провести ночь?

— Не знаю. Буду гулять по саду, разговаривать сама с собой и думать о Сережке. Нет, Томочка, мне спать нельзя. Вдруг я проснусь и окажется, что все мне приснилось. Все-все, представляешь, и как он меня поцеловал... от него пахло гречневой кашей, я чуть не разревелась — таким родным он мне стал. Нет, нет, Томочка, это же так страшно — проснуться и снова никого-никого не любить...

Ася говорила, а Томка выдвинула из тени свою босую ногу, молочно-белую в лунном свете, и медленно повертывала ее, с удивлением разглядывая.

— Томка, какая у тебя нога красивая...—

с изумлением проговорила Ася.— А если выше?

Томка вышла в лунный свет и приподняла платье.

— Томка, какая ты красивая... А давай разденемся совсем.

— Я не знаю,— с волнением сказала Томка.— А если нас увидят?

— Кто? Томка, давай, а? И будем гулять по саду.

— Прямо сейчас?

— А что?.. Если хочешь, я первая.

— Ася, Тамара,— голос бабушки из сада.

— Бабушка! — вскрикнула Ася.— Томка, бежим!

И, размахивая крыльями, привидения бросились в сад.

Когда все стихло, из дверей церкви вышел Иннокентий. Прислушался.

— Сестры балуют,— сказал он.— А то оставайся, Паша, переночуешь у меня.

— Опасно, отец,— шепотом ответил Павел, застегивая желтую куртку.— За курточку спасибо, с ней не замерзну... Сестры-то как выросли — прямо невесты,— помолчав, с грустью сказал Павел.— Все, отец. К вечеру приходи к Барской усадьбе.

Отец с сыном обнялись.

Пальнул выстрел. Ася рывком села в постели.

Факел сирени, облитый солнцем, на столе; дедушка согнулся возле печки — удивительно чистенький и радостный, босиком и почему-то с топором в руке; под малиновым язычком лампадки — бабушка.

— Черт безрукый,— шикнула она на деда.— Разбудил-таки, лиходей.

Малиновый пирог под сиренью.

Ася откинулась на подушку, глубоко вздохнула и улыбнулась.

— У, рохля,— уже громко выговаривала бабушка.— Ну, чего стал? Иди поздравь, коли разбудил. Да куда с топором-то?

От дедушки пахло огурцом. Он хотел что-то сказать или извиниться. К гладко выбритой щеке прилипло огуречное семечко.

— Да ступай ты, чай, Иннокентий заждался,— проворчала бабушка из-за его спины.— Да сапоги помой.

Она отодвинула деда в сторону, наклонилась — блеснуло золотое сердечко в ухе.

— С днем рождения, милая. Вот и тебе уже шестнадцать,— ласково сказала она.— Какая же ты сегодня пригожая. Щечки горят. Глазки сияют. Уж не заболела ли ты, доченька?

— Нет, бабушка, не заболела.

— Может, сон какой дурной приснился?

— И не сон, бабушка,— грустно сказала Ася.

— Да уж не приглянулся ли тебе кто?

— Ах, бабушка... — Ася звонко рассмеялась, но взглянула на ходики и ахнула: — Бабушка-а-а. Одиннадцать? Что ты наделала! Я же просила. Ведь Сережка придет и мама приезжает.

— И то пора вставать, — согласилась бабушка. — Сестры, поди, уже и в бане вымылись. Вот тебе мать какое знатное платье-то прислала.

— А ну вас, — обиделась Ася. Она прыгнула на пол и замерла. — Ничего не понимаю. Какое платье? Когда?

— Почтальонша поутру принесла. Да примерь ты его, примерь.

Ася недоверчиво взяла со спинки стула голубое платье, подбежала с ним к зеркалу и приложила его к себе.

— Ой, бабушка. Это же... это же мое самое любимое, самое...

Это было мое самое первое, настоящее взрослое платье; голубое, с зеленым бантом на боку — настоящее длинное платье.

Ася бросилась к бабушке и принялась ее целовать.

— Отстань, баловница, — шуточно отпихивала ее бабушка. — Вон лучше письмо почитай от матери. В посылке было.

Ася взяла со стола лист бумаги. Пробежала глазами. Отложила.

— Но она же обещала приехать, — еле сдерживая слезы, проговорила Ася. — Нет-нет, бабушка. Она мне обещала...

— Значит, не может, — сказала бабушка, прибирая постель.

— Нет-нет, бабушка, так не бывает. Я же так ее жду. И спектакль хотела показать.

— Покажешь еще. Вон пирога поешь или землянички, сестры сегодня поутру собирали.

— А ну тебя, сама ешь, — взбрыкнула Ася. Топнула ногой. Запустила платьем в дедову шапку на стене и сложила на груди руки. — И ваших гостей, между прочим, сами теперь принимайте.

— Ишь ты какая, — складывая платье, сказала бабушка.

— Да, такая!

— Говнюшка...

— А ругаться, между прочим, нехорошо!

— Вот я и вижу: платье швырнула, ножкой топнула. Мать ей и то, и это. Вот, погоди, узнает она, как ты ночью-то прошлую колобродила. Ишь ты.

— Бабушка-а-а...

Ася вдруг увидела под стулом торгсинки, голубые торгсинки с оранжевым кантом и, прижав от изумления ладони к щекам, медленно приседала к ним.

— Что бабушка? — продолжала ворчать бабушка, поправляя подушки. — Распустилась. И не стыдно?

— Бабушка... мои любимые.

Ася нежно прижала торгсинки к груди. Поцеловала. Закрыла от блаженства глаза.

— Ох, и балда же я, а туфельки-то и забыла, — спохватилась бабушка. — Да примерь ты их — что целовать-то, может, еще малы.

— Ты что... — бессильная от восторга, пролепетала Ася.

Торгсинки были действительно тюльканы-тюльканы.

Всю дорогу от беседки Ася любовалась ими. Ах, как удивительно легко оттакивались они от земли! Возле качелей Ася застала Марса и сразу все поняла. Марс обнюхивал розу!

— Ага! Так это вот кто подкладывает мне розы! Назад!

Пес заскулил, прижал уши и пополз на пузе к Асиным ногам.

— Ах ты негодяй, попался-таки! — сказала повелительница. — Старый паршивый пес. Так я и знала! К ноге! Дай лапу. Лапу! Молодец, молодец, ты мой милый блохастик. Умница ты моя.

— Ах-ах, миледи любит животных!

Томка, как всегда, в своем ампула и, слава богу, не в штанах, а в платье, и конечно же — назло мне! — в новых торгсинках.

— Может быть, вы поздравите меня с днем рождения, как принято у воспитанных людей? — предложила Ася.

— Ах-ах, поздравляю. Вы, я вижу, в замечательном настроении? Снова розу подбросили? — Томка живо схватила цветок.

— Не правда ли, у меня симпатичные торгсинки? — воспитанно спросила Ася, покачивая ногой качели.

— Нормальные, — согласилась Томка, разглядывая черенок. — Очень интересно — пять минут назад розы здесь не было, а впрочем, я, кажется, начинаю догадываться, кто это подбрасывает тебе по утрам розы. Судя по квадратным дырам в земле, это...

— Марс! — опередила сестру Ася. — Я это давно знала.

— Ду-у-ра!

— Спасибо, сестричка, — поблагодарила Ася. — Может, ты заодно сообщишь, где сейчас Лярка? Вы же все у нас знаете...

— С удовольствием. В бане слезами обливается.

Лярка плакала. Она сидела на лавке под оконцем, обняв руками колени. Такая жалкая.

— Лялечка, милая, что-нибудь случилось, да? Что-нибудь очень-очень?.. — спросила Ася.

Лярка даже не обернулась. Слезы текли по ее щекам, копились на подбородке. Ася погладила мокрое от слез Ляркино плечо.

— Не хочешь говорить — не надо. Сказать тебе что-нибудь?

Лярка кивнула.

За окном неподалеку на груше сидела

сорока. По пашке бродили дед в противогазе и старик Иннокентий, одетый в белую рубашку. Они разговаривали, заглядывая под крыши разноцветных домиков.

— А ко мне мама не придет,— печально сказала Ася.— Пишет, со своими испанцами закрутилась. А я так ее ждала.

— А почему твои родители разошлись? — всхлипнула Валерия.

Ася пожалала плечами.

— Не знаю... Я очень люблю папку, только он какой-то... — Ася замолчала, подбирая нужное слово,— надменный, что ли, маму обижает. Знаешь, он мне очень напоминает Сережку, только Сережка глупый еще, а папка весь такой командарм, знаешь, такой вершитель судеб — рота сюда, батальон туда. Особенно после Хасана. А иногда бывает такой хороший, задумчивый, тихий, обвинит меня — даже плакать хочется, как его жалко.

— Витька повестка пришла,— тихо сказала Лярка.

— Уже?

— И Сережке тоже.— И Лярка, уткнувшись в колени, снова заревела как белуга.— Аська, я не могу больше так. Не хочу... чтоб в а-армию.

— Лялька, милая, не на войну же. Через два года вернется,— успокаивала ее Ася.

— Через три-и-и...

— Пусть через три — не на войну же,— обнимая сестру, уговаривала Ася.— Ну перестань. Ты что, хочешь, чтобы и я заплакала. Ведь заплачу. Вот видишь, видишь? — И Ася тоже заревела.

— Ревете? Дуры! А что мне прикажете с вашими женихами делать? — В дверях стояла презрительная Томка.

Дед прислушался к реву из бани, снял противогаз и, утирая лицо ладонью, сказал с сожалением:

— Удобная вещь, а вот воевать в ней душно.

Иннокентий кивнул. Опершись на палку, он смотрел на липовый лес, близкую речку, далекий Суровый массив. Улыбнулся.

— Здесь-то он и выехал на белой лошадке,— Иннокентий указал палкой на брод через Лапу.— Весной, помню, приехал. С чем пожаловали, говорю, барин? Книгу твою почитать да на дуб взглянуть, отвечает.

— Что ли, к речке пойдем? — предложил дед.— Сапоги надоть освежить, не то гости наедут — неудобно, сыновья все-таки.

Спустились к Лапе, мимо огорода, а как кончился огород, мимо молоденьких березок, под которыми в густой траве водилась все лето замечательно вкусная земляника.

— Очень дупло на дубе его опечалило. Даже заплакал,— говорил Иннокентий.

Рассказ Иннокентия интересовал деда мало, куда меньше проблемы, как бы стать

в речку так, чтобы и сапоги мыть было сподручно, да и ноги не промочить. Снимать, а потом надевать для деда было слишком. Дед скребнул пару раз лезвием топора, махнул рукой, побултыхал ногами поочередно в воде.

— Да хрен с ними. Какие уж такие гости — разве сыновья гости?

Иннокентий согласно кивнул. Странный он был в то утро — разговорчивый и совсем не сумасшедший. Рассказывая, он тихоно кивал, словно прощался с рекой, Суровым массивом, с садом...

На обратном пути старик продолжал рассказывать.

— Я ему: замажу, мол, дупло. Не надо, говорит, дуб и так меня переживет. Пошли в дом. Почитал он книгу — повеселел и говорит: «А мне-то сюда можно что записать?» Нет, отвечаю, барин... «Ну, а как помру, местечко мне тут найдется?» Запишу, отвечаю, барин, ежели народ скажет. Задумался он и улыбнулся. А кто же тебя так научил отвечать, спрашивает. Отец, говорю. И он тут серьезный стал. Дуб береги, говорит, он Пушкину ровесник. И уехал. А в церкву так и не вошел.

Ася вертелась перед небольшим зеркалом в доме. Возле внучки хлопотала бабушка, закрепляя зеленый бант на боку нового платья.

— Я же прошу тебя побыстрее,— торопила ее Ася.

— Успеешь,— отвечала бабушка и учила: — А как подойдешь к нему, виду не подавай, что он люб тебе, держи себя с уважением. Заговори о том, о сем, да не ломайся, как копеечный пряник,— парни уважают девиц строигих. Только гляди, не переусердствуй, не отпугни строгостью — бровки не хмурь, не фырчи, глазки-то у нас какие игривые — парни любят девушек веселых, да только не зубоскалок и пустосмешек. Скромность красит девушку.

— Ба,— от волнения Ася приложила ладони к пылающим щекам,— а как же мне узнать, любит он меня или нет?

— Сама и узнаешь.— Бабушка перекусила нитку, полюбовалась работой и бантом.— Вот как он взглянет на тебя или какое слово пустое скажет, враз и узнаешь — любит или так таскается.

— Ой, бабушка, как мне страшно. А если он меня не любит?

— Как это не любит — ты у нас девица видная, языкастая. А нет — так и страдать не будем, уж больно балованный этот твой Серега.

— Нет, он меня не любит. Я знаю — он меня не любит.

— Коль не любил бы — не пришел.

— Правда, ба? — снова засияла внучка.

Бабушка внимательно посмотрела на Асю, вздохнула, обняла ее, поцеловала, потом прекрестила.

— Ну ступай, ступай. Чай, заждался он тебя.

— Ты думаешь? — радостно воскликнула Ася.

Она схватила со стола кусок пирога и бросилась к двери.

— Да причешишь! — крикнула ей вдогонку бабушка.

Понятно, что с малиновым пирогом и нечесаная, Ася не могла появиться перед Сергеем. Из сеней она перебежала в хлев, оттуда на склон и выбежала к дубу. Отчаявшись распутать свои лохмы, бросила расческу в дупло; обежала розарий, раздвинула ветви белой смородины и — подхватила на лету пестрое яичко, которое старательно выталькивал из гнезда еще мокрый и голый, но почему-то уже очень большой птенец.

— Ишь ты какой! Только родился, а уже балуешь, — поругала Ася птенца, возвращая в гнездо яичко.

Подбегая к беседке, Ася превратилась в принцессу.

В беседке сидели рядышком тихие Валерия и Витька; на качелях восседала Томка. Она вела дипломатический разговор с Володькой-музыкантом. На коленях Томки нежилась Васечка. Шлепнувшись о землю, кот мявкнул.

— Прошу, ваше высочество, — с поклоном сказала Томка, уступая качели остолбеневшей от неожиданности Асе.

— Здравствуй, Ася, — сказал Володька, улыбаясь.

— Здравствуй, Володя, — пролепетала Ася. — Я... извините. Томочка, а где...

— Твой Сергей не приходил и не придет.

— Вообще?

— Вообще, если верить Витькиной информации, — Томка кивнула на беседку.

— Извините, — улыбаясь, чтобы не расплакаться, сказала Ася Володьке и с достоинством пошла к дому.

В комнате она еле-еле успела добежать до постели, упала возле бабушки — у бабушки в тот день разболелось сердце — и заревела по-детски горько-горько, безнадежно.

— Он не пришел, бабушка... он не придет... я... — услышала бабушка сквозь рыдания.

— Кто не пришел? — не поняла бабушка.

— Сережка-а-а.

— А кто же пришел?

— Володька-а-а.

— Ничего не понимаю. Какой еще Володька?

— Мо-ой. Музыка-ант.

— Выходит, ждала одного жениха, а пришел другой? — наконец поняла бабушка

и улыбнулась. — А кого ты приглашала?

— Никого... Бабушка! Какая же я дура, бабушка! Что я наделала — я же забыла пригласить Сережку. Что же мне теперь делать?

— Негоже, — строго сказала бабушка, — негоже девушке за парнем бегать. А письмо написать можно.

Повеселевшая Ася принялась целовать бабушку.

Письмо получилось сразу: «Сережка! Я жду тебя очень-очень. Приходи сейчас же. Умоляю тебя. Если не придешь, я не знаю, что сделаю. Приходи, милый. Я так скучаю без тебя. Аська».

Ася сложила письмо треугольником, написала, сунула в карман, но тут на крыльце затопали и в комнату вошел первый гость — дядя Ваня, в обнимку с дедом.

— Дядя Ваня! Бабушка, дядя Ваня пришел! — радостно закричала Ася.

Дядя Ваня был ростом чуть повыше деда, а в остальном вылитый отец, и веселый до чего!

Одной рукой — в другой руке у него почему-то была авоська с батоном — дядя Ваня обнял Асю, что-то шепнул на ухо и зашел к бабушке, которая стала подниматься с постели.

— Лежи, лежи, мать, — сказал Иван, целуя ее.

— Вот что-то прихворнула, — оправдывалась бабушка. — Да все одно вставать. С Кириллом-то что не приехал?

Иван улыбаясь смотрел на нее.

— Так и не помирились?

— Так и не помирились, мать.

— Они у меня получают по шее, — захохотался дед. — Живо получают. Ишь, брат на брата...

— Эко время-то пошло. А хлеб чего принес? — спросила бабушка.

— О, это история, — вздохнув с облегчением, сказал Иван. Он передал хлеб Асе и продолжил: — Я от станции напрямик пошел через лес в Скоморошки. Возле сельпо мужиков встретил. То да сё, Иннокентий вышел...

— Дядечка, милый, — взмолилась Ася, — а подарок? Ты же обещал подарок!

— Подарок? Какой подарок? — переспросил дядя.

— Мой подарок. Ты же говорил...

— Ах, подарок, — наконец вспомнил дядя. Он почесал затылок, припоминая, куда же он его дел, и полез по карманам.

— Дядечка Иван, быстрее, — торопила его Ася.

А тот все шарил и шарил по карманам пиджака, потом брюк, потом снова пиджака, потом снова брюк. Рассказывал:

— Да, вышел Иннокентий, поздоровались... Глаза у него веселые, ручища тяже-

лая — аж дух захватило, когда он сжал. И тут как схватит паренька за шкурку и ну его трясти — куртку сдирать. Еле отодрали его от пацана, а он плачет, Иннокентий, трясется, бросил свою сумку и побежал.

— Да, совсем плох стал Иннокентий, — сказала бабушка.

— Помирать собирается, — сказал дед. — С утра все про жизнь рассказывает.

— Да где же это колечко? Ужель потерял? — пробормотал дядя и развел руками. — И сережки?

— Потерял? — не хотела верить Ася. — Ты потерял? Бабушка!

Бабушка и дедушка улыбались, и тут я увидела на мизинце дядиной руки колечко. Он тоже посмотрел удивленно на него, и мы расхохотались. Получив к колечку еще и сережки, тоже с красным камушком, Ася собралась бежать к сестрам показать подарки, как обратила внимание на дедовы сапоги. Дед тоже взглянул на ноги — сапоги как сапоги.

— Стыдоба-то, — всполошилась бабушка.

— Да мыл я их. Вон Иннокентий... — стал защищаться дед.

— Салом помажь, — приказала бабушка.

— Успеется.

— А ну снимай, — подступила Ася к деду. — Что на меня смотришь? Быстрее. Ба, где сало?

— Где ж ему быть — в сенях.

Ася стянула с ноги деда сапог. Нога у деда была грязнущая!

— Черт старый! — всплеснула руками бабушка и еще что-то добавила, чего Ася не расслышала, потому что уже искала в сенях сало.

— Ай да девка, — рассмеялся Иван, когда Ася убежала. — Невеста. Обнимаю — краснеет.

— Огонь девка, — поддержал его дед.

— А Валерия?

— Красавица. Свет такой не видал, — согласился дед.

— А Томка?!

— Ой, умница. Ну, всем умницам умница. Мы надьсы про бога беседовали...

Прогудели сигналы с дороги.

Черная легковушка развернулась, встала носом к Скоморошкам. К ней уже летела Томка. С разбегу она прыгнула на высокого плечистого мужчину в белом костюме. Дождавшись, когда отец отнесет Томку в сторону, из машины вышла фиолетовая дама. Томка хотела и ей броситься на шею, но дама предупредила ее жестом и поцеловала в лоб.

По склону боком спускалась к родителям красавица Валерия, за ней, скрестив руки на груди, шла Ася.

Но самым счастливым от этой встречи был Марс. Он, наверное, уже раз сто обежал вокруг машины, лизнул в лицо Томкиного

отца — который, раскинув руки, ждал в объятия именованницу — и, получив за это подзатыльник от Аси, набросился на фиолетовую даму.

— Мое платье! Уберите этого пса! — фальцетом вскричала дама, оберегая себя от опереточного негодяя.

— Марс, убью! — прикрикнула на пса Томка.

Рядом с Володькой на траву присел Витька.

— Где же наш подарок именованнице? — воскликнул Томкин отец.

На заднем сидении машины сидела важная Сорокина Валька. Она передала шоферу, а тот отцу Томки коробку. Потом коробка оказалась у дамы и, наконец, у Аськи впридачу со щербетом фиолетовой дамочки:

— Прелестный ребенок, ах, большой-большой привет тебе от твоей мамочки, она так занята, бедная девочка... чудесное платье, только этот бант... наш скромный подарочек...

Отпустив Асю, дама обратилась к старшей дочери:

— Валерия, нам следует поговорить, не правда ли?

— Какое у тебя платье завидное, Аська! Покрутись, — попросила из машины Валька. — Ну еще... Да, ты знаешь?!.. Утром нашли ну всего изгрызанного волчицей, аж без лица, мужика. Ходили смотреть — вроде не наш, а Федька нашел в кустах куртку. Так за эту куртку Иннокентий его чуть не придушил перед магазином.

— Возвращайся к семи, — сказал отец Томки водителю.

— Есть.

— Подождите секундочку, — попросила Сорока. — Наши девчонки предлагают собраться вечером на реке. Куда в ночное ходим. И всем вместе проводить парней. Ты пойдешь?

— Конечно. — Ася наклонилась к Сороке, что-то пошептала ей и передала бумажный треугольничек. — Только смотри, прямо сейчас передай, — строго сказала Ася и позвала: — Валерия, иди сюда. — Сорока продиктовала по списку: — С вас двоих ведро картошки, хлеб, и все. Кто этот парень с Витькой?

— Аськин музыкант.

— Симпатичный. А про Сережку Аськиного не знаешь? Не знаешь?! Так знай — он всю ночь просидел под окном Настьки. А утром сватался к ней! Сватался! А она — отказ! Так сейчас он с парнями пьет для куражу, а потом пойдут мазать Настькины ворота дегтем. Ужас!

— Поехали, что ли? — спросил шофер. Машина тронулась.

— Собираемся на реке! — крикнула из окна Валька.

С верхушки беседки за сценой приезда

гостей внимательно наблюдала наша сорока. Довольно резко осудив Марса, когда тот как полоумный промчался садом, извещая лаем бабушку и дядю Ивана на крыльце, что гости прибыли, она перелетела на абрикос поближе к дому.

Отец Томки сороке понравился. И, боже мой, как она позавидовала этому бандиту Васечке на подоконнике, что тот мог слышать слова сыновней благодарности и близко лицезреть, как сын после троекратного поцелуя подставил материным губам затылок, а сам приник к взрастившей его натруженной руке. Сорока чуть не расплакалась от умиления.

Но особенно сороку заинтриговала фиолетовая дама с обнаженными плечами. Она стояла возле сирени в окружении молодежи — со вскинутой к Суровому массиву рукой.

— Это рай, Кирилл. Суший рай,— вешала она с проносом.— Плэнёр! Ах, дети мои, вы живете в раю! Ася, я что-то сказала смешное?

— Мама, умоляю... — От стыда за мать Лярка густо покраснела.

— Веди себя приличней,— одернула ее дама.— Может, ты все-таки представишь нам молодых людей?

— Витя, это моя мама,— проговорила Лярка.

— Ах, так это вы Витя,— все понимающе произнесла мать.— Очень приятно.

— Мой дружок Володя,— подсказала Ася.— Прошу любить и жаловать. Надеюсь, он вам понравился?

Глаза у фиолетовой дамы поползли на лоб. Она их прижала очками и тут же взяла себя в руки.

— Да-да, очень,— пробормотала дама, ошарашенная дерзостью Аси.— Валерия, сейчас же проводи меня в дом. Нам надо немедленно обсудить детали твоего отъезда... Немедленно. Сейчас же. Это возмутительно!

Скрылась за сиренью разгневанная дама, за ней понурая Лярка, за Ляркой ушел Витяка.

Сорока приготовилась к сцене объяснения, но драгоценные секунды текли, а молодые люди молчали.

— Ты ждешь кого-то? — тихо спросил Володя.

Ася кивнула.

— Сережку,— сказала она.

— Я, собственно, приехал проститься,— очень волнуясь, сказал Володя.— Я завтра ухожу в армию.

У Володьки было узкое красивое лицо с голубыми глазами за пушистыми девичьими ресницами.

— Я тебе напишу,— сказала Ася.

Володька кивнул.

И опять мы стояли друг против друга,

опустив головы, и снова молчали. Нам надо было расстаться, но как надо это делать, мы еще не знали.

На склон вылетел сумасшедший от счастья Марс и, сделав петлю, умчался в сад.

Тем временем в доме метался дед — гости прибыли, нога не вымыта, сапога нет! Вот и метался дед в поисках замены сапога, когда к окну подошли Иван и Кирилл. Ни братья, ни дед опасности не представляли, и Васечка продолжал дремать на подоконнике.

— Благодать-то какая,— сказал Кирилл.— Так бы и прожил здесь всю жизнь.— Голос Кирилла был убеждающе ласковым.— А что, брат Иван, еще раз, что ли, здорово? Да не протягивай руку — родные все-таки.

Кирилл обнял Ивана. Поцелуй не получился.

— А ты постарел... постарел,— не убавляя доброты в голосе, но настороженный безразличием брата, сказал Кирилл.— Давно не виделись, брат Иван. Поговорим, что ли?

— Поговорим, брат Кирилл.

— Как поживаешь?

— Нормально. А ты?

— Как прикажут. Сам знаешь — директор человек подневольный.

— Слышал.

Дед на цыпочках выбежал в сени, нашел такой расхлябанный сапог, что без примерки забросил его на сеновал, выглянул в сад. Ася сидела на качелях задумавшись, с сапогом в руке; бабушка с Томкой доставали бутылки из погреба. Но между Асей и дедом была фиолетовая дама. Дама беседовала с влюбленной парочкой по душам. Глупо улыбался, вытягиваясь перед ее словами, Витяка; беззвучно, не скрываясь, плакала Лярка; зато сорока слушала и наслаждалась с мертвого дерева льющейся речью.

Дама говорила:

— Славная, милая девочка, это решено... этому нет оправдания. Твой испанский и все прочее... Сегодня же... Сегодня же уедешь с нами — это решено. Надеюсь, ты поняла все?

Слезы потекли между пальцами Валерии.

— А вы, Вова?

— Я Витя,— проговорил Виктор, выставив вперед кадык.

— Тем более... Дети мои, я умоляю понять нас,— потребовала дама.— Мы с отцом не деспоты, но ваш альянс (у дамы получилось: альёнс)... Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь,— ваше общение принимает угрожающие размеры. И мы обязаны вас спасти. Не правда ли... молодой человек?

Тут дама приняла сигналы рукой, адресованные дедом Асе — иди же, иди! — и, обворожительно улыбаясь, помахала ему — иду, мол, иду. Дед спрятался за дверь.

— Ну что ж, добре. Не ласково ты меня принимаешь, брат Иван,— сказал Кирилл,

обдумывая каждое слово. И коту послышалась в его словах угроза. Кот насторожился.

— Не ласково, Кирилл.

— За что, Иван? — искренне не понимал Кирилл. — Если за Пашку, то не маленький, сам знаешь — Павла посадил его брат Колька, и не мне было помешать этому делу...

— Павел был невиновен, — ответил Иван.

— Знаю, черт возьми, — разозлился вдруг Кирилл. — Невинновен... Как ты не понимаешь, Иван, сейчас нам надо держаться вместе, друг за друга, мертвой хваткой.

— Это точно, чтобы — раз, и не пискнуть, — согласился Иван.

— У, черт твердолобый. — Кирилл отошел к крыльцу, взял из рук бабушки бутылку и громко предложил: — А что, мать, может, к столу? Кого мы ждем?

— И то пора, Кирюша, стол накрыт, — поддержала его бабушка. — Милости просим, Виолетта Тихоновна. Томочка, заходи. Ася!

— Ба, мне нужно дожидаться, — отозвалась Ася с качелей.

Дед метнулся к печке.

— Иван! — продолжала сзывать бабушка к столу, в то время как дед с отчаянной быстротой уже наворачивал на ногу тряпку, сдернутую с пирогов.

Хлопнула входная дверь. Дед подскочил к кровати, сорвал со стены саблю и, пристегивая ее, уселся на стул во главе стола за мгновение до того, как отворилась дверь и пропустила в комнату сына Кирилла в обнимку с Томкой.

Объятия, поцелуи. Но вот все на своих местах — дед повеселел, разлили самогон и подняли стаканы, ожидая тоста вновь благодушного Кирилла, и тот встал, спровадив со своих коленей на стул рядом Томку.

И в этот момент в дом деда явился незванный гость. Без стука. Замер на пороге, широко расставив ноги, и качался, разглядывая хозяев, как заложников. В черной куртке и в галифе. Колька, сын Иннокентия. Довольно противный тип.

— Тебе чего, Николай? — обратился к незваному гостю дед.

Гость деду не ответил — раскинул руки, словно меха гармошки. Раздвинув рот до ушей, гость пропел:

— Кого я вижу? Никак Кирилл Иванович?

Колька хлопнул, даже вдавил плечо дяди Ивана, кивнул бабушке и, прижимая к груди руку, с мягким приседанием и оглядочкой двинулся к Кириллу.

— Слышал, слышал... молодец, — снисходительно поздравил его с чем-то дядя Кирилл.

— Вот товарища привез, — сказал Николай, кивнув на потолок, и склонился к даме: — А я вас на днях в консерватории видел в роскошном розовом платье.

— Была, была, — оживилась та. — А я вас

как-то и не заметила. Вы бы подошли.

— Права не имею, — горестно вздохнул Николай.

— Вы с нами не откушаете, Николай Иннокентьевич? — спросила от печки бабушка.

— Права не имею, — опять горестно вздохнул Колька и снова посмотрел вверх.

— Так тащи своего начальника сюда. Водки хватит и на его пузо, — радушно предложил Иван.

Но гостя от этих слов словно сжало — как кошку перед решающим прыжком сквозь палки и ноги врагов к спасительной лестнице, ведущей на чердак. Колька выпрямился. Оправил пояс, покривился.

— Пошли, — сказал он деду.

— Посидеть с сынами не дают, — проворчал дед. — А что готовый мед не взял в сельсовете?

— Тебе написано — свежий, — ответил Колька.

Тогда дед поманил его и что-то умоляюще зашептал на ухо.

— А при чем тут твой сапог? — громко ответил Колька. — Мне мед сейчас нужен. Дед безнадежно махнул рукой, храбро встал и, ни на кого не глядя, направился к двери, брэнча саблей, в белом и черном сапогах.

На пороге белый сапог развалился. Томка захохотала.

Незванный гость отбросил с порога тряпку и, загадочно улыбаясь, погрозил шалуну — дяде Ване — пальцем.

— Надо ж, ведь балбес балбесом был, а поди же — начальник, — сказала бабушка, когда гость вышел. — Ты б, Ваня, правда, что ли поосторожней с ним: знаешь ведь Кольку — мало ли что.

— Вот именно, — зло проговорил Кирилл. — А то смотри, как бы твой язычок... Вижу, больно веселый стал.

— Так к матери с батей приехал, — сказал Иван. Он выпил, закусил огурцом. — И потом, кто он мне, эта сука, я с холуями не целовался, а по морде бивал.

— Какая мерзость! Это провокация, Кирилл, — взвизгнула дама.

— Да будет вам, — махнула на нее рукой бабушка, подошла к окну.

— Ася!

— Ну что, ба, я же сказала, что буду ждать, — упрямо ответила Ася.

— Тогда позови Иннокентия Сидоровича.

— Хорошо, ба.

Напуганная визгом дамы с наличника вспорхнула сорока. Она полетела взглянуть на именинницу, поведение которой с момента расставания с Володкой-музыкантом сороку раздражало. Усевшись на качели, Ася принялась мазать какой-то дурацкий сапог, но занималась этим рассеянно; то и дело

выбегала на склон (Сереежки все не было, хотя он давно уже должен был прийти) и с каждым новым возвращением на качели она все ниже и ниже наклонялась над сапогом и все чаще тайком утирала слезы. И сейчас, очнувшись от визга фиолетовой дамы, оставив на качелях смазанный салом сапог, Ася выбежала за сирень — Сереежки не было. От камней поднимался Федька, он махнул рукой, но Ася уже ушла в сад.

В беседке рыдала в Витькиных объятиях Лярка.

— Сереежка придет — пусть подождет меня. Я на минутку, позову Иннокентия и вернусь,— предупредила Ася.

В розарии промышлял поросенок. В глубине куста белой смородины поджидал Асю, нахохлившись, здоровенный птенец. Не обращая внимания на истерику матери-иволги, Ася вытащила птенца из гнезда. Он был уже втрое больше матери, очень смешной и неуклюжий, как подросток. К тому же, голодный и злой. Птенец больно ущипнул Асю за палец и отвернулся.

— И это ты так вырос с утра? — удивилась Ася.— Вот и тебе шестнадцать. Ах дети, дети, как быстро вы растете.

Вернув птенца в гнездо, она побежала дальше.

Возле домика Иннокентия Ася оглядела себя, постучала в дверь и, не услышав ответа, вошла.

— Кр-р-р,— проскрипел с печки ворон. Прошипела белая гусыня из-под стола.

Старик в черном плаще сидел за столом.

— А, это ты, Машенька,— хрипло сказал Иннокентий, разглядывая Асю безумным глазом.— Пришла-таки? Что не ночью — думал, ночью придешь.

— И никакая я не Маша,— обиделась Ася.— И потом, вас ждут.

— Да-да, Машенька, я ждал тебя,— заговорил быстро старик.— Паша, небось, там, а я вот... мне только дописать.— Старик забормotal что-то совсем бессвязное и принялся чиркать сухим пером по последней пустой странице своей старинной книги.

— У вас перо без чернил,— сказала Ася.— Если хотите, я за вас напишу.

— Не бабье это дело,— ответил Иннокентий.

— Как хотите. Я вас подожду на улице.

Я вышла на улицу и сразу почувствовала после прохлады в доме Иннокентия, какая несусветная жара стояла в тот день. Высоко над садом кричал сокол-сапсан, висело облачко на своем месте, гудели пчелы возле сирени.

У стены из земли торчала страшная клюка старика. Оглянувшись на дверь, Ася выдернула ее. Клюка была тяжелой — из

цельного куска кости, со стальным наконечником. Ася воткнула клюку назад — стальной коготь вошел в землю, как штык.

Старик все не выходил, и Ася пошла за ним. Иннокентий сидел на табуретке, обхватив голову.

— Я же вас жду. Вы обещали,— возмутилась Ася.

Старик поднял голову — он плакал, прикрывшись ладонью.

— Отпусти ты меня,— попросил старик.

— Ну вот, как маленький,— укоризненно сказала Ася.— Дайте руку, я вас поведу.

— Нет! — вскричал Иннокентий. Он вскочил и опрокинул табуретку.— Прочь, курнося! Прочь!

— Я могу и обидеться,— сказала Ася.

— Прочь, пррчь, курнося.

Иннокентий задел стол. Стоявший на столе кувшин с засохшей сиренью закачался. Ася бросилась к нему, но опоздала — грохнувшись об пол, кувшин распался на две половинки, вывалив наружу окурки, мелкие монеты, патроны.

— Ну вот, теперь кувшин разбили,— как ребенку, выговаривала старику Ася. Она взяла его за руку, и тот послушно пошел за ней. Рука у старика была легкая и горячая; получив на улице свою клюку, Иннокентий повеселел.

В саду на плечо старика уселся ворон. — А побыстрее вы не можете? — попросила Ася.— Я правда очень спешу.

— Не торопила бы ты меня, Машенька,— горько ответил старик.

Он поднял с дороги яблоко, сунул в карман.

— Выбросьте его,— сказала Ася,— я вам сорву хорошее.

— Э, знаю, там другие яблоки,— ответил Иннокентий и, хитро поглядывая на Асю, сказал: — Тут от вас ко мне приходил один...

— Кто?

— Черт. Он самый. Говорит: похвали мои сатанинские деяния в своей книге, а не то изведу. Но я его того... — засмеялся старик.— Обманул. Он в дверь, а я через окно и к тебе на могилку. Вот он! — И, вскинув над собой палку, сумасшедший старик ринулся на сына Кольку, который рвал в розарии цветы.— Черт, черт!

— Но, но, отец, побалуй — не погляжу, что отец, жива-а!.. Поп чертов! — вскрикивал Колька, увертываясь от беспощадной палицы Иннокентия.

— Во дает! — восхищенно сказал Федька, неизвестно как оказавшийся рядом с Асей.— А если по башке?! — И, дернув Асю за бант на платье, он протянул ей бумажный треугольник.— На, держи.

— Что это? — Ася с опаской взяла конвертик.

— Послание от Серееги,— ухмыльнулся

Федька, — на твое письмо. Ребятам понравилось.

Асю передернуло, но Федька этого не заметил. Он поглядывал на розарий, где старик гонялся за своим сыном Колькой.

С трубы бабушкиного дома за дракой с тревогой наблюдала сорока.

Один удар, казалось, будет наверняка, но Колька немисливо ловко перелетел через куст, выкатился на дорожку и, придерживая рассеченную щеку, припустился к дому деда.

Закрыв лицо руками, в баньку забежала Ася.

Хак-хак — продолжал рубить налево и направо сумасшедший старик. Свистела палка, веером летели цветы. Хак-хак.

На пасеку Колька заявился как раз в тот момент, когда дед вставлял соту в центрифугу.

— Где ж тебя так? — спросил его дед.

Колька не ответил. Он присел и приложил ладонь к щеке. На ладони отпечаталась красная полоска.

Завертелась рукоять — по желобку в банку побежал мед. Возле струи загудели пчелы. Струя оборвалась.

— Черт, опять заклинило, — выругался дед и взглянул в сторону баньки, откуда ему послышался приглушенный вскрик.

— Давай в сотах. Да побыстрее! — приказал Колька.

Он сплонул кровью и выпрямился.

— В сотах нельзя, — стал обстоятельно объяснять дед, дергая рукоять. — Пчелы могут осерчать — у них сейчас любовь завязывается.

— А я говорю — в сотах, — обозлился Колька. — Собака.

И выбив мыском сапога банку из-под желобка, он наступил каблуком на босую ногу деда.

— Ай, пусти. Что ж ты, гад, делаешь-то?! Дурак чертов... — кричал дед, отпихивая Кольку.

Колька замахнулся кулаком на деда и вдруг отшатнулся. С неба на него ринулась наша сорока, бесстрашно ударила сильными крыльями в лицо. И тут же камнем упала в траву, убитая резким ударом ребра ладони.

— Старик, назад! — приказал Колька убегающему по склону деду. Но тот не обернулся, и Колька крикнул: — Витька!

Из беседки выскочил Виктор и побежал на голос. К качелям вышла Валерия с опущенной головой.

— Аська где? — спросила ее подошедшая Томка.

— Не знаю. Ей Федька письмо принес от Сергея.

— И она полетела к нему на крыльях любви? — ехидно заметила Томка. Посторонилась.

Мимо нее промчался Витька с янтарным

портфелем сот на вытянутой руке, за ним с воем пронесся отряд пчел, за отрядом — Колька.

Витька подскочил к черной машине, сунул туда мед и, вырвав из брюк рубаху, прикрывая ею лицо, побежал к реке. Сразу же из машины выскочили двое: шофер — он побежал к деревне — и толстяк. Толстяк завертелся волчком на одном месте, отбиваясь от пчел. Подоспевший Колька направил его к реке, а сам храбро прикрыв грудь начальника — замолотил по воздуху руками, вопя от боли и подпрыгивая.

— Лярка, бежим! Пчелы взбесились! — крикнула Томка.

Свирепые пчелы ворвались в сад, набросились на дедов сапог на качелях и, оставляя в коже сапога жала, гибли целыми отделениями; поросенка Тишку пчелы загнали под крыльцо. Ваську — на чердак. С воем через сад промчался Марс и возле куста смородины чуть не раздавил птенца.

Птенца пчелы не тронули. Оправившись от испуга, тот осмотрелся — сейчас он еще больше вымахал и стал похож на кукушку — проскакал по дорожке и — полетел. Шлепнулся. Опять полетел. На качелях передохнул, попробовал на вкус одну из погибших пчел и, оттолкнувшись от доски, взлетел на крышу дедова дома.

Марс, отчаявшись оторваться от пчел, влетел в баньку и дверь — сама! — захлопнулась за ним. Это было спасение для Марса, пес долго и самозабвенно отряхивался, пока из его шерсти не выпала последняя пчела, и только тогда, заметив лежащую на лавке Асю, пес жалобно пожаловался.

Ася не ответила.

Марс обнюхал ее ладонь и скомканный лист бумаги на полу, слизнул с голубой жилки на виске хозяйки долгую слезу и решил вздремнуть, пока пчелы не успокоятся. Решил — заснул. Только очень беспокойно: может, оттого, что снились Марсу злые пчелы или тревожило его во сне лицо хозяйки — серое и неподвижное, с залитыми водой глазами, откуда голубой на виске ручеек все убежал и убежал в густые лохмы возле новенькой сережки с красным камушком.

Разбудил Марса голос пастушьего рожка.

В баньке было темно, холодно. По-прежнему лежала на лавке тихая Ася. Фырчал далекий гром.

На улице моросил дождь. Марс протрусил к беседке. Обнюхал стоящий на сидении качелей сапог, весь утыканный, как щетиной, пчелиными жалами, почерневшую под дождем грудь пчелиных трупов, толкнул по привычке боком качели и выбежал на склон.

По дороге брело вымокшее стадо с пастухом Венькой и рыжим волкодавом, Зорька поднималась к стаду. Нащупывая в тумане дорогу, шевелил желтыми усам грузовичок.

Ночью разразилась гроза.

— Ночь-то какая нехорошая,— сказала бабушка, закрывая окно.

Ася лежала на кровати и разглядывала на свет кружева бабушкиной шали. Бабушка прошла за узором. Села против лампы и защелкала спицами.

— Ба, а откуда ты взяла эту шаль? — спросила Ася.

— Шаль-то? — отвлекаясь от своих мыслей, переспросила бабушка.— Ее мать моя, как меня посватали, так и отдала. Охо-хо-хо, время-то десятый...

— А почему ты моей маме шаль не отдала? — спросила Ася.

— Уж и не помню. Знать, не нужно ей было.

— Ба, а когда умрет Иннокентий, его книга кому достанется?

— Кто-нибудь возьмет.

— Ася, разве можно так говорить? — строго сказала мама.

Мама сидела за столом против бабушки, подперев щеку рукой. Тоже за кружевами. Лицо ее было в тени, но я видела, что ее глаза улыбаются. Она была очень красивая, моя мама, только смертельно усталая. Две складочки-морщиночки, ну совсем крошечные собрались в уголках губ.

Мама потушила папиросу в пудреницу.
— Боже мой, как ты выросла,— сказала она, присаживаясь на кровать.— Я теперь и не знаю, как с тобой обращаться.

Ася пожалала плечом, загадочно улыбаясь. Закрылась шалью.

— Я совсем замotalась,— пожаловалась мама.— Инспекция за инспекцией. Давай-ка спать.

Мать прилегла рядом, и, когда кровать перестала скрипеть, Ася сказала:

— Ма, а, ма, тебя можно о чем-то спросить?

— Да, конечно.

— Ма... я давно хотела тебя спросить... хотела тебя спросить: почему я родилась?

— Как почему? Родилась, и все. Так мы захотели с твоим отцом, и ты родилась. Что за глупый вопрос?

— А если бы вы не захотели?

— Тогда бы ты родилась у других людей.

— Так я и ответила Томке,— чуть-чуть соврала Ася. Она облокотилась на подушку и, всматриваясь в темноту за окном блестящими глазами, сказала: — А еще, мам, ты знаешь, мне однажды приснился сон, что я — как будто наша бабушка, только маленькая, в тот день, когда на меня надели длинную юбку и я пошла работать в дом к барину. Представляешь, я помню даже, какой рисунок был на юбке. Представляешь? Правда, ба?

— Правда; доченька, правда,— ответила

бабушка, откладывая вязанье на стол.— И деда где-то черт водит.

— Это не доказательство,— пробормотала мать.— В воспитании детей нет мелочей. Тем более испанских...

— Дед, наверно, в баньке спит,— сказала Ася.— Ба, а если мы все умрем, ты куда шаль денешь?

— Спи,— ответила бабушка.— Пойду деда искать. Ишь как похолодало — девочек бы как не застудить на этих проводах.

Бабушка ушла. А Ася стала смотреть на язычок пламени за стеклом керосиновой лампы.

И вдруг из печки выплыл огненный шар. Нет — оранжевый кувшин. Снова шар — красный, голубой, коричневый. Шар медленно подплыл к Асе, задержался возле ее лица, прокатился по руке, скакнул и, оказавшись над керосиновой лампой, вдруг полыхнул ослепительно голубым светом, а из лампы навстречу голубому вырвалась струя малинового огня. Стекло лампы застонало, стало опадать, сминаться и бесшумно распалось на огненные лепестки.

Ударили куранты. Ася взглянула на ходики — полночь.

Шар метнулся к окну, через стекло вылетел в сад и замелькал за деревьями, двигаясь плавными скачками. Теперь он был величиной с небольшой мяч, только неровный — в разных местах его выпирали отдулины, точно что-то живое и злое колотило его изнутри ногами. Из отдулин сыпались желтые искры. Пахло серой. Иногда шар припадал к земле, немного волочился, словно поджидая, когда его нагонит Ася, и летел стремительно дальше в ночь. И вдруг растаял.

Странная была та ночь, какая-то бутафорская — казалось, прямо в саду ослепительно полыхали молнии, и без грома. Ася пошарила в темноте рукой. Трава. Роса. Звезды, как неулыбчивый взгляд ребенка — под кожу.

Но вот вышла луна, сытая и гладкая, соизволила появиться — выскользнула из облачка и, нахально заглядывая во все щели, высветила мир голубым и сонным. И мир сразу ожил: налетел откуда-то ветерок — всколыхнулось дробное зеркало серебристого тополя. Заржали кони в ночном. Заорали деревенские псы из Скоморошек. Забрались на них, похохатывая, лягушки. Ухнул спросонок филин в церкви и, испугавшись самого себя, отчаянно зашелестел крыльями, отмахиваясь от церковного эха, понесся к серебристой Лапе, к гранитной плите липового леса.

Колокольчики. Ближе. Ближе.

— Скорее, скорее. Раз в тысячу лет я не проспала полнолуния, а вы медлите,— приказывал капризный голос.— Да не сюда, к фонтану.

Ася побежала на голос и остановилась. Мимо нее быстрым шагом прошли Томка и Валя-почтальонша.

— Говорила же я ей — не целуйся с Сережкой, так нет... Что с ней? — спрашивала Сорока.

— Обычная любовная горячка, по латыни это называется... Ты прочитала записку?

— Еще бы. Сережка написал, что придет к ней, когда у нее сиськи вырастут. Ты можешь быстрее? Надо успеть.

Девушки ушли. Ася поспешила за ними, но впереди их уже не было, зато через несколько шагов она услышала голоса и заметила между деревьями огонек костра. Рука ее коснулась чего-то живого. Это была лошадь. Большая голова уткнулась теплыми губами в Асин висок.

— Эй, кто там? — приподнявшись, спросил темноту Федька. — Настя, ты, что ли?.. — Боязливо озираясь, он сел к костру, прикурив от малинового прутика.

— А дальше что было? — спросил шепотом один из мальчишек.

— Бог его знает, — солидно ответил Федька. — Со стариками надо поговорить, они все помнят.

К костру подошел Сергей.

— Настя не приходила? — спросил он.

— Прошел кто-то сейчас.

— Кто? Куда?

— К реке.

Сергей быстро налил себе самогону.

— Будешь? — предложил он Федьке.

— Что я, дурной, мне расти надо, — ответил парень.

Сергей залпом выпил.

— Где все? — спросил он с передыхом.

—купаются. А то не слышишь, как орут.

И действительно, Ася сразу услышала тявкающий голос гармошки, свист, девичий визг, хохот. Крики:

— Парни, лови русалок!

— Штаны-то сыми — куда в штанах!

— Лярка-а! Ха-ха! Они схватили меня!

— Валька, плыву.

— У дружочка у мово раскрасиво личико...

Ася нырнула в тугую, черную в тени кустов воду и, подхваченная неторопливым, мощным течением, сразу оказалась в середине стальной реки.

— Гармонист он и плясун, а какой в стогу шалун... — выкрикивал с берега звонкий девичий голос.

Хохот, свист.

— Ой, робята — вроде держусь! Ой-ей-ей! Жесткая!

— А моя ничего.

Визг, плеск, мельканье рук.

— Ах, девица-отрада, да пожалей солдата, — отвечал частушкой парень. — А будешь сильно дутся, эх, в армии найдутся!

Асю несло прямо на голоса. Рядом с ней

неожиданно вынырнула белая голова. Ася отпихнула ее — это был кочан капусты.

— Парни! Вот она, жирненькая, хвостатенькая! Ой, дерется!

— Пльвем!

— Витька-а!

— Лярка-а-а!

Клубок тел возле берега.

— Лярка, беги!

Валерия с хохотом выскочила на берег и понеслась, вся в серебристой чешуе брызг. За ней устремились сразу трое. За ребятами — Витька.

— Витьку держи! — кричал один из парней.

— Витька-а-ха-а-га-га!

— И-га-га, — ответили лошади в ночном.

— Настенька, — позвал тихий голос.

Ася изо всех сил поплыла к берегу. Выпрыгнула. Спряталась в кустах.

— Настенька, — снова совсем рядом позвал голос.

Ася попятилась и натолкнулась на Сергея.

— Настенька, милая, — голос Сергея дрожал. — Умру я без тебя. Не гони. Прости дурака — не знал, что люблю. Прости, милая. Как ты дрожишь...

— Пусти меня, — простонала Ася.

Сергей рванул к себе Асю, поцеловал и отшатнулся.

— Кто ты? — спросил он грубо.

— Пусти-и-и.

Ася дернулась всем телом, вырвалась из его рук, пробила кусты и... не почувствовала под ногами земли. Мелькнула река, звезды, и на Асю стремительно понеслось огромное дерево.

Ася зажмурилась, выгнулась до боли в спине и взлетела над ним. А когда открыла глаза, перед ней были только звезды. От бешеной скорости заныло тело. Ася с трудом выдвинула вперед руки — скорость угадала, и она стала снижаться.

Выскочил из темноты и полетел рядом филин.

— Кто ж так летает, спиной вниз? — спросил филин.

— Отстань, — огрызнулась Ася.

Филин улетел вперед.

Пролетела внизу ведьма с ведром только что надоенного молока и еще долго изумленно озиралась на летящую к земле девушку.

Ася продолжала падать. Мелькнуло не то озеро, не то поляна. От нее по лесной дороге с дробным топотом мчалась голубая лента — кавалькада. Они! За ними! Лярка!

Оторвавшись, впереди кавалькады самозабвенно мчалась обнаженная Валерия. Догонял ее и не мог догнать Витька. От бешеного галопа жилы на его шее набухли. Дико косясь на щеку Валерии, он ловил ртом серебристый шнурок в развевающихся волосах подруги и не мог дотянуться.

— И-а-аха-ха-га-га! — закричала Валерия и унеслась вперед.

Кавалькада умчалась. Бухала земля. Все тише, глуше. А когда стало слышно, как шуршит роса по траве, из розовых кустов приподнялся черный человек, не отражавший лунного света. Человек недовольно проурчал, почесался, потянулся и, нагнувшись, поднял с земли огромную волчью голову с торчащим вперед клыком. Воздузив ее не шею, он перевернулся, утробно прыкнул и в один прыжок перелетел площадку.

— Эй, кто там, музыку! — крикнул капризный голос. — Филка, свети!

С дуба ударили прожектора филькиных глаз, залив ярким светом лужайку, утопающую в цветах хозяйку бала.

Из кустов грянула музыка.

Хозяйка бала хлопнула в ладоши.

— Фонтан!

Из-под земли брызнули струи голубой воды. Над фонтаном закружились стайки мотыльков. И как только на них попадали голубые брызги, они превращались в людей и тут же присоединялись к танцующим кадрили разодетым парам.

Бесцветные ночные мотыльки преображались в изысканно одетых красавиц.

Вновь родившись, красавица радостно хлопала в ладоши и отбегала к подругам, раскручивая свой наряд напоказ. Ей завидовали, целовали в щеки, принимая в свою компанию. А она уж нетерпеливо поглядывала на юношей — жучков в сиреневых мантиях, прыгучих лазоревых кузнечиков — и вот уже неслась по кругу, подхваченная дерзким кавалером.

Вдруг из-за кустов появились две руки. Они выдернули парочку из круга в темноту. То была Тамара. Томка потащила пленников к беседе.

— Вы повредите мой мундир, — ворчал дорогой жук.

— Ах, моя молодость, моя ночная красота, — хныкала бабочка-однодневка. — Мне больно.

— Да перестаньте вы! — прикрикнула на них Тамара и передразнила: — Мне больно, мне больно... Честь мундира, моя молодость...

— Ах, мое крылышко. Как теперь я буду летать? Вы сломали его, — не унималась бабочка.

— Ты мне надоела, — вскипела Тамара.

Она отпустила руку бабочки — в лунном свете блеснуло жало. Бабочка вдруг вспорхнула и, весело смеясь, улетела.

— Подлая предательница! — гневно выкрикнула ей вслед Тамара. — Вы же, сударь, пожалуйста — в коробку.

Пропустив мимо себя Тамару с упирающимся жуком, на дорожку выскользнул из кустов черный человек с волчьей головой. И снова спрятался.

На дорожке появился Колька в чалме и галифе. На веревке он вел Иннокентия.

— Прославишь меня в своей книге — отпущу, — говорил басурман. — Золота дам. Самые красивые женщины будут твоими. Сыновья боготворить тебя будут, а народ... что народ? Он и есть народ. А нет — как червяк в безвестности канешь.

— Не будет этого, — отвечал гордый старик.

Зверь выглянул на луг.

Ночной бал гремел. Подгоняя пары, визжали скрипки. Пьяно лаяла гармошка, перевирая кадрили. Свист. Хохот. Буханье земли от одновременного притопывания девичьих каблуков.

— Ах, как весело! Быстрее, еще быстрее, — выкрикивала хозяйка бала. Подчиняясь приказу, пары неслись каруселью вокруг нее, сливаясь в пеструю извивающуюся ленту. Хозяйка хохотала, запрокинув голову, хлопала в ладоши. — Еще! Еще быстрее! Ах, как весело! Ах...

Застонала, смолкла музыка.

Черный зверь выдернул из ее груди клык — красавица стала опадать, лицо ее сморщилось, совсем смялось. Погасли глаза филина. Вернулась луна. В ее свете запорхали мотыльки. Чавкая, зверь пожирал уже невидимую красавицу и рос, рос, заполняя пространство.

Ухнув, вспыхнул газовым пламенем дом деда.

Затрещали, лопаясь, домики пасеки.

Пылали дрова в печи. Бабушка закрыла дверцу и, держась рукой за поясницу, выпрямилась. Малиновый язычок лампадки. Тускло-серое окно.

Заметив, что внучка проснулась, бабушка присела на постель к Асе, поцеловала ее в лоб и сказала ласково:

— Проснулась, милая? Сейчас я соберу обедать. Кушать-то будешь?

— Да.

— Ну и слава богу, значит, поправляешься. А ты лежи, пока холод уйдет. Осень уже.

Шаркая подошвами валенок, бабушка вышла в сени. Скоро вернулась с новой охапкой поленьев и застала внучку стоящей возле стола.

— Странно, — слабым голосом произнесла Ася.

— Что странного? — Бабушка бросила дрова к печи, открыла заслонку.

— Не знаю.

Ася подошла к окну. Стекло запотело. Ася хотела смазать серую влагу, но не стала.

— А где все? — спросила она.

— Валерия и Томочка? Уехали, — ответила бабушка, подкладывая дрова в огонь. — Как парней проводили, следующим днем и уехали. Неужто не помнишь?

— Нет.

— Да уж три дня тому. И что доктор приехал, тоже забыла?

Ася кивнула.

— А что Иннокентий помер?.. — Бабушка перекрестилась на икону.— Сегодня утром схоронили.

— Я пойду в сад,— тихо сказала Ася.

Бабушка помогла Асе одеться: натянула на ночную рубашку платье, застегнула кофту. Отыскала и дала резиновые чоботы. Очень большие. Накинула на плечи девушки свое пальто. Долго рылась в сундуке. Наконец достала свою вязаную шаль, укутала в нее Асю, застегнула на ней пальто, проводила до двери и сказала:

— Больно далеко-то не ходи. Попрошайся с садом и возвращайся, а то мать вернется с магазина — надо в дорогу собираться.

— Мама приехала? — слабо обрадовалась Ася.

— Бог ты мой, да ты, видать, и вправду все позабыла,— удивилась бабушка.

Сад оказался совсем маленьким и голым. Моросил холодный осенний дождь. По дорожке ветер гнал мертвые листья. Они липли к почерневшим бревнам дома, путались в голых кустах смородины, плавали в родничке.

Ася вышла к дубу и, не останавливаясь, прошла к домику Иннокентия, присела на холм. Из двери домика Иннокентия протиснулась мордастая женщина в кирпичных сапогах с громадным мягким узлом за плечами. За ней вышел шофер, нагруженный деревянным хламом. Увидев Асю, он растерялся, из пирамиды над его головой вывалился табурет, а из-под руки — книга Иннокентия. Шофер подхватил табурет и заспешил за женой, к кладбищу.

Переступив книгу, Ася вошла в сад. Кот Васечка, хищно глянув на нее, перебежал дорожку с розовым голубем в зубах. Возле разгромленного розария над Асей пролетел ворон Иннокентия. В клюве он нес плоскую, как ремень, мертвую гадюку.

В заливишке Асино внимание привлек голубой осколок в траве. Она присела над ним: это был кусочек изразца из Барской усадьбы. Не тронув его, Ася вернулась в сад, прошла по дорожке к беседке, не обращая ни на что внимания, мельком взглянула на

пустые качели. В беседке на голых досках кроватей, на столе, на Томкиной полке — всюду ровными рядками лежали яблоки. Марс спал под столом. Ася вышла на склон. В липовой роще куковала кукушка.

— Где-ты... мой-сын.. ку-ку,— звала она.

— Здесь-я,— басом отвечал сынок.

Над Поповкой из тучи выпала тройка бомбардировщиков. У Сурового массива самолеты снова спрятались в тучу, и почти сразу из леса загрохотало, донесли далекие крики «ура». На краю поля у Сурового массива виднелся всадник в пестрой одежде на белой лошади. Рожь уже убрали.

Легкие шаги, тихий смех за спиной. Ася резко обернулась, выбежала к качелям.

Белая роза на сидении. Она была только что сорвана — лепестки ее тихонько расправлялись. Не веря своим глазам, Ася потрогала розу пальцем, потом осторожно взяла, поднесла к лицу — вскрикнула. На ладони стала медленно проступать капелька крови.

И вдруг из глаз Аси брызнули слезы. Она все вспомнила.

Я вспомнила все.

...16 октября 1941 года. Вчера умерла Тома. Она погибла вместе с матерью в колонне уже на выходе из Москвы.

Об этом сообщил шофер. В тот день, день всеобщей растерянности и оцепенения, я сама, наверное, целый час пыталась безуспешно пересечь у метро эту колонну, спрессованную из людей и машин. Я спешила. Фашисты бомбили между пятью и шестью часами вечера, и я обычно успевала после работы накормить бабушку, набрасывала на плечи шаль и, забравшись с ногами на подоконник, смотрела, как между черными облачками разрывов медленно летали немецкие бомбардировщики. А когда сбивали загаданный мной самолет, я открывала книгу Иннокентия в том месте, где она была заложена осколком голубого изразца, и читала ее.

25 октября. Все говорят, вернулся в Москву Сталин. Значит, Москву не сдадим!

5 ноября. Погибла смертью храбрых Лярка, защищая Родину под Волоколамском. На 254-м километре (по карте) от Сада...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

«Сад» — запоздалый дебют Сергея Лазуткина, взрослого человека и сформировавшегося художника. Запоздалый не по вине автора, а скорее дань тем печальным годам, когда острые, проблемные, нужные сценарии натыкались на бюрократические барьеры. Судьба, к сожалению, почти стереотипна. Но в данном случае, к счастью, этот стереотип был преодолен мужеством и верностью художника. Автор не затерялся среди подобных себе под общим именем «не-

удачники», не растворился во времени, он работал — писал сценарии. Фильмы не ставились, но сценарии были написаны и, значит, слово было сказано, и, значит, художник состоялся. Надо сказать, что не все авторы — и молодые, и опытные — выдержали «производственные условия» недавнего прошлого. И умные, и талантливые находили в себе оправдание для слабости, находили его в древнем пошлом изречении: «Кто платит, тот и заказывает музыку». Эти потери — не только в написанных ими сценариях и поставленных фильмах, важнее и страшнее они — в деформации и разрушении самих художников. Будем надеяться, что новое время, любовь и надежда читателя, наши вечные испытанные идеалы — помогут возродиться таланту этих художников.

Сергей Лазуткин успел окончить один институт, поработать на ТЭЦ по специальности. Открылась тяга писать. Поступил на сценарный факультет ВГИКа. Окончил. Написал несколько сценариев. Интересных, нужных. К сожалению, как уже было сказано, они не реализовались в фильмах. «Сад» был написан около десяти лет назад. Для нашего быстротекущего времени — это значительный срок. И испытание временем эта работа выдержала. Почему? «Сад» был третьим или четвертым сценарием, очередным, так сказать, из тех, которые должны были лечь в письменный стол автора и стать достоянием «домашнего чтения». Он и пролежал около десяти лет. Но не состарился. Потому что не о смятении своем поведал нам автор, не о растерянности, а объяснился в любви к жизни.

«Но поражение от победы ты сам не должен отличать», — сказал поэт. И все же. Есть у каждого работа (одна-единственная, заветная!), если нет, то есть мечта, надежда, что вот сядет он, отринет быт, сбросит и воспарит! Вздохнет полной грудью, обратится к небесам, к памяти, вспомнит, что он хотел, когда начинал писать, вспомнит свой идеал и напишет свое, подлинное, волнуясь и стыдясь, исповедуясь и проповедуя — свое настоящее и единственное. «Сад» — именно такой случай, это не только профессиональное присутствие, это, прежде всего, художественное явление.

Я рад, что этот сценарий написан, что он напечатан, что его прочтут наши читатели. В добрый путь.

Е. Григорьев



АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ УСОВ (родился в 1940 году). Работал слесарем-сборщиком Горьковского автозавода. В 1964 году окончил исторический факультет Горьковского государственного университета. Преподавал историю и был директором школы, режиссером на телевидении. В 1971 году окончил Высшие сценарные курсы. По его сценариям поставлены фильмы «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», «Додумался, поздравляю!», «Примите телеграмму в долг», «Счастливая, Женька!» и другие.

Сценарий «Ночной экипаж» написан в 1978 году, новая редакция осуществлена в 1987 году. Фильм по публикуемому сценарию ставит на киностудии «Мосфильм» режиссер Борис Токарев.

АНАТОЛИЙ УСОВ НОЧНОЙ ЭКИПАЖ

Раннее серое утро. Промозглая сырая погода. Еще темно. Родители, торопясь, ведут детей в детский сад.

— Не ной, Дима, не ной. Видишь, мама спешит на работу.

А он ноет. Ему еще хочется спать. Ноги его заплетаются, волокутся. Рука, за которую тащит вечно спешащая мама, выворачивается из тела, и он ноет:

— Не хочу... не хочу... я хочу с тобой...

— Перестань... я кому говорю, перестань! Какой же ты эгоист.

Она так обозлилась — в одной руке сумка, в другой сын, отсутствие свободного времени и присутствие общей всем нам нетерпимости, — что стала на ходу подталкивать сына коленом. А он был маленький, и колено приходилось ему куда-то в шею. Чувствуя свою незащищенность, он начинает плакать.

— Некогда, Дима, некогда!

Сколько же их волокут каждое утро и заталкивают за решетку детсадовского двора — целые поколения, с которыми родителям некогда, да и не хочется поговорить.

Тоненькая хрупкая девочка смотрит в окно с последнего этажа шестнадцатизэтажной жилой башни: по соединяющимся и расходящимся дорогам — бездушные, безликие и бесконечные, ревущие потоки машин. Это новый район, земля на многие сотни метров вокруг изранена, перевернута бездарными и равнодушными строителями. Косяками валяются брошенные загубленные стройдетали.

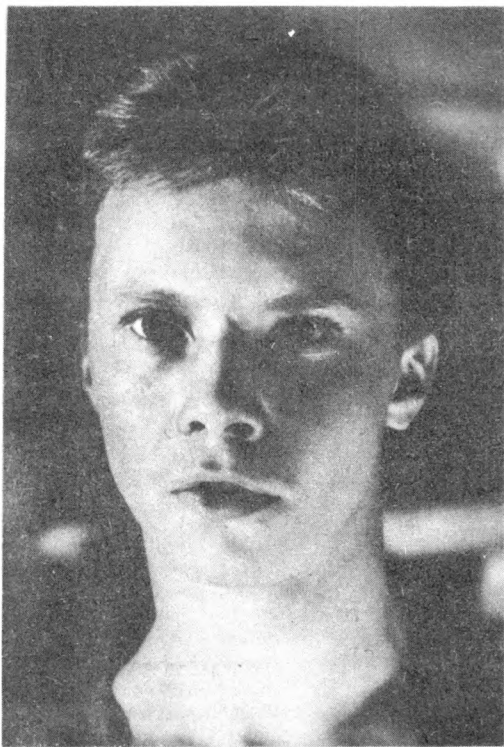
В этой обстановке холодно и неудобно душе.

Девочке 15 лет. Услышав у соседней музыку, она начинает танцевать, импровизируя легко и свободно.

...Десятки таких девочек и подростков стоят в очередях в кафе, в дискотеки. Кажется, они стоят все вместе, это только видимое единство, они стоят отчужденно, каждый сам по себе.

...Дискотека. И танец их, который они вдруг так полюбили, тоже — сам по себе. Его незачем танцевать с кем-то, механические, необязательные для партнера движения. Каждый сам по себе.

Грохот музыки, при котором нельзя ни поговорить, ни подумать, непонятная жажда



В роли Сергея Петухова — Игорь Пьянков

бездумного существования. Сотни людей делают механические телодвижения под механическую жесткую музыку.

Крутится, крутится карусель на игровой площадке в детском саду, неподалеку от школы.

— Хватит, Петух, что-то голова кружится... Это уже не кайф... — раздается голос Головина.

Петухов бегаёт по замкнутому кольцу и раскручивает товарищей. Они уже ошалели. Их было двое. Семнадцатилетний амбал, кому не нравится это слово — юноша, Николай Головин, баловень судьбы и спортсмен-разрядник. Он раза в три больше всей карусели, но как-то ухитрился на нее взгромоздиться. И Веня Сазонов, двенадцатилетний подросток с доверчивым лицом и внимательными глазами, худой, неопределившийся.

— Хватит... Петух... это уже не кайф...

Веня еле держится, его совсем укачало, и все же нашел силы пробормотать:

— Пусть... катает... ему надо...

Петухов носился по замкнутому кольцу и все поглядывал на двойное здание школы.

Спешили и бегали в ожидании предстоящего выпускники. И вот уже там зажгли свет, потому что пришел вечер.

И тут Петухов увидел лошадь. Может быть, это был конь или мерин, он конечно не знал. Видел только: здоровенный, бодрый, упитанный. Цокал подкованными копытами по асфальту, пружинил крепкую шею, легко тащил телегу на дутьшах. На телеге сидел гражданин стертого вида, стояли бидоны. Гражданин остановил тяжеловоза у телефонной будки, слез позвонить.

— Это будет здоровый хохот, — сказал Петухов.

В школе ударила музыка. Раздались аплодисменты. Нестройные крики.

И тут распахнулись двери, в зал упали два плечистых дружинника. Вошел Николай Головин. Вступил Веня Сазонов.

Следом, верхом на огромнейшем битюге, въехал Сергей Петухов. Он поднял руку и произнес:

— Веселитесь, товарищи!

— Это шефы, — пронизательно заметил рыжебородый отец красавицы Л. Я. М., явно стараясь понравиться стоящей неподалеку симпатичной гражданке. — Они будут с лошади напутствовать выпускников. Молодцы комсомольцы!

Было такое мнение. Тут надо сказать, во что был одет Петухов. На нем красовалась форма бойца строительного отряда, вся в значках, нашивках, эмблемах. Эта форма не вызвала сомнений в хороших намерениях. И все же опытные учителя думали по-другому.

— Этого еще не хватало, — негромко сказала одна. — Надо вызвать милицию.

— Сейчас позвоню, — сказала самая юная из них, старшая пионервожатая Машенька Казакова.

— Не надо, — возразила директор школы Вера Игоревна Мадонова.

— Чего ждать? Пока это животное кого-то укусит?

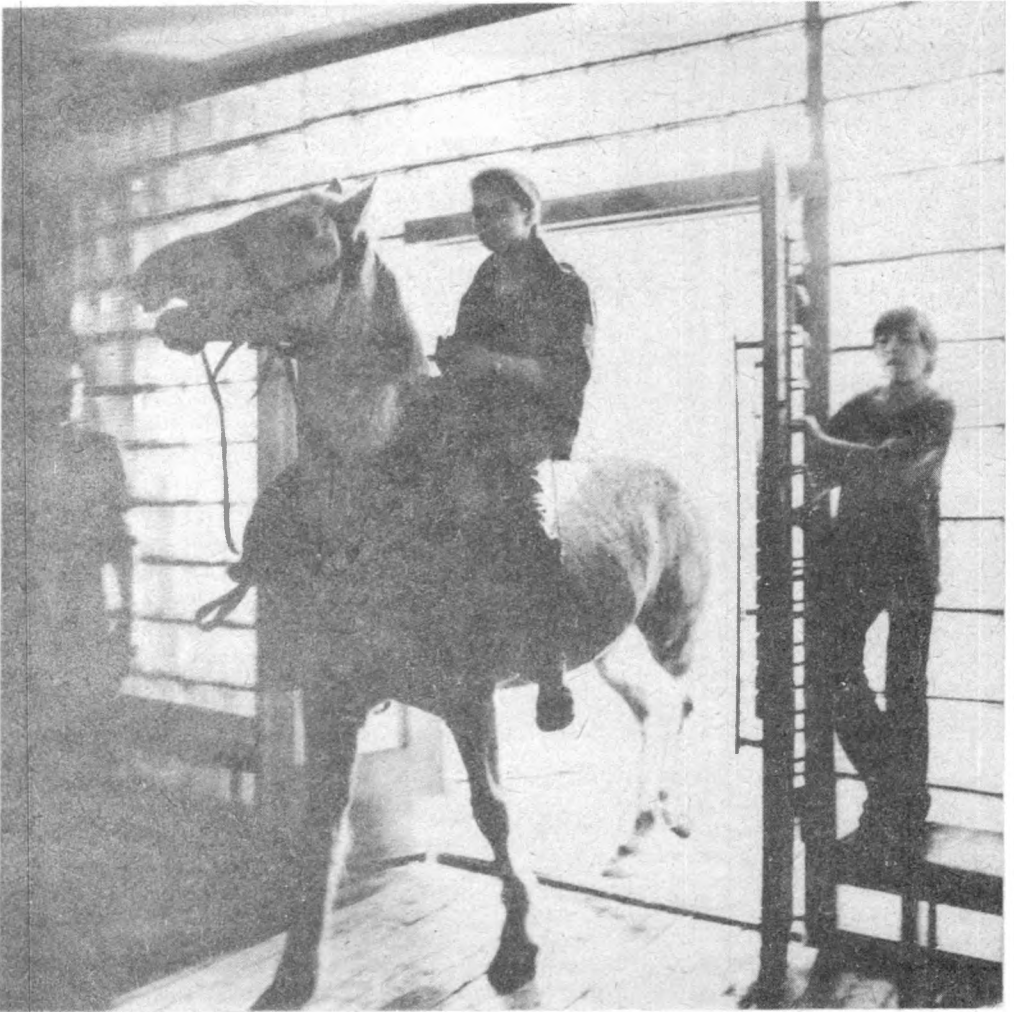
Всадник, между тем, выехал на середину зала, поднял руку, прося тишины, хотя и так не было шумно.

— Дорогие друзья! Братья и сестры! Как записано в моей биографии, два года назад меня выперли из этих радушных стен... Позвольте в связи с этим выразить искреннюю благодарность! — Петухов несколько выдохся. — Музыка!

Ансамбль не откликнулся на призыв.

— Оглох? — спросил Головин у ударника, взял самую тяжелую колотушку и как следует ударил по барабану. — О! Это — металл!

— Нам следует аплодировать? — в уставившейся затем тишине довольно веселым голосом спросила Мадонова. — Сережа, отношения выясняют не так: люди спокойно приходят друг к другу и спо...



Кадр из фильма

— Кого вижу?! Любимый директор! Дорогие учителя! — прокричал Петухов, будто только увидел их, и попытался пустить лошадь на онемевших от страха учительниц. — А вот этот маленький, по географии, всегда приходил и говорил: «Велика фигура, да дура». Он не мог по-другому, он не так воспитан. — Петухов сделал страшные глаза и пугнул учителя: — У!

— В расход, — сказал Головин.

— Они напились, — сказал отец Л. Я. М. — Хулиган, я тебе уши нарву.

— Не надо, — предупредила Мадонова.

— Рыжий, побереги свои, — заглушая ее, пригрозил Головин.

— А вот эта жаба по математике...

— Здесь есть, наконец, мужчины?! — тоненьким голосом прокричала «жаба по математике».

— Не надо больше мужчин, — сказала Мадонова. — Сережа, это все уже перебор.

Въехал ты — допустим с большой натяжкой — красиво, постарайся так же уехать.

Петухову вся эта история стала казаться скучной. Он неумелой рукой развернул битюга.

— Ради ваших прекрасных суровых глаз, Вера Игоревна... Встретимся?

— Мир тесен, — Мадонова несколько смутилась от комплимента.

Женщины учителя облегченно вздохнули.

— Я вся поседела, — сказала одна.

— И вы позволите ему так уехать? — спросила другая.

— Почему бы и нет? — возразила Мадонова.

— Я вас отказываюсь понимать. Сегодня он спокойно уедет, завтра спокойно уьдет.

— Ну зачем же так, Анна Кирилловна, человек и на лошадь-то влез, чтобы порисоваться, показаться больше, чем есть, а мы

его сразу унизим. Что сделает он потом? Пусть спокойно уедет.

— Толстовство какое-то,— недовольно выдохнула Анна Кирилловна, но спорить не стала.

— Сережа, отведи-ка ты лошадь, у кого взял, и приходи к нам пешком. Не все, конечно, тебе будут рады — посидим, поговорим, выясним — почему.

— Кого вижу?! Знаменитая красавица Л. Я. М.! — прокричал Петухов, он не мог уехать просто так, без скандала.

— Мимо,— твердо сказала она.

Это был момент унижения. Петухов не мог с этим смириться. Он свесился с битюга и подхватил Л. Я. М. под белые ручки, чтобы по примеру многих ковбоев посадить девушку перед собой.

— Не трогайте Лялю! — стыдясь пред другими родителями, закричал рыжебородый отец девушки и бросился к лошади, пытаясь остановить.

Битюг испуганно отпрянул. Петухов, которому явно не доставало ковбойской силы и опыта, не удержался на его широкой спине и рухнул на гордую красавицу Л. Я. М., повалив ее на пол, подмяв специально сшитое к этому вечеру платье.

— Вот они! — закричали в эту секунду от входа.

В зал вбежали пожилой стертого вида человек с кнутом в левой руке и быстрый юный милиционер.

— Длинный, тот распрягал! — прокричал возница.— А бык запер меня в телефонной будке!

— Разберемся! — взглянув на часы, обещал юный милиционер.

Толкового разбора, к сожалению, не получилось. Были шум, беготня, полная неразбериха. Даже битюг обезумел от всего этого гама. От того, что много нашлось желающих влезть на него, догнать, выгнать и обогнать. Он шархнул от возницы, сбил праздничный стол. Испуганные дамы с визгом бегали от этого страшного зверя. У юного милиционера уронили новенькую фуражку, сразу же затоптали, и он очень обиделся.

Воспользовавшись этим шумом, ребята прорвались на улицу. Впереди, как танк, пробивался Головин, за ним Малыш, замыкал Петухов.

Кто побежал за ними, кто пошел посмотреть — постепенно все выплеснулось наружу.

Мадонова оглядела опустевший, приведенный в беспорядок зал.

— Какие сорняки! Их полоть надо! — сказала чья-то мама.

— А если подумать?.. Если подумать. Сорняк — растение, достоинство которого еще не узнали,— сказала Мадонова.

— Правильно, мама,— поддержала ее Нина, которая тоже осталась в зале.

Мадонова неожиданно резко сказала ей:

— Ты что так вырядилась? Тебе что тут делать?

— Интересно — праздник все-таки, дискотека.

— Пока не твоя.

— А дома я что буду делать?

— Почитай хотя бы — тоже, знаешь, не вредно.

Нине очень хотелось участвовать во всех этих событиях, но она была слишком самолюбивой, чтобы спорить или просить.

— Машенька, позовите, пожалуйста, этого милиционера,— попросила Мадонова вошедшую Казакову.— Да, и скажите Филimoniной из десятого «А», пусть организует ребят и уберут в зале.

Выпускники запрудили двор, пытались наладить танцы на улице. Окружив обиженную красавицу Л. Я. М., девушки старались привести в порядок порванное Петуховым платье. Вдали, у телефонной будки, возница запрягал в повозку с бидонами битюга. Битюг еще не пришел в себя, задира голову, бил копытом.

Тут надо заметить, что почти все родители были справедливо возмущены происшедшим. Они уже втянулись в работу по наведению порядка, а все говорили и говорили.

— Вы посмотрите, как они ходят! Вот вы идете, ведь вы — идете. Или я иду, так я — иду. Мы смотрим по сторонам. Они мчатся направо! Сами падают и других роняют.

— Спешат, а куда — сами не знают,— поддержали оратора.

— Не в этом дело! Они не хотят думать, что вокруг есть другие. Все начинается здесь: когда не думают, что возможны другие!

— Страх нет,— подсказал гражданин.

— Совести,— возразили ему.

— А что вы хотите?! Вы знаете, сколько стоит одеть взрослую девушку? Большие деньги!

— А парня — меньше? — возразили ему.— «Давай, у всех есть». А где я возьму такие деньги? Все где-то берут. Я удивляюсь, где их до сих пор берут?

— Страх нет, вот и берет,— объяснил гражданин.

— Престиж! Сами раздули: равняйся на передовых.

— Это в труде,— пояснили ему.

— До него дорости надо. А тут все свербит: равняйся, равняйся! Смотрите сюда! Чудесный костюм, лучшее трико «Ударник» — двадцать семь лет этой несчаст-

ной тряпке! Носки двести раз штопаны! Или это — музыку в ухо и в отвал.

— Страх нет,— подсказал гражданин.

— При чем, извиняюсь, ваш страх?

— А при чем ваши носки? — обиделся гражданин.

— Мои уже не при чем, я о ваших пекусь. Разве сказал хоть один: мне не надо, пусть будет тебе? Я вас спрашиваю, говорят ваши такое?

Никто не ответил.

— Слышите, что я сказал? — обратился ко всем этот товарищ.— Я сказал, разве говорят эти дети: мне не надо, пусть будет тебе? Мама, дай я тебе помогу!.. Не говорят! А мы опять — им, все — им, вот они и думают: все — только их! Слышите, комсомольцы! Все — общее! Вы — не одни! Надо помогать друг другу.

Выпускники, между тем, вытащили на улицу установки ВИА, наладили танцы. Убираться в зале они не спешили, предоставив эту заботу своим родителям.

— Во всем мире так,— объяснили мужчине.— А в Америке убивают и насилюют прямо в метро.

— При чем тут Америка, вам там не жить.

— Это тенденция,— сказали ему.

— Страх нет, у нас недавно, у них давно,— дождался своего гражданин.

— Страх воспитывает подлецов,— объяснили ему.

— А бесстрашных подлецов что воспитывает?

— Тоже страх! — закричал гражданин в костюме из «Ударника» и наткнулся на иронический взгляд мужчины в вязаной кофте.— А вы почему улыбаетесь?

— Потому что бытие определяет сознание,— спокойно ответил мужчина.— Общественное бытие, а не ваша простодушная болтовня.

— О чем вы говорите, наше бытие — самое лучшее!

— Джерри! — позвал мужчина.

К мужчине подбежал жизнерадостный пес, преданно лизнул руку, цеплявшую к ошейнику поводок, и та же жизнерадостно запрыгал на поводке.

— Пойдем, тут одни скандалисты.

Казакова отыскала наконец юного милиционера.

Рядом находились недовольный отец красавицы Л. Я. М. и еще трое энергичных мужчин. Они куда-то подталкивали милиционера.

— Я спешу на дежурство,— отбивался милиционер и все поправлял испорченную фуражку.

— Когда они нужны, они всегда спешат

на дежурство,— ругался отец красавицы Л. Я. М.

— Девушка, объясните хоть вы этому гражданину — я работник ГАИ и спешу на дежурство. И не надо вам больше бегать. Отдыхайте.

— Кого учишь, мальчишка?! Я-то куда не спешу,— сказал отец Л. Я. М., и тут его осенило: — Мимо дома хулиганы не пробегут. Товарищи, кто знает, где живут хулиганы?

— А надо ли? — спросили его.

— И вы сомневаетесь?! — возмутился он.— Если бандиты не хотят сами понять, что за все следует отвечать, надо заставить ответить. Здесь же! Сейчас! Пусть с этого начинается их настоящая жизнь. И пусть эти танцоры увидят и сделают выводы!

Тут подошла Мадонна.

— Подождите, не надо куда ходить — зачем из пустяка раздувать пожар? — сказала Мадонна.

— Вы меня не учите, вы их учите! Товарищи, кто со мной?

Несколько человек отправились с ним.

— Виталий,— Вера Игоревна подозвала длинного, в очках и костюме выпускника.— Найди, пожалуйста, этих ребят и сразу приведи ко мне. Боюсь, как бы одна глупость не породила другую,— сказала она Машеньке Казаковой.

Выпускникам удалось наконец наладить музыку. Ударил в струны ансамбль, запел, возвращаясь песней к сюжету.

У цистерны с квасом появился весь в паутине и залежавшейся грязи Николай Головин.

— Неплохо повеселились,— сказал он.

Следом появились такие же грязные Петухов и Малыш.

— Может, влезем в окно и заорем: у-у-у! — предложил Головин.

— Посмеялись, и хватит, пора по стоянкам.— Петухов сдернул с конца водопроводной трубы резиновый шланг и попытался без вентиля открыть кран. Это не удавалось.— Что-то не так я сказал, а? Мужики? Надо было: дороге учителя, а вы знаете, сколько я буду иметь хотя бы по второму разряду? Уж в полтора-то раза...

— Пойдем, скажешь,— Головин отодвинул Петухова и сам взялся за кран.

— Ты так думаешь?

— Я не думаю, я вижу: ты и вправду комплексуешь со своим пэтэу.

— Самую малость: я там — человек, вы тут — салаги, вас жалко.

— Стал бы я от жалости с ума сходить,— сказал Головин, кран наконец поддался его крепким рукам.

— Ты бы, Коля, не стал,— Петухов отодвинул Головина от струи воды и первым стал пить.— Не тебе, балде, говорили: «Что касается Головина, ему пора задуматься о какой-нибудь простенькой специальности»? Ты у нас умный. Это я — дурачок. И я стану.

— Нашел о чем помнить,— примирительно сказал Головин.— Молодой, объясни человеку про память.

— Не могу,— виновато ответил Малыш.— Механизм памяти еще не понят. Это такая же тайна, как механизм образования Галактик.

— Видал? — странным голосом спросил Головин, чья крепкая голова на мускулистой шее была настолько не обременена знаниями, что ему все было вновь, подошел к крану и стал умываться.— Подожди, не Вера тебе это все говорила. Тебе баба Зина так говорила, а она давно уж на пенсии.

— «Как прекрасен этот мир»,— напел Петухов.

— А вообще, лучшее лекарство от обиды — прощение,— сообщил Малыш и тут же получил от Петухова такого леща, что Головин спохватился, не надо ли заступаться.

— Прощай,— сказал Петухов.

— Прощаю,— сказал Малыш.— Это совет Сеньки.

— Бестолковый мужик,— вздохнул Головин.

Тут-то их и нашел Виталий, длинный, улыбающийся очкарик:

— Безлошадные, к Вере на исповедь.

— Как-нибудь обойдемся,— беспечно сказал Петухов.

— Напрасно. Она вам добра хочет.

— Нам своего девать некуда.

— Понял? — Головин неожиданно обхватил гонца и хотел затолкать под струю.

Но тот был самолюбивый парнишка, оказал яростное сопротивление. Извоzilся, а потом и затрещал у парня парадный костюм.

— Ж...,— сказал парень, жалея костюм.— Жирная ж.... — И ливанул в Головина из-под крана. Головин опять было кинулся на него.— Прибью,— сказал парень, поднимая с земли палку.

— Финиш,— сказал Петухов, и Головин, которому уже хотелось остановиться, остановился.

— Мир,— согласился Головин и похлопал очкарика по спине.

— Вера сказала, будет ждать в кабинете... хотя я бы таких придурков не ждал,— сказал гонец и побежал к школе, тряся носовым платком, который Головин успел подвесить к его ширинке.

— И-го-го! — вполне по-идиотски заржали ребята.

— Что делается,— вздохнул Головин.—

Все — здоровяки. Все — самбисты. У всех личное мнение.

Между тем, они отмылись от грязи и даже отряхнули одежду.

— Может, еще сыпанем куда? Что-то домой не тянет,— предложил Головин, когда они, кое-как завернув кран, пошагали домой.

— Рано вставать,— вздохнул Петухов.— Вторую неделю не высыпаюсь. Связался с одной матрешкой, обжимаемся до зари.

Это известие произвело впечатление. Головин позавидовал. Малыш испытал стыд.

— Может, пойдем с Верой поговорим? — побаиваясь, но бодрясь, предложил Малыш.

— Я устал от дискуссий. А вы как хотите,— сказал Петухов.

— У меня от них уши вянут,— поддержал Головин.

— А я вообще не болтлив,— не без сожаления поддержал Малыш.

— Вера все же переменялась, улыбается, на разговоры зовет,— вдруг сказал Петухов.

— Стальная Вера обмякла. Семейный стресс! — объяснил Головин.

— Иди ты.

— Ну. Еще в прошлом году на машине с Кавказа слетели. Легко отделались. Сама только ногу сломала. Ты видел, у нее одна нога потоньше. Это от гипса.

— Каждый год в автомобильных авариях гибнут и получают увечья десять миллионов человек,— сообщил Малыш.

— Понял? — спросил Головин, который всякое слово из уст Малыша принимал за абсолютную истину.— А ты на автослесья учишься. Бросать надо.

— А Мадонна? — спросил Петухов.

— Жива и здорова. Мы с ней девятый окончили. С большим напряжением. Слушайте! У меня праздник: практика вчера кончилась.

— А я вообще завтра на поезд,— как о чем-то очень хорошем сказал Петухов и покосился на свою форменную одежду,— и трали-вали.

— Далеко? — спросил Головин.

Петухов показал эмблему на своем рукаве.

— «Байкал»,— прочитал Головин.— Не утони.

— У нас в группе такие ребята — не дадут,— даже не верилось, что Петухов может отзываться о ком-то хорошо.

До чего хорошо вспоминать о хорошем. Вроде без всякого логического перехода они вдруг запели:

Как прекрасен этот мир, посмотри.

Как прекрасен этот мир...

Действительно, мир был прекрасен. Высыпали звезды со своим непонятным мерца-

нием. И если долго смотреть вверх, начало казаться из-за их беспредельного множества, что нет отдельных людей с их мелкими и крупными неприятностями, а есть — человечество со своей славной судьбой.

Между тем, они подошли к дому, где жил Петухов. Он посмотрел на свои темные окна, глянул на новенькие часы.

— Мать еще на работе, а тунеядец болтается. — Петухов открыл дверь в парадное, и на этом все могло кончиться.

К сожалению, этого не случилось. Едва Петухов переступил порог, его схватили сразу три человека во главе с отцом красавицы Л. Я. М.

— Атас! — закричал Петухов, норовя упасть им под ноги.

Но тут же из разных мест выскочили еще три добровольца. Малыш бросился выручать Петухова и, конечно, сразу попался. Головин вздохнул и пошел выручать Малыша. Неизвестно, как долго бы все продолжалось, но в микрорайон, сверкая проблесковым маячком, не спеша въехал патрульный автомобиль ПМГ. Родители замешкались. Ребята кинулись наутек.

Автомобиль ПМГ остановился на дороге напротив подъезда. Отец Л. Я. М., размашивая руками, кинулся к автомобилю.

Ребята залегли за смердящими баками с мусором. Малыша с ними не было.

— Молодой! — позвал Головин.

— Не ори, — сказал Петухов. — Мне нельзя попадаться.

— Молодой! — Головин высунулся над баками и увидел Малыша, съжившегося у штакетника. — Сыпь сюда. Дохнем кислороду.

Малыш не откликнулся, только покачивался из стороны в сторону, не распрямляясь. Головин побежал к нему.

Когда подошел Петухов, Головин уже снял с правой, разбухшей ступни Малыша носок.

— Болит? — участливо спрашивал Головин.

— Нет, — пропищал Малыш, но по вспотевшему лбу и измученному лицу и так было видно, болит.

Стащили наконец носок. Голеностоп вспух, будто надутая резиновая игрушка. — Закручивается, — недовольно сказал Петухов, вдруг почувствовав, что все это — словно какое-то предупреждение.

Головин стянул с себя фирменный джемпер «адидас», которым очень гордился и, не жалея, обмотал ступню Малыша.

— Надо в больницу, — недовольно сказал Петухов.

— Нет! — взвыл Малыш, который, как

все малыши на свете, очень боялся больницы.

— Заткнись, — сказал Петухов и подхватил Малыша под мышки. — Взяли.

Головин отстранил его.

— Вдвоем только рояли ношу, — сообщил он и легко взял Малыша на руки. — Будешь теперь, как Вера. Слушай, чудила, сколько в мире хромых?

Таясь, они вышли на улицу Волгина к автобусной остановке. В этот поздний час улица была пуста, только прощуршал новыми шинами частник, показалось такси.

Водитель такси — пожилой мужчина. Вначале ему показалось, что эти трое ребят балуются, из озорства несут маленького на руках. Присмотрелся, вроде не балуются. Притормозил.

— У вас что, ребята? — вблизи увидел измученное лицо Малыша, соединил с обмотанной джемпером ногой. — Садитесь.

Ребята сели, поехали.

ПМГ № 13 остановилась у школы, куда час назад Петухов въехал на лошади и на какое-то время нарушил праздник. Из машины ловко выскочил невысокий крепкий старший сержант, за ним, чертыхаясь, рыжебородый отец Л. Я. М., который, прихрамывая, побежал в сторону родителей.

Мадонова, увидев милиционера, подошла к нему.

— Старший сержант Кузьмин, — представился он Мадоновой. — У вас все нормально?

— В какой-то мере, — ответила Мадонова.

— Рассвет встречать будете?

— Да. Автобусы заказаны.

Счастливые выпускники бились в танце, а возмущенный отец Л. Я. М. что-то рассказывал родителям, стараясь перекрыть музыку.

Старший сержант сделал пометку в блокноте.

— Ковбои больше не появлялись? — спросил он.

— И не появятся, — сказала Мадонова.

— Я потом загляну, — сказал старший сержант, сделал еще одну пометку в блокноте, козырнул и направился к машине, оглядывая двор твердым пристальным взглядом.

И во дворе все было нормально: выпускники веселились, пьяных и дебоширов не было.

Когда машина такси подъезжала к больничному городку, на счетчике было немногим больше рубля. Водитель устало косился на пассажиров, пассажиры шуровали по своим карманам, денег, за исключе-



В роли Николая Головина — Федор Переверзев (слева)

нием меди и малой толики серебра, не набиралось.

Поэтому, едва машина остановилась, ребята выскочили из нее и бегом, без оглядки, с Малышом на руках у могучего Головина, кинулись петлять между корпусами.

— Ремня на вас нет, — устало сказал водитель, вытащил из карманов казенный кошелек и портмоне (в портмоне за целлулоидом фотография сына в солдатской форме), отсчитал в казенный кошелек ровно столько, сколько было на счетчике.

Он уже отъехал от больничного городка метров на сто, но все еще сомневался. Затрещала рация.

— Шестьдесят два — шестьдесят, где находитесь?

Водитель взял микрофон:

— Вавилова, семьдесят один.

— Примите срочный заказ...

— Я не могу. Жду больного, — решившись, ответил водитель и повернул обратно.

В это время в гипсовой травмопункта необычайно хорошенькая и необычайно молоденькая медсестра накладывала Малышу тугую повязку со спиртовым компрессом.

— Знаешь, кого перевязываешь? — клеил Головин.

— Кого? — кокетничала медсестра.

— Наше светлое будущее.

— Ой уж.

— Грамотный — ужас. Спроси, о чем хочешь.

— О чем?

— Какая самая большая змея? — подсказал Головин.

— Это все знают: питон, — оканчивая перевязывать, сказала девушка.

— Анаконда, — стесняясь, возразил Малыш. — Длина одиннадцать с половиной метров, вес двести кеге. Любимая пища — олени и леопарды.

— Фу, — поежилась девушка.

— А я бы закусил леопардиком, — не отставал Головин. — В хорошей компании.

В смежной комнате, где принимал врач, стукнула дверь и послышался довольно знакомый голос:

— Доктор, троих ребят тут у вас не было?

Это был привезший ребят водитель.

— До свадьбы заживет, — живо откликнулся травматолог, принимая его за отца пострадавшего, и показал мокрый рентгеновский снимок. — Трещины нет, а это уже хорошо.

— Да, — согласился водитель и хотел спросить, где они. — А...

— Сейчас наложат восьмерку со спиртовым компрессом,— живо перебил травматолог.— Но две недели пусть полежит.

— Пусть,— согласился водитель.— А...

— В гипсовой,— кивнул травматолог на смежную комнату.

Водитель заглянул в гипсовую и узнал бывших клиентов. И они узнали его и отнеслись к его появлению без всякого энтузиазма.

— Я вас жду,— спокойно сказал водитель и так же спокойно ушел.

— Вот уж, когда родной отец, сразу видно. Как две капли воды,— сказала Малышу хорошенькая медсестра.

— Да,— подтвердил Малыш. В его голосе прозвучала такая устоявшаяся тоска, что только легкомысленная молодость могла ее не заметить.

Через восемь минут ребята стояли в сенях травмопункта у двери с маленьким застекленным оконцем и разглядывали, что происходит на улице.

— Один,— сказал Петухов.— Если что — враспыляю. А уж если совсем что — друг на друга не капать. Мне нельзя попадаться.

— Почему? — спросил Головин.

— Потому что у тебя голова круглая.

Петухов распахнул дверь, и с независимыми лицами, поддерживая Малыша, они вышли на улицу. Водитель запустил двигатель и подмигнул фарами, чтобы ребята не сомневались, куда им идти.

Ребята тут же повернули в другую сторону.

Водитель высунулся из кабины:

— Ребят! Я отвезу.

И хотя голос был вроде бы добрым, они не поверили, что человек, которому они недавно нагадили, не хочет им зла, и прибавили ходу.

— Куда же вы? — крикнул водитель и неуклюже вылез наружу.

Головин подхватил Малыша на руки и потрусил в одну сторону, а Петухов в другую.

— Эй! Слушайте, что скажу! — крикнул водитель и тоже потрусил следом за Головиным. Не выключив двигатель. Не заперев дверь.

Петухов оглянулся и увидел, что водитель догоняет Головина с Малышом на руках. Будто чья-то злая рука пригнула Петухова к земле, в секунду протачила вокруг цветочной клумбы и впихнула в эту машину. Озорство кончилось, началось преступление. Ничуть не задумываясь о последствиях, Петухов включил первую передачу, вторую, пролетел мимо водителя. Еще что-то крикнул и дерзко помахал рукой.

— Стой! — запоздало всполошился водитель, но было поздно.

Нет, кажется, не совсем — на территории больницы показалась другая машина. Водитель бросился к ней. Это тоже было такси, новенькое, будто с конвейера. С молодым прыщавым шофером.

Петухов успел догнать Головина с Малышом на руках, втолкнуть на заднее сиденье, когда началось преследование.

— Вот это кайф! — радовался Головин.— Всю жизнь мечтал о персональной телеге.

Тут он услышал, что сзади длинно сигналят и увидел, что за ними мчится другая машина.

— Уже? — без всякой радости удивился он.— Что-то быстро.

— Эскорт,— беспечно сказал Петухов, на большой скорости вырulingивая между большими корпусами, и они впервые после того случая глянули друг на друга.

Эта погоня не походила на все остальные. Все остальные проводятся обычно на широких современных проспектах. Или, по крайней мере, на больших скоростях.

Петухов же выбирал боковые, захудалые улицы, подальше от милицейских глаз. Здесь не разгонишься.

Поэтому, хоть оба водителя и показали себя неплохими профессионалами, не визжали, как полагается, колеса на поворотах, не ревели на сверхскоростях моторы.

— Надо выжать на Профсоюзную или на Ленинский,— советовал пожилой водитель.

— Не дураки, знают, что там милиция,— отвечал молодой.

Машины катили по полутемным извилистым улицам, сворачивали в проулки. Наконец выехали на прямую.

— Где ты так наловчился? — удивлялся Головин.

Петухов с такой непринужденностью управлялся с машиной, что чувствовалось, это дело — его.

— Второй разряд по карте,— сообщил Петухов.

— Когда успел? — ревниво спросил Головин.

— В училище.

— Дай адрес.

— А что с машиной делать будем? — вдруг спросил Малыш.

— Вернем вот этим,— Петухов кивнул в сторону преследователей.— Поближе к твоему дому подъедем... Это не воровство. Это — прокат.

Головин закудахтал, так он иногда смеялся.

— Граждане, пользуйтесь услугами прокатной фирмы «Петух энд компани».

Машины выехали на улицу с трамвайными путями посередине. По очереди миновали трамвайную остановку, едва, тоже по очер-

ди, не сбив человека, победившего к оставившемуся вагону.

— Черт! — испуганно ругнулся молодой водитель и зло, как на виноватого, глянул на пожилого.

— Прижми давай его к тротуару, а я попробую выскочить.

— А если он мне машину помнет?

— Что делать, сынок? А если людей подавит?

— Ключи из замка вынимать, вот что. Между тем, машины промчались по улице архитектора Власова, пересекли улицу Гарибальди и вырвались было на старую Калужскую дорогу, как молодой водитель вдруг резко затормозил.

— Я тоже — хороший валенок! Будто милиции нет. Иди звони.

— Довези хотя бы до телефона, — сказал пожилой. Тронулись. — Подожди, там вроде тупик?

— Теперь тупик, — подтвердил молодой и включил дальний свет.

— Ну, слава богу. Продерни метров на двести и встань поперек.

Наконец и Петухов увидел, что они едут в тупик — дорога упирается в большую стройку.

Вгорячах Петухов влетел было на строительную площадку, размызанную огромными колесами большегрузных машин. «Волга» запрыгала по колдобинам. Остановились — впереди штабелем лежали панели из железобетона.

Развернулись. Помчались было обратно к улице Гарибальди, но поперек узкой дороги поблескивала новенькая, будто только с конвейера, машина преследователей.

Петухов хотел было обойти ее по кювету, но метров за двенадцать увидел правый проулок, который, судя по направлению, должен был идти к Профсоюзной и с ходу свернул в него.

Через двести метров оказалось, что в конце проулка громоздится недостроенное здание из стекла и бетона. С ходу здесь было не развернуться — по обеим сторонам проулка, близко друг к другу, стояли заборы.

Лихорадочно дергая машину взад и вперед, Петухов пытался развернуть ее в тесном проулке. Это удалось. Но тут машина плотно села в какую-то яму. Возможно, когда здесь стояла деревня, на этом месте был погреб.

Завизжали, буксуя, колеса. Машина садилась плотней и плотней.

— Врjúхались, — сказал Головин. — Не, не хочу персональную тачку. В автобусе лучше.

Вторая машина предусмотрительно остановилась метрах в пятидесяти после въезда в этот тупик. Водитель опять переключил фары на дальний свет. В их мощных лу-

чах была хорошо видна севшая на днище машина. Три головы в салоне. Могучие плечи Головина.

— Что теперь? — нервничая, спросил молодой водитель.

Пожилый открыл дверцу.

— Подожди, — молодой вытащил из-под ног монтировку, — держи, батя.

— На пацанов-то? — спросил тот.

— Пацанов, — возразил молодой, радуясь, что его не зовут идти вместе. — Дурацкое дело, батя, нехитрое и возраста не имеет.

Все же пожилой не взял монтировку.

В первой машине тоже распахнулись дверцы. Появились Петухов, Головин и Малыш. На этом месте действительно когда-то была деревня. Потом пригород. Потом люди переехали, дома снесли, но следы остались: фруктовые деревья, не везде разобранные фундаменты, ямы от проваленных тяжеловозами погребов, колонки от магистрального водопровода. Петухов, Головин и Малыш стояли у такой колонки.

— Ну что, ребята, не делай добра и не получишь зла. Так, что ли? — подойдя, с обидой спросил пожилой водитель.

— Не надо быть жадным, дядя, — довольно нагло сказал Головин.

— Не надо, — согласился водитель и, хотя был ниже Головина на две головы, цепко взял его за ухо.

— Не дома! — Головин отбил от себя его руку и остановился, не решаясь тронуть пожилого, не очень сильного человека. — И ответить можно.

— Ответить, — горько повторил водитель. Не дождавись, что будет дальше, он открыл дверцу в машине, устало сел на сиденье, потянулся за микрофоном. — Сейчас... ответим.

Головин подхватил Малыша и пустился что было мочи к выходу из тупика. Петухов задержался. Прислушался.

— Наташа, это Никитин, — не таясь Петухова, начал водитель. — Сообщи, дорогая, в милицию...

— Не надо в милицию, дядя, — вмешался Петухов. — Как человека прошу.

Водитель неприязненно взглянул на него. — Сообщи в милицию, — твердо повторил он, но о чем, не успев сказать.

Петухов метнулся в машину, оборвал провод у микрофона, выхватил заодно и сам микрофон и побежал следом за Головинным.

Молодой водитель, увидев, что дело принимает ожидаемый оборот — к нему бегут двое, да еще несут третьего, да еще один такой здоровила, да еще второй зачем-то нырнул в ту машину и, может, заколол старика, а теперь мчится к нему, сжимая в руке скорее всего велосипедную цепь, —

засуетился, схватил монтировку. Потом, путаясь и глуша нечеткими переключениями двигателя, включил наконец заднюю передачу и помчался было из тупика.

Петухов, у которого от ощущения удачливости уже появился кураж, успел выпить в машину, распахнуть дверцу, повиснуть на ней. Машина волокла его метров пятнадцать. Петухов протер об дорогу штаны, ободрал ноги.

И неизвестно, чем все могло кончиться, но подоспел Головин. Он вытолкнул на дорогу огромную ржавую тачку с застывшим бетоном, перекрыл позади путь.

Шофер пожалел свою новенькую машину, вдавил до упора тормозную педаль, машина остановилась в пяти сантиметрах от тачки.

— Салага, — удивился Головин, заглянув в салон. — Нельзя быть таким злым, салага, — нравоучительно сказал Головин, забирая из вспотевших рук молодого водителя монтировку. — Что с ним делать, Петух? — в этом вопросе был момент заискивания перед Петуховым.

Петухов принял его.

— Ничего, — сказал он, смачивая слюной ободранные колени.

— Слышал? Иди помоги товарищу. Иди, иди, — сказал Головин и потащил того из кабины.

Этот прыщавый парень оказался неожиданно высоким и крепким, здоровее его самого. Головин несколько растерялся. Но, как у многих здоровяков, с остальным, кроме физической силы, у парня было слабее.

— Так я пошел? — заискивающе спросил он.

Тут уж Головин нахмурился посуровей.

— Ключи! — рявкнул он. — Отдай музыку людям! — вдобавок к ключам он забрал у него транзисторный радиоприемник, который водитель хотел взять с собой.

Так они увеличили свою вину перед совестью, которая у них еще не проснулась, и законом, который их пока не настиг.

Не успел подбежать пожилой водитель, ребята выехали из тупика.

— Ты бы хоть ключи проглотил! — в сердцах сказал пожилой водитель. — Они же теперь только туда въедут! — он хлопнул ладонью в ладонь, растопыренные пальцы образовали решетку.

— Туда и дорога. У кого совесть спит, только это разбудит, — в отсутствии опасности молодой опять был решителен и даже смел.

Пожилой водитель вдруг побледнел и мягко, будто из него вынули позвоночник, осел на землю.

— Ты что, дед? Чего? Ты что развалился? — перепугался молодой водитель.

Куда с ним теперь? До ближайшей улицы километра два, не меньше. Всё кругом

122

перерыто, черт ногу сломит. Ни телефонов поблизости, ни людей.

Молодой наладился было бежать без него. Потом решил: нет, нехорошо, вернулся.

— Дед. Старичок. Ой, мать моя, — молодой водитель попробовал поднять старика. Поднял. Поташил, причитая: — Вот гады. Вот суки. — Тащить было все-таки не под силу. — Старичок, лежи... сбегаю, позвоню...

А лоботрясы ехали и радовались своей дурацкой удачливости. Пели на разные голоса в отнятый микрофон.

— А теперь мы кто? — неожиданно спросил Малыш.

— А ну, тихо, — насторожился Петухов. — Тихо. Ты фамилию в травмопункте давал?

— Адрес и телефон, — подтвердил Малыш.

— Теперь мы те, кого спокойно берут за шкирку, — сказал Петухов.

Головин невольно потрогал свое вспухшее ухо.

— Почему спокойно? — обиделся он.

— Мозгой покрути, старик спокойно набирает ноль-два, ноль-два спокойно беспокоит травмопункт, узнает адрес и наносит визит этому джентльмену.

— Я вас не выдам, — дрогнувшим голосом пообещал Малыш.

— Без этого обойдутся, — сказал Петухов, круто разворачивая машину. — Эх, крутитесь колеса! Что-то не тянет меня попадаться.

— Почему? — спросил Головин.

— Пошел вон.

Машина остановилась под горевшей напросвет надписью «Травмопункт». Головин вывалился наружу.

— Не перепутай, балда, вот такая маленькая бумажка, на ней адрес, фамилия, телефон, — напутствовал Петухов.

— Кому говоришь? — самодовольно возразил Головин. — Это называется форлюляр.

— Именно так это и называется, — вздохнул Петухов.

Головин перед зеркалом заднего вида замаскировал волосами распухшее ухо и, оставшись довольным всем остальным, побежал на встречу с хорошенькой медсестрой.

— Тормози лаптей, Ваня, — так сказали Головину в травмопункте. — Здесь очередь.

В ночной час тут собиралась своеобразная публика.

— Кто ко мне, проходите, — сурово разрешил Головин, минуя очередь.

За ним сунулся было какой-то мальчишка. Головин на ходу оглядел его.

— Легкий случай. Товарищи, у кого пробит череп и нужна срочная операция?

Желающих срочной операции не нашлось, и Головин вошел в кабинет.

— Ждите за дверью, — не поднимая головы от бумаг, откликнулся травматолог. Он был один, заполнял формуляры.

— Это я, — сказал Головин, оглядываясь и не находя хорошенькой медсестры. — А где эта — хорошенькая?

— А, — узнал врач, — известный покоритель женских сердец.

— Ага, — сказал Головин. — Молодой, подающий надежды ученый.

— Сейчас придет, пошла во вторую травму за чайником.

— Так это, — нерешительно сказал Головин и подошел ближе, вглядываясь в формуляры. — А где наша бумажка, дяденька?

— Зачем тебе? — не поднимая головы, спросил врач.

— А так, — сказал Головин и стал отыскивать сам.

— Ты что? — врач поразился такой наглости.

— Ничего, — начиная хамить, откликнулся Головин, но тут стукнула дверь, и он моментально преобразился.

В кабинет вошел другой врач, молодой, длинный, тощий и с крепкими, как у всех хирургов, руками.

— Ничего, — преображаясь, забормотал Головин. — Так это, батя за снимком послал, показать Склифосовскому. Мать плачет, думает — перелом.

— Публика, — сказал пришедший.

— Контингент, — подтвердил хозяин кабинета. — Скажешь матери, пусть побережет слезы для серьезного случая. Иди, не мешай.

— Ага, — сказал Головин и пошел к двери, не зная, как быть, и стараясь затянуть время. — Так это, там телефон неверно записан.

— Обойдемся как-нибудь без вашего телефона, — сказал вошедший. — Иван, у тебя есть заварка?

— Пакеты, — ответил хозяин кабинета и показал рукой на белый медицинский шкаф.

— Я возьму парочку?

— Бери больше.

Головин сообразил задержаться у двери, будто у него шнурок развязался — до большего не додумался.

— Нашел место, — выходя из кабинета, заметил длинный тощий хирург. — Железками как дикарь обвешался... цепи...

— Всё правильно, держись за металл, металл не обманет, — подтвердил Головин.

— Рассуждаешь, — хирург неприязненно посмотрел на Головина.

— Ага, — сказал Головин.

Хирург вздохнул и вышел из кабинета.

— Так это. Запишите новый, — Головин опять подошел к столу. — У нас атэсс изменился. Был сто двадцать девятый, а теперь триста тридцать шестой.

— Атэсс — станция, женский род, а по сему: изменилась, была.

— Ага, — преданно подтвердил Головин.

— Фамилия?

— Сазонов.

Врач принялся листать формуляры. Наконец нашел нужный.

— Ну вот, видишь: триста тридцать шесть, — недовольно сказал врач. — Столько времени отнял.

— Интересно, — Головин взял формуляр, затолкал себе в рот и начал жевать.

Иван Николаевич за свои ночные дежурства в травмопункте, видать, насмотрелся всякого и сейчас даже не удивился.

— Надо быть скромным, парень, — поучал Головин. — Нехорошо ты сказал: пусть бережет слезы. Радость надо беречь. Радость.

Едва не подавившись, Головин проглотил формуляр, запил каким-то раствором из колбы, спутав ее с графином, и, выпучив глаза, кинулся из кабинета.

Иван Николаевич, не спеша, записал на чистом листке запомнившиеся фамилию и телефон: «Сазонов — 3367690». И набрал «02». Ему тут же ответили:

— Милиция, Суслова...

Так прибавился новый проступок. А совесть, получив в виде ложно ощущаемой безнаказанности новую дозу снотворного, спала.

— А форлюляры эти гады делают из самой толстой бумаги, — жаловался Головин. — А вода у них — до сих пор мутит. Может быть, околею.

Ребята уже так обнаглели, что выехали на ярко освещенную Профсоюзную улицу, влились в общий поток и радостно кричали песню:

Ехали цыгане — не догонишь,

Пели они песню — не поймешь.

Была у них гитара — не настроишь.

В общем, ничего не разберешь!

Подъехали к регулируемому перекрестку с улицей Обручева.

— А ну, тихо!

Петуховый показало, что инспектор ГАИ, возвышавшийся над перекрестком в «стакане», как-то по-особому внимательно и подозрительно посмотрел на него. Петухов, чувствуя себя виноватым, заискивающе смотрел на него и дождался — инспектор высунулся из «стакана», свистнул, показал жезлом, что Петухову следует остановиться.

Тут загорелся зеленый свет, Петухов

отъехал, не остановившись, сделав вид, что не увидел сигнала.

Ожидая погони, Петухов кинул «Волгу» в одну боковую улицу, в другую. Гнал изо всех сил. В середине третьей увидел двор.

«Волга» влетела во двор. Ребята вылетели из машины. Двор был сквозным, как и все дворы в новых районах, обсажен кустарниками и обставлен накопителями для мусора. Отовсюду мерещилась им погоня. Хотя справедливость требует отметить, что за ними не гнались.

— Рассыпаемся, — зашепшил Петухов. — Если возьмут, обо мне два дня — ни гу-гу! И, не слушая, что скажут ребята, Петухов кинулся наутек.

Петухов бежал, бежал и бежал, петляя по микрорайону, пока не упал от бессилия и страха.

Чуть отлежавшись, Петухов встал и побрел было дальше, как вдруг сзади кто-то взял его за плечо. Петухов сник, уверенный, что попался.

— Петухов, — слышался за спиной знакомый голос выпускника. — Вас там Вера ждет.

Это был длинный парень в очках из родной школы. А с ним почти целиком оба класса. Ребята, девушки. Радостные и грустные. Беззаботные и озабоченные настоящей, хорошей заботой, не то, что у него, Петухова.

— Как бы я хотела снова в девятый — такой славный, беззаботный класс, — говорила какая-то девушка.

— Петухов? — удивилась другая. — А я думала, это тебя ловят.

— А я думал — тебя, — враждебно ответил он.

— Ой, было бы здорово! — сказала она. — Ребята, там милиция в школу на машине приехала, я думала, Петухова ловят, а он думал — меня.

— Заучилась, — сказал Петухов.

— Не хватало за такими машину гонять, — ревниво заметил какой-то юноша. — Пришлют повестку, сам прибежит, как миленький.

— Это кто сказал? — враждебно спросил Петухов.

— Это я сказал.

— Петухов, — учительница почувствовала конфликт. — Вот уж, действительно, ты Петух. Скажи, тебе хоть совестно?

— А тебе? — спросил Петухов.

Учительница натянуто улыбнулась:

— Мне-то за что?

— Покопайтесь, найдется.

— Спасибо тебе за совет, — с горечью сказала учительница. — Ребята, поехали. У нас программа. Некогда, ребята.

— Петух, все же она тебе не «ты», — сказал только для Петухова Виталий, длинный отличник.

— Отвинтись, зануда.

Засверкал проблесковый маячок. Показался милицкий автомобиль.

— Поймали, — сказал кто-то.

— Петух, ты где?

Все засмеялись.

И тут Петухов вместе со страхом, возможно, впервые за сегодняшний вечер, ощутил жесткий укор совести, подумав, что, может быть, поймали Малыша с Головиным. К сожалению, не успел понять, что это такое, — укор же сменился ужасом. Петухову казалось, что машины едут к нему. Что сидящие в них милиционеры смотрят ему в глаза. Что Головины и Сазоновы показывают на него пальцами.

Петухов спрятался за длинным отличником.

Однако машина прошла мимо.

Выпускники потянулись в автобус. Учительница мысленно пересчитывала их.

— Петухов, а может, с нами? — И, не дождавсь ответа, учительница вошла в автобус. — Ну, как хочешь!

Дверь захлопнулась, и автобус тронулся. Петухов остался на улице.

Улица была пуста.

Необъяснимое, равно действующее на всех желание вернуть то, что невозможно вернуть, заставило Петухова найти этот двор. Все было по-прежнему. Только не было теперь ни Головина, ни Вени Сазонова, ни его самого с ними.

И не было новенькой «Волги» ГАЗ-24 неопределенного серовато-голубоватого цвета, с темными квадратиками по бокам и багажнику, с продолговатым оранжевым фонарем поперек крыши. Там, где Петухов оставил ее, кто-то успел припарковать и накрыть чехлом свою машину. Судя по размерам и силуэту, это тоже была «Волга» ГАЗ-24.

Не успел Петухов ощутить светлое чувство вины, как, заставив вздрогнуть от неожиданности, грохнула железная крышка мусоросборника.

Страхивая с плеч и с головы всякую дрянь, в люке вырос Николай Головин. Он спрыгнул на землю и направился к ряду крытых брезентом машин.

— Пришел веноч положить? — проходя мимо, спросил он.

Петухов ничего не сумел ответить, не ожидал от Головина такой прыти в словах. Вины тоже особой не ощутил. И Головин, показалось ему, не думал обвинять, — сказал, потому что сказало.

Крытых брезентом машин было несколько,

а памятью и сообразительностью Головин сроду не отличался.

— Молодой, ты где? — вынужден был спросить Головин.

— Здесь, — отозвался Малыш в полуметре от Петухова.

Головин сбросил брезент, под ним оказалось угнанное ими такси. В салоне, будто ни в чем ни бывало, сидел и улыбался Малыш.

Петухов сделал рукой салют и тоже, словно ни в чем ни бывало, улыбнулся ему. Порисовались таким образом друг перед другом.

— За такие мысли надо премировать, — похвалил Петухов.

Малышу, видать, не часто перепадали похвала и внимание — весь засветился от этих слов.

— У него вообще — голова. Человек с такой головой всю жизнь может только и делать, что думать, — сказал Головин.

Малыш засветился еще ярче. С трудом полез из машины.

— Можно ее тут оставить, позвонить в милицию и сказать, где, — предложил он.

Петухов посмотрел на его толсто перебинтованную ногу, ботинок в левой руке.

— Сиди, — сказал он. — С такой головой ногами не ходят.

И опять они сидели в этой машине, и было им хорошо, казалось, скоро все кончится. Но помимо их воли ощущение удачливости вырастало в ощущение безнаказанности. Ощущение безнаказанности росло в ощущение вседозволенности. И потому хороший конец не просвечивался. Слишком все затянулось, чтобы хорошо окончиться.

Но пока они катили в машине по микрорайону и даже пели:

Сколько звезд упало,

Сколько зажглось,

Стало под небом песенно,

И на душе не случайно светло,

И не случайно весело...

Как ни странно, Петухов вроде не испытывал стыда за предательство, Головин и Сазонов вроде не испытывали обиды. Видимо, это были слишком высокие чувства для их застрявших в развитии душ.

— Неужели такой вечер испортим? — начал переживать Головин.

— Мне нельзя попадаться, — сказал Петухов.

— А ты и не попадешься. Ты прыткий, выскочишь и убежишь, — сказал Головин.

Посмотрели друг другу в глаза.

— А ты стойкий, отстоишься в стороне, — сказал Петухов.

Все же была обида. И стыд был.

— Кто велит попадаться? — примирительно сказал Головин. — Молодой, вычисли человека.

— Нас могут вести по модели, цвету, опознавательным знакам такси и номеру, — сообщил Малыш. — Первые два признака широкого распространения, третий среднего, и только последний индивидуального.

Головин не только впитывал, дышал каждым словом, исходящим от Малыша.

— Понял? — спросил он.

— У них есть одна дурная привычка — они останавливают и спрашивают документы, — возразил Петухов и посмотрел на часы, уже перевалило за полночь. — Мама уснула в тревоге о сыне.

— Сколько ей лет? — спросил Головин.

— А что? — враждебно насторожился Петухов.

— Так.

Подвоха вроде не замечалось.

— Пятьдесят четыре, — с вызовом сказал Петухов.

— И моей старухе уже тридцать шесть, еще год — и я останусь без Пушкина, говорит старуха, — сообщил Головин.

— И моей тридцать, — сказал Малыш. — Как бежит время.

— Оно бежит, а мы по домам, — подхватил Головин. — Другие бы склеили заслуженный коллектив, махнули к деду на дачу. Посидели, потрепались, как люди. Молодой сбачает на инструменте, расскажет о тайнах вселенной и человеческой психики... Чего дома-то делать — а-ва-ва, а-ва-ва, я опух от этого.

— Мы ведь не жулики? — снова поинтересовался Малыш.

— Что ты заладил?! — не выдержал Петухов. — Жулики — это те, кто берут с корыстью. А у нас какая корысть? Одни хлопоты.

— Так давайте вернем, — предложил Малыш.

— Довежу тебя до дому, и вернем. Не только вернем — деньги на практике заработаю и перечислю за амортизацию, за пробег, за бензин!

— И я заработаю и перечислю, — повеселел Малыш.

— И я. Уже заработал. Га-га-га, — загоготал Головин.

— Кто кандидаты?.. В заслуженный коллектив? — вдруг спросил Петухов, вовсе не потому, что согласился с Головиным, хотелось поговорить на интересную в этом возрасте тему.

Головин оживился:

— Крошка Л. Я. М. — это во-первых. Ошалел, детка, от радости. Ты когда на кобыле подъехал, она вся заволновалась так. Затряслась, как бабочка. Ты еще в первом классе сидел, она у тебя линейку таскала,

а ты ее букварем. По башке. С тех пор она все гордится. Помнишь?

— Помню,— задумался Петухов.

— Такое без следа не проходит... Или эту, Филимонову — ух, бой! — время не пропадет... А я бы взял девочку из больницы.

— А я? — вдруг загорелся Малыш.

— Ты молчи. Твое дело головой шевелить,— сказал Петухов.

— И краски у нее есть — художественная натура,— наемкнул Головин.

Петухов промолчал, не соглашаясь. Только хмыкнул и мотнул головой. Между тем, они проезжали мимо дома, в котором жил Петухов.

— Сначала молодого, а потом мы с то... бой...— Петухов осекся, притормозил, посмотрел внимательней, в открытом парадном светились огонки сигарет.

— Тебя ждут, а тебе два дня нельзя попадаться,— сказал Головин.

Это было последним и главным козырем. Петухов распахнул дверцу и закричал, не выходя из машины:

— Вот он я! Берите! — и погнал машину.

Петухов не знал, что в подъезде не поджидали его, что там стояли друг против друга подросток и девчонка лет по четырнадцать и беспощадно чадили. Их перепугало его гневное обещание, они побросали сигареты и кинулись врассыпную.

Ехали цыгане — не догонишь,

Пели они песню — не поймешь,—

они чувствовали себя недосягаемыми в этой машине. А то, что она чужая, видимо, начало забываться.

Там, где был тупик и была брошена «Волга» — такси пожилого водителя, стояла, пульсируя тревожным синим огнем, «скорая». Медики работали, пытались спасти старика.

Была машина милиции. Молодой прыщавый водитель давал протокол показания. Старший сержант Кузьмин дублировал их, повторяя в рацию.

— Здоровые все, с цепями...

— «Металлисты», что ли? — уточнил милиционер.— С цепями?

— Да нет — здоровые, как «любера»... лет по двадцать, морды — во... в жилетах... а главный у них — карлик-инвалид, они его на руках носят... Эх, дед, дед, не убила тебя фашистская пуля!..

— Уберите его! — рассвирепел врач. Спасение не удавалось.

Старший сержант записал номер «01-62 ММТ» в планшет. Работала рация, передавали ориентировку:

— Внимание поста ГАИ. Автомобилия ГАИ и ПээМГе всех районов Москвы, 126

кольцевой автодороги и пригородов. Угон такси «Волга»...

— Не группа, а цирк, даже со своим инвалидом,— говорил сержант, комментируя то, что слышал по рации. Ответил сам: — Я — разезд два. Ориентировка принята, номер отпечатался в душе и планшете.

Он подмигнул своему напарнику и посмотрел на часы:

— С момента угона прошло час двадцать, если они дураки — уже накатались и бросили. Если умные — уже где-нибудь рядом с Тулой. Или в каком-нибудь гараже, перекрашивают и перебивают номера. Я думаю — дураки, умные с таксистами не связываются.

— И я думаю,— подтвердил напарник.

Эту машину видела старшая пионервожатая Машенька Казакова, она торопилась к школе. И ребята видели Казакову. Она не узнала их — в машине темней, чем на улице. Они узнали.

— Я бы Машеньку пригласил. Хорошая девочка. С галстуком,— сказал Головин.

— А что? — Петухов придержал машину.— Прихватим для Малыша.

— Нет! — перепугался Малыш.

Ребята развеселились.

Эту машину видела ходившая по кабинету Мадонова. И ребята видели освещенное окно ее кабинета.

— Не спится няне, ей так душно,— гоготнул по этому поводу Головин.

Мадонова потому не торопилась домой, что, во-первых, по заведенному порядку она дежурила в эту ночь, а во-вторых, воссоставляла прежний порядок в своем кабинете, в котором не была почти целый год. Сортировала и большей частью выбрасывала прежние записи.

Вошла Казакова.

— Кажется, все хорошо,— сообщила она.— Трое сразу ушли домой. Восемнадцать разбились по парам, с ними милиционер. Сорок девять с Николаем Ивановичем и Ниной Константиновной пошли на Ленинские горы. Меня не взяли, у меня завтра экзамен по педагогике, я ведь заочница, а не просто так.

— Тогда домой, и немедленно,— сказала Мадонова.

— Сейчас,— нехотя согласилась Казакова.— Давайте я помогу?

— Я сама... Идите и отоспитесь, а то ничего не вспомните на экзамене.

— Ой, а почему же на «вы», Вера Игоревна? Я же у вас училась — всего в позапрошлом году — вы что, не помните?

— Конечно, помню. Иди отдыхай, а то все забудешь.

— Я устроена наоборот, мне чем хуже — тем лучше, — возразила Машенька Казакова и спросила о том, о чем хотела спросить сразу: — Вера Игоревна, а вы думаете, они к вам придут?

Мадонова догадалась, что она спрашивает о тех троих.

— Если бы они к нам ходили, — сказала она, — если бы у них хватало ума не считать себя самыми умными, а нас самыми глупыми, знаете, что сейчас было бы? Золотой век...

— Неправильно вы поступили, — вдруг резко и смело сказала Машенька. — Надо было вот так, — она сжала свой немаленький и довольно крепкий кулак, — и сразу!

— Может быть, но я больше так не хочу, — ответила Вера Игоревна. — Я хочу быть такой, с чего начинала. Когда я училась, я думала: они будут ходить все за мной, спрашивать — не о физике, а о жизни — а я буду объяснять, что сама понимаю. А что не понимаю, разберемся вместе... Думаете, меня кто-то за пятнадцать лет спросил? А когда спрашивала я, они замыкались. Тогда я пошла по другому пути — стала требовать и уже не спрашивать, а допрашивать. И как ни обидно, их это больше устраивало. Ну и пусть!.. А теперь я хочу опять помогать всем и во всем. Хочу их любить. Хочу, чтобы они знали, что их любят, — чтобы не было больше этого извечного ожесточения, этой постоянной борьбы не за что. Я хочу, чтобы мне верили и приходили за помощью, за советом — только тогда будет во мне смысл.

— Пожалуйста, — ответила Казакова. — Только не про них вы все так говорите. Это обьевшия бездельники, не знают, куда себя деть — вот и все. А я — старшая пионервожатая — только и делаю, что развлечения для них придумываю. Помните, у Макаренко, когда в колонии нечего стало делать, они тоже ведь начали портиться. А этим с самого начала нечего делать. Вот вы говорите: любить — это прекрасно, без любви, вообще, никуда — а за что? За то, что у них вот тут вместо души — «Я!.. Дай!.. Хочу!..»?

— Да не за что. Потому что нельзя одно-другому — с ненавистью мы уже жили. Недостатки, Машенька, надо искать в себе, а в других — достоинства.

— Ну и будем ходить все такие... закомплексованные. Фальшиво это все и не сходится, Вера Игоревна, извините меня, вы словились...

Завонил телефон. Вера Игоревна сняла трубку, Машенька замолчала, не договорив. Это звонила дочь.

— Ты надолго застряла? — спросила она.

— А почему ты не спишь?

— Потому что ты не идешь.

— Нина, ты же знаешь, что я дежурю и приду только утром, — с понятным раздражением от предыдущего разговора сказала мама.

— Хочешь, я поесть принесу, посидим, потремся, тебе, наверное, скучно одной?

— Не надо, тебе уже давно пора спать. Спи.

— Подожди, а что будет тем троим, которые с лошадьёю?

— Нина, завтра поговорим.

— Интересно, мама, все у нас с тобой только «завтра». А «сегодня» тебе все время не до меня.

— Нина, завтра меня отругаешь, — пошутила мама.

И тут Нина услышала, что на их лестничной площадке остановился лифт, раскрылись двери, кто-то протопал к противоположной квартире и уверенно позвонил. А был уже второй час ночи.

— Ну, держись, я хорошо подготовлюсь, — пошутила Нина, положила трубку и побежала смотреть.

В смотровой глазок она увидела лестничную площадку и какого-то типа в изодранных штанах. А в лифте — еще четыре ноги, одна в бинтах по колено. (Это были Петухов, Головин и Сазонов).

Дверь Петухову открыла зареванная красавица Л. Я. М.

— Краски есть? — улыбаясь, спросил Петухов.

— Есть, — ответила девушка и вопреки предсказаниям Головина, хорошо размахнувшись, наградила Петухова гулкой пощечинной.

— Нам такой цвет не подходит, — возразил Петухов и, не дав закрыть дверь, крепко взял девушку за руку. — А ручка, словно из бархата.

— Туняйка, — подтвердил Головин.

— Больно же! — взмолилась красавица и попыталась выдернуть руку.

— Слушай, я тебя букварем по башке бил? Бил. А теперь бы не стал. Пошли погуляем? — Петухов потащил Л. Я. М. к себе.

— Пусти, паразит! — закричала красавица и попыталась ногой оттолкнуть Петухова. Петухов не пустил.

Выскочил разгневанный рыжебородый отец Л. Я. М.:

— Отпусти, негодяй! — и потащил дочку к себе.

Петухов смеялся и не пускал, он был сильнее их обоих. Головин помог, и они с готовом выдернули их из квартиры.

Нина почувствовала необходимость вмешаться, она выскочила на площадку:

— Не пора ли угомониться?!



В роли Нины Мадоновой — Настя Деревщикова, в роли Вени Сазонова (слева) — Павел Лопуховский.
Фото А. Гришина

Петухов обернулся к ней, хмыкнул, сказал:

— Как массы просят...— Он демонстративно похлопал Лялю по попке: — А жалко! Иди отдыхай.

Отец Л. Я. М. тут же в страхе захлопнул дверь.

— Между прочим, здорбво,— сказал Петухов Нине.

Ребята тихо ретировались в лифте.

Петухов и Нина молча смотрели друг на друга. Нина — не скрывая обиды.

— Между прочим, здорбво,— повторил Петухов.— Давненько не виделись...

— Кавалерист,— с обидой и презрением ответила Нина и демонстративно заперла за собой дверь.

Побежала к окнам смотреть, как и куда эти трое пойдут.

Наконец они появились. Малыш хромал, повиснув на плечах Петухова и Головина. Ребята зашли за деревья, но почему-то с другой стороны не появлялись, и, как Нина ни прыгала, как ни смотрела, не могла увидеть, куда они подевались.

Нина не выдержала борьбы с любопытством и, как была в пижаме, кинулась из квартиры.

Ребята не ушли далеко. Спрятавшись за деревьями, довольные своей выдумкой и совершенно не заботясь о последствиях, о том, что все это уже давно преступление, ребята камуфлировали машину.

— Он был запаслив,— сказал Головин, найдя в «бардачке» баночку с нитрокраской.

— Это входит в комплект каждой новой

машины,— сказал Малыш, которому было известно все.

Итак, Петухов снимал с крыши плоский оранжевый фонарь.

Головин менял номер, сняв с желтого «Запорожца».

Молодой и тот, несмотря на свою разумность, замазывал нитроокраской опознавательные клетки такси.

Тут подбежала Нина.

— Вы что?— от ужаса перед увиденным у нее даже зрачки расширились.— Вам лошади мало?

Ребята не оглянулись.

— Отвали, Мадонна,— сказал Головин.

— Вам и так попадет,— сказала Нина.

— Не тебе, и ладно,— гордо ответил Малыш, которому очень хотелось порисоваться.

— А ты молчи. Чего ты с большими связался?— не зная, как помешать всему, Нина стирала краску с замалеванных шашечек.— Шли бы, ложились спать. Уже два часа ночи. А то пойдемте ко мне. Попьем чаю, поговорим.

Головин загоготал.

— Коллектив,— непонятно для нее сказал он.

— Девочка,— вступил Петухов.— Во-первых, здесь нет жуликов. А потому, во-вторых, над всем этим нет жалаемого вами романтического ореола. Я работаю по ночам в двенадцатом таксомоторном парке.

— Скажите, пожалуйста,— возразила она.— Этот таксопарк что-то вроде детской железной дороги?

Петухов протянул ей свое водительское удостоверение, в котором вместе с талоном лежало другое, о том, что он, Петухов, имеет второй спортивный разряд по автомобильному спорту.

— А ребята помогают мне сделать мелкий ремонт.

У Нины были большие доверчивые глаза, казалось, обманывая и обманывая — всему поверит.

— Как здорово,— сказала она, подсаживаясь к Головину.— Можно, я помогу?

— Помоги,— разрешил Головин, потому что никак не мог прикрутить новый номер под радиатором.

И она «помогла» — поставила под отверстие щепочку. Так что Головин никак не мог затолкать винт, как ни ярился. И пыталась открутить ниппель, чтобы выпустить воздух из шины. Но как следует навредить не смогла.

Петухов, между тем, притащил багажную решетку, сняв ее у какого-то частника, установил на крыше — теперь сроду не догадаешься, что здесь крепился опознавательный фонарь такси. Отступил подальше и остался доволен осмотром.

— Ну что же?— произнес он и озабоченно

посмотрел на часы.— Пора на линию.

— Пора,— подтвердил Головин.

— Вас отвезу домой. Спасибо, ребята, за помощь, что бы делал без вас? До свиданья, Мадонна.

— Я с вами,— возразила девушка и полезла было в машину.

— С нами тебе мама не разрешит,— сказал Петухов.

Нина посмотрела на него, и он посмотрел на нее, и больше ничего не сказали об этом, но это было прошлое, которое их когда-то связывало.

— Я уже выросла,— сказала Нина и полезла в машину.

Такое не входило в праздничный план.

— От винта, зашибет,— Головин успел оттащить ее.

Нина не стала спорить, быстренько обежала машину и села с другой стороны. Головин еле выдернул ее из салона и поволок на руках к дому.

— Проходу никто не дает!— искренне возмущался он.— Что вы все ко мне так и лезете, малолетки?

— Как же к тебе не лезть?— возразила Нина.— Если от тебя пахнет рыбой, как от настоящего китобоя.

— Рыбой?— ошалело спросил Головин, он поставил девушку на крыльцо и по-товарищески пожал руку.— Почему рыбой?

— Наверное, гниешь,— беззаботно предположила Нина.

На всякий случай Головин осмотрел себя.

Нина прыгнула с крыльца и побежала к машине. Головин все же настиг ее.

— Поеду!— отбивалась Нина.— А то буду кричать. Лю...

Головин заткнул девушке рот.

— У меня рядом с тобой подруга живет. Я имею право поехать к подруге?!

— Какие подруги?!— взвыл Головин.

В доме кто-то не выдержал:

— Эй! Раскричались. В милицию позвоню.

— А я тебе стекла побью,— пообещал Головин и зашипел на Нину:— Два часа ночи. Ты бы еще догола разделась. Неприлично.

— Это костюм из «Бурды»,— гордо возразила Нина.— По последней французской моде.

— Чокнутые эти французы!— взревел Головин и, подтверждая французскую чокнутость, постучал себя по голове и по крыше соседней машины.

В машине взвыло противоугонное устройство, яростно замигали фары.

Ребята шмыгнули в «Волгу» и понеслись отсюда.

Так экипаж прибавился на одного беспokoйного человека. Головин настолько был недоволен этим, что даже не смотрел на Нину.

— Я не могу с ним сидеть, от него пахнет тухлой селедкой и еще чем-то,— уже очень скоро сказала она.

Головин раздулся обиженный.

— Никому не пахнет, а ей пахнет,— сказал он.

— И мне пахнет,— сказал Малыш.— Ты в баке сидел.

Головин даже засопел от обиды и полез на сиденье рядом с водителем.

— Я там хочу,— сказала Нина.

— Это мужское место,— сказал Головин.

— Пусть,— сказал Петухов.

Головин засопел еще громче и полез обратно.

Нина села рядом с водителем.

Петухов все поглядывал на нее в зеркальце над ветровым стеклом и удивлялся, как она хороша. Нина не была красива той редкой, ошеломляющей красотой, как Л. Я. М., но уютна, мила, очаровательна тем спокойным, неброским очарованием, которое можно увидеть, только приглядываясь. А уж увидев, не захочешь ничего другого. Петухов увидел, и его тянуло поглядывать на Мадонну все чаще и чаще.

— Тебе холодно,— сказал Петухов и включил печку. Стало совсем уютно.

— Приехали,— сказал Петухов, останавливая машину.

— Нет,— сказала она.— Два часа ночи. Куда я пойду, да еще в таком виде.

Головин побелел от досады.

— Это костюм из «Бурды»,— возразил он.

— Это ночная пижама,— возразила она.

— Выметайся!— заголосил Головин, которому не терпелось приступить к осуществлению праздничного проекта.— Иди к своей маме.

— Кстати, не вас ли она ждет?— спросила она.

— Мы устали от дискуссий,— сообщил Малыш, которому очень хотелось что-то сказать.

Нина уже придумала, как надо ей поступить.

— Теперь слушайте, что я вам скажу. Впервые, этого маленького — домой.

— Не надо,— взмолился Малыш.

— Надо,— твердо сказала Нина.

Малыш едва не заплакал. Никому этого не было видно.

— Ты приехала,— вступаясь за Малыша, сказал Петухов, который вдруг почувствовал, что ему совсем не хочется расставаться с Ниной.— И передай маме: если с приварком, автослесарь имеет раза в три больше всех ее из МИМО.

— Ты это забудь,— сказал Головин.— МИМО — там...

— Хорошо,— твердым голосом сказала Нина.— Я сейчас буду звонить в милицию.

— А во-вторых?— улыбаясь, спросил Петухов.

— Сейчас же все возвращаете на свои места.

— Иди вводи в заблуждение органы,— наваливаясь на нее больше, чем этого требовала необходимость, Петухов открыл дверцу.

Нина свесила на улицу ноги и хотела встать. Петухов втащил ее обратно в салон, хлопнул дверцей. Машина тронулась.

— Молодец, девушка, хорошее крепкое тело.

Машина остановилась у двухэтажного дома той славной самодетельной архитектуры, которая родилась тридцать лет назад. Здесь жил Малыш. Все окна были темны, кроме одного на втором этаже.

— Твое?— спросила Нина.

— Мое,— грустно ответил Малыш.

— Видишь, ты развлекаешься, а родители беспокоятся, до сих пор не спят,— укоризненно сказала Нина.

— Вижу,— сказал Малыш с такой затаенной грустью, что только беспечная молодость не могла заметить ее.

И тут, словно нарочно объясняя причину этой грусти, по освещенному окну, как в теневом театре, стало видно, что там не ждут, а танцуют.

— У вас праздник,— будто извиняясь перед Малышом за прежний напор, бодро сказала Нина.

— У них через день так,— сказал Петухов.

— Но сегодня я озверел. Сегодня я наведу статус кво и хорошенкий гемпель,— пообещал Головин и полез из машины.

— Он что — ненормальный? — удивилась Нина.

— Конечно,— сказал Петухов.

За освещенным окном двухэтажного дома быстро замелькали тени. Раздался грохот.

— Чего другое, а точку над «и» Коля умеет поставить,— гордясь за товарища, сообщил Петухов.

— Кошмар какой-то,— ужаснулась Нина.

На втором этаже хлопнула дверь, и кто-то полетел с лестницы.

Петухов многозначительно посмотрел на Нину и Малыша.

Но тут же из подъезда появился сам Головин. Был он помят, взлохмачен и даже будто прихрамывал.

— На каратиста нарвался,— садясь в машину и отплевываясь, сообщил Головин.

— У нас слабых не водится,— вдруг похвалился Малыш.

— Это же хорошо,— сказал Петухов.

— Вырастешь, будет, с кем силой померяться. Авто будет здесь. А ты, Веня, со мной.

— Домой я не пойду,— ответил Малыш.

— А я уже ходил,— сказал Головин.

Петухов, не споря, достал брезент и стал закрывать им машину с сидящими внутри Ниной, Малышом и Головиным.

— Не лишай товарищей света,— забасил Головин.

— Только тихо тут и без визга.— Петухов достал из-под сиденья оставленную молодым прыщавым водителем монтировку.

— А это зачем?— забеспокоилась Нина, выкарабкиваясь из машины.

— Это карандаш, записаться в очередь на каратиста.

— Не пушу.

— А тебя никто и не спрашивает.— Петухов зашагал к подъезду.

Нина выскочила следом. Встала у подъезда и не пускала. Потом пыталась выхватить монтировку. Потом между ними началась борьба за нее.

— Какое ты имеешь право вмешиваться в чужую жизнь!— возмущалась Нина.— Таким хамским методом!

— Не хамским!— возражал Петухов.— После одиннадцати все должны спать!

Тут он увидел, что в квартал выворачивает автомобиль передвижной милицейской группы.

Совершенно некстати на «Волге» зашевелился брезент. Это Головин открывал дверцу:

— Задохнуться же можно.

Петухов метнулся к машине.

— А ну, тихо! Уберите музыку,— прошипел он Малышу и Головину и сунул монтировку под «Волгу».

В машине выключили транзистор.

Нина затаилась в подъезде и смотрела, как подъезжает автомобиль ПМГ, Петухов едва успел опрavit брезент.

Из машины, не торопясь, ощущая себя хозяином, вылез старший наряда.

— Ты откуда приехал?— будто без особого интереса спросил он.

Неожиданно для самого себя Петухов не сразу набрался сил, чтобы ответить, так непривычно и угрожающе было ночное общение с милицией.

— Это не я,— с деланной озабоченностью оправляя чехол, каким-то тоненьким голоском сказал Петухов.— Это отец. Я только пыль стер.

— Хороший ты сын, мне бы такого,— милиционер подошел к багажнику и внимательно посмотрел на Петухова.

Головин с Малышом в машине приготовились к худшему.

— Слушай, ты же у нас металлист, где твои цепи?

Петухов выдавил из себя:

— «Хеви металл» уважаю, но цепи — это

все-таки для рабов, я так понимаю.

— А ты, значит, не раб?— как показалось Петухову, враждебно уточнил милиционер и потащил брезент там, где должен быть номер.

Тут и Петухов почувствовал — это конец. Но решил не болтать, будь что будет.

— Я — кто угодно, но то, что не раб,— это уж точно,— выдавил он из себя.

— Ну что ж, развяжи веревку,— спокойно и твердо сказал милиционер, из-за веревки брезент над номером не поднимался.

Нина в подъезде замерла от ужаса.

Петухов на подгибающихся от страха ногах сделал два шага к милиционеру и, ощущая от близости ужас, стал развязывать узел.

Малыш и Головин застыли в машине.

Придерживая чехол на опасном уровне, чуть выше которого были замалеванные Малышом шашечки, милиционер пристально изучал номер. Ни в одной ориентировке этот номер не значился.

Нина решилась и вышла из подъезда.

У Петухова от страха уже ноги застыли. Не мигая, он следил за крепкими узловатыми пальцами. Казалось, прошел целый год, а милиционер все еще стоял в неудобной позе, придерживая брезент на опасном пределе.

— А вы почему в таком виде?— вдруг спросил он.

Петухов совсем сник, думал, про дыры на его штанах.

— Я только выбежала брату помочь,— ответила Нина.— Идем, Сережа.

Милиционер окинул взглядом Нину. Ни облик, ни внешностью она не походила на преступницу.

— Идите домой, улица вам не спальня.

— Это не ваше дело, кто чего надевает,— выступил Петухов.

— Ой, дурак,— застонал Головин в машине.

— Я советую,— пояснил милиционер.— И тебе посоветую, если не возражаешь.

— Советуйте,— сказал Петухов.

— Не ленись приносить воду, не то вместе с пылью весь лак обдерешь, не жалко будет?— наконец милиционер опустил брезент и аккуратно опрavit его под багажником.

У Петухова никак не отлегалось от сердца.

— Хорошо,— еле выговорил Петухов.

— И вообще — не ленись. А то многие из вас покрасят головы, надрыгаются на дискотеках, а на остальное их уже не хватает. Ты понял?.. Повтори.

— Не ленись,— с непрошедшим ужасом повторил Петухов.

Наконец милиционер направился к дому. И Петухов с Ниной, делать нечего, тоже вошли в дом. В другой, конечно, подъезд. Остановились. Петухов обессиленно привалился к стене:

— Стресс,— сказал он.

Нина ничего не ответила. Петухов вдруг привлек Нину к себе.

— Ты чего?— обиделась девушка.

— Мы еще не здоровались,— сказал Петухов и поцеловал ее в щеку.

— Мы здоровались,— ответила Нина и с трудом оттолкнула себя от Петухова, не сумев оттолкнуть его.

— Скажи, как зовут меня?— спросила она.

— Мадонна.

— Это прозвище... Из-за фамилии... А лезешь.

Тут они услышали, что из дома вышел милиционер.

— Ну как?— спросил его тот, который оставался в машине.

— Мама любит жизнь и шампанское. Сын ищет свое. Надо передать его Коршаковой, в детскую комнату, пока не нашел чужое.

Он сел в машину, сообщил по радию:

— Он дома не появлялся. Мы имеем полчаса пообедать?

— Имеете,— разрешили им.

— Поехали. В четвертый троллейбусный?

— Там лучше,— согласился напарник.

— Слушай, ну про этого я понимаю: мать — дрянь, отец — вольный ветер, ну а мой-то почему дундуком растет?

В машине, под чехлом, беззвучно плакал Малыш, пользуясь тем, что здесь, в темноте, его слез никто не увидит.

Головин, будто почувствовав, что происходит с товарищем, положил ему на голову свою большую ладонь. Погладил.

Дважды стукнула дверца, взревел отлаженный двигатель. Судя по звуку, автомобиль ПМГ быстро набрал скорость.

И опять они катили в этой машине. Происшедшее встряхнуло их, и они уже не пели, не болтали просто так, лишь бы болтать.

— А мои предки террористы — я им все и всегда назло! Хотят сына в отличники — я им второй год! Хотят его в доценты — а я мусор буду грузить! Я этот дом видеть уже не могу! Я себя потеряю, а им докажу!— с неестественной в его голосе горечью кричал Головин.

— Что ж ты как зло?!— ужаснулась Нина.— Я же знаю, ты дома как сыр в масле катаешься.

— Я катаюсь! У меня от этого катания в голове мутит и блевать хочется!— прокричал Головин.— А то привалятся из театра — и ля-ля-ля, и ля-ля-ля! Ах, смысл жизни! Ах, сверхзадача!

— Что ж в этом плохого? — удивилась Нина.

— Деньги надо делать и жить, а не языком болтать! Интеллигенты вонючие! Паршивой машины никогда не имели, а языки распустили!

— Повезло, бедным, с сыночком,— заметила Нина.

— Заткнись!— заорал Головин.

— Ну ты, псих, тихо,— сказал Петухов.

— За что же ты их так ненавидишь?— спросила Нина.

Головин до того довел себя, что едва не плакал. Сдерживался, катал желваки.

— Я, может, хочу, что хотят они, а не могу — что ж мне повеситься?

— Он прав,— неожиданно поддержал Малыш.— Надо любить всех такими, какие они есть. А не требовать, что вместо них выдумал.

— А самим не надо любить?— спросила Нина.— Всем всех надо любить, и будет всем хорошо.

— Так уж и всех? А за что?— спросил Петухов.

— Всех. Ни за что. За то, что люди,— твердо сказала Нина.

Затихли. То, что сказала Нина, внесло какое-то странное умиротворение. Как будто все стало сразу же хорошо. И появилось универсальное средство.

— Что мы за додики?!— вдруг взревел Головин.— Мы едем повеселиться или не едем?

— Мы едем,— сказал Петухов.

Они действительно ехали. Петухов выбирал дорогу, на которой и днем не бывает движения, крутил между домами.

— А у тебя как?— спросила Нина у Петухова.

Петухов молчал, не участвовал в разговоре. Только поглядывал на нее, на товарищей, ощущая, что несмотря на скандал, в нем вырастает какое-то странное чувство симпатии и даже благодарности к этим людям.

— У меня все нормально,— сказал он.

— Любопытно,— сказала она.

— Интересуешься?— спросил он.

— В меру,— сказала она.

Петухов неожиданно остановил машину.

— Выйдем, поговорим,— предложил он.

Нина посомневалась и вышла.

— Что?— спросила она.

— Отойдем,— предложил Петухов.

Нина посомневалась и пошла следом за Петуховым.

— Куда они?— ревниво спросил Головин.

— Количество проведенного вместе времени требует перехода в новое качество,— непонятно для него ответил Малыш.

— До чего же ты глупый!— обиделся Головин.

Петухов остановился на таком расстоянии от машины, чтобы их слов не было слышно.

— Если ты такая разумная, пойдем к саоновской матери, объяснишь,— сказал он.

— Нетактично,— подумав, ответила Нина.

— Человек пропадает. У него башка, а его домой не загонишь. Хорошо, он со мной, а если с придурками свяжется, ацетон начнет нюхать?

— Они же хотели его передать какой-то там Коршаковой.

— Лопну. Поставят на учет, и этим все кончится.

— Хорошо. Сегодня же днем,— твердо сказала Нина.— А ты сейчас же вернешь машину.

— Ага,— сказал он.— Слушай, насчет того, ты ведь ни с кем больше не целовалась.

— Почему это?— обиделась девушка.

— Я со всеми перецеловалась.

Петухов отрицательно мотнул головой.

— Боишься. А тогда бы ты не боялась,— сказал он.

— А вдруг просто не хочется,— сказала Нина и убежала.

Она мчалась по выросшей на пустыре высокой сорной траве. Маскируясь за ней, подбежала к дому. Обогнула его. Нашла телефонную будку. Она чувствовала себя как-то странно. Почти радостно. И в то же время ей было стыдно за эту радость, появившуюся в таких невыгодных для нее обстоятельствах.

Монет у нее не было. Нина вынула из волос шпильку. Разогнула и набрала номер, уже понимая: хорошо это или нехорошо, а ей не хочется расставаться с ребятами. И будь, в конце концов, то, что будет.

— Да,— ответил родной голос.

Нина провела шпильку туда, куда должны пролетать монеты.

— Мама.

— Ты почему не спишь?— сразу спросила мама.

— Жарко,— обманула Нина.— А что бывает, если какие-то мальчишки взяли покаяться чужую машину?

— Таких дебилов сажают в тюрьму и правильно делают.

— Какие могут быть смягчающие обстоятельства?

— Никаких.

— Мама, ты подумай, я потом позвоню.

— Что?— запоздало догадалась мама.

...В трубке слышались короткие гудки прерванной связи. Мадонова тут же набрала свой домашний номер. К телефону не подходили. Она снова набрала. Та же картина.

Мадоновой стало нехорошо. Оставив все на столе, не выключая света, она поспешила домой...

...В эту минуту Нина вернулась к ребятам. Опасливо взглянула на лакированную поверхность машины.

— За это в тюрьму сажают,— сказала она и невольно вздрогнула.

— Уже наступала?— спросил Головин.

— Я?!— возмутилась Нина и села в машину.

Дома дочери не было. Вера Игоревна сидела на диване, не зная, что предпринять. «Ты где?»— написала она на бумаге. Потом зачеркнула. Выбросила этот лист.

«Придешь домой, сразу же позвони в школу»,— написала на чистом листе.

...Уже с улицы Вера Игоревна услышала, что в кабинете надрывается телефон. Она заспешила. Попробовала бежать, бежать еще не могла.

Дверей она не запирала, света не выключала и поэтому успела к телефону.

— Вера Игоревна, это я, Валентина Васильевна. У нас все хорошо, мы гуляем в районе университета. Скоро пойдем домой.

— Хорошо,— ответила Мадонова.

Она позвонила домой. Дочери дома не было. И тогда Вера Игоревна полистала записную книжку и позвонила Воронцову.

Рука потянулась к выключателю настольной лампы. Из-под одеяла вылез мужчина средних лет и, не просыпаясь, снял трубку.

— Юра, не разбудила?

— Нет, не разбудила,— сонно отозвался мужчина.

Жена приподнялась на постели, прислушиваясь к разговору. Она была совсем молоденькая.

— Это я, Вера... Конечно разбудила, прости, Юра, но наша Нина пропала. Связалась шут знает с кем. Звонит черт знает откуда... Кому мне еще звонить? Я сейчас в школе. Дежурю. Телефон триста тридцать пять, семьдесят один, ноль один. Нельзя как-то помочь по твоим каналам?

Жена Воронцова прислушалась и записала: «3357101 — Мадонова» на заблаговременно припасенной у аппарата бумаге заблаговременно припасенным карандашом.

— Сейчас,— еще не совсем проснувшись, пообещал тем временем Воронцов Мадоновой и потянулся к одежде, положив трубку.

— Куда?— спросила жена.— Тебя же не вызывают. Тебе звонила Мадонова.

— А чего ей надо?— насупилсь Воронцов.

— Да чего-то с дочерью. Номер я записала, а с бывшими женами сам разбирайся,— с понятной обидой ответила женщина.

Воронцов отложил одежду, придвинул листок с записью и взялся за телефон.

Было совсем светло, хотя и не взошло солнце. По улицам гуляли выпускники.

На Ленинских горах.

У пруда в Измайлово.

По набережной реки Москвы.
В новых микрорайонах.

Из травмпункта выпорхнула хорошенькая медсестра Катя и побежала к «Волге» с багажной решеткой на крыше.

— Ой! — садясь в «Волгу», радостно сказала Катя и потянулась. — На одну ставку работать — жить не на что, на две — некогда... Катя, — представилась она Нине.

— Нина, — представилась Нина.

— Ты почему в пижаме? — радостно зашептала Катя.

— Так получилось, — прошептала Нина.

— Сумасшедшие, — то ли похвалила, то ли позавидовала, то ли осудила Катя. — Куда едем, мальчики?

— Повеселиться ко мне на дачу, — важно сказал Головин.

— У тебя есть дача? — с интересом спросила Катя.

— Два этажа.

— А квартира?

— Три комнаты.

— Жених, — оценила Катя.

— А то, — подтвердил Головин. — Сама где живешь?

— В общежитии на Кедрова.

— Ты не москвичка? — обрадовался Головин.

— По лимиту, — похвалилась Катя. — За кавалерами в Москву прикатила.

— Из Иванова? — спросил Головин.

— Из Анапы.

— И там уже нет кавалеров?

— Там отдыхающие. А я хочу работающего. Вот ты, толстый, ты где работаешь? — спросила Катя Головина, а сама все приглядывалась к Петухову.

— У человека ни одного лишнего грамма, — обиделся Головин. — Можешь потрогать.

Катя потрогала.

— Спортсмен? — спросила она.

— Это для духа. Потому что в здоровом теле здоровый дух, — важно сообщил Головин. — А так, в какой-то мере, ученый.

— Ишь ты, — сказала Катя.

Головин сразу решил показать себя со всех лучших сторон. Главное, с интеллектуальной.

— Между прочим, полчас назад у нас был интересный диспут. И мы решили: всем всех надо любить, и будет всем хорошо. А ты что об этом соображаешь?

— Я? Я думаю, ты всех не будешь любить. У кого на лице написано: я только себя люблю — только себя и любит.

— У кого написано? — обиделся Головин.

— У всех все написано, — ответила Катя.

— Если ты так считаешь, скажи, кто из нас может? — спросил Петухов.

— Ну, с тобой все спокойно, — ответила Катя. — Ты же теленок. Телок.

— Я? — Петухов был ошеломлен.

— Ты, — дерзко ответила девушка, радуясь, что задела его. — Маленький может. Добренький, маленький, расти поскорее. — Катя дурашливо обняла Малыша.

— Отстань! — всполошился Малыш.

— А она? — спросил Петухов про Нину.

— У нее и спроси, — вдруг обиделась Катя. — И вообще, дайте отдохнуть человеку.

Но тут возмущенно закричал Головин: — Куда возьмешь?!

За разговором они не обратили внимания, что Петухов, у которого был врожденный инстинкт беглеца, вел машину по лесопарку, подбираясь с этой стороны к своему дому.

— На природу, — невозмутимо сообщил Петухов, это успокоило насторожившуюся было Катю.

За деревьями мелькнули белые стены шестнадцатизэтажной башни, и тут ему показалось, что вдали, за деревьями и домами, мелькнул желтый с синим милицкий автомобиль.

— Остановимся? — весьма кстати предложила Катя.

Петухов и сам остановил машину, уткнув за густым кустарником, и побежал к дому.

— Куда он? — удивилась Катя.

— Куда идет король — большой секрет. — Головин тоже выскочил из машины и стал гоняться за Катей.

Несмотря на то, что было совсем светло, за одним окном на седьмом этаже горел свет, а у окна, закутавшись в платок, стояла старенькая мать Петухова.

Так и есть: милицкий автомобиль остановился у этого дома, у этого подъезда. Сомнений не было — это к нему.

Петухов кустами метнулся за дом, к телефонной будке.

Двушки у него не нашлось, набора по одной монете — тоже, 15-копеечная монета, которую он затолкал в слепой надежде, застряла.

— Мама, не клади трубку! — наобум закричал Петухов в ту часть трубки, которую прикладывают к уху. — Слышишь?

— Плохо, сынок, — откликнулся голос. — Ты где?

— Мама, придет милиция, не говори, в каком я пэтэу. Слышишь, не говори!

— Почему милиция? — испуганно пролепетала мама.

— Потому! Не говори!

— Сынок, а как же, если спросят меня, как же я не скажу?

— Скажи, в тридцать пятом! Мама, нельзя. Ребята мне не простят. Мама! Ребята два года ломались за первое место, чтобы на практику ехать в Сибирь. Заберут первое место, мама! Нельзя. Два дня надо молчать. Пока все уедут!

— Сынок, в дверь звонят, я иду.
— Не говори!
— Не скажу... Сережа, а это ты?— нерешительно спросила мама.
— Я,— не без горечи сказал Петухов.

— Мы будем, наконец, веселиться?— спросил Головин, когда Петухов вернулся в машину.

— Если нам не дадут, мы будем,— непонятно для Кати сказал Петухов.— В телегу!

Проселком, через две площадки для отдыха по обе стороны кольцевой автодороги, переехали кольцо и выехали за город. И уже довольно скоро они были рядом с дачным поселком на берегу озера.

Всходило солнце, одинаково одаряя теплом правых и виноватых.

Они вывалились из машины.

— Законный шухер!— сказал Головин про светило.

— Полтора миллиона километров в диаметре, температура шесть тысяч градусов,— сообщил Малыш.— К сожалению, есть данные, что это пульсирует.

Никто не отнесся к известию скольконибудь серьезно, и Малыш вдруг почувствовал себя донельзя одиноким, ненужным этим разделившимся на пары ребятам.

Вокруг было прекрасно. Хотя город находился неподалеку, и на трассе за озером начинали шуметь машины, а за лесом выстукивали поезда,— все равно было прекрасно.

— Ну! А кто делает «брэйк-данс» лучше Балды?— завопил Головин и начал показывать такой танец, что все загорелись.

И Катя показывала вместе с ним очень неплохо.

— Слушай, что говорит этот ребенок, он делает, чтобы люди жили по восемьсот лет.

Катя засмеялась. И Головин загоготал с нею над своим товарищем, Малышом.

— Это невозможно,— сказал Петухов Малышу, танцуя.

— Возможно сделают и без меня,— обиженно возразил Малыш и поскакал на одной ноге, выставив перед собой перевязанную.

— Ботаник!— кричал Головин.— Балда делает лучший «брэйк-данс» в мире! Балда — это качество и надежность!

— Петух — гарант мира и демократии!

— Катя — апофеоз красоты!

— Очень скромная Нина...

— Нину не трогать,— сказал Петухов.

— Нина занесена в Красную книгу,— сказала Нина и, вдруг погрузившись, отошла от них.

Здесь, на природе, Головину не было конкурентов. И сложен, как культурист. И пла-

вал, будто с мотором. И всякие осаны делал, как йог. И колесом ходил.

И поднимал Катю высоко-высоко на одной руке. Так высоко, что она видела в тени за кустарником Петухова, Нину и Малыша.

Петухов с редким удовольствием на лице регулировал карбюратор.

— Это такая вещь, которая, если отрегулировать, на воде повезет,— поучал Петухов Малыша.

— Такого не может быть,— твердо возразил Малыш.— От воды искра в цилиндре погаснет.

— Соображает,— сказал Петухов, подмигнув отчужденно сидевшей в стороне Нине.— Оканчивай восемь классов и дуй к нам в пэтэу.

— Ты бы хоть рассказал, как там живешь?— спросила Нина.

— Хорошо,— сказал Петухов.

— Вряд ли,— возразила Нина.— Если бы хорошо, ты только и делал, что ходил везде и демонстрировал. А тебя что-то давно не было видно.

— Заметила,— сказал Петухов, пробуя двигатель.— Ну, есть разница?

Никто этого не понимал.

— Платок,— попросил Петухов.

У Нины нашелся. Чистый, белый платок.

— Держи здесь,— сказал Петухов, прислонив платок к выхлопной трубе, а сам сел в кабину. Как следует погасовал.

Копоти на платке не было.

— Это вы думаете, пэтэу для придурков, а мы про свое говорим: «лицей». Отсюда выйдут лучшие люди.

— Ой-ей-ей,— не согласилась Нина.

— Ой-ей-ей,— возразил Петухов.— К нам доценты приходят. Ты у себя в школе их часто видишь? А у нас профессор Сперанский только в этом году четыре лекции прочитал. У нас главное — думать, а не зубарить до синевы.

Нина улыбалась, радуясь, что Петухов о чем-то может говорить хорошо. А Петухову казалось, она смеется над ним.

— Два года учусь, ни разу краской не пахло, а столы чистые — нет времени чиркать. Думаем! Двадцать два кабинета. В каждом по компьютеру. Свой телецентр. Один парень на всех математических олимпиадах призы берет!

— Не ты же,— улыбнулась Нина.

— Я тоже почти отличник, на красный диплом иду,— сказал Петухов и увидел, что Нина ему не поверила и что, если это неправда, она будет стоять между ними всегда.

Тогда он взял ее за руку и потащил в машину.

— Куда?

— В Солнцево, это рядом.

Машина, резко выбросив из-под колес траву, рванула с места.

Подъезжая к Солнцеву, Петухов испытал настоящий страх: он увидел за идущими впереди машинами, как на перекрестке инспектор ГАИ тщательно проверяет документы у водителя серой «Волги», а второй тщательно осматривает кузов.

Нина дремала.

Развернуться и удрать было нельзя — несмотря на утренний час, дорога была плотно запружена большими рабочими машинами.

Но и на этот раз ему повезло: он сумел спрятать свою машину за длинным огромным рефрижератором, катя параллельно, бок о бок с ним, миновать опасную зону, а потом, нерезко прибавив в скорости, уйти из нее.

Лестничная площадка на четвертом этаже пятиэтажного дома.

— Вы меня знаете? — напористо спросил Петухов у открывшей дверь растерявшейся от такого визита и такого вопроса женщины.

— Сергей Александрович Петухов, — нерешительно сказала она.

— Где вы работаете, Таисия Павловна?

— Преподаю у вас в пэтуэ, — окончательно растерялась женщина.

Петухов подтащил Нину поближе.

— Скажите этому человеку, как я учусь?

— Хорошо, — сказала учительница. — Можете, зайдете?

— Некогда, — весело сказал Петухов.

Петухов обогнал Нину на лестнице, встал на площадке и протянул руки:

— Лети.

Нина прыгнула, хотя могла спокойно сойти. Петухов едва устоял с ней, чуть не слетел вниз, но удержался и долго не отпускал, разглядывая ставшее дорогим лицо.

— Ты совсем обнаглел, — выворачиваясь, каким-то странным, прекрасным голосом сказала Нина.

И Петухов ответил с несвойственными ему искренностью и простотой:

— Давай с тобою дружить, Нина.

— Не знаю, — тихо сказала она.

— А я знаю: все равно это будет, — радостно сказал он.

Но около дома стояла машина, как напоминание о том, что все не так просто и хорошо, как только что показалось. Что все, начавшись, обязательно имеет конец. Радость сразу же кончилась.

— Давай бросим все и погуляем, как люди, — предложил Петухов. — Я тебя домой провожу... — сказал он об этом, как о необыкновенном и невозможном счастье, — ...на электричке.

— А как Малыш со своей ногой выберется оттуда? — спросила Нина.

Петухов нехотя сел в машину. Нина нехотя села в машину. Машина нехотя тронулась.

Они ехали молча, далеко отодвинувшись, будто между ними возникла стена, отталкивающая одного от другого.

Ударил сильный, короткий ливень.

— Малышу там бинты замочит, — сказал Петухов и прибавил скорость.

— Не гони, — попросила Нина, она боялась.

Петухов поехал медленнее. Все было тихо, спокойно, но приближалось время расплаты. За дождем Петухов не заметил, что сзади неизвестно откуда пристроилась машина ГАИ.

Работники автоинспекции присмотрелись к идущей перед ними «Волге», доложили по радиотелефону:

— Шестьдесят восемь — шестьдесят два эмэмте. Светлая «Волга» с багажной решеткой на крыше. В машине двое. Просматриваются покрашенные опознавательные знаки такси.

— Приступайте к задержанию, — ответили по радиотелефону.

— Берем? — автоинспектор повесил трубку.

— Сейчас выйдем из мокрой зоны, — ответил напарник.

В этот момент Петухов обнаружил их и погнал «Волгу» что было мочи.

— Шестьдесят восемь — шестьдесят два! Водитель, остановите машину! — властно громыхало над трассой. — Немедленно остановите машину!

— Останови, — сказала Нина.

— Пристегнись, — сказал Петухов.

— Не хочу, — резко сказала Нина.

Вильнув и едва не врезавшись во встречной рефрижератор, Петухов сам пристегнул ее ремнем безопасности.

— Пошел за дворами, — сказал про Петухова автоинспектор и прибавил скорость.

Разъехавшись с рефрижератором, милицкий автомобиль на огромной скорости стал обходить «Волгу», чтобы где-то впереди перекрестить дорогу.

Автоинспекторы глянули вправо, и один из них узнал Петухова — тот самый юный милиционер, который вчера вечером прибежал в актовый зал с возницей.

— Я думал, он просто балбес, а он все же подонок.

— Знакомый? — спросил напарник.

Петухов тоже прибавил скорость.

— Вчерашний кавалерист, — объяснил автоинспектор, еще прибавляя скорость. — Но ничего, эта лошадь будет у тебя последней.

— Помолчи, — велел напарник и стал показывать Петухову, чтобы он припарковался к обочине.

— От обиды за него же, за дурака, Василь Васильич, — объяснил юный милиционер.

Петухов не послушался и снова хотел

прибавить скорость, она больше не прибавлялась, и он понял, что так ему не уйти. Он выжал сцепление, переключившись одновременно на первую передачу, резко затормозил, выворачивая руль по заносу, и, едва машина развернулась на 180°, поймав этот момент, дал полный газ, пытаясь сделать «бутлегер».

Асфальт был мокрый, «бутлегер» не получился, машину вывернуло на встречную полосу, левыми колесами она попала на скользкую от ливня глинистую обочину. Их понесло, и Петухов никак не мог вывернуть на асфальт.

Навстречу мчался автопоезд «Совтрансавто». Столкновения не избежать. Нина закричала, в ужасе закрыла лицо.

Петухов резко крутанул руль и бросил машину с крутой и высокой насыпи. Казалось, «Волга» сейчас опрокинется. Петухов удержал управление.

Машина на большой скорости, по бездорожью, понеслась к недалекому лесу.

Автомобиль ГАИ, не думая отставать, тоже спустился с насыпи и помчался на перехват «Волги».

Увидев это, Петухов развернулся.

Метров через триста «Волга» выскочила на грунтовую дорогу. Метрах в четырехстах впереди через дорогу перегоняли стадо. Петухов мчался, будто хотел врезаться в этих коров.

Резко и без заносов, тормозя двигателем, Петухову удалось проскочить сквозь стадо.

Испугавшись, коровы кинулись в разные стороны, забили дорогу. Милицейский автомобиль, настигнувший было «Волгу», на какое-то время застрял среди них. А когда выбрался, светлой «Волги» уже не было видно. Был виден железнодорожный переезд. Развилка в ста метрах за переездом.

Дежурная по переезду мыла крыльцо своего служебного помещения. Нет, она не заметила, по какой из дорог поехала светлая «Волга».

Автоинспекторы доложили о случившейся ситуации по радиотелефону и поехали по правой дороге.

На левой — через два километра отсюда — из будки ГАИ спешно вышел дежурный и приготовился к задержанию угнанного такси, если оно вдруг покажется именно здесь.

Но ни на одной из этих дорог Петухова не было.

Он догадался съехать с развилки, загнать «Волгу» в лес, спрятав за густыми посадками. А сам следил за погоней с дерева.

Когда погоня скрылась достаточно далеко, Петухов выехал на дорогу и повел машину в обратную сторону.

Дежурная по переезду увидела их и стала звонить по дистанции.

На этот раз им удалось уйти от распла-

ты, но радости не ощущали ни он, ни она.

— Испугалась? — стараясь выглядеть бесшабашным, спросил Петухов.

— Я вообще очень боюсь машин, — просто сказала Нина.

— Понятно, — сказал Петухов, запоздало вспомнив, что с ней произошло на машине. — Ты, Нина, не обижайся, что у нас так получается.

— Обижаться глупо, — ответила Нина. — Просто мне как-то нехорошо — будто все на свете ворованное.

— Так и есть, — сказал Петухов. — У кого что есть — все украдено у другого.

— Только не обобщай.

— Не украдено, так не досталось. У кого что есть — не досталось другому. Один красивый, а другой даже очень наоборот — ему не досталась та красота. Один здоровый, а у другого с детства полиомиелит.

— Мусору у тебя в голове — хоть пылесос подключай.

— Будет время, займись, — Петухов сунул голову Нине под подбородок.

— Придется, — сказала она. — На дорогу смотри.

— А здесь сухо, — удивился Петухов, резко затормозил, дал задний ход.

Остановился так, что задние колеса были на сырой земле, а передние — на сухой. Вышел из машины, присел на корточки, трогал руками и ту, и эту.

— Смотри, — говорил Нине. — Вот то и это. Рядом. Никакой разницы. А разница есть. На то упал дождик. А на это он не упал. Там что-то вырастет. А тут завянет.

— Сережа, хватит. Поехали, — попросила Нина.

Сережа прыгнул в машину.

— Ты со мной не так говори. Ты говори: «Смирно! Живо! Поехали!». Я тебе разрешаю. Ну?

— Поехали, — так же мягко и нежно попросила Нина.

На какое-то мгновение Петухов прижался головой к Нине. А радости все равно не было. То, что машина угнана и за это следует отвечать, уже повисло над ними. Петухов ударил рукой по рулю, будто руль был виноват в этом. Взревел двигателем, будто двигатель был виноват в этом. Поехали.

Они въехали в дачный поселок. Неподалеку сверкнуло озеро.

— Останови, я хочу позвонить, — сказала Нина.

— У меня только вот, — Петухов протянул пятнадцатикопеечную монету.

— А сам поезжай, — сказала Нина и закрыла за собой дверцу.

Неожиданно она села в машину и, потянувшись к Петухову, поцеловала его. Но и

поцелуй, их первый взаимный поцелуй, не принес им радости. Он был словно ворованный.

— Еще,— попросил Петухов.

— Сережа, а ведь этого почему-то не будет,— вдруг словно почувствовав что-то, странным голосом сказала Нина.

— Чего?— спросил Петухов, хотя догадывался, о чем она говорит.

— О чем говорили. На лестнице,— напомнила Нина, хотя поняла, что он догадывается.

Петухов не ответил.

— Потому что, если бы это стало, это было бы несправедливо,— сказала она и побежала к висевшему у почты таксофону.

К утру Мадонову было трудно узнать, так измучило переживание за дочь. Едва раздался звонок, она схватила трубку.

— Доброе утро, мама,— послышался дорогой голос.

— Наконец-то!— обрадовалась Мадонова.— Где ты была?

Молчание.

— Я не из дома,— не сразу, виновато ответила Нина.

У Мадоновой опять сжало сердце.

— Откуда?

— Ты придумала, что я просила?— спросила Нина.

— С кем ты?— спросила мать.

Молчание.

— Ты придумала?— повторила Нина.

— Я могу знать, с кем ты шляешься по ночам?

— С человеком, которому трудно.

— Только не надо этих красивых слов. «Трудно!» А всем из-за вас легко?!

— Мамочка, ты не сердись... Ты подумай, я потом позвоню.

— Але...— Связь была прервана.— Але...

— Мадонова положила трубку, с трудом встала со стула.

Телефон опять зазвонил.

— Нина, я тебя очень прошу...— сказала Мадонова.

— Это я, Воронцов,— сказал голос бывшего мужа.— Нина звонила по телефону из дачного поселка Расстригино.

— Да,— вяло согласилась Мадонова.

— Спасибо.

— Это не все, Вера. Трое ребят совершили двойной угон. Похоже, дочь с ними! Мадонова ожидала нехорошего, все же новость потрясла ее.

— Что им будет?

— Что положено, Вера.

— Да, да, конечно. Спасибо,— с трудом овладев собой, Мадонова положила трубку мимо телефонного аппарата. Еле добрела к холодильнику. Не понимая, зачем пришла сюда, долго смотрела на него.

Вышла на улицу, села на крыльцо и заплакала, уткнувшись в колени.

Но это было еще не все.

Катя стояла в красивой позе, подставив всю себя солнцу. В озере гоготал Головин.

— Этот боров ничего тебе не сказал?— спросил Петухов.

— Много он чего говорил,— беспечно откликнулась Катя.

— А что машину украли?

— Трепло.

Катя посмотрела Петухову в глаза: нет, он не трепался. И по Малышу это видно, и, конечно, по Нине. Красивые глаза потемнели, хорошенькое лицо вытянулось, губы дрогнули. Катя заглянула в салон, забрала свою одежду.

— Подожди, вместе поедem,— сказал Петухов.

— Я пачкаться не хочу.

Катя пошла к поселку. Остановилась.

— Зажрались, деточки, на столичных харчах. Работать бы вам с утра до ночи.

Но и этих слов ей стало мало. Катя снова остановилась.

— Вы даже не жулики, вы просто кретины. Вы все думаете, что вы еще в детском садике и вас только поставят в угол. А вы выросли. И угол вырос.

В это время, не замеченный ими, с трассы сворачивал автомобиль ГАИ, от которого недавно удалось уйти Петухову. Он остановился метрах в ста пятидесяти от ребят, перед обмелевшей речушкой, впадавшей в озеро, невольно или нарочно спрятавшись за густо свесившей тысячи веток плакучей ивой.

Автоинспекторы вышли из автомобиля, присмотрелись, узнали машину, увидели ребят.

— С этими пацанами труднее всего, гонору много, а понятия никакого,— сказал тот, кто постарше, другому.— Коля, ты подожди, а я попробую поговорить.

Автоинспектор спустился по склону и по камням начал переправляться на тот берег.

С середины озера что-то кричал Головин и показывал куда-то рукой.

— Чего?— Петухов высунулся из машины и опять не понял.

— Наверное, трус потерял,— предположил Малыш.— У него резинка лопнула.

Петухов вылез, посмотрел, куда показывал Головин, и в тридцати метрах увидел милиционера.

— Спокойно,— сказал тот.— Не вздумай садиться в машину. Ты уже накатался.

Петухов кинулся в «Волгу» и начался последний, бестолковый побег.

— Сережа, не надо никуда убегать,— попросила Нина, но это был голос вопиющего в пустыне.

Милиционер кинулся наперерез с расставленными руками.

На крутом повороте выметнулась из-под шин трава вместе с землей. «Волга» обогнула милиционера, и тот ничего не мог сделать.

— Так и накручивают себе сроки!— в сердцах ругнулся милиционер.

— Моя одежда, повидло!— кричал из озера Головин.

На огромной скорости, подпрыгивая на кочках, «Волга» летела к поселку. Нину и Малыша дергало по салону. Становилось страшно.

Первое, что Петухов увидел в поселке, был въезжавший в него автомобиль ПМГ. Петухов лихорадочно развернулся и погнался в обратную сторону. С этой стороны в поселок въезжал автомобиль ГАИ.

— Сережа, хватит,— сказала Нина.— Уже все.

— Сейчас,— сказал Петухов, резко выворачивая направо.— Если что: кто я — ни гугу. Первый раз видите, ясно?— Петухов сдирает с формы эмблему, чтобы по ним не определили, в каком он ПТУ, и ребята завтра смогли спокойно уехать в Сибирь. Хотел выбросить их в окно, но спохватился и затолкал за обшивку.

Неожиданно «Волга» уткнулась в лесную дорогу, и Петухов погнался по ней на недопустимо большой скорости. Дорога была настолько узка, что попалась встречный автомобиль — и случилась бы катастрофа.

— Останови, я боюсь,— виновато сказала Нина.

— Подожди, оторвемся,— сказал Петухов, оглядываясь.

Нина в ужасе смотрела на мчащиеся навстречу деревья.

Попался велосипедист. Испугавшись летящей на него «Волги», велосипедист вильнул в сторону, запутался в корневищах, упал. Подняв колесо велосипеда, но, к счастью, не задев человека, «Волга» пронеслась мимо.

— Живой,— сообщил Малыш.

Нина облегченно вздохнула.

Дорога пошла по полю, среди озимых. «Волга» мчалась по ней, поднимая за собой огромный густой шлейф пыли, сквозь который Петухову ничего позади не было видно, как ни оглядывался.

Эта дорога вывела на трассу, крытую гравием. Поднимая веер щебенки, «Волга» вы-

летела на нее. Едва не столкнулась с трактором «Беларусь».

Здесь пыли не было. Петухов все оглядывался, боясь и ожидая увидеть погоню. Тракторист что-то кричал вслед и махал руками.

— А ты боялась,— сказал Петухов.— Еще чуть отъедем, и высажу,— оглядываясь, он не заметил знаков «Ведутся ремонтные работы» и «Проезд запрещен».— Вам ничего не будет, а мне до завтра бы не попасться.

Неожиданно для него машина попала в такую колдобину, что Петухов на секунду потерял управление. Тут же машину шарахнуло Нининой стороной о приготовленные для ремонта моста бетонные плиты. Удар был настолько силен, что Петухова выбросило из салона.

Машина остановилась не сразу. Без водителя, с включенной передачей, но с закрытой заслонкой и не отжатым сцеплением, с деформированными колесами, она дергалась, будто норовя подпрыгнуть, приближаясь все ближе и ближе к бывшему началу моста, где теперь был провал. Во время столкновения Нина ударилась виском о стекло и сразу потеряла сознание. Малыш с заднего сиденья пытался дотянуться до ручного тормоза и не мог.

Петухов еле встал и что было сил ринулся за подпрыгивающей машиной. Словно дразня его, «Волга» остановилась, зацепившись днищем за бывшее начало моста и свесив переднюю часть над обрывом. Закачалась, забалансировала, как рычаг на весах,— что перетянет, жизнь или смерть.

Обрадовавшись, Петухов прыгнул с разбегу, норовя вцепиться в бампер и удержать. Он опоздал на какую-то долю секунды. «Волга» ткнулась носом в крутой склон, будто нехотя перевернулась. Раз. Второй.

Петухов закричал в запоздалом ужасе. Попрыгал вниз за машиной. Но уже ничего нельзя было исправить.

Машина подскочила. Покатилась. Ударилась в глыбу. Перевернулась и вспыхнула.

Подбежав, Петухов полез в огонь. Опаляясь, рванул ручку дверцы. Заклинило. Отскочил, снова полез.

Огонь добрался до бензобака, и все взорвалось.

Но и на этот раз Петухов уцелел. Подоспели милиционеры, выхватили из огня, повалили, затушили одежду. Петухов вырывался от них, плакал, хотел немедленно покончить с собой. Но ему предстояла другая расплата — совесть.



АРКАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ИНИН (родился в 1938 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Кинодраматург и писатель-сатирик, член Союза писателей СССР. Автор нескольких сборников юмористических рассказов. По его сценариям поставлены кино- и телефильмы: «Сергеев ищет Сергеева», «Отважный Ширак», «Побег из дворца», «Краткие встречи на долгой войне», «Вперед, гвардейцы!», «Между небом и землей», «Однажды двадцать лет спустя», «Узнай меня», «У матросов нет вопросов», «Отцы и деды», «Одиноким предоставляется общежитие», «Не забудьте выключить телевизор», «Танцплощадка».

Фильм по литературному сценарию «Единожды солгав... или Мужчина в расцвете лет» поставил на киностудии «Ленфильм» режиссер Владимир Бортко.

АРКАДИЙ ИНИН ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ... ИЛИ МУЖЧИНА В РАСЦВЕТЕ ЛЕТ

С первыми титрами фильма зазвучала прекрасная музыка Шопена. Играл на рояле художавый светловолосый мальчик с вдохновенным иконописным лицом. Длинные гибкие пальцы скользили по клавишам, то словно даже и не касаясь их, то глубоко утапливая клавиши мощными аккордами.

Шли титры. Играл мальчик. Лилась волшебная музыка в идеальном исполнении.

Хотя нет, это только казалось, что в идеальном. За спиной мальчика возникла величественная старуха, напоминающая известный портрет актрисы Ермоловой: прямая спина, длинное платье, высокий ворот, охваченный жемчужной ниткой.

— Нет! — строго сказала она. — Здесь смена метроритма.

И качнула маятник стоящего на рояле метронома. Он затикал, отсчитывая мгновения.

— И еще, — она указала на ноты. — Здесь не «до», а «до-диез».

— Но его нет в ключе, он проходящий, — робко заметил мальчик. — Это нюанс...

— Даже в нюансах нельзя врать! — непреклонно оборвала она. — Запомни с младых ногтей: единожды солгав...

И появился титр-название фильма: «Единожды солгав...»

Впрочем, тут же был предложен другой вариант: «...или Мужчина в расцвете лет».

И строгий метроном сменился другим счетчиком времени — затейливыми старинными часами с бронзовыми фигурками вокруг циферблата, изображающими аллегорично человеческой жизни — вечный круговорот, в котором начало уже таит конец, а конец вновь предвещает начало.

Часы стояли на столике в мастерской художника, заполненной десятками картин, этюдов, эскизов. И люди на этих картинах — лица молодые и старые, веселые и печальные, — казалось, слушали тиканье старинных часов и сливающиеся с ним ласковый шепот, тихие стоны, нежные вздохи.

Все это оборвалось мелодичным боем часов. На тахте расслабленно замерли женщина лет двадцати двух и сорокалетний

мужчина. Она была хороша собой, белокурые волосы разметались по подушке. И он был еще хоть куда — плечист и усат. Они лежали и слушали перезвон часов.

Когда умолк последний удар, она тихо засмеялась:

— Как это у тебя всегда получается... кайф под малиновый звон!

Он тоже улыбнулся, однако заметил укоризненно:

— Между прочим, счастливые часы не наблюдают.

Она обняла его, зашептала горячо:

— Что ты, я счастлива, мне так хорошо с тобой, Никита!

Он обнял ее и пальцами нежно провел по щекам, губам, крутым изгибам тоненьких бровей. Она млела от этих нежных прикосновений. Но вдруг Никита гулко закашлял.

— Ну вот! — огорчилась она. — Я же говорила: выпей молока с содой, выпей...

— Ерунда, Ленка! — отмахнулся он.

— Нет, не ерунда, простуда пойдет дальше — в легкие. Я тебя заклю перцовым пластырем...

— Под расстрелом! — отпрянул он. — Потом отдрать... Грудь лысеет!

— Ничего, потерпишь... Мужик!

Лена перегнулась к висящей на спинке стула модной холщевой сумке-мешку, достала пластырь. Никита обреченно следил, как она наманikyренными коготками снимала защитный слой. Он подтянул одеяло к подбородку, но она решительно сдернула одеяло и прилепнула пластырь на его мохнатую грудь.

— Дня три не снимай — и порядок!

— Тогда сама и отдерешь, только ласково.

— Вряд ли. Мы на этой неделе не увидимся.

— Ну, Ленка... — огорчился он.

— Не хнычь. Я и так уж столько пропустила — выпрут из института!

— Ну и потеряет страна одного инженера-электрика.

— Электронщика. Усвой наконец разницу.

— Я ее ненавижу, эту электронику — нашу разлучницу!

Никита вновь обнял ее. Лена приникла к нему.

— Хорошо бы кофейку, — сказал он.

— Нет, все, пора, — мягко отстранилась Лена.

— Куда это тебе пора? — изумился он.

— Не мне — тебе пора. Тебе! — засмеялась она.

Никита высадил Лену из голубых «Жигулей» возле студенческого общежития. На прощание она чмокнула его в щеку.

Он проводил взглядом ее стройную фигуру, пока она не исчезла за дверью, и

поехал.

Ехать было недалеко, несколько поворотов по уже безлюдным улицам, проезд по широкому проспекту, и машина свернула в тихий переулок, где высилась стройная башня светлого кирпича.

У дома скопилось много машин. Никита припарковался на прямоугольнике с цифрой «7». Такими клетками была расчерчена вся стоянка — здесь ощущался железный порядок.

Одна только черная «Волга» стояла поперек дорожки, ведущей к подъезду. Никита, усмехнувшись, ткнул ногой в ее шину и глянул на окна дома. Почти везде горел свет. Это был кооператив полуночников — творческой интеллигенции.

В квартире Никиты тоже уютно светился торшер с зеленым абажуром. Под торшером за столиком сидел мужчина лет уже за пятьдесят, со скуластым лицом хитроватого сельского мужичка. Жена Никиты — изящная, коротко стриженная, в свитерке и джинсах — наливала мужичку чай из пузатого чайника среднеазиатской росписи.

И опять Никита словно подгадал нарочно — появился в комнате одновременно с гулким ударом больших напольных часов.

— Устал? — заботливо глянула жена. — Ужинать будешь?

— Обязательно. И дядя Коля чаем сыт не будет.

— Иринушка, не хлопочи, — сказал

гость, — мы сами на кухне повечеряем.

— Зачем же на кухне, Николай Степанович, я сейчас...

Ирина быстренько удалилась. Никита налил себе чаю, с наслаждением сделал большой глоток.

— Дядя Коля, опять ты «Волгу» не так паркуешь. Нам председатель жээска плешь проел: нельзя загораживать подъезд к подъезду на случай подъезда пожарников или скорой помощи...

— Типун на язык твоему председателю! — воскликнул Николай Степанович.

Никита довольно засмеялся.

— Гляди, товарищ Воеводин — мужик решительный, военный.

— Почему военный? Живописец...

— Но — майор, воспитанник студии Грекова. Он тебе быстро номера снимает!

— Ничего, вернем, — скромненько сказал Николай Степанович.

Ирина вкатила сервировочный столик с едой.

— Ах, кормилица! — восхитился Николай Степанович. — Не ценишь ты, Никитушка, свое счастье.

— Он ценит, ценит, — с улыбкой заверила Ирина.

Никита поощрительно, не вставая, приобнял жену, и она расцвела от этой скупой ласки.

— Кушайте на здоровье!

— А вы-то*что не с нами? — огорчился Николай Степанович.

— Я на ночь ни-ни! Да и вам поговорить надо, — сказала Ирина, удаляясь.

— Поговорить? — удивился Никита.

— Ага, Никитушка, потолковать кое о чем, — подтвердил Николай Степанович. — Я потому и засиделся, все ждал, пока ты в мастерской эскизы дописывал.

Никита глянул на гостя. Но если у того и имелась иная точка зрения на его занятия в мастерской, то обнаружить это было невозможно: глаза Николая Степановича были чисты.

— Да, попотел я сегодня!

Никита принялся за еду — плотно, с аппетитом. Приятно было посмотреть на подкрепляющегося после многотрудной работы мужчину в расцвете лет.

Вот только опять его одолел кашель. Из кухни возникла обеспокоенная Ирина.

— Я говорила: поставим банки! Пожалуйста, Ника, милый...

Никита отмахивался от нее, хрипя сквозь слезы:

— Какие банки... Мне просто... не в то горло попало...

Ирина с сомнением покачала головой и удалилась.

Никита прокашлялся и опять стал есть — обстоятельно, молча, не проявляя никакого интереса к тому, о чем пришел поговорить гость. И Николай Степанович не выдержал:

— Дело вот какое, Никитушка... Наш Зумбаревич, ну ты знаешь, реализатор Худфонда, привез из Новоборска любопытную работенку.

Николай Степанович умолк, ожидая все-таки заинтересованности. Но не дождался. Никита равнодушно жевал. Николай Степанович вздохнул и выложил уже все.

— Там дворец культуры «Металлург» отгрохали. Шикарный, монументальный. И требуется столь же масштабное оформление. Желających, сам понимаешь, навалом. Но мы полагаем, — он произнес это «мы» с нажимом, — поручить дело тебе.

— Точнее — нам с тобой? — впервые подал голос Никита.

— Ага, нам с тобой, — простенько согласился Николай Степанович и чиркнул авторучкой на салфетке. — Сумма будет примерно такая. Впечатляет?

По быстрому взгляду Никиты было ясно — впечатляет. Но он небрежно отбросил бумажку.

— А сроки?

— Работы там годика на два.

— Что-о? Дядя Коля, мне не хватает вре-

мени на что-то для души, а уж на это...

— А что это, что? Это не шашка какая-нибудь, а весьма творческая штучка. Во-первых, такого формата еще никто не делал. Во-вторых, они на панно хотя бы не сталева-кочегара абстрактного, а вполне конкретно: групповой портрет лучшей бригады. Сегодняшние лица — и на века!

— Да?..

Никита, наконец, заинтересовался. Совсем слегка, но и этого Николаю Степановичу было достаточно. Он ослабил напор.

— Ты, конечно, не спеши, покумекай... Но дело стоящее.

Никита не ответил, отодвинул пустую тарелку, встал.

— Ну, теперь — кофейку.

— На ночь? — усомнился Николай Степанович.

— А чего, взбодримся перед сном!

Ирина на кухне мыла посуду.

— Кофеек? — понимающе сказала она. — Молоко я согрела...

И тихонько, как и все, что она делала, выскользнула из кухни, на этот раз не предложив своих услуг — видимо, приготовленные кофе было занятием мужа. Действительно, Никита достал банку кофейных зерен, медную старинную мельницу, засыпал в нее кофе, чуть отсыпал назад, снова добавил два зернышка... Все это он делал сосредоточенно, будто аптекарь, дозирующий миллиграммы лекарства. Когда точная доза была отмерена, Никита стал вертеть ручку мельницы.

Николай Степанович терпеливо выждал всю процедуру, затем без нажима выкинул свой очередной козырь.

— А для души, Никитушка, тоже кое-что приплыло. Три госзаказа Министерства культуры. Один: человек и космос.

— Да? — Никита опять заинтересовался коротко, но на этот раз несомненно.

— Космос — это для тебя, — Николай Степанович уточнил: — Для тебя одного.

— Да уж, это как-нибудь без соавторов, — усмехнулся Никита.

Николай Степанович ничуть не обиделся, только поморщился от скрипа зерен в кофейной мельнице.

— Далась тебе эта трещалка допотопная! Я б тебе кофемолку достал...

— Спасибо — нет. Меня давно отец научил: от кофемолки запах, от мельницы — аромат.

Никита насыпал смолотый кофе в джезве, налил воды — не из крана, а из какой-то колбы. Потом еще — как было с зернами — добавил буквально пару капель. И наконец поставил джезве на плиту.

Николай Степанович вновь терпеливо дождался конца священнодействия и продолжил:

— Насчет госзаказа, само собой, вжива-



Ирина, жена Никиты — актриса Е. Соловей

ние в тему, командировка на космодром... Но еще — маленькая артподготовочка.

Никита не отрывал глаз от кофе. Дядя Коля пояснил:

— У нас на днях собрание. По Постановлению. Так надо бы тебе выступить. О повороте лицом к сегодняшним проблемам, к современности... Ну, чтоб поняли: кому как не тебе доверить космическую тему...

— Стоп! — оборвал его Никита.

Кофейная пена подползла к самому верху джезве — ни миллиметром ниже, но и ни капли через край. Никита легким движением снял сосуд с плиты, дождался, пока пена осела, долил теплого молока, приготовленного Ириной, помешал и снова поставил на плиту.

Николай Степанович мягко вернулся к своей теме.

— А с новоборским дворцом есть закавыка. Конечно, мы, — он снова подчеркнул это «мы», — застолбим за тобой. Но положено еще, чтоб архитектор внес в проект оформления твою фамилию...

— Наши фамилии, — не упустил возможности поддеть Никита.

— Ага, наши. Ну вот, архитектором там — Запольский.

— Санька?

— Он. Дружок твоего детства.

— Так я его с детства и не видал! Нет, не буду звонить...

— Звонить не надо. Завтра открытие выставки Куделькиной.

— «Ты жива еще, моя старушка!» — весело пропел Никита.

— Жива, жива... А Саня ей сродственник и будет на вернисаже...

— Стоп!

Никита уловил точный момент, когда черно-молочная пена вновь достигла края джезве, быстро снял кофе с плиты, процедил его через ситечко, разлил в две чашки — ровно по золотую каемочку и объявил:

— Кофе по-варшавски! Он же — кофе пенсионный! Слабый, тебе, дядя Коля, на ночь в самый раз.

Дядя Коля не успел ни поблагодарить, ни попробовать: со двора донесся душераздирающий вой сирены. Узнав голос противоголоного устройства, он заполошенно метнулся к окну.

У распахнутой дверцы черной «Волги» высилась внушительная — даже при взгляде сверху — фигура, в которой несмотря на штатскую одежду угадывалась стать бывшего военного.

— Мороз Воеводин дозором обходит

владенья свои! — загоготал Никита. — Беги, дядя Коля! Он дает тридцать секунд на размышление, а потом шины прокалывает!

Ирина стелила супружескую постель, заводила будильник.

Никита чистил зубы в ванной. Он энергично шуровал щеткой по крупным идеальным зубам, и усы его бодро топорщились.

— Ника, ты идешь? — позвала из спальни жена.

— Спешу, лечу! — откликнулся он. Прополоскал рот и опять зашелся в кашле. — Ой, Ника! — закричала Ирина. — Все, ставим банки!

— Сказано: нет! Как я потом появлюсь — пятнистым леопардом!

— Где... появишься? — удивилась жена. — А на худосвете! — мгновенно нашелся Никита, и сам захохотал своей шутке.

Но вдруг оборвал смех — вспомнил. Оглянулся на дверь ванной, расстегнул пижаму и стал отдирать пластырь, поставленный Леной. О, это была мучительная процедура! Каждый миллиметр давался с болью, с потерей растительности груди. Эта медленная процедура стала невыносимой, он зажмурился, рванул весь пластырь разом, сдавленно вскрикнул и стал растирать ладонью многотрадальную грудь. Потом выбросил пластырь в унитаз, спустил воду, проследил за исчезновением улики и отправился в спальню.

Ирина спиной к нему рылась в тумбочке, приговаривая:

— Нельзя запускать, простуда уйдет в легкие... Но если тебе так неприятны банки... хорошо, тогда уж хотя бы это...

Она повернулась от тумбочки, Никита увидел в ее руках перцовый пластырь, отшатнулся, но Ирина ловко приклепнула новый пластырь точно на место старого. Никита аж застонал.

— Больно? — обеспокоилась Ирина.

— Приятно! — буркнул Никита.

И рухнул в кровать. Жена тоже скользнула под одеяло.

— Как сегодня поработал?

— Устал, — истощающе ответил он.

— Да-да, я почувствовала, когда ты пришел. Ты как-то и с дядей Колей был резок... Ой, я уже от тебя заразилась! Ну какой Николай Степанович — дядя Коля? Ты что, и в Худфонде называешь его дядей?

— Что ты! — испугался Никита. — Там я его зову тетей.

— Юморист, — ласково прильнула к нему жена.

Никита сразу поскущел. Но покорно потянулся к ночнику. И прежде чем погас свет,

мы увидели выражение его лица — лица человека, приступающего к тому, что во всем мире истощающе именуется: «исполнение супружеских обязанностей».

Открытие персональной выставки народной художницы Куделькиной Н. А. — о чем свидетельствовал плакат — было достаточно торжественным и многолюдным. Ответственное лицо перерезало ленточку, толпа повалила в зал вслед за самой Куделькиной — маленькой голубоглазой старушкой.

Никита шел вдоль портретов и композиций из цветов, но вглядывался не столько в полотна, сколько в толпу. Здоровался, кивал, перебрасывался словечком и все искал кого-то взглядом.

Но вдруг он остановился, изумленный, перед табличкой «Портрет психиатра». Все традиционные представления о людях этой профессии: тонкие, умные лица, некое духовное напряжение, особые, заглядывающие внутрь тебя глаза, — портрет опровергал. С полотна смотрел румяный молодой мужчина, полный радости жизни.

Кто-то мощно хлопнул Никиту по плечу.

— Похож, а?

Никита обернулся. Перед ним стоял прототип — живой и такой же румяный.

— Мишка!

Они обнялись — не коротко, дежурно, а с удовольствием тиская друг друга. Но на них стали оглядываться, и они повели себя приличнее.

— Как это ты на кисть попал? — поинтересовался Никита.

— Наталья Алексеевна — моя пациентка. Я ей сон наладил, пару стрессиков снял... А как тебе вернисаж? Я без понятия, но, по-моему, класс, красиво...

— Лабуда! — оборвал Никита. — Нафталин моей бабушки, пыль столетий... Паразитально и прекрасно! — вдруг продолжил он безо всякого логического перехода. — Какой рисунок, какая композиция!

Миша уставился на него обалдело и лишь затем увидел то, что Никита засек секундой раньше: рядом стояла сама Куделькина. Никита галантно поцеловал ее сухонькую ручку.

— Вы неисчерпаемы! Вечная молодость!

— Спасибо, голубчик, спасибо, не преувеличивайте...

— Я преуменьшаю! — пылко воскликнул Никита.

Он бы еще пел соловьем, но, по счастью, старушку обступили другие поздравляющие, и наши друзья тихонько ретировались.

— Ну, брат... — Миша все не мог придти в себя. — Помрешь — куплю твое тело! Буду искать центры мгновенной мимикрии.

— Деньги за труп — вперед! — потребовал Никита.

— Нет, ну скажи: вас этому в худинституте обучают?

— Жизнь научит,— скромно объяснил Никита.

И опять надрывно закашлял.

— Так! — сурово сказал Миша.— Куришь? Много?

— В норме...— прокашлял Никита.

Миша вдруг профессиональным жестом закатил веко Никиты. Оттуда страшно вылилось глазное яблоко.

— Так! Ты — наш. Пора тобой заняться. Как сердце?

— Не камень,— сообщил Никита.

— Остришь? Посмотрим, как будешь остричь после диагноза,— Миша достал записную книжку, полистал.— Назначаю тебе на... скажем, на четверг. В два часа. Устраивает?

— При условии. Я к тебе явлюсь в четверг, а ты едешь со мной сейчас. В Доху.

— Куда, куда?

— Темнота! В Доху — Дом художника. Взбодримся кофейком!

Подхватив Мишу под локоть, Никита повел его из зала. Миша слабо сопротивлялся.

— Погоди, неудобно... Мы вернисаж пришли посмотреть...

— Я лично пришел высмотреть только родственника бабушки Куделькиной. Саньку Запольского.

— А-а, большой архитектор? Вот уж кого не видел лет сто!

— А с тобой мы сколько не виделись? Старичок, тыщу лет!

Последние слова Никиты были обращены уже вовсе не к Мише, а к поднимавшемуся по лестнице в зад бородатому и лохматому человеку в джинсах и свитере грубой вязки.

— Нет, две, три тыщи лет! — шумел Никита, тиская в объятиях бородатого.— Живой?

— Вроде...— Бородатый улыбнулся по-детски застенчиво и радостно.

— Знакомьтесь,— сказал Никита.— Психиатр по службе и вполне нормальный человек в жизни Михаил Городков! Большой художник Стас Лапшин, живет в скиту и пишет шедевры!

Миша и Стас обменялись рукопожатиями. Никита обхватил их обоих за плечи.

— А теперь все — в Доху!

Миша уже смирился с его напором, а Стас протестовал:

— Не могу, я к Наталье Алексеевне — все же ее ученик...

— Там сейчас учеников и учителей — не протолкаться! А мы лётком в Доху и через час — обратно.

— Нет, ко мне электричка только три раза в день, а еще бы успеть в Лавку. Аква-

рель нужна, кисти — хорошо бы барсучьи, фиксатив... Все клянчить придется...

— Зачем клянчить? Улыбаться надо! Это я тебе обеспечу — и сразу в Доху.

— Не могу,— твердо повторил Стас.— Я до пятнадцатого на корешках живу, на былинках, меня дед-травник пользует.

— Тогда так,— Никита принимал решения мгновенно.— Едем в Лавку, я тебя отовариваю, ты возвращаешься к учительнице, а мы с Михаилом — в Доху. Помянем твое подорванное травами здоровье.

Машину Никита вел одной рукой, а другой жестикулировал, рассказывая друзьям что-то, от чего они смеялись. Еще он использовал свободную руку, чтобы помахать знакомым прохожим и милиционеру, тоже знакомому, судя по ответному приветствию.

У Лавки художника Никита выскочил из машины. А для Стаса и Михаила настал обычный момент неловкости, когда незнакомые люди не знают, о чем говорить. Наконец Миша попробовал завязать беседу.

— А что, вы в деревне постоянно живете?

— Нет, и сюда наведываюсь. Но когда ухожу в работу, так только там. Здесь в суете не сосредоточиться.

— А как молодежь — из деревни не убегает?

— Не убегает. Уже сбежала вся. Наша деревенька из неперспективных. Десяток хат, два десятка стариков да я.

Мише оставалось только поинтересоваться видами на урожай, но появился Никита с пакетом и вручил его Стасу.

— Согласно вашему заказу! Только кистей барсучьих нет. Взял колонковые. Годится?

— Колонок?! — Счастливая детская улыбка вновь неузнаваемо преобразила сумрачное бородатое лицо Стаса.— Ты волшебник!

— Волшебница — Неля. Нелечка, ошибка юности мятежной.

— Твоя ошибка? Или ее? — уточнил Миша.

— Обоюдная. Ну, что, может, все-таки в Доху?

— Нет...— Стас страдал, что вынужден отказывать другу после такого подарка.— Ну правда, я никак... Эти травы...

— «Травы, травы, травы не успели от росы серебряной загнуться!» — пропел Никита.— Ладно, а когда травы кончаются?

— Пятнадцатого.

— В четверг? Значит, встречаемся в четверг.

— В четверг ты у меня,— напомнил Никите Миша.

— А-а... Тогда, Стас, в пятницу. В три, в Дохе.

— Есть.

— А сейчас мы тебя забросим к учительнице.

— Я сам...— запротестовал Стас.

Но Никита оборвал его с восточной интонацией:

— Нэт! Ты мой гост!

Старинный особняк Дома художников был многолюден и шумен, как небольшой железнодорожный вокзал.

Никита вел Мишу лабиринтами коридоров и холлов, поворотами разнообразных лестниц — от широких мраморных до железных винтовых. По пути Никита пожимал руки, сливался в кратких объятиях, затевал и обрывал на лету разговоры, приказывал Мише:

— Стой здесь!.. Я сейчас!.. Погоди секунду!..

И исчезал за разными дверьми, впрочем, действительно возвращаясь через секунду-другую.

Наконец они добрались до бара в подвале, отделанного и расписанного под старинную крепость. Пухленькая барменша с волнующей родинкой на щеке расцвела:

— Здравствуйте, Никита Григорьевич! Давненько вы...

— Дела, Валечка, дела! — Он представил Мишу: — Мой друг Михаил Семеныч. Прошу любить и жаловать!

— Как скажете, Никита Григорьевич.

Валечка всем своим видом свидетельствовала готовность по одному его слову жаловать и даже любить хоть сейчас.

— Нам перекусить и кофеек,— изложил программу Никита.

— Кофе — вы сами? — привычно спросила Валечка.

— Естественно. Ты только дай жар.

Валечка включила в розетку нагреватель под мангалом, заполненным песком — для приготовления кофе. И занялась маленькими бутербродиками-канапе со всяческой вкусятинной.

А друзья присели за столик. Никита пообещал:

— Песок разогреется, и я тебя потешу божественным напитком. А пока, старичок, давай излагай про жизнь.

Но Миша ничего изложить не успел: к ним подошел аккуратнейший седой мужчина, произнес строго и отрывисто:

— Крюков! Наконец-то! Взносы!

Никита широким жестом протянул ему купюру, вновь перейдя на восточный слог:

— Палто нэ надо!

Мужчина не улыбнулся, сказал так же отрывисто:

— Билет!

Никита подал ему членский билет Союза художников.

Мужчина вынул из кармана железную коробочку, оттуда — печать, любовно подышал на подушечку, протемпелевал билет,

вернул его Никите.— И мне твоё пальто не надо! — И гордо удалился.

Никита засмеялся и опять предложил Мише:

— Ну, старичок, излагай про жизнь...

Но подлетела Валечка с подносом бутербродиков. В каждый была воткнута цветная пластмассовая вилочка.

— Приятного аппетита, Никита Григорьевич!

— И — Михаил Семенович,— напомнил Никита.

— И Михаил Семенович, конечно!

Покладистая Валечка сгрузила все на столик и вернулась за стойку. Никита снова начал:

— Ну, старичок, излагай...

Но теперь их прервала взлохмаченная девушка с безумным взором активистки. Она подлетела и заговорила с придыханием:

— Умоляю... юбилей Бурьяльского... семьдесят пять... чувствуем в рабочем порядке... две минуты... умоляю...

— Е-мое! Неужто семьдесят пять? А ведь как огурчик! — Никита приказал Мише: — Сиди, жди, я сейчас...

Вслед за взлохмаченной активисткой он поспешил лабиринтами коридоров, подбежал к двери, за которой раздались аплодисменты, влетел в дверь... Аплодисменты все гремели... Потом они стихли, Никита вылетел из двери и побежал обратно.

Но за поворотом повстречался с Николаем Степановичем — темный костюм, галстук, солидный портфель.

— Ты?.. А выставка?

— Я там был. Но Саньки не было.

— Жаль... Придется звонить.

— Успеется, дядя Коля, не горит.

— Именно горит,— мягко перебил Николай Степанович.— Он уже бумаги по Новоборску сдает, и если не вставит нас...

— Ладно, звякну вечером.

— Сейчас, Никитушка, сейчас. Я — в Управление культуры, а тебе вот ключи от кабинета.

Николай Степанович дал Никите ключи и ушел. Никита, чертыхнувшись, поплелся в его кабинет.

Там все было солидно и уютно. Мебель, если не прошлого, то уж не позже начала нынешнего века, вполне сочеталась с современным многоклавишным селектором. Никита уселся за стол, поиграл кнопочками, набирая номер, и... Он ни на миг не задумался, не перестроился, а мгновенно и полностью видоизменился, обрел совершенно иной, драматический голос и даже иное, драматическое лицо, хотя этого и не было видно на другом конце провода.

— Алло... Будьте добры, Александра Николаевича. Саня? Это я... Конечно, не узнаешь, время идет... Да, представь, именно Никита.

Спасибо, Саня, я знал: не узнать меня ты можешь, но забыть... Да нет, ничего со мной, просто — жизнь. Обычная, быстротекущая... Что — голос? Какая жизнь, такой и голос. Да ничего не случилось. Просто, как Володя Высоцкий пел: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята...» Помочь? Спасибо, но не в чем. А кому еще звонить, когда на душе хреново? Да, только старому другу... Конечно, мало, редко... Конечно, надо бы свидеться... Не знаю... Хотя вот что: в субботу десять лет моей надежде... Ну кто у нас надежда? Дети! Представляешь, Алешка — уже юбиляр... Я вообще-то не собирался, но сейчас подумал: ведь повод, а? Нет-нет, только свои, родные, самые... Ладно, не бери в голову, старичок, продержусь я как-нибудь до субботы. А там свидимся, повращуешь мне душу... Жду, спасибо, я знал, я верил!

Никита бережно — еще в своем драматическом образе — положил трубку. И вновь — без перехода, без полутонов — козликотом выскочил из кабинета.

— А Михаил Семенович ушел,— доложила Валечка в баре.

— Вышел? — уточнил Никита.

— Нет, ушел. И просил передать: в четверг, в два часа.

На столике от бутербродов остались только разноцветные вилочки. Никита усмехнулся и достал бумажник. Валечка, принимая деньги, сказала вполголоса:

— Вы, значит, свободны, Никита Григорьевич? И у меня пересменка...

— Не могу,— перебил он.— Работа. Очень срочная.

— Ну, Никита! — Валечка чуть придвинулась пышной грудью.— Никита, а?..

— Нет-нет, сегодня — работа.

Он хотел уйти, но Валечка вдруг спросила грустно:

— Никита... только честно... я плохо выгляжу?

— С чего это ты взяла?

— С того,— Валечка усмехнулась.— Что-то мужчины стали проверять у меня сдачу. Чего раньше не наблюдалось.

Никита тоже засмеялся, потом сказал проникновенно:

— Все о'кей, Валюша. А у меня просто работа.

Он пошел к выходу, Валечка смотрела вслед, обиженно покусывая губку. И вдруг окликнула:

— Никита Григорьевич!

Он обернулся. Она сказала с явным удовольствием:

— Чуть не забыла. Михаил Семенович еще просил передать, что вы — большая свинья!

ской, уже вечерело. Он поднялся лифтом до последнего этажа, затем еще один пролет до чердака прошагал пешком, открыл мастерскую... И с удивлением обнаружил, что там горит свет.

Студентка Лена, с распущенными по спине белокурыми волосами, варила на плите кофе.

— Пришел! А я заждалась!

Она обняла Никиту, стащила с него пиджак, усадила в старинное вольтеровское кресло. Он молча подчинялся всем этим действиям, а Лена тараторила:

— Я думала, мы с тобой на следующей неделе... А Машка дала мне все конспекты, и еще доцент Зуев заболел, лекции отменили, и я так обрадовалась... А ты что, не рад?

— Ужасно рад,— безрадостно сказал Никита.

— Ой, ты не сердись? Я, конечно, бессовестная — пользуюсь ключом... Но мне так захотелось тебя увидеть!

— Вообще-то я мог не придти. Или придти с... коллегами.

— Не-ет, у меня знаешь какая интуиция! Лена засмеялась, прильнула к Никите.

— А ты уже лучше, да? Уже не кашляешь?

Она ловко расстегнула его сорочку и, довольная, прихлопнула ладонью перцовый пластырь на груди.

— Носишь? Умница!

Лена еще крепче прижалась к нему. Но Никита ускользнул из ее объятий к плите, схватил кофеварку:

— Опять кипит! Я ж тебе твердил: никакого кипения, пенка, только пенка!

В субботу дома царил праздничный суета. Стол был уже накрыт, но Ирина все сновала по маршруту комнаты — кухня — комната, что-то еще приносила, ставила, раскладывала.

Возле пианино беседовали Никита и двое уже знакомых по прологу этой истории персонажей: светловолосый, с иконописным лицом мальчик и седая статная женщина в длинном платье с жемчугом вокруг ворота — а ля портрет актрисы Ермоловой.

Она спросила скользящую в очередной раз на кухню Ирину:

— Тебе помочь?

— Спасибо, Анна Ильинична, не надо, все готово...

Сотча, видимо, свой долг исполненным, Анна Ильинична продолжила беседу с Никитой.

— Алеша должен еще пожить у меня. Хотя бы месяц. А лучше — до самого конкурса.

— Хорошо, мама,— кивнул Никита,— раз ты считаешь...

— Да, я так считаю. И дело не только в

Когда Никита подъехал к своей мастер-

наших ежедневных напряженных занятиях. Дело еще в атмосфере, отличной от ваших суетливых будней.

— Да, мама, конечно, да,— кивал Никита.

А мальчик слушал и молчал. А может, даже и не слышал, думал о чем-то своем, очень далеком.

Раздался звонок в дверь. Никита пошел открывать и вернулся с Николаем Степановичем, в руках у которого была большая коробка.

— С именинником всех! Алексеюшка, расти большой! — Он вручил Алеше коробку.— Целую ручки, Анна Ильинична! — И поцеловал ей руку.— Целую, ручки, Иринушка! — И поцеловал руку Ирине.

— Что там? — Анна Ильинична указала сухим перстом на коробку, которую прижал к себе Алеша.

— Откроем — поглядим,— улыбнулся Николай Степанович.

Алеша робко глянул на бабушку, та разрешающе кивнула, мальчик нетерпеливо открыл коробку и достал роскошный танк.

— Танк?! — только и вымолвила Анна Ильинична.

Но ее тона было достаточно, чтобы ощутить несоответствие этого предмета и ее внука.

А игрушка оказалась чудесная: ездилa взад-вперед, мигала разноцветными фонариками, вертела башней и строчила из пушки трассирующими огоньками. Алеша потерял всю свою задумчивость, шлепнулся животом на пол и следил за танком. Николай Степанович был, кажется, в еще большем восторге, он тоже уселся на пол и азартно нажимал на кнопки. А над ними высилась молчаливой, но красноречиво-презрительной статуей Анна Ильинична.

Послышался новый звонок в дверь. На этот раз Никита возвратился с маленьким кудряво-лысоватым человеком, прижимающим к груди плюшевого медведя.

— Саня! — сиял Никита.— Пришел, милый ты мой! Вот спасибо! Мама, узнаешь Санечку Запольского?

— Здравствуй, Александр.— Анна Ильинична снизила до улыбки.— Видишь, ты был самым маленьким в классе и боялся, что не вырастешь, а все-таки вырос.

— Ну, не намного...— смущенно улыбнулся Саня.

— Что ты — богатырь! — обнял его за плечи Никита и подвел к Николаю Степановичу.— Вы, полагаю, знакомы...

— Как же, как же,— Николай Степанович был сама доброжелательность,— куда нам, малярам, без кормильцев-архитекторов!

— Да, мы встречались, здравствуйте,— кивнул ему Саня без особого расположения.— А где же виновник...

Он наконец увидел Алешу и крайне огор-

чился:

— О-о, тупой бездетный человек! Я как-то представлял, что десять лет — это еще малыш...— Он растерянно вертел плюшевого мишку, не решаясь его вручить.— Тебе нужно совсем даже автомат или танк...

— Танк у нас есть,— успокоил Никита и пропел: — «Нам не дорог твой подарок — дорога твоя любовь!»

Из кухни появилась Ирина с очередным блюдом.

— Знакомься, Санечка: моя жена Ирина,— сказал Никита.

Саня очень смутился.

— Я был у вас на свадьбе...

— Да?! — поразился Никита.— Ну прости, кого там только не было! — И потащил Саню к столу.— Больше никого не ждем!

Гости стали располагаться. Никита усадил Саню рядом.

— Как ты? — шепнул Саня.— Твой звонок меня напугал...

— Держись! Креплюсь! — трагически прошептал Никита.— Что делать, жить-то надо...

Саня сострадательно пожал его руку у локтя.

Никита благодарно кивнул ему и встал.

— Друзья! Мои дорогие!

Он не договорил — в дверь опять позвонили.

— Я открою, открою,— вскопчила Ирина.

Она ушла и появилась с... той самой блондинкой, которую мы уже наблюдали в мастерской Никиты. Лена чмокнула в щеку Ирину, потом Никиту, потом Алешу и вручила ему подарок. Возможно, это несколько шокирует зрителей, но собравшиеся за столом восприняли все вполне спокойно. Только Саня восторженно замер при виде златокудрой красавицы

— Знакомься,— сказал ему Никита,— Леночка, двоюродная... нет, троюродная... ну, в общем сестричка Ирины из города Тамбова, студентка по части электричества.

— Электроники,— улыбнулась Лена,— никак вы, Никита Григорьевич, не запомните...

— Ну маразм, маразм, женатый старик! — засокрушался Никита.— А вот Саня у нас — молодой, потому что не женатый. Крупный, между прочим, зодчий, и это уж я ни за что не спутаю!

Саня был так поражен гостьей, что только кивал Никитиным словам и глуповато улыбался.

— Садись,— Никита усадил Лену рядом с Саней и сказал ему многозначительно: — А ты ухаживай. Лелей надежду!

Саня немедленно исполнил его указание и, не спросив, бухнул на тарелку Леночки половник салата.

Никита опять встал. И как обычно, все в нем переменялось мгновенно и неузна-

ваемо: лицо посерьезнело, глаза подернулись взволнованной влагой, голос наполнился проникновенностью.

— Мои дорогие! Мы собрались тесным кругом очень близких людей, потому что еще один год пробил на часах быстролетящего времени. Стал на год старше и этот маленький человек. Да, маленький, но уже — человек. Он пойдет в жизнь по нашим следам, но своей дорогой. Дети будут лучше нас. Потому что дети — это наше продолжение, а продолжение должно быть лучше начала. Иначе — всему конец. Я верю в лучшее, в наших детей, в нашу надежду!

Никита склонился к Алеше и поцеловал его светлую макушку.

...Потом общее застолье распалось.

Алеша играл подаренным танком, пускал его туда-сюда, переключал разноцветные огоньки.

Ирина привычно сновала между комнатой и кухней — меняла посуду, приносила сладкое.

Анна Ильинична и Николай Степанович беседовали, сидя на диване. Точнее, беседовала она, а он только кивал.

— В Алеше, — говорила она, — есть некий жизненный стержень. И главное — этот стержень не согнуть, а тем более, упаси бог, не сломать... Вы меня понимаете?

Николай Степанович утвердительно кивал — конечно, понимает.

— Алеша чрезвычайно одарен. И я ничуть не жалею, что ушла на пенсию, хотя меня просили, да-да, буквально умоляли! Но я обязана была посвятить себя... Ведь если не я, то — кто? Думаю, вам не надо объяснять?

Николай Степанович отрицательно мотал головой — конечно, не надо.

— Конкурс, к которому мы готовимся, станет для Алешки решающим. Конечно, мальчик устает, иногда позволяет себе быть неточным... Но этого не позволяю ему я! Я и Никиту с младых ногтей так воспитала: не врать. Никогда, ни в чем, ни на йоту! Впрочем, вы Никиту сами знаете...

Николай Степанович согласно кивал — конечно, знает, очень даже знает.

А Никита сидел за столом с Леной и Саней. Саня не сводил с девушки очарованных глаз, Лена выжидательно не отводила глаз от Никиты, а Никита крайне серьезно, изучающе разглядывал причудливые узоры остатков кофе в чашечке.

— Картина в общем ясная. Вот только сердце твое закрыто...

— Сердце? — удивилась Лена.

— Дна не видно, — показал Никита чашечку. — Открой-ка сердце.

— А как?

— Большим пальцем... подушечкой ско-

вырни, так чтоб дно открылось.

Лена послушно скovyрнула кофейную гущу.

— Так, хорошо. Значит, ждут тебя в основном радости... Аж завидно! На душе — легкость, в кармане — прибыль...

— Повышенную стипендию дадут? — обрадовалась Лена.

— Не упрощай, — приструнил ее Никита. — Будут у тебя добрые встречи... хорошие друзья... А может, и больше, чем друг... Вот на букву «А» прорисовывается...

— Это «Д», — возразила Лена. — Александр, это ведь «Д»?

— Нет, «А», конечно, «А»! — пламенно заверил Саня.

Никита пригласил улыбку и продолжил:

— В общем, воздастся тебе за то, что ты всем хороша. Добрая, чуткая, покладистая, хозяйственная...

Гадание все больше смахивало на рекламу. И она явно адресовалась Сане.

— Человек ты искренний и порой наивный... до беззащитности. Характер ровный, мягкий, я бы сказал, солнечный...

— Ой, — засмушалась Лена, — где вы солнце увидели?

— Вот, — показал Никита. — Круг и лучи от него.

— Да это колесо со спицами.

— Нет, именно солнце! — вновь пылко вступил Саня. — Все очень точно! И все видно и без гадания — и ваша солнечность, и искренность, и даже наивность...

Его восторги прервал звон чашки, которую Ирина уронила с блюда, но, к счастью, поймала на лету. Лена вскочила.

— Ирочка, что же ты одна, я помогу! И несмотря на протесты Ирины убежала в кухню.

Саня проводил ее восхищенным взглядом и вдруг сказал:

— Спасибо! Огромное тебе, Никита, спасибо!

— За что?

— За то, что ты меня пригласил.

— Чудак, это тебе спасибо, что пришел. Ты мне очень нужен.

— Нет-нет, кому я могу быть нужен? Нелепый человек... Я не так живу... Что я делаю, чем занят, в чем смысл...

— Старичок, не загибай. Ты — мастер! Из тех, кто творит архитектуру будущего...

— Что будущее! Вопрос — как быть в настоящем? Может, смысл совсем не в высоких материях... А в том, что называется буднями! Но чтобы в эти будни рядом был близкий, родной, понимающий тебя человек...

Никита слушал эту исповедь и с трудом тайл усмешку.

— Вот ты, Никита, живешь верно! Да, ты тоже работаешь, творишь, но потом приходишь в дом, где тебя ждут, где ты

нужен... — Саня очнулся, вспомнив изначальный повод, приведший его сюда. — Извини! У тебя тоже не все просто... Но что, скажи, чем я могу...

— Ничего, ничего, я осилю, я сам, — Никита вмиг обрел мужественно-драматические интонации. — А тебе спасибо просто за то, что ты есть! — Не давая Сане больше ничего сказать, он позвал сына: — Алеша, сыграй нам, пожалуйста!

Мальчик оторвался от танка и посмотрел — не на отца, а на бабушку. Анна Ильинична милостиво кивнула. Алеша направился к пианино. Николай Степанович и Лена исполнились подчеркнутого внимания — так обычно гости отбывают традиционную повинность выслушать вундеркинда, прежде чем приступить к десерту.

Но Алеша заиграл — и все изменилось. Позы, лица, глаза, вся атмосфера. Звуки музыки Шопена хлынули очищающим ливнем, смыли шелуху всего предыдущего суесловья, игры, притворства.

Лик мальчика — именно так и хотелось сказать: не лицо, а лик — был строг и возвышен. Все слушали музыку, затаив дыхание. Не в фигуральном смысле этого выражения, а именно — затаив.

Никита сидел за столом, слушал сына. Ирина стояла в дверях, слушала сына. А сын играл Шопена и, казалось, был очень далеко отсюда.

Но вдруг Алеша бросил короткий взгляд на мать, она приняла его, и от нее этот взгляд-искра перелетел к отцу, а от него вернулся к сыну. Казалось, все трое как-то пронзительно поняли и почувствовали друг друга. Это был святой миг, момент истины. Но — лишь момент. Мальчик доиграл, устало опустил руки. Все заплодировали. — Ты потрясающий человек! — шепнул Никите Саня.

— Я?... — удивился Никита.

— Да, ты! И я прошу тебя... мы столько лет дружны, но никогда еще вместе, а пора уж... я прошу: сделай росписи к моему дворцу в Новоборске. Это большая серьезная работа!

Вот и дождался Никита нужных слов. Не он просил — его просили. Глаза Никиты победно сверкнули, но сказал он скучным голосом:

— Именно что большая. Это же на сколько впрягаться! Я такие работы не беру один...

Саня глянул на Николая Степановича, подчеркнуто не прислушивавшегося к их беседе, но, несомненно, слышавшего все. Во взгляде Сани не было особой радости, но все же он сказал:

— Да, с Николаем Степановичем... Но я прошу тебя, Никита!

В Художественном Фонде шло собрание. За длинным столом расположился президиум: гладко выбритое руководство и бородатые творцы. Сидел в президиуме и Николай Степанович. Сидел привычно, надежно, убедительно. Посматривал в зал, прислушивался к выступающим, делал пометки в бумагах, а думал, наверно, совсем-совсем о другом. Эта система проживания в президиумах отработана у их завсегдатаев просто виртуозно.

На трибуне Никита заканчивал выступление:

— ...И я убежден, что поворот лицом к современности и современникам — это веление времени! Конечно, никто не диктует нам, художникам, сюжеты наших полотен. Конечно, важно и ценно в искусстве все — и седая старина, и фантастические картины будущего. Но нет, на мой взгляд, ничего важнее отражения нашей сегодняшней действительности во всех ее проявлениях — от сугубо земных до возвышенно космических. И дело не только в том, что именно этого ждут от нас известные постановления — дело в том, что этого ждет, этого требует от нас сама жизнь!

...После собрания народ спешил из зала.

Николай Степанович догнал Никиту в коридоре, шепнул:

— Все, Никитушка, космос у тебя в кармане!

— Ай-яй-яй, дядя Коля, это что же за космос, что помещается в кармане?

— Шути, Никитушка, шути, — благосклонно разрешил дядя Коля. — А мне сейчас из Новоборска позвонят. По итогам сообщу.

Он поспешил дальше. А на Никиту обрушилась толстуха, неимоверно затянутая — как она только дышала! — в кожаную юбку и кожаную куртку с ковбойской бахромой.

— Никита Григорьевич, ваши мысли абсолютно созвучны моим размышлениям! Я буду о вас писать... Надеюсь, вы читали мое последнее эссе о Кузеве?

— Потрясающе, Клара Петровна! — в тон ей отвечал Никита. — Художник, прославленный вашим пером, общается к вечности!

— Ну-ну, не перегибайте... Но ваше выступление меня буквально перевернуло!

Так пламенно беседовали «кукушка» и «петух», пока Никита не заметил в сторонке бородатого-лохматого художника Стаса, выжидательно поглядывавшего на него.

— Стас?.. Тысяча извинений, Клара Петровна, у меня очень срочное дело с Лапшиным!

Искусствоведша бросила на Стаса взгляд, который расшифровывался однозначно: ну что у Никиты Григорьевича может быть

общего с этим... Но улыбнулась профессиональной улыбкой обоем.

— Не буду мешать. Но мы, надеюсь, доспорим...

— Непременно, Клара Петровна, непременно! — заверил Никита так, словно речь шла о самом большом счастье его жизни.

И сбежал от нее к Стасу.

— Старичок, рад! Как я тебя не разглядел на собрании?

— А я и не был там. Не хожу на разговорилни.

— Да, сотрясение воздушей! Зато нечаянная встреча — ты!

— Какая нечаянная? — удивился Стас. — Мы же в тот раз... ну, когда ты мне колонок достал... сговорились сегодня встретиться.

Никите и полсекунды не потребовалось:

— Ты меня за склеротика держишь? Нечаянная — это в фигуральном смысле счастливая встреча! Высокий штиль, классиков надо читать! Ну, пойдем взбодримся кофейком.

— Да я...

— Что, что? Сегодня — пятнадцатое, травы твои кончились!

В баре пышка Валечка готовила для них стол: красиво раскладывала бутербродики-канапе, втыкая в каждый пластмассовую вилочку.

А Никита лично варил кофе на мангале с песком. Он был весь поглощен этим занятием, осторожно поворачивал за длинные деревянные ручки две медные турки, приглядывался к закипающему кофе, принюхивался к нему, даже, кажется, прислушивался к его тихому шипению. Стас топтался рядом и растроганно бормотал:

— Люблю я тебя, Никита... Честно, люблю... Потому что ты — человек!

— Все мы люди, — рассеянно отвечал Никита, не отрывая глаз от кофе.

— Нет, ты не просто человек, ты — хороший человек! Вот мы годами не видимся, а потом ты встречаешь меня и достaeшь мне колонок, который вообще достать невозможно, и бросаешь все дела, и сидишь со мной...

— Стоп! — оборвал его Никита.

Он виртуозным круговым движением выудил из песка обе турки, выхватил гревшиеся в песке крохотные чашечки, быстро, не давая осесть, вылил в них кофе и лишь затем перевел дух, как после многотрудной работы.

— Вот теперь мы действительно посидим!

— Приятного аппетита, — сказала Валечка, добавив к живописному набору бутербродов небольшой графинчик и салатницу со льдом.

Стас потянулся за бутербродом. Но Ни-

кита его остановил:

— Жратва потом! Не будем портить вкус благородного напитка.

Он бросил в стакан кубик льда, стал наливать из графинчика.

— Я же не... — отшатнулся Стас.

— Все мы — не! — строго сказал Никита. — Это вода. Кипяченая. Предлагается кофе по-турецки, стиль Осман-паша. Глоток горячего кофе, глоток ледяной воды, и снова — глоток кофе. Ну!

Стас неуверенно отхлебнул кофе из чашечки, потом опасно глотнул из стакана, снова из чашечки — и блаженно улыбнулся.

— Фантастика!

— Хороший рецепт, — скромно сказал Никита.

Стас повторил всю систему глотков и снова забубнил растроганно:

— Нет, Никита, все-таки ты... Все умеешь, все успеваешь, все тебе дано! Хороший человек, хороший друг...

— Хороший художник, — подсказал Никита.

Стас поперхнулся кофе. Если Никита действительно умел все, то Стас, похоже, не умел одного — врать. Но ситуация обязывала, и он попытался:

— Да, и художник, конечно... Современный, масштабный... — И вдруг искренне ухватился за спасительное воспоминание. — А знаешь, я помню твои курсовые рисунки! Отличные работы, настоящие. И диплом... Поразительный! Кажется «Чистое дыхание», да?

— Да, — коротко ответил Никита.

На миг в его глазах дрогнуло что-то болезненное. Но тут же они вновь повеселели. Он пододвинул Стасу бутерброды.

— Теперь можешь и закусить.

— Не-не, — замолат головой Стас, — я уж твоей прелести накушаюсь, — он снова отхлебнул кофе. — Ты этот рецепт в том году из Турции вывез?

— Нет, давно еще, из Италии.

Это было сказано зря, ибо неволью вывело Стаса опять на большую тему.

— А-а, это когда ты ездил на нашу академическую дачу? После диплома?

— Да, — так же коротко ответил Никита.

— Знаешь, я тогда не понял, почему ты не защищался «Чистым дыханием»... Вместо него вдруг какой-то «Праздник кукурузы»...

— «Праздник урожая», — поправил Никита.

— А-а, да, урожая... Ну и как было в Италии?

— Увлекательно. Вот, к примеру, кофе по-турецки, стиль Осман-паша...

— Нет, серьезно!

— Серьезно? — Никита помедлил. — Серьезно я увидел там кое-каких мастеров.

Рафаэля, Микеланджело, Леонардо... Увидел и понял, что мы все — не Рафаэли.

— Ну, открытие...

— Да, открытие! Потому что, если мы не Рафаэли, значит, мы все — дерьмо!

— Ну-ну,— добродушно улыбнулся Стас.

— Да-да,— улыбнулся в ответ Никита и обнял Стаса за плечи.— Ты вот мне в любви клянешься, и я тебя, старичок, тоже люблю. Потому могу поделиться системой.

— Какой системой?

— Моей. И тебе разрешаю пользоваться. Но больше — никому! — Никита шутливо погрозил Стасу пальцем, еще крепче обнял за плечи и зашептал ему на ухо: — Система такая. Рафаэлей больше нет. А кто говорит, что есть — врут. Значит, надо врать в ответ. Надо говорить: да, я Рафаэль — и делать свое дело!

— Свое искусство? — понимающе уточнил Стас.

— Какое искусство! — усмехнулся Никита.— Сегодня?.. В наших обстоятельствах?.. Что может художник?

— А что художнику надо? — удивился Стас.— Если б мы кино снимали, там — целая фабрика... А у нас? Краски, кисти, холст... Вот и все для искусства.

— Да нет, ты вдумайся в мою систему: Рафаэлей нет, значит и искусства нету, а есть дело, только дело...

И тут Стас рассвирепел. Его добродушное лицо налилось гневом, борода встопорчилась, он заговорил сбивчиво и яростно:

— Есть искусство! И я не дело делаю, а творю... Да, творю... как умею... но честно! А ты... такие, как ты... вы всегда врете! Да, вы... вы дерьмо... вы порча на искусстве!

Стас выкричался и затих. Никита глядел на него не столько обиженно, сколько удивленно.

— Да-да... Огорчил ты меня, Станислав Петрович...

От этих простых слов Стас опомнился, забормотал умоляюще:

— Прости... Чего-то я набуровил... Прости!

— Не-ет, не прощу-у,— задумчиво протянул Никита.

Он смотрел не на Стаса, а оглядывал столики, где степенно беседовали солидные мастера кисти и резца. В углу оживленно трещала кожаная толстуха Клара Петровна.

— Ну прости, старик,— твердил Стас.— Прости, сам не знаю... накалило...

— Не прощу,— уже твердо отрезал Никита.— Может, и у меня накалило. Мне, может, давно хотелось...

— Что? — не понял Стас.

В глазах Никиты вдруг заплясали злые веселые огоньки. Он грохнул кулаком по столу, так что посуда посыпалась на пол, и заорал:

— А-а, вот ты как заговорил, отшельник паршивый! Сбежал в свой скит, березки малюешь, травку жуешь! Ушки заткнул, глазки зажмурил... А ты попробуй тут повертись, порисуй, сотвори искусство на миру, пейзаж паршивый, лапотник драный!

Стас ошеломленно замер. В баре поднялся шум, кто-то возмутился, кто-то пытался утихомирить Никиту. А он только распался, орал, тыча вокруг указующим перстом.

— Это не Рафаэль! И это не Рафаэль! Одни дерьмо малюют, другие про них строчат дерьмовые эссе!

Искусствоведша Клара Петровна была на грани обморока.

— Все — дерьмо и всё — дерьмо! Я, ты, он, она, они...

Возмущенные творцы подступали к Никите. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы откуда ни возьмись не появился Николай Степанович — как обычно, спокойный, деловитый. Он с ходу отскочил Никиту в угол, заговорил негромко, но внятно.

— Никита, Никитушка, соберись, пора домой.

— Конечно, пора, дядя Коля! Чтоб я еще тут... чтоб я с этими... да я с ними рядом... не сяду!

Дядя Коля как-то ловко завел руку Никиты за спину и быстренько повел его к выходу.

Но в дверях Никита успел обернуться и послал окаменевшему на месте Стасу лучезарную улыбку.

В черной «Волге» Никита смеялся уже в голос. А Николай Степанович вел машину, озабоченно приговаривая:

— Не ко времени веселишься, Никитушка, ох, не ко времени... И чего вообще веселого?

— Тебе не понятя! Что может быть веселее — объявить всем, что все дерьмо! Никита еще громче захохотал. А Николай Степанович еще сильнее озаботился.

— Обидятся люди, очень обидятся. Раньше бы ничего, списали бы — мол, не в трезвом состоянии. А теперь-то все знают: у нас не подают...

— Точно! Исключительно взбодрился кофейком!

Николай Степанович искоса глянул на Никиту.

— Что-то ты последнее время очень... бодрый. Не чересчур?

— В самый раз,— Никита резко оборвал смех.— А знаешь, что вспомнил этот схимник? Он «Чистое дыхание» вспомнил, вот что!

Николай Степанович никак не реагировал на это сообщение. Вел себе машину, вни-

мательно поглядывая на знаки уличного движения.

Никита придвинулся к нему поближе.

— Да, он вспомнил. А ты, интересно, помнишь, как один добрый дядя увидел эту картинку, понял чего она стоит, и приласкал птенца желторотого: «Напиши-ка ты лучше «Праздник урожая». На конкурс напиши, там хорошая премия — поездка в Италию!» Только после Италии надо было талантливому мальчику делать роспись клуба на Брянщине — но уже в соавторстве с добрым дядей!

Николай Степанович и на это не среагировал, был полон безмятежности. Никита тоже стал ласков.

— Дядя Коля, а ты сам-то малевать умеешь? Ну честно, пробовал хоть разок, а? Ты же Сталинскую премию на бригаду получил? Тогда метод был бригадный, да? Что вы намалевали хором — «Утро доярки»?

И опять дядя Коля не ответил, глядел вдаль со смиренным лицом невинного страстотерпца. Его спокойствие взорвало Никиту.

— Думаешь, ты меня обманул? Хо-хо, да я обману первым, понял, всегда первым! Ты же культурный человек, зарубежных гостей в оперу водишь... Слыхали арию? «Сердце красавицы склонно к измене... но изменяю им первый я!»

Никита пропел несколько фрагментарно, но вполне музыкально. Николай Степанович душевно оценил это:

— Хорошо поешь, Никитушка.

Никита изумленно уставился на него.

— Ну ты... броня крепка... тебя не прошибешь!

— А чего меня прошибать, — добродушно сказал дядя Коля. — Я ж люблю тебя... чудака, — он вновь озаботился. — А вот они тебя не любят. Они этот фортель не просят...

— Эх, хорошо бы справочку! — засмеялся Никита.

— Чего-чего?

— Вот отец мой — контуженный, у него справка есть. Знаешь, как хорошо? Накипело, приперло, он сразу кому хочет: «Дерьмо!» Они — ему: «Ах, ты такой-сякой, вот мы тебя...» А он им: «А у меня справка, нате выкуси!»

Николай Степанович указал на проплывающий мимо дом.

— За справочкой, Никитушка, в тот домик.

— Это что? — пригляделся Никита.

Николай Степанович наконец не сдержал мстительную улыбочку:

— А это, Никитушка, психушка.

— Ну? Так мне — туда!

Никита рванул дверцу и чуть не вывалился на ходу. Николай Степанович одной рукой

ухватил его за ворот, другой кое-как притормозил у тротуара и с трудом перевел дыхание.

— Ты что... вправду... чокнулся?!

Никита рванулся из цепкой хватки Николая Степановича, так что воротник с треском повис на одной нитке, выскочил из машины и влетел в дверь с вывеской психоневрологического диспансера.

В холле дремал старичок-вахтер. Никита прошмыгнул мимо него.

— Куда? — встрепнулся вахтер.

— Только вперед! — Никита поспешил вверх по лестнице.

— Стой! — крикнул вахтер.

Но Никита прибавил шагу и исчез на втором этаже.

— Наталья! — Вахтер вскочил. — Псих прорвался!

— Семен Данилы-ыч, — с ленцой протянула хорошенькая регистраторша. — Вам после больницы все психи чудятся.

— Какое чудятся! Псих натуральный — воротник оторванный!

— Семен Данилы-ыч, здесь же не стационар, к нам нормальные люди ходят. Как раз за справками, что они не психи...

— Наталья! — громыхнул старичок. — Звони дежурному!

А Никита тем временем шел по коридору, где и впрямь тихие люди сидели спокойно, дожидаясь очереди к врачу. Он выглянул из окна на улицу. Черной «Волги» там уже не было. Никита довольно ухмыльнулся и пошел обратно.

Но за поворотом ему преградили дорогу две медсестры. Он обернулся — путь к отступлению был перекрыт дюжим санитаром. Никита быстро сказал:

— Спокойно! Сейчас одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год, дважды два — всегда четыре, президент Америки — Рональд Рейган!

— А как же, — ласково согласился санитар, надвигаясь.

Медсестры приближались с другой стороны, держа на лицах предельно нежные, но чуть напряженные улыбки.

— Только без рук! — предупредил Никита. — Пойдем куда надо.

— А как же, — снова промолвил санитар.

Но больше не приближался, а помахал, приглашая Никиту за собой. И они пошли: впереди — санитар, за ним Никита, за ними — медсестры. Корректно, интеллигентно, без рук.

Санитар пропустил Никиту в кабинет, а сам встал позади.

— Михаил Семенович, мы к вам...

За столом сидел наш и Никитин знакомый — румяный психиатр Миша. Никита даже глаза протер. А Миша спросил строго:

— Какой сегодня день?

Никита, ошарашенный встречей, молчал. Санитар ехидно глянул на него: мол, знание американского президента еще ничего не доказывает! И пришел на помощь пациенту:

— Сегодня пятница.

— А мы договорились на четверг, — так же строго произнес Миша. — Я тебя ждал вчера, а ты являешься сегодня!

Теперь уж отвисла челюсть у санитаря. Он что-то пробормотал и попытался за дверь.

Миша подошел к Никите, брезгливо — двумя пальцами — окончательно оторвал висевший на ниточке воротник.

— Дрался, что ли?

Никита потерянно замотал головой.

— Тогда что? Пил?

— Только кофе...

— Садись! Раздевайся!

Никита сел, стащил сорочку. Он как-то скис и притих, покорно дал себя прощупывать, простукивать молоточком и молча слушал проповедь друга-психиатра.

— Что ты вытворяешь со своим организмом! Все расшатано, разболтано... Вот — перебой... А в один прекрасный день может и вовсе остановиться! Вялость... Замедленная реакция... Нет, я не понимаю, как можно так жить...

— Миша, — перебил Никита, — а в чем смысл жизни?

— Смысл жизни в том, чтобы жить! — не задумываясь, отвечал Миша. — Причем обязательно жить здоровым. Потому что если человек здоров, он может и подумать о смысле жизни. А если человек болен, он думает только о болезнях. Логично?

Никита вяло кивнул. Миша продолжал осмотр.

— Этот твой кофе... Наркотик! А курение? Вовсе гадость! Знаешь, как бросил курить Паустовский?

— Как?

— Он все перепробовал — таблетки, уколы... Наконец врач сказал: «Вы превратили ваши легкие в пепельницу!» И Паустовский, художник слова, представил эту картину: собственные легкие в виде пепельницы с окурками — и все, бросил! Ты тоже художник, подключай воображение.

Никита опять вяло кивнул. Миша сказал еще строже:

— Пойми, у тебя же — акмэ!

— Чего? — испугался незнакомого диагноза Никита.

— Акмэ, то есть расцвет лет. Древние греки не отмечали дат рождения, а только одну — акмэ, сорокалетие. Так и говорили: акмэ Платона или там Сократа падает на такой-то год... Потому что акмэ это время высшего расцвета — и в духовном отношении, и в интеллектуальном, и, что не менее важно, в физическом! В общем, я выпишу лекарства, процедуры...

— Лекарства давай, а процедуры некогда — улетаю.

— В космос? — язвительно поинтересовался Миша.

— А как ты догадался?

— Хорошая шутка! — бодро заржал Миша. — Только с твоим здоровьем скорее — не в космос, а в крематорий!

— Тоже шутка неплохая, — оценил Никита. — Но я действительно улетаю на космодром. Персональный госзаказ.

— Кладбище полно незаменимых! — так же бодро-весело вел свою мрачную тему Миша. — Решай: или заказ, или здоровье...

— Слушай, — перебил Никита, — ты психиатр или учитель физкультуры? Что ты все о здоровье — тебе бы о душе подумать!

Миша встал из-за стола во весь свой внушительный рост, расправил не менее внушительные плечи, изрек по-латыни:

— Мэнс сана ин корпоре сано! — И перевел на родную речь: — В здоровом теле — здоровый дух!

Он нырнул под стол и вынырнул с двумя пудовыми гириями.

— Хек! — выдохнул Миша и взметнул гири вверх. — Хек!

Никита отупело следил, как румяный психиатр легко, весело и с несомненным удовольствием играл пудовиками.

ЦУП — Центр управления космическими полетами был многолюден и наполнен гулом голосов. Десятки людей за десятками пультов, телеэкранов, дисплеев, вычислительных машин были сосредоточены каждый на своей отдельной и в то же время общей работе. Они следили за показаниями, записывали данные, переключали кнопки, беседовали по переговорным устройствам на своем совершенно непонятном непосвященному человеку языке. Так что и не станем прислушиваться к их разговорам — все равно ничего не поймем.

Кроме пультов, экранов и машин, на ЦУПе поражало обилие часов. Разнообразнейшей формы, но все электронные, они наблюдались повсюду, и зелененькие цифирки, неумолимо отсчитывали земное, а может, и космическое время.

Однако Никита часов не наблюдал. Не потому, что был так уж счастлив, а потому, что был озабочен. Он прошел через ЦУП, мельком поглядывая на экраны, исчез за дверью, снова появился, пересек ЦУП в обратном направлении и вышел в другую дверь.

Так же озабоченно он шел коридорами, спускался по лестницам. По пути и навстречу ему следовали работники, спешащие по своим делам, не обращающие на него никакого внимания.

Наконец, повстречались двое: благообразный старик с бородой-клинышком и молодая женщина в строгом костюме и строгих очках с оправой «ассистент». Она была из тех, кто исчерпывающе характеризуется словечком «эмансипэ». Никита бросился к ним.

— Станислав Сергеич! Товарищ академик! Вы все знаете...

— Все знать не дано никому,— мягко уточнил академик.

— Кроме вас, кроме вас,— заверил Никита.

«Эмансипэ» блеснула холодным светом очков.

— Коридор — не место для бесед о тайнах Вселенной!

— Какой Вселенной? — засмеялся Никита.— Я в тайнах этого земного лабиринта неделю освоиться не могу!

— А что вас интересует? — спросил академик.

— Да столовку закрыли, нашли когда — накануне запуска! Но говорят, где-то функционирует буфет, спасите голодающего!

«Эмансипэ» еще холоднее и презрительнее блеснула очками, поняв всю изменчивость потребностей Никиты. Но академик улыбнулся доброжелательно:

— Спасем. Мы с Эммой Федоровной как раз в буфет.

Эмма! Даже имя у «эмансипэ» было соответствующее.

...Буфет космического центра оказался вполне земным предприятием общественно-го питания системы самообслуживания. Очередь вдоль металлического прилавка, пластмассовые подносы, горячие и холодные блюда в тарелках, а не какие-нибудь там космические тубки. И разговоры — в отличие от ЦУПа — велись не на таинственно-космическом, а на вполне земном языке:

— Мне котлетку с картошечкой...

— Маша, вот тот сырничек, не горелый...

— Готовьте мелочь, где я на всех напасусь...

Вычислители небесных трасс, диспетчеры полетов во Вселенную дружно жевали традиционные биточки, запивая их не менее традиционным компотом из сухофруктов.

Академик Станислав Сергеевич, его референт Эмма и Никита уже покончили с обедом, и теперь Никита принес кофе от сверкающей никелем кофеварки «Эспрессо»:

— Потрясающе! Я ожидал в этой глуши только растворимую отраву, а здесь выдают настоящий «капучино»!

— Это что за зверь? — поинтересовался академик.

— Вот,— Никита указал на белую пену в чашках,— эти шапочки и есть «капучино», идущее от монахов-капуцинов, названных так за белые капюшоны, а капюшон — от латин-

ского «капо», то есть «голова»...

— Профессионал! — оценила Эмма.— Хотя по профессии, вы, кажется, художник? А почему вы только ходите, смотрите, но ничего не рисуете?

— А вы, кажется, ученые? — парировал Никита.— Что же вы ходите, смотрите, а ничего не изобретаете?

— Все, что надо, Станиславом Сергеевичем изобретено,— холодно сообщила Эмма.— Теперь мы наблюдаем систему в действии.

— Я тоже наблюдаю. Но признаюсь,— Никита понизил голос до заговорщицкого шепота,— я все-таки еще и рисую.

— Когда? Где?

— Все время. Вот здесь,— он постучал себя пальцем по лбу.

Академик, пока что молча и вдумчиво попивающий кофе, вмешался в беседу молодежи:

— Эмма Федоровна, психологию художника не постичь.

— Ах-ах, скажите, какая психология! — усмехнулась Эмма.

— Чего там ее постигать? — поддержал Никита.— Хотите, я за пять минут все про вас расскажу?

— Хиромантией не интересуюсь,— фыркнула Эмма.

— Готов подвергнуться,— оживился академик.

— Это не хиромантия, а строго научный метод: гадание на кофейной гуще. Прошу, опрокиньте чашечку правой рукой от себя. Академик послушно исполнил требуемое. И Никита принялся разглядывать осадок в чашечке.

— Горизонт вашей жизни в основном чистый... Сделанное утвердится, замыслы осуществляются... Контур здоровья вполне обнадеживающий... Только не выходите в дождь без зонта...

Академик слушал с детской непосредственностью, даже чуть приоткрыл рот. Эмма следила за всем этим с нескрываемым презрением. Зато девушки в лаборантских халатиках за соседним столом следили с явным интересом.

— Дома... дома все хорошо. Со стороны друзей подвохов не предвидится... Следует только избегать какого-то человека в шляпе. И еще... Возможны большие хлопоты из-за кого-то на букву — букву «Э»...

— Где вы видите «Э»? — не выдержала Эмма.

— Вот,— указал Никита.

— Это «С» перевернутое! Или даже просто «О»! Шарлатан!

Никита игнорировал ее выпад и завершил гадание.

— Немного о характере... Твердость в конфликтах, но мягкая уступчивость осто-



Никита — актер Ю. Беляев, академик — актер Н. Гринько

рожному влиянию, терпимость, но и способность к неожиданному взбрыкиванию в непредсказуемых ситуациях...

— Чушь какая-то! — возмутилась Эмма.

— Абсолютно достоверно, — сиял улыбкой академик. — Особенно насчет взбрыкивания. Девушки-лаборантки зачирикали наперебой:

— Ой, а можно мне погадать? И мне! И мне!

— Без давки, — остановил Никита. — Мой номер в гостинице — восемнадцатый. Гадание на кофе заказчика.

— Мы придем! Обязательно придем! — пищали лаборантки.

Эмма возмущенно выскочила из-за стола.

— Станислав Сергеевич, извините, мы пойдем на пульт или будем наблюдать этот балаган?

— На пульт, на пульт, — покорно встал академик и улыбнулся Никите. — Завидую, у вас есть занятие на целый вечер. А наш партнер по преферансу доктор Кульчевский болен...

— Но ведь я здоров! — бодро перебил Никита.

Станислав Сергеевич и Эмма играли в преферанс. Игроки сосредоточенно глядели в карты, причем Никита успевал заглянуть и в чужие, особенно — к академику, как старательно ни прижимал тот согласно преферансному закону «карты к орденам». Лишних разговоров не велось, только отрывисто произносились специальные термины, столь загадочные для не посвященных в тайны преферанса, сколь разговоры на ЦУПе — для не посвященных в космические тайны.

— Семь пик! — объявил игру Никита.

— Пас! — сказал Станислав Сергеевич.

Эмма опять задумалась. Академик напомним:

— Между прочим, нет хода — не вистуй!

— Есть, есть ход, не беспокойтесь...

Эмма бросила карту. Никита ухмыльнулся. Академик огорчился:

— Кто же так ходит втемную!

— Разговоры, разговорчики, — предупредил Никита.

— Извините, молчу.

Но что уж было говорить — ход Эммы сделал свое дело, дальше шлепать картами было ни к чему, Никита выиграл.

— Эмма Федоровна, как можно! Он ведь сидел, явно сидел!

— Еще как сидел! — подтвердил Никита,

Вечером в номере академика Никита,

весело тасуя карты. — Ваш референт очень милая женщина, но все же — только женщина.

— Сдавайте! — резко сказала Эмма.

— Сдаю, сдаю, — Никита продолжал тасовать колоду. — А вы пока улыбайтесь, у вас очаровательная улыбка... и некоторый недостаток опыта.

— Если бы! — не мог успокоиться академик. — Эмма Федоровна играет лет десять. Видимо, достигает предела энтропия.

— Что-что? — заинтересовался Никита.

— Энтропия. Согласно второму началу термодинамики...

— Не трудитесь, — Эмма была рада взять реванш у Никиты. — Товарищ ничего не знает и ничего не поймет.

— Почему же? — ничуть не обиделся Никита. — Товарищ не в курсе дела, но товарищ постарается понять.

— Второе начало термодинамики, — пояснил академик, — трактует о том, что любая система, достигнув определенного уровня, исчерпывает себя, теряет равновесие.

— Не понял, — Никита перестал тасовать карты.

— Я же говорила, — усмехнулась Эмма.

— Подождите, тут что-то не так! — заволновался Никита. — Чем больше развиваешь систему, тем она надежнее.

— До определенного уровня, — снисходительно подтвердила Эмма. — А потом угасает. Ее можно поддерживать только постоянной подпиткой энергией. Большой энергией!

— Постоянной подпиткой... большой энергией... — эхом откликнулся озадаченный Никита.

— Вот и Эмма Федоровна достигла максимума...

Переход академика на ее персону не понравился Эмме.

— Это еще посмотрим! А вы сдавайте, сдавайте...

Никита начал автоматически сдавать, думая об услышанном. Партнеры разобрали карты, академик объявил «простые пики», Никита и Эмма завистовали. Начали ходить, Никита был рассеян и проиграл. Эмма засмеялась без злорадства.

— Второе начало термодинамики в действии!

— Озадачили вы меня, озадачили, — признал Никита. — Я что-то не в форме... Может, распишем?

— Идет, — согласился академик. — Всем рано вставать — утром запуск.

Никита провожал Эмму по коридору гостиницы. Он был погружен в свои мысли и рассеянно слушал ее менторский голос.

— Вы, художники, думаете, что законы

природы на творчество не распространяются. Ошибаетесь! Искусству столь же свойственны развитие и упадок, достижение вершины и предела...

Они остановились у ее комнаты. Эмма протянула руку.

— Спокойной ночи! И помните: все системы ограничены, а закон природы всесилен.

— Всесилен? — задумчиво переспросил Никита.

И вдруг его рассеянная расслабленность мгновенно улетучилась, он вновь стал победительно-ироничен, задержал ладонь Эммы в своей руке и посмотрел ей прямо в глаза. — У вас не найдется кипятильника?

Она ответила ему таким же прямым, все понимающим взглядом.

— Найдется. И кофе тоже.

Они вошли в номер. Эмма включила ночник на тумбочке.

— Располагайтесь где удобно. Я сейчас...

Она удалилась в ванную. Никита озирает обычную комнату гостиницы: стенной шкаф, кровать, холодильник, телевизор.

Никита включил его. На экране появился циферблат. По кругу бежала стрелка. Когда она достигла двенадцати, часы исчезли, и с тревожным зуммером замигала красная надпись «Не забудьте выключить телевизор!»

Никита хотел выполнить указание, но из ванной вышла Эмма. Еще в своих строгих очках «ассистент», но уже в халатике, где надо, подчеркивавшем, где надо, обнажавшем ее фигуру.

Никита не ожидал столь стремительного разворота событий. Но и не растерялся ни на миг. Он шагнул к Эмме и взял ее за плечи. Эмма медленно сняла очки... и с этим жестом разом исчезла вся «эмансипэз» — появилась обычная слабая и красивая женщина, склонившаяся с тихим стоном на грудь мужчины.

В глазах Никиты промелькнул снисходительный огонек. Он подхватил Эмму на руки, понес к кровати и в последний момент успел вырвать из розетки шнур ночника.

А телеэкран все подавал тревожный сигнал, и все мигала надпись «Не забудьте выключить телевизор!», «Не забудьте выключить...», «Не забудьте...»

Первое, что Никита сделал потом, это, укутавшись в простыню, вскочил и выключил телевизор.

— Странно! — тихо засмеялась Эмма. — Он так противно верещал, а я ничего не слышала... Абсолютно!

Никита довольно ухмыльнулся — в конце концов, это ведь был комплимент ему. Он обнял Эмму. Она коротко прижалась к нему. Потом по-кошачьи потянулась, включила ночник, взяла с тумбочки очки, надела их, завела будильник.



Эмма-«эмансипэ» — актриса Н. Сайко. Фото М. Перельмана

Никита терпеливо ждал, пока она закончит эти процедуры, и снова обнял Эмму. Но она освободилась.

— Все, все... Утром работа. Иди.

— То есть к-как? — Он даже заикнулся.

— Так. Я всегда сплю одна. — Она добавила, чуть усмехнувшись: — У меня своя... система!

...А в своей комнате у окна стоял старичок-академик Станислав Сергеевич. Он шумно и ритмично вдыхал и выдыхал воздух через нос — делал дыхательную гимнастику на сон грядущий. И при этом смотрел на звезды в далекой темной вышине.

Ему было на что посмотреть — небо в эту ночь получилось очень звездное.

Ракета стартовала утром.

Она уходила ввысь — могучая и стройная, огромная и легкая. Множество глаз следили за полетом — в небе и на телеэкранах. Лица людей были взволнованы и деловиты, глаза сосредоточены и спокойны. Это была работа и праздник.

Летела ракета, пронзая утреннюю синеву,

и причудливые языки пламени на ее хвосте подрагивали в воздухе.

А где-то, очень далеко отсюда, играл Шопена светловолосый мальчик Алеша. Метроном на рояле четко, безостановочно отбивал мгновения.

Ракета летела в небо.

А на земле мальчик играл Шопена.

И то и другое было серьезным и настоящим. Без вранья.

Под вечную музыку Шопена улетала в вечность ракета...

Город Новоборск был окутан дымами. Черный и белый дымы давал металлургический комбинат, цветными дымами обеспечивал химзавод.

Новоборск был возведен практически на пустом месте, здесь не было остатков деревушки и старых кривых улочек, а лишь геометрически четкие перекрещения улиц и на них серые пятиэтажки двух-тридцатилетней давности и кварталы домов повыше, поновее и повеселее.

Через весь город — от жилых кварталов к заводским корпусам — тянулась линия

скоростного трамвая. Зелени повсюду было насажено много, но слово «зелень» к этим кустам и деревьям не очень подходило — они скорее были седыми от пыли и дыма. Праздных людей на улицах не наблюдалось — город был рабочий, трудовой.

А из особых примет можно было назвать лишь одну: чуть ли не все стены, столбы и даже вагоны трамвая были оклеены одинаковыми афишами заезжего театра: пьеса Агаты Кристи «Мышеловка». Отчего именно этот детективный сюжет должен был взволновать умы и сердца тружеников Новоборска — неизвестно.

Афиша «Мышеловки» была наклеена и на стекло вестибюля гостиницы, где Никита говорил по междугороднему автомату, время от времени подкрепляя его ненасытную утробу монетками.

— Чего ты шумишь, дядя Коля? Ну не заехал, ну направляю сюда... Дело надо делать, дело! И впечатления хорошо стыкуются: там — небесное, здесь — земное... Ох, земно-ое! Нет, ничего, впечатляет даже... Железный город, стальные люди, шницеля из нержавеющей стали... А дворец хорош! Да, наш Санечка все-таки умница! Теперь бы и мне не подкачать...

Никита умолк, выслушивая далекого собеседника и усмехаясь саркастически. Но ответил как можно серьезнее:

— Понимаю, дорогой соавтор, ты тоже хочешь внести свой вклад. Внесешь, успеешь... Я пару недель пригляжусь, прикину эскизы, а там и ты подлетишь... Ну все, все, гульдены кончаются... Привет семье! И моей — тоже!

Никита быстро повесил трубку, нажал кнопку возврата, поймал в прорези монетку, довольно ухмыльнулся и вышел из гостиницы.

На противоположном конце площади выросло новое здание дворца культуры «Металлург». Оно действительно удалось архитектору Сане: одновременно монументальное, но и какое-то воздушное, очень точно вписанное в окружающее пространство.

У здания было лишь одно белое пятно, в прямом смысле белое — огромный оштукатуренный торец, чистый лист, на котором Никите — ну и, конечно, его соавтору Николаю Степановичу — предстояло создать панно. Однако и этот чистый лист был слегка подпорчен: на нем тоже красовалась афиша «Мышеловки».

Перед дворцом была разбита большая клумба: цветочный календарь и часовой циферблат, по которому время от времени совершала скачок стрелка от одной цифры-цветка до другой.

Никита понаблюдал это чудо техники и цветоводства, потом подошел к оштукатуренному торцу и уставился на белое про-

странство. Так он стоял и смотрел. Смотрел и думал. Но додумался пока только до одного: сорвал афишу «Мышеловки» и выбросил ее в урну. Затем с удовлетворением окинул взглядом совершенно чистую плоскость и пошагал к остановке трамвая.

В цехе металлургического комбината сдерживаемое мощными стенами печей пламя яростно бушевало, рвалось на простор, наполняя все вокруг неумолчным гулом. Изредка в этот ровный гул врывался пронзительный трезвон — сигналы кранов, развозящих под кровлей цеха огромные чаны.

На одной из печей готовились к выпуску металла. Руководил делом бригадир — молодой, могучий, со скуластым, блестящим от пота лицом и веселыми глазами. Все его команды выполнялись мгновенно и четко. Впрочем, команд было немного — каждый и так знал свое дело.

Никита стоял на платформе второго уровня с начальником цеха, указывающим попеременно на печь, бригадира, на других рабочих. Но в этом грохоте трудно было что-то разобрать, так что Никита не столько слушал, сколько смотрел, а посмотреть было на что — серьезная работа, очень «потная», но и очень красивая. И опять настоящая, без вранья.

Настал самый ответственный момент. Это ощутилось по тому, как сосредоточились и без того, кажется, предельно собранные люди у печи. Подкатила пушка, бригадир направил ее дуло по центру летки. Удар, еще один — и из печи вырвался металл. Точнее, он сначала просочился тоненькой струйкой, затем пролился ручьем и наконец потек огненной рекой, рассыпая фейерверк искр.

Никита заворожено следил за живым дышащим металлом. Конечно, это было не раз видано в кино и по телевизору, но все равно прекрасное языческое зрелище огня не могло не заворожить.

Металл наполнял чан, темнел, подергивался серебристой пленкой. Наконец, выдача его из печи окончилась, и бригадир дал команду забивать летку.

Воспользовавшись передышкой, начальник цеха подвел к нему Никиту, познакомил, и они вдвоем направились в застекленную конторку. Отсюда тоже были видны печи, но грохот цеха приглушался и можно было поговорить спокойно.

— Присаживайтесь, — улыбнулся бригадир Никита.

— Это вы присаживайтесь. Вы гость, — серьезно ответил бригадир.

Вблизи он оказался вроде и ростом поменьше и фигурой пожиже, совсем не походил на сказочного богатыря, только что распорядившегося огненной стихией.

— Скажите, Сергей Петрович...
— Павлович,— уточнил бригадир.
— Виноват, Сергей Павлович! Но вообще-то, я когда работаю с человеком, просто не могу по отчеству... Вот бы и нам: просто Никита и Сергей...

— Пожалуйста. Сергей — и все дела. Бригадир снял пластиковую каску, утер чумазый мокрый лоб.

— Ну вот, Сергей, как вы к этому относитесь?

— К чему? — не понял бригадир.

— К тому, что ваша бригада — конкретные лица и конкретные имена — будет запечатлена на панно?

— Пожалуйста. Сказали: придет художник. Будет рисовать.

— Но как вы лично к этому относитесь?

Сергей чуть подумал и твердо сказал:

— Отрицательно.

— Почему?

Сергей еще чуть подумал и, наконец, заговорил не короткими рублеными фразами, а гораздо пространней:

— Потому что, если бы кто... не специалист, конечно, а так, кто-нибудь... стал меня учить, как вести плавку, я б его, извиняюсь, послал... И художнику нельзя сказать: рисуй Пивоварова! У художника своя голова... сам знает, кого-чего рисовать.

Он умолк, передыхая после непривычно долгого монолога. Никита с интересом глянул на этого неожиданного учителя жизни.

За стеклом приглушенно грохотал, сверкал огнями огромный цех. Люди занимались нелегким и нужным делом.

— Знаете,— помедлив, сказал Никита,— во все времена существовал социальный заказ... Как-то в 1642 году в городе Амстердаме гильдия стрелков пожелала запечатлеть свой отряд для потомства. Они заказали художнику групповой портрет — вполне конкретные лица. И ничего получилось. Картина называется «Ночной дозор». А художника звали Харменс ван Рейн Рембрандт.

— Интересно,— искренне заинтересовался Сергей.— Мы Рембрандта глядели. В Москве на сессии. Но такой картины не было.

— А она есть, уверяю вас. Ну, конечно, я не Рембрандт, но вы уж послужите мне моделью, не возражайте...

— А я не возражаю,— Сергей вновь перешел на краткий слог.— Нам сказали — мы пожалуйста. А вы спросили — я ответил.

— Спасибо за откровенность. Но вы будьте спокойны, ваша бригада вполне достойна быть запечатленной.

— Достойна. Мы хорошо работаем.

— Значит, и то, что ваши лица будут на виду у всего города — тоже хорошо.

— Хорошо. Но скучно.

— Что именно?

— Лица. На Доске почета — да. По телевизору — пожалуйста. А на дворце... Он лет сто простоит. Сто лет на нас любоваться?

— Но это же не просто фотография или портрет... Это своеобразный гимн труду, монументальная пропаганда...

— Пропаганда — это надо. Только коротко. И ясно.

— Например?

— Например, вот всюду плакаты, картины, призывы... Брать билеты в транспорте. А в Одессе — просто табличка: «Чтоб вы так доехали, как вы оплатили проезд!»

— Ну, одесские хохмы...

— Юмор,— поправил бригадир.— Ладно, без юмора. Я в Баку видел. В автобусе. «Водитель, у тебя дома дети!» Четко?

— Четко. Но это другой жанр. А жанр монументальной пропаганды...

— Пожалуйста,— бригадиру явно надоел разговор.— Я ж не против, рисуйте!

Он снова надел каску, готовый позировать.

— Нет, дорогой Сережа,— улыбнулся Никита,— рисовать сейчас я не собираюсь. Это работа года на два.

— Ну? — поразился Сергей и опять заговорил непривычно многословно: — И вы всю жизнь мечтали... вот бы изобразить Серегу Пивоварова с ребятами? И вы точно знаете... просто уверены, что именно на это вам надо тратить два года жизни?

Щека Никиты болезненно дернулась. Он помедлил.

— Честный вопрос — честный ответ. Нет, не мечтал я вас рисовать. Но нарисую. Буду ходить сюда, смотреть, думать... Пойму — и нарисую.

— Пожалуйста,— словечко «пожалуйста» явно было любимым у бригадира.— Приходите. Атмосфера у нас теплая.

— Да-а, жарковато,— Никита расслабил ворот сорочки! — Водички бы...

— Пожалуйста,— бригадир указал через стекло на автомат газировки.

Они снова вышли в цех — в мир огня и грохота. Бригадир сказал что-то Никите на прощанье, пожал ему руку и направился к печи.

А Никита нашарил в кармане монетку, сунул ее в прорезь автомата, однако монетка туда не шла. Никита давил снова и снова, но с тем же результатом.

Бригадир у печи с удивлением наблюдал эту тщетную суету с монетой. Потом подошел и просто нажал на автомате кнопку. В стакан ударила пенная струя.

Никита стал пить большими жадными глотками. А бригадир — впервые за время их встречи — улыбнулся. Улыбка у него была хорошая.

Поздним вечером Никита бродил бесцельно по площади. А может, и был в этом движе-

нии какой-то потаенный смысл, потому что все время в поле его зрения — то ближе, то дальше — маячил белый квадрат, на котором должно было возникнуть панно.

Часы на цветочной клумбе перед дворцом показали десять. Из кинотеатра повалил народ. Там окончился сеанс, но не фильма, нет, на кинотеатре была афиша все той же «Мышеловки».

Площадь сразу стала многолюдной, шумной, и Никита повернул к гостинице. Но его окликнули:

— Никита! Ты, что ли?

К нему спешил, сильно прихрамывая, старик с развевающимися длинными седыми волосами.

— Это я! — радостно заорал Никита. — А это ты? — И поймал старика в объятия.

— Какими судьбами? — спросил старик.

— По работе. А ты?

— Гастроли. Моя постановка. — Старик указал на афишу. — Мог бы заметить знакомую фамилию!

Ресторан гостиницы был образцом провинциальной роскоши. Сегодня таких уже и нет, а этот — был. Плюшевые занавески, пыльные пальмы в кадлушках, облезлая позолота колонн. Только оркестр был такой, как везде: орудие под гитары лохматки.

Никита и старик беседовали за столом, вернее, кричали, чтобы перекрыть грохот оркестра.

— Да, я вожу эту «Мышеловку» пятый год! — кричал старик. — Да, Сыктывкар, Тюмень, Душанбе... Да, и люди смотрят! — Что смотрят? — кричал Никита. — Этот бред собачий?

— Но везде аншлаги! Люди смотрят историю маньяка-убийцы из пансиона Монкуэм-Мэнор и на три часа забывают о своих проблемах!

Оркестр, издав предсмертный истошный вопль, резко умолк. Стало непривычно тихо. Они растерянно переглянулись.

— Ты чего орешь? — спросил старик.

— А ты? — парировал Никита.

— Черт его знает... Заело что-то... Ладно, скажи лучше, как мать?

— Ничего. Алешку воспитывает.

— Воспитывать — ее стихия! — Старик очень похоже промолвил голосом знакомой нам Анны Ильиничны: — Главное — никогда не врать! Ни в чем, ни на йоту! Ибо единожды солгав... — Он вопросил уже своим голосом: — Но как, ответь ты мне, как это возможно — не солгать ни разу в жизни?

Никита не ответил. А сам спросил:

— Из-за этого вы и разошлись?

— Да нет, я ей никогда не врал. Вообще-то врал много... А ей, не поверишь, но — ни разу!

— Тогда почему же...

— Кто знает? Рядом с ней чувствуешь себя ничтожеством. Понимаешь, она не просто живет, она служит чему-то возвышенному! Сначала служила своей музыке, потом — моей режиссуре, растила из меня гения... Теперь растит гениального внука... Что, Алешка действительно способный?

— Есть такая надежда.

Отец вдруг улыбнулся.

— Знаешь, ты тоже был моей надеждой...

...Оркестр уже ушел, зал опустел, а эти двое все продолжали разговор. Никита был напряжен и зол.

— Не знаю, отец! Ни черта я не знаю! Отстань!

— Нет, ты скажи, обязательно скажи, — требовал старик. — Эта работа для тебя — все? Она — смысл, она — идея? Да?

— Не знаю. Работа как работа, — Никита стиснул ладонями виски. — Но как подумаю: два года... На что?

— А во что ты веришь? Нет, не веришь, — веруешь во что?

— Брось, отец...

— Нет, ты ответы! Вот я верил... Мы верили... — Старик задрал брючину, открыв протез. — Когда я терял этот кусок себя на Днепре, мы шли за Родину, за Сталина! Мы веровали в это! А во что веруете вы, нынешние?

Он гулко хлопнул рукой по столу. Никита быстро прикрыл его ладонь своею.

— Тихо, отец, не надо, успокойся.

— Ладно, ладно, — пробормотал старик, остывая. — Но ты мне все-таки ответишь... потом ответишь...

К ним подошел официант, похожий на пингвина: черный фрак, белые лацканы, на толстеньком заду фалды расходятся птичьим хвостиком. Он подал две чашки.

— А-а, кофеек! — обрадовался отец. — Взбодримся!

Старик пригубил из чашки, и лицо его перекосилось.

— Стой! — крикнул он официанту. — Это кофе или помой?

— А вы не можете понять на вкус? — нагло заинтересовался официант.

— Представь себе, не могу!

— В таком случае какая вам разница?

Официант был доволен своим остроумием. Старик стал напряженно приподниматься. Никита быстро обнял его за плечи и попытался обратить все в шутку:

— Юноша, возможно, вы не слышали, но кофе бывает разный: кофе черный — без молока, кофе по-варшавски — с молоком...

Официант подхватил, спокойно чеканя каждое слово:

— Кофе по-венски — со сливками, по-турецки — с охлажденной водой, по-

кубински — со жженым сахаром, по-итальянски — «капуччино», кофе-«гляссе» — с мороженым, кофе-«массарган» — с коньяком!

— Зна-аешь,— удивленно протянул старик.— А это какой?

— А это кофе из кастрюли,— так же четко отрезал официант.— Другого не держим.— И протянул бумажку.— Прошу, ваш счет.

Никита достал деньги, но отец их выбил из руки сына.

— Мы рассчитаемся! Только предъяви его — истинный счет!

Он резко притянул к себе официанта за атласные лацканы.

— Скажи, во что ты веруешь? Только в монету чистоганную? Ты веруешь или воруешь?

— Что?.. Прекратите... С ума сошли!

С официанта мигом слетел весь лоск. Никита пытался вырвать его из цепких пальцев старика.

— Пойдем, отец, успокойся, прошу, успокойся...

— Я спокоен! За себя я спокоен! Но за вас... Во что вы веруете?!

Никита с официантом уже вместе тащили старика из-за стола. Но тот ухватился за скатерть, и посуда загремела на пол.

Под утро в отделении милиции Никита и отец — уже тихий, сморщенный, словно из него выпустили воздух,— стояли перед столом пожилого капитана, а позади них высился каланчой молодой розовощекий сержант, бдительно тарашивший глаза на них, как на особо опасных преступников. Капитан листал их паспорта и ровным голосом нудил:

— Полагаю, вам было над чем подумать за ночь... Нехорошо, интеллигентные люди, работники искусств, вам бы отдыхать после трудового дня, а вы... Вы оба оказываетесь здесь... Отец и сын...

— И святой дух! — буркнул Никита, кивнув на стоящего за спиной юного сержанта.

— Шутишь? — прищурился капитан и заговорил нормальным тоном: — Радуйся, что не ты зачинщик. Тебе б мы припаяли! А так уж мы только из уважения к ветерану...

Капитан протянул им паспорта и отвернулся, потеряв к задержанным всякий интерес.

...Потом отец и Никита стояли на площади перед новым дворцом. Было серое бессолнечное утро. На клумбе две женщины в закатанных по колено штанах топтались босиком по чернозему — меняли дату на цветочном календаре. Еще один день прошел...

— Почему ты не показал им свою справку? — вдруг спросил Никита.

— Зачем? — строго сказал отец.— Я отвечаю за свои слова. За каждое слово.

Они опять замолчали. Отец глянул на белое пятно дворца.

— А что, тут тебе есть где развернуться...

Никита не ответил, неотрывно смотрел, как рождалась из цветов новая цифра календаря, как перескочила еще на одно деление стрелка цветочных часов. Он резко повернулся и пошел к гостинице.

— Ты что? — Отец похромал за ним.

— Улетаю.

— А работа?

Никита уходил, не отвечая.

— Стой! — крикнул отец.

Никита обернулся. Отец с трудом переводил дыхание. Длинные седые пряди были всклокочены. Голос дрогнул.

— Слушай... А когда... Мы когда теперь увидимся?..

Никита только пожал плечами.

Домой Никита приехал вечером. Такси высадило его у родного подъезда. Он увидел знакомую «Волгу» Николая Степановича, опять припаркованную поперек тротуара. Никита глянул вверх. Его окна светились знакомым уютным зеленоватым светом. Да, он снова был дома. И Никита улыбнулся — устало и облегченно.

Он поднялся на лифте, открыл дверь. В прихожей и большой комнате никого не было, тихо пел магнитофон.

Никита опустил чемодан на пол, прошел дальше, заглянул в спальню. На тумбочке горел ночник, а в супружеской постели Никиты были Ирина и Николай Степанович. Она лежала, расслабленно закинув руки за голову, а дядя Коля сидел и задумчиво почесывал свой кругленький животик.

Рядом с красивой женщиной его нелепая фигура выглядела очень смешно. Никита рассмеялся, расхохотался до слез. И ушел.

Смех — нервный, отрывистый — душил его и на площадке, пока он ждал лифт, и уже в лифте, и когда он вышел из подъезда.

Только присев на скамейку и закурив, Никита сумел наконец подавить приступ смеха.

Из дома выскочил Николай Степанович, пробежал мимо Никиты, уселся в свою «Волгу», включил зажигание. Но что-то не работало: мотор рычал и затихал, машина не двигалась.

Николай Степанович снова и снова дергал ключ и при этом начал вскрикивать визгливым срывающимся голосом:

— Мальчишка! Черт знает, что такое! Уехать, сорваться, без предупреждения... Какая безответственность! Эта огромная работа... С таким трудом... Что теперь скажут, что

подумают... Разве это позиция художника? Мальчишка!

Он твердил все это и яростно боролся с зажиганием. А Никита слушал и курил. Наконец мотор, по счастью, сработал, и «Волга» унесла Николая Степановича, оставив лишь выхлопные газы и обрывки слов «безответственность...», «безобразия...», «мальчишка...»

Никита выбросил окурок и пошел домой.

Ирина пила воду частыми глотками, держа стакан в ладонях.

Посреди комнаты так и торчал чемодан, с которым Никита приехал. Он открыл его и стал добавлять вещи — из шкафа, из письменного стола, из ванной. Ирина следила за ним, заговорила глухо:

— Гордый! Ты очень гордый, да? Ты оскорблен, ты потрясен, ты ничего не знаешь... Зато я все знаю! И все всё знают! Про всех твоих Валечек, Нелечек... И про Леночку, да-да, про бедную родственницу, студенточку из Тамбова!

При этом сообщении бесстрастное лицо Никиты наконец чуть дрогнуло. Но не более. Он продолжал собирать вещи. А Ирина продолжала тем же глухим голосом, время от времени прикладываясь к стакану с водой, и зубы ее постукивали о стекло.

— Да, я знала — и пусть! Тебе нужна тихая жена, серая мышка? Пожалуйста! Но я не мышка! И не серая, слышишь! Ты играл — я подыгрывала, ты врал — я подвирала... Ложь может породить только ложь... И ничего другого, слышишь!

Нет, Никита не слышал. Никита методично укладывал чемодан. Это взбесило Ирину, она швырнула стакан на пол — вдребезги.

— Ах, тебе очень обидно, что это — он? А я и хотела... я давно могла с кем угодно... какая разница! Но я знала, что ты рано или поздно узнаешь, и тебе будет очень, очень обидно, что я выбрала именно его — твоего любимого дядю Колю, над которым ты смеешься, так ловко играешь... Ха-ха, не обольщайся! Это он играет тобой, он над тобой смеется. Мы только что, да-да, в постели, смеялись, как ему удалось запрячь тебя в Новоборск на два года!

Кажется, это сообщение задело Никиту больше, чем предыдущее — про Лену. Но он опять промолчал, закрыл чемодан и вышел.

Он не хлопнул дверь, наоборот, прикрыл ее аккуратно, спустился на лифте, вышел во двор, забросил чемодан в «Жигули», сел за руль, сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, и медленно тронул машину.

Никита приехал к дому, где была его мастерская. Поднялся на лифте, прошел еще лестничный марш на чердак, открыл дверь...

У плиты, весело напевая, варила кофе

студентка Лена в халатике. А из его старинного вольтеровского кресла блаженно наблюдал за красавицей школьный друг Никиты архитектор Саня — в джинсах, в майке и босой.

Тут Никита даже рассмеяться не смог — остолбенел и онемел. За него наперебой заговорили Лена и Саня.

— Ой, Никита Григорьевич! — воскликнула Лена. — Приехали?

— Привет! — вскочил Саня. — Спасибо тебе, старичок!

Он обнял потерявшего способность что-либо соображать и сопротивляться Никиту.

А Лена и Саня не были ничуть растеряны. Напротив, весьма свободны и оживлены. Особенно Саня. Никита изумленно наблюдал его — недавно еще печального и застенчивого, а ныне такого счастливого и раскованного.

— Отдохни, — Саня усадил его в его же кресло. — Извини, мы тут оккупируем, раз уж ты дал Леночке ключ для нас на время отъезда...

Никита глянул в упор на белокурую врушку. Лена безмятежно выдержала его взгляд и улыбнулась:

— Никита Григорьевич хороший!

Она ласково, чисто по-родственному прижалась щекой к его щеке. Никиту от этого прикосновения передернуло. Но Саня ничего не замечал, токовал, как глухарь в весеннем лесу:

— Старичок, я ужасно счастлив! Мы с Леночкой женимся!

— Поздравляю, — это было первое, что произнес Никита.

— Спасибо, — застенчиво потупилась невеста.

— Спасибо тебе! — твердил свое Саня. — Как я жил?... Зачем?... Теперь появился смысл...

— Сандри-ик! — пропела Лена.

Никиту снова передернуло от этого фальшивого имечка. А Саня, наоборот, расцвел.

— Что, Лено-ок?

Так, у нее тоже была новая кличка.

— Сандрик, пойдем, Никита Григорьевич отдохнет с дороги.

Саня поспешил в другую комнату — за остальными деталями своей одежды и обувью.

— Рад за вас, — любезно сказал Никита Лене. — Свадьба, надеюсь, будет безалкогольная?

— Не притворяйся, не играй! — отрезала Лена. — Ты сам этого хотел. Сам ему прогадал меня на кофейной гуще, сам дал адрес общежития...

— Я его приблю! — сказал Никита.

— За что? Он хороший. Он хотя бы не врет.

— А ты? — усмехнулся Никита.

Лена не успела ответить — появился одетый и обутый Саня. И теперь Лена ускользнула в другую комнату.

— Да, слушай, — сказал Саня, — я на радостях и не спросил... Как там наш дворец?

Никита показал большой палец.

— Понравился? Приятно... А как ты? Нашел образ, мысль?

Никита сделал успокаивающий жест — мол, все о'кей.

Вернулась Лена, сменившая халатик на платье.

— Еще раз спасибо вам! Ключик возвращаю.

Она чмокнула Никиту в щеку. Саня крепко пожал ему руку. И вдруг сообразил:

— Старичок! Но раз мы с Леной женимся — значит, мы с тобой будем родственники!

— То есть?... — поперхнулся Никита.

— Ну, Леночка вам с Ириной — двоюродная... или троюродная... вот и мы с тобой будем...

Этого уж не смогла вынести даже Лена. Она застучала кулачком в спину Сани.

— Пошли, Никита Григорьевич устал! Ну, полетели!

И они действительно упорхнули на крыльях любви.

А Никита остался торчать столбом, оглушенный всем происшедшим.

Из столбняка его вывело громкое шипение: кофе, поставленный Леной в начале их встречи, пополз через край. Никита схватил джезве, обжегся и швырнул в раковину. Черная пена залила белый фаянс.

Никита дернул себя обожженными пальцами за мочку уха и быстро вышел из мастерской.

Он проехал по пустынной улице, вошел в дом, поднялся на лифте, позвонил у двери — долго, настойчиво.

Послышались торопливые шаги, щелканье замка, дверь стала открываться, и Никита зашумел дурашливо:

— Не спи, Гиппократ! Помоги страждущему и днем и ночью...

Он осекся — дверь открыла худенькая испуганная женщина.

— Извини, Зина... Я вот прилетел... думал, вы не спите...

— Ты что, ничего не знаешь?

Она поманила его рукой в кухню. Никита недоуменно последовал за ней, но донеслось какое-то мычание из комнаты.

— Разбудил! — огорчилась Зина. — Ну, пойдем к нему...

Они вошли в комнату. На кровати лежал врач-психиатр Миша. Такой же мощный, румяный. Но лицо его было застывшим, как

маска, и он что-то громко, но невнятно мычал. Зрелище было довольно жуткое.

Никита изумленно вытаращился на друга. Зина пнула ногой торчавшую из-под кровати штангу.

— Вот, как всегда, утром выжимал — и рухнул...

Миша подтверждающе замычал. Никита пробормотал:

— Как же... я не знал... что же делать...

— Было хуже, кризис миновал, — вздохнула Зина. — Говорят, все наладится — движение, речь... Да я уже его понимаю.

— Может, что-то... как-то... достать...

— Спасибо, все есть. Сейчас только — время и покой.

— Да-да, не буду беспокоить, — засуетился Никита. — Но если что... звони... все, что в моих силах...

Никита пытался к двери, но Миша требовательно замычал.

— Погоди, он хочет тебе что-то сказать.

Зина приникла ухом к самым губам Миши, тот прерывисто мычал, а она переводила:

— Он говорит: береги здоровье... Здоровье — прежде всего...

— Да-да, Миша, да, конечно, — поспешно кивал Никита.

— Еще... Не пей кофе... Кофе очень вреден, не пей...

— Не буду! — клятвенно пообещал Никита.

— И еще, — завершила Зина перевод. — Не делай зарядку... Не надо, ну ее!

Потом Никита вновь сидел в мастерской. Сидел в старом вольтеровском кресле и смотрел на тикающие старинные часы с кольцом бронзовых аллегорических фигурок: вся жизнь человека — от минуты рождения до последней секунды.

Никита неотрывно, неподвижно уставился на них... И вдруг очнулся, бросился в маленькую каморку, стал вышвыривать из нее картины, холсты, эскизы. Он рылся во всем этом лихорадочно, страстно, отчаянно, словно от того, найдет или не найдет он то, что ищет, зависела его жизнь.

Наконец он нашел. В углу, на полу. Полотно небольшого формата. На обратной стороне беглая надпись — «Чистое дыхание».

Картина была не завершена. Но в центре ее уже прописано лицо мальчика. Светловолосого, похожего на сына Алешу, хотя, когда делалась картина, сына у Никиты еще не было.

Мальчик на полотне пел. И это было написано так сильно, так пронзительно, что, казалось, в захлавленной, запыленной мастерской вдруг зазвучал высокий детский голос — чистый и очищающий.

Никита сидел на полу и смотрел, смот-

рел, не отрываясь, смотрел на лицо поющего мальчика, слушал его голос...

Часы над входом музыкальной школы показывали восемь.

Дети стекались в школу со всех сторон. Маленькие музыканты несли большие футляры. Некоторых в качестве носильщиков сопровождали мамы и бабушки.

Алеша шел один. Светлые волосы золотились воздушным нимбом над его головой в контражуре утреннего солнца.

Никита на скамейке взволнованно наблюдал приближение сына.

— Алеша! — позвал он севшим голосом.

— Папа! — Мальчик радостно побежал к нему.

Никита поймал на лету худенькое тельце сына, крепко и нежно обнял его, поцеловал.

— Ой! — отпрянул Алеша. — Колючий!

— Прости, — Никита потер заросшие за ночь щеки и автоматически соврал: — Бритва поломалась...

— Когда ты прилетел?

— Вчера... То есть сегодня ночью, а утром позвонил, бабушка сказала, что ты уже ушел, и я сразу к тебе... Я очень соскучился!

— И я соскучился!

Никита гладил светлые волосы сына, вглядываясь в его лицо. Словно искал ответа на какой-то мучительный вопрос.

— Извини, я ничего тебе не привез... Как-то очень срочно улетел, и вот, никакого подарка...

— Не надо мне подарка, я по тебе скучал! — Мальчик снова прижался к отцу и спросил по-взрослому: — А как твоя работа? Красивое панно получилось?

— Панно? — Никита был удивлен. — Ты откуда знаешь?

— Мама сказала, что ты полетел делать очень красивое панно и что лучше тебя никто не сможет!

Никита растерянно молчал.

— А бабушка сказала, что я должен победить на конкурсе, потому что ты в моем

возрасте победил на выставке юных художников. И она все время говорит: бери пример с отца, бери пример с отца...

Никита вдруг надрывно застонал, как от зубной боли.

— Что, папа? — испугался Алеша.

— Ничего, ничего, просто это неважно, что там я... когда-то... Слушай, а у меня идея: махнем на недельку за город? К моему другу Стасу, он тоже художник... Лес, река, рыбалка — благодать!

— Нет, папа, спасибо, — опять по-взрослому ответил мальчик. — Мне же надо готовиться к конкурсу.

— А-а, да... — тоскиво кивнул Никита.

Из школы донеслись трели звонка.

— Извини, папа, уроки начинаются...

— Да-да, иди... Мы увидимся... Скоро!

Алеша пошел к школе. Никита смотрел ему вслед. И вдруг догнал, порывисто прижал к себе.

— Алешка! Сынок! Подожди... Мне плохо, мне очень трудно... Я запутался, Алешка, я не знаю... совсем не знаю, как жить...

— Папа! — Сын уставился на отца изумленными и все-таки, конечно, очень детскими глазами. — Папа, ты же большой... Разве ты не знаешь, как нужно жить?!

Никита замер. Потом выпустил Алешу из объятий.

— Беги...

Алеша не побежал, он пошел медленно. На пороге школы оглянулся на отца. И исчез за дверью.

Никита спорбился, тяжело опустился на скамейку.

А школа наполнялась музыкой — нудными учебными гаммами, первыми робкими аккордами, уверенной игрой старшекласников.

Постепенно из этой какофонии прорезалась и зазвучала, победно набирая волнуемую силу, одна прекрасная мелодия. Мальчик играл на рояле Шопена.

Чистые светлые звуки улетали к синему небу за окном высокому небу.

А на скамейке под окном сидел растерянный и потерянный человек в самом расцвете лет. Сидел и слушал музыку надежды...

СЕРГЕЙ ДИДКОВСКИЙ

АТАКА

СЦЕНАРИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА

При первой же встрече — а произойдет она, видимо, в кабинете Горплодоовощторга — нам сразу бросится в глаза его далеко не героическая внешность. Невысокий, крижистый и, пожалуй, хитроватый. Нет, не похож на героя, а уж на крупного работника торговли — тем более. Ни сановности, ни вальяжности, ни непрременной «ондатры». Старенькое пальтецо, кроличья поношенная шапка, затрапезный костюмчик. Такими ли мы представляем себе «крестных отцов» торгового мира?..

Но вот пройдет минута-другая нашей первой беседы, и что-то непременно начнет неудержимо притягивать нас в этом человеке. Что? Ну, конечно, лицо. Оно во всем его облике — как драгоценный камень, вправленный в бесхитростную оправу... Лицо у Александра Григорьевича обветренное, крепкое, бронзовое от загара, точно рубленое из красного дерева. Глаза умные, добрые, со смешинкой, только слегка косящие после давнего ранения...

— Весной сорок второго года, — вспоминает Александр Григорьевич, — нас, восемнадцатилетних пацанов, наспех обучили в Ташкентском пулеметно-минометном училище, отправили на фронт. Да не куда-нибудь, а под Сталинград. А вы знаете, что такое — служить в пехоте летом 1942 года?.. И сегодня вспоминаю — мурашки по коже. А тогда только прибыли, через два дня — атака. Много потом чего было, а эту, первую, — не забыть. Как с винтовочками пятазарядными бежали открытым степным полем навстречу ураганному огню... Потом были новые атаки, и каждый раз надо было заставить себя оторваться от теплой, родной земли... Из нашего взвода, сорока моих земляков, через два дня осталось трое. А через месяц и из двух тысяч ребят нашего выпуска — всего ничего... Мне почему-то выпало выжить. И я сказал себе тогда: больше мне бояться в этой жизни — нечего. Ничего страшнее той атаки уже не будет... Она научила встречать опасность лицом, побеждать обстоятельства... — Он зябко поежился — видимо, дейст-

вительно передернуло от воспоминаний. Накинул на плечи послевоенной моды бостонский пиджак, раз и навсегда украшенный орденом Красной Звезды, орденами Отечественной Войны и Славы I степени, медалью «За отвагу». Пиджак этот он надевает только дважды в году — сегодня, 17 ноября, в свой день рождения, и в День Победы...

...Александр Григорьевич Сафонов бросил руль, ловко, по-молодому, выбросил тело из «уазика», сделал несколько шагов и сразу оказался среди поля. Вот таким же беспредельным полем бежал он когда-то в свою первую атаку. Нынче это поле — мирное. Вместо танков мирно шевелит сочной ботвой картофель. Вместо выстрелов — отдаленное урчание комбайнов.

И нет, вроде бы, нужды подниматься в атаку, но...

— Работу люблю на грани риска, — говорит Сафонов. — Но риск не ради корысти, а исключительно для дела, которому служишь. Можно, конечно, работать спокойно, «от и до», согласно, как говорится, инструкции. В этом случае ничем не рискуешь. А можно и по-другому: что-то искать, кому-то надоедать, с кем-то портить отношения, стучать в закрытые двери. Мне по душе именно такая работа. Потому что без риска, без беспокойства нет побед, нет прогресса.

Он нагнулся, поднял с земли крепкую картофелину, повертел в руках, пощупал, бережно опустил в мешок убранной, но не вывезенной пока картошки... Потом вдруг обернулся к нам и неожиданно, со свойственной ему простотой, спросил:

— А вы знаете, что я вообще-то уже не директор?

Осень. Необозримые просторы курганского Зауралья. Неумоимо снует по полям уборочная техника. Обильной россыпью чернеют фигурки людей. Горячее время...

Щедра эта земля. Картофель, морковь, огурцы, редька, репа, лук... Отличный российский урожай созрел! Надобно не только собрать его, но и заложить на хранение. Да так, чтобы хватило целому областному центру на всю долгую зиму. Вот это и есть теперь главная забота Александра Григорьевича:

— Для начала отнюдь не праздный вопрос: где мы больше теряем — в хранилище или в поле? Не торопитесь отвечать — можете ошибиться... Тридцать процентов клубней при хранении неизбежно попадают в отходы — эта цифра еще совсем недавно считалась на овощных базах России вполне благополучной...

...Ах, до чего же знакома всем нам эта картина: вереница груженных овощами машин с полей, непрелазная грязь хилых, крытых горбылем овощехранилищ, сотни интеллигентного вида людей с лопатами в руках, тысячи тонн грязного картофеля под открытым небом. Ругань, теснота, беспорядок...

— Запарка, штурмовщина, затоваривание, нехватка рабочих рук, пресловутая «шефская помощь» — сплошная самодеятельность вместо научного подхода к хранению... А в итоге — крайне низкое качество и отсутствие овощей в магазинах. У нас в Кургане всё так и было, когда в 1968 году городской овощеторг возглавил Александр Григорьевич Сафонов,— вспоминает секретарь Курганского областного комитета КПСС Геннадий Сергеевич Махалов.— Я в то время был председателем горисполкома. Хорошо помню тот разговор с Сафоновым. Вызвали нас обоих в обком, говорят ему: «База — не подарок, убытки — полмиллиона в год. Ты как железнодорожник, конечно, в этом деле не специалист, но это и хорошо — тут нужен свежий взгляд. Вконец ведь город замучили: по шестьсот горожан ежедневно на базу посылаем. Дело ли?.. А овощи, сам понимаешь, что значат для города. Так что — принимай базу и действуй!» А как действовать? База была — только в сапогах и пройдешь. Помню, раз корова на базе в яму угодила — так штраф платили... Представлете?!

Что ж, если сегодня заглянуть — на выбор! — в пару курганских овощных магазинов, то представить это действительно непросто. Такие соленые огурцы в Москве на рынке по 3 рубля килограмм. Такой капусты там вообще не бывает. А крупная, чистая морковь, свежая зелень, отборный сухой картофель?! Всё это в изобилии и прекрасном состоянии. И так — круглый год...

Что же произошло в Кургане? И что это за человек такой — Александр Григорьевич Сафонов?..

Ночь. Ее пик. Глухая, сонная пора. Спит улица, спит двор, спит дом. И лишь одно окно светится, как маячок, в этом ночном океане. Кому это не спится?

За окнами кухни небольшой двухкомнатной сафоновской квартирки — тоже ночь. Спят все домашние. А для Сафонова сейчас самое золотое время. Время, когда он один с обуревающими его идеями. Они и днем не дают ему покоя, но днем — суета, спешка, текучка. А сейчас — его время. Тщательно выверяет он еще и еще раз каждый чертеж, каждую схему, которыми буквально завалена — от пола до потолка —

крохотная кухонька. Беспокойно бежит по бумаге его изгрызенный в ночных бдениях карандаш, лихорадочно, азартно блестят в свете настольной лампы его молодые, горячие глаза. Надо успеть до утра...

...Через два года он принес в горисполком обстоятельный план развития базы. В нем было намечено строительство новых хранилищ и холодильников, цехов засолки и квашения. Но главный раздел посвящался комплексной механизации труда. С этого всё и началось...

Вспоминает Геннадий Сергеевич Махалов: — Сафонов, конечно, талант. Талант найти трудно. Но еще труднее порой, как это ни странно, смириться с его существованием. Талант — он ведь опасен, рядом с ним очевидной бездарность и равнодушные. Талант к тому же обременителен — ему тесно в привычных рамках, определенных для него устаревшими инструкциями.

...Пожалуй, самое время ошарашить зрителя «парадом» изобретенной и воплощенной Сафоновым в жизнь техники. Именно ошарашить, ибо то, что сделал Сафонов в своем деле,— революция.

Сегодня на базах Курганского горплодоовощторга, благодаря личной инициативе Сафонова, реконструированы и вновь построены складские помещения и цеха переработки, хранения и засолки овощей, действует триста машин и поточных линий по разгрузке, переработке и закладке всех видов овощей, выращиваемых в Урало-Сибирской климатической зоне. Здесь и автопогрузчик-расфасовщик, в считанные минуты освобождающий от 100-тонного груза картофеля двадцативосьмиметровый автопоезд, и машины для первичной предзакладочной подработки овощей, для сортировки лука, для товарной обработки капусты, поточные линии, машины, приспособления... Степень механизации достигла здесь небывалой по стране цифры — 98 %. Бригада в пять человек, к примеру, принимает и сортирует за смену 600 тонн картошки. По два вагона на брата. Впятером — вместо пятисот, как бывало когда-то... Пропадает же здесь не 20—30 %, как в среднем по стране, а совсем ничего, смешно сказать: 0,4 % клубней. В итоге — торг, несший когда-то полумиллионные убытки, теперь играючи получает каждый год прибыль более 1 млн. рублей. Производительность труда, благодаря комплексной механизации и общей постановке дела, выросла в 10 раз. Что же касается пресловутых «шефов», то в том виде, в каком мы видели их в начале фильма, их здесь просто не существует. А вот в другом — другое дело...

Вспоминает Геннадий Сергеевич Махалов: — Вы спрашивали о шефах? Сафонов

использовал их, так сказать, по прямому назначению. Зачем, скажем, токарю ковыряться в гнилой моркови? Пусть лучше поможет сделать на заводе необходимую деталь. Куда полезней, верно? Вот по такому пути и пошел Сафонов. Он не только захотел сделать дело — он точно знал, что и как нужно было сделать. Возьмите ту же картошку. Ее можно сохранить лишь при условии, что клубни чистые и здоровые. И Сафонов предусмотрел устройство, которое уже при разгрузке удаляет землю, мелкие и поврежденные клубни... Нужна вентиляция — и он разработал особую систему с верховой подачей воздуха. Нужен холод — соорудили компрессорную станцию. Нужна изначальная чистота — и появилась озонаторная станция...

Нет, кажется, такого завода и проектного института в Кургане, где ни побывал бы А. Г. Сафонов, уговаривая, предлагая, выпрашивая, доказывая... Мы, конечно же, бываем на некоторых из них, чтобы точнее проследить тот сложный путь, которым пришлось идти новатору. Поговорим для этого с некоторыми из сафоновских соратников. Ну, скажем, с ведущим инженером машиностроительного завода им. В. И. Ленина Геннадием Федоровичем Дмитриевым:

— Мое знакомство с Сафоновым началось, прямо скажем, оригинально. Приходит он к нам на завод и заявляет: «Выбирайте — или шестьдесят человек на разгрузку овощей, или пять человек на монтаж установок». Разговор, как видите, толковый, внушающий уважение. А для специалиста и долгожданный: кому охота грязную морковь вручную перебирать? Так, понемногу, всего, что ему требовалось, Сафонов добивался, и рабочих на разгрузку с нашего предприятия больше не приглашали. А потом они и вовсе на базе не требовались...

Любо-дорого смотреть, как Сафонов водит ныне бесчисленные делегации со всего Союза по своему преобразенному хозяйству. Какая гордость звучит в его голосе! Какая неутомимость, сколько энергии и страстности в каждом его жесте! Но главное, пожалуй, в другом — в том, как неподдельно его желание поделиться со всеми тем, что знает, до чего дошел сам:

— А это, товарищи, наш картофелеподборщик — «Крот». Необходимейшая, доложу я вам, вещь! С ним не придется больше загружать картофель лопатами, что, как известно, небезопасно для картофеля. А вот это — моечная машина. Игрушка, а не машина! Поэтому и морковь, видите, поступает от нас в магазины чистая, красивая, здоровая...

Я вот помню, как-то местные ранетки хорошо уродились, так несчастных сорок две тонны некуда было деть — не брали. А как поставили вот этот консервный цех, пустили

все на консервы — около миллиона банок за сезон! За милую душу! А то ведь до этого, стыдно сказать, огурцы консервированные — из Крыма завозили!

Когда очередная делегация посещает засолочный цех, у каждого, наверное, появляется ощущение, что попал он куда-то не туда... Огромное просторное помещение, а в нем сто бетонных ям, обработанных специальной пищевой смолкой. Трубы, покрытые инеем, змеятся вниз, в бетонные чаши, сменившие традиционные бочки. Всюду странные с виду механизмы, *безлюдье*. В каждом из чанов, под льдом, замороженным сверху, хранится по четыре тонны соленных огурчиков, приготовленных по-сафоновски, с чесночком... Курганские хозяйки вообще перестали солить на дому. Говорят — магазинные вкуснее.

В двухкомнатной квартире у Сафонова, скажем прямо, не богато. Скромно живет и, что особенно чувствуется, — не этим...

В резком свете настольной лампы четко обозначились на его лице жесткие морщины — следы долгих лет борьбы и испытаний. Александр Григорьевич задумался, вспоминая минувшее:

— А вы знаете, что за эти вот огурцы меня чуть в тюрьму не посадили?.. Как? Очень просто. Я нарушил технологическую инструкцию Минторга СССР, категорически запрещающую солить огурцы в дощниках и цементированных емкостях. Ведь до сих пор солили только в бочках. Когда-то хозяйка делала их из дуба и бука. А сейчас? Правильно — из чего придется. И потом — где взять столько бочек? Кто будет их мыть, кипятить, ремонтировать? А где хранить и как держать нужную температуру? Словом, затраты труда колоссальные, а работать будем непременно в убыток... Не захотел! И решил засолить по-своему. Рискнул и... больше половины попервости проквасил. Шум, естественно, был большой. Вызвали куда следует. Они думали, — смеется Сафонов, — я оправдываться буду, а я сказал, что засолю по-своему еще раз. Удивительно, но пошли навстречу. И пока прокуратура свое дело делала, я засолил еще раз. Получилось! Огурцы вышли — пальчики оближешь! А победителей не судят. С тех пор так и солим. Очень выгодная вещь получается: раньше у нас в этом цехе восемьдесят человек работало, а сейчас — семь. Разовый экономический эффект от ликвидации тарного хозяйства — десять тысяч бочек! — составил семьдесят тысяч рублей. Общий же эффект от внедрения нового способа — сорок три тысячи рублей в год. И нет больше таких профессий, как мойщик, залищик, грузчик, бондарь. А есть одна — оператор. Как на хо-

рошем заводе, верно?

...Огурцы задвигались, заторопились, словно маленькие крокодилы, в просторной емкости моечной машины, потом закипели в упругих струях воды и, норовя обогнать друг друга, двинулись наконец по лентам транспортера на участок приготовления рассола... И впечатление действительно было таким: мы — на современном, отлично отлаженном, отменно оснащенном заводе, где каждый знает свое дело и свое место...

Экономический эффект всегда неотделим от эффекта нравственного. Труд на овощных базах Кургана приобретал постепенно новый смысл. Не примитивное: «бери больше, кидай дальше», а — твори, придумывай, помогай чем можешь родному городу, улучшай условия своего же собственного труда.

И снова мы в квартире Сафонова, где хранится вся его переписка. Александр Григорьевич — человек аккуратный и дисциплинированный, наверное, еще с армии — поэтому всё у него, как говорится, имеет свое место. Вот и сейчас, заглянув в письменный стол, он тотчас находит то, что искал: необыкновенной толщины «трещашку по швам» папку. Судя по всему — заветную. В ней — вся его трудная жизнь в Горплодоовощторге. И прежде чем развязать тесемки, Александр Григорьевич рассуждает о специфике «овощной» работы вообще:

— Любая овощная база — потенциальный объект для фельетона. Любой директор овощторга — потенциальный участник судебного процесса. Почему так? Сказать честно? Пожалуйста. Если бы я делал все строго по закону, по инструкции, то и половины бы сделанного не сделал. Главное — чтобы в собственный карман ничего не попало. Попадет хоть мелочь, хоть случайно, хоть апельсин один, пиши пропало. Я так считаю. Наше дело, как, впрочем, всякое другое, должно делаться чистыми руками. Чистыми — по большому счету...

Папка полна бумагами: официальные письма, ответы на запросы, приказы, инструкции, в которых слова «Коллегия» и «Научно-технический прогресс» пишутся с заглавной буквы, а вот суть дела — с маленькой. Мы убедимся в этом, вчитавшись в до удивления одинаково стертые, стандартные слова, сквозь которые явственно проступает чиновничье равнодушие. А рядом с ними увидим мы копии писем самого Сафонова — в министерства, Госагропром, Совет Министров РСФСР... В них, этих письмах, — упорное, настойчивое желание достучаться, добиться того, чтобы дело его жизни, дело, необходимое всей стране, было сдвинуто наконец с мертвой точки, в них сафоновские тре-

вога и надежда, боль и ярость, нетерпение и злость:

— Сколько сил, энергии, таланта теряем мы из-за бюрократических рогаток! Тысячи бесполезных инструкций, устаревших правил, нелепых ограничений! А главное — как медленно и неуклюже поворачивается бюрократическая машина, когда необходимо принять какое-либо новое, современное решение! Примеров тому — масса! Везде! Ну, возьмите, например, нашу простенькую в общем-то машину для товарной обработки капусты. Своими силами мы сделали две штуки. Ну, а если нужно больше? Или приспособление для загрузки моркови, на котором два человека восемьдесят тонн моркови в день разгружают и обрабатывают. Они, что, никому, кроме нас, не нужны?! Почему не пустить в серию? Почему не создать их для всех, кому, я знаю, крайне это необходимо?!

И, словно в подтверждение его слов, перед нами пройдут бесчисленные запросы на сафоновские изобретения едва ли не из всех городов страны и всех союзных республик. Бланки союзных республик. Бланки союзных ЦК, обкомов, облисполкомов, управлений, торгов, фирм, НИИ... Тысячи руководителей разных рангов обращаются за помощью не «куда-нибудь повыше», как говорится, а к курганскому директору.

Пятьдесят организаций из 50 городов страны запросили и получили необходимую помощь в виде схем, эскизов, инструкций и рабочих чертежей. И все это — в срок, добросовестно и, естественно, безвозмездно сделал он сам, директор торго Сафонов. Вот куда шли бессонные ночи, выходные дни и праздники!.. И каково же после этого всего слышать ему сегодня, что потери при хранении по стране не уменьшаются, а «шефов» на базы гоняют всё больше!

Вот справка с заседания одной из коллегий Госагропрома РСФСР за 1986 год. В ней черным по белому написано, что за девять месяцев текущего года потери от хранения увеличились на 15 миллионов рублей и составляют теперь 90 миллионов и дальше: «гибель ценнейшей продукции, привлечение множества горожан на базы, низкое качество сохраненных овощей — всё это следствие крайне низкого уровня организации работ в заготовительном звене»...

А вот брошюра, выпущенная Минплодоовощхозом еще в 1982 году. Читаем в ней строки: «Опыт работы Курганского горплодоовощторга, возглавляемого А. Г. Сафоновым, является образцом отношения к делу, примером творческой инициативы. Он имеет не только большое хозяйственное, но и социальное значение, так как внедрение передовой технологии и средств механизации

позволило отказаться от привлечения для работы на базе сторонней рабочей силы»... На словах все — «за». А на деле?

Вот что думает по этому поводу ученый секретарь Сибирского отделения ВАСХНИЛ Н. Ф. Фролков, хорошо знакомый с сутью проблемы:

— Складывается впечатление, что процесс внедрения опыта курганцев целиком зависит от инициативы отдельных работников плодощторгов различных городов страны. А решение проблемы в целом не получается. В общесоюзной системе изготовления машин на текущую пятилетку практически нет раздела по механизации работ на предприятиях Агропрома. В зоне деятельности Сибирского и Уральского отделений ВАСХНИЛ нет ни одного научного подразделения, которое занималось бы вопросами сокращения потерь урожая при хранении и переработке. Нет ни КБ, ни заводов-изготовителей, ни машиностроительных станций...

...Переписка Сафонова — как детектив. Читать можно с любого места — захватывает. И все же одним из самых блестящих перлов переписки по праву считается «почтовый роман» Александра Григорьевича с Минплодоовощхозом СССР. А началось все с того, что, когда все-таки не под силу стало Сафонову снабжать чертежами и расчетами половину нашей необъятной страны, решил он обратиться в родное министерство...

Александр Григорьевич извлек из своей папки то самое, первое, теперь уже «историческое» письмо:

— Написал я тогдашнему министру Козлову. Дескать, уважаемый Николай Тимофеевич, прошу дать указание выполнить индивидуальный проект многоразового пользования. По рассолочному цеху, для начала. Получаю вот этот ответ: планы, мол, уже сверстаны — поздно, надо не позже апреля присылать. Ладно, думаю, на следующий год уж не опоздаю. Послал вовремя. Ответили — «Не представляется возможным». Вот так. Но я все-таки снова написал, в третий раз. Тут меня уже одернули. Что, мол, вы еще хотите — опыт ваш одобрили, брошюру издали, на ВДНХ свозили... И вот: «Учитывая изложенное, полагаем рассмотрение указанного вопроса... нецелесообразным». Представляете? Сотни запросов со всей страны — а для них нецелесообразно. Так наши цеха по сей день и остаются единственными в стране. Феномен, как пишут газетчики. Уж десять лет как феномен... — Лицо Сафонова потемнело, и он невесело усмехнулся...

Другой бы обиду затаил, а то и вовсе от дел отошел, а Сафонов устроен иначе — боец. Лучшим доказательством своей правоты считает еще один шаг вперед.

Последнее по времени и, пожалуй, любимое детище Сафонова — единый комплекс сложных технических средств по сохранению овощей. Выглядит все это на территории овощной базы довольно фантастически: серебристые корпуса, геометрические формы, загадочное переплетение труб. Чтобы понять, что к чему, нам следует, наверное, рассмотреть все это ближе, разделить на отдельные объекты... Вот компрессорная станция искусственного холода... Вот озонаторная станция для обеззараживания продукции... Вот станция регулируемых газовых сред... И, наконец, станция централизованного воздухообеспечения... Их прямое назначение — замедлять биологический обмен веществ внутри овощей, способствуя тем самым значительному увеличению сроков их хранения...

Казалось бы, ну что ему еще, как говорится, желать? Сохранность продукции — самая высокая по стране... Но ему и сегодня не до прекраснотушия. Он и сегодня, спустя уже много лет после начала своей борьбы, после ошутимых побед, не может говорить спокойно о том, что его возмущает, волнуется, не дает покоя:

— Колоссальная экономия средств, почти стопроцентная сохранность, полнейшая механизация!.. Но и это, как оказалось, никому было не нужно там, наверху. Посмотрели, похвалили и — забыли! Мало того — когда я ругаться начал, еще и критики подпустили за то, что, дескать, озон способствует накоплению в овощах канцерогенных веществ. А сколько, интересно, этих самых веществ в гниющей картошке?.. Да разве только в этом дело? Почему всё еще беден наш овощной прилавок? Да потому, что несовершенны существующие положения не только хранения, но и заготовки овощей! И главное несоответствие: в ценах. Как закупочные, так и розничные, они излишне «зацентрализованы». Скажите, ну разве можно из Москвы правильно определить, когда и по какой цене продавать редиску на курганском рынке?

С Сафоновым, как со всяким незаурядным человеком, дело иметь, конечно, не просто. Максималист. Фанатик идеи. Но — талант. А для того, чтобы этот талант смог раскрыться, созреть, нужен определенный нравственный климат общества (в данном случае — города), который во многом определяют моральные качества его руководителей...

Обстоятельства сложились таким образом, что при всех сложностях, перепадах, переменах в нашей жизни А. Г. Сафонова всегда активно поддерживали партийные и хозяйственные руководители области и города. Вероятно, все они проницательно обнаруживали в этом неумном, беспокойном человеке ту самую «живинку в деле», которая, по убеждению уральского сказочника П. П. Ба-

жова, и делает человека столь полезным и необходимым обществу, народу, стране...

Рассказывает секретарь Курганского обкома КПСС Энвер Кадырович Салих:

— Это кому-то обладать «феноменом» лестно, а Александру Григорьевичу — больно. Потому что, когда мы говорим о полезном опыте, который не распространяется, мы говорим еще и о наплевательском отношении к энтузиасту, к его подвижничеству... Кое-кто говорит о Сафонове, что не умеет он мыслить, так сказать, крупномасштабно. Нельзя, мол, Курган пропагандировать, это, дескать, всё — самодеятельность, кустарщина, а вот, мол, в будущем... Но ведь кормить-то людей сегодня надо! И об этом Сафонов никогда не забывает, делая все для того, чтобы путь «поле — магазин» стал как можно короче. А те, кто называет это «самодеятельностью», попросту оскорбляют талант, инициативу, энергию, без которых ни самодеятельности, ни просто деятельности быть не может... Что же касается нас, курганцев, то областной комитет партии всегда поддерживал и поддерживает все столь полезные для нашего города начинания Сафонова... Только вот нам совершенно непонятно: почему многие из них неоправданно долго ждут своего официального утверждения в Госагропроме РСФСР?..

Рассказывает П. А. Бахтияров, заместитель председателя Курганского облисполкома:

— Не так давно в Новосибирске прошла коллегия Госагропрома РСФСР, где работа Сафонова была единодушно признана отличной, нужной. Это же отмечали присутствовавшие на ней представители Совмина РСФСР и ЦК КПСС. Не скрою: все мы были рады, даже горды за Александра Григорьевича. Наконец-то его работа получила официальную и столь высокую оценку. Было принято решение о подготовке материалов на выдвижение Сафонова на соискание Государственной премии СССР. Всё было подготовлено в срок и отправлено на утверждение в Москву, в тогдашний Минплодоовощхоз РСФСР. И вдруг ответ от министра В. Наумова: нет! Как же так, ведь решение было совместным?! Позже выяснилось, что как раз в это время по республике за различные злоупотребления были сняты с работы двадцать семь (!) директоров российских горплодоовощторгов. Логику министра понять несложно: а вдруг и у Сафонова что-то там откроется! Вот так всё и закончилось. Пока. Мнение Наумова — это еще не последняя инстанция. Будем думать. А человека обидели. Причем, человека честно и бескорыстно...

Да, в Кургане Сафонову всегда помогали, чем могли, он высоко ценит эту поддержку. Но вскоре после описанных событий Алек-

сандр Григорьевич как-то быстро засобирился на пенсию... Вот оно, его заявление об увольнении. Интересно, когда писал, рука не дрожала? А, Александр Григорьевич? Ведь за спиной почти двадцать лет в родном торге. С нуля начинал, вон что свершил. Так неужели?.. Может, бросите в сотый раз перебирать непослушными руками свои рыболовные снасти, неумело имитируя сосредоточенную подготовку к зимней рыбалке? Может, отложите их в сторону, наденете свой бостонский пиджак и еще раз грудею вперед — в атаку!.. Но нет, кто и как только ни уговаривал его поработать еще. А он как отрезал: устал. Устал тот, кто не устал никогда, кто был олицетворением слов — энергия и инициатива... А, может, просто надоело «пробивать» и совмещать в себе функции проектного института и экскурсовода-любителя?..

Тот, кто решит, что главную роль здесь сыграла история с премией, выдаст полное свое незнание натуры Сафонова. Такие люди работают не ради почестей...

Да и нужны ли другие, если Сафонова и так, будто кинозвезду, на улице узнают. Здороваются подчеркнуто уважительно. Оно и понятно: почти двадцать лет не сходит его имя со страниц местных газет, почти двадцать лет оно на слуху у курганцев. Как, впрочем, и некоторые факты сафоновской биографии: не взял для себя ни копейки, ни разу не был в санатории или доме отдыха, не строил себе дач, не пропихивал на теплые места детей... Пример жизни, целиком отданной делу...

Как всякий человек дела, Александр Григорьевич давно и твердо решил для себя, что в союзе человека и дела главенствует дело. Он давно для себя всё выбрал и сделал то, что многие по подкаске рьяно начали изображать только сейчас: перестроился... И он с готовностью смирит самолюбие, вполне философски отнесется к тому, что труд его в должной мере не оценен — лишь бы дело развивалось, как ему положено. Но... Думается, будет вполне логично, если мы попросим высказываться по существу данной проблемы тех, кто не захотел или не сумел увидеть в почине Сафонова важного и нужного для страны дела. Сейчас, до начала съемок, по разным причинам трудно сказать, кто конкретно это будет, но ясно, что кто-то из руководителей республиканского либо союзного Агропрома. Все они в курсе всех перипетий сафоновского дела и, возможно, что кто-то из них сумеет дать точный и честный ответ на вопрос, поставленный съёмочной группой: почему так происходит?..

...Сафонов не из тех людей, кто долго и безуспешно может предаваться отчаянию. Работа — вот лекарство, которое он собственноручно прописывает себе в любых ситуаци-

ях... Теперь мы увидим Александра Григорьевича несколько в ином качестве — руководителем экспериментальной группы по новой технике. Так называется его новая должность, «выбитая» для него руководством при областном агропромышленном комитете... И чувствует он себя в этом качестве, пожалуй, лучше и естественнее: теперь ведь все его время без остатка посвящено любимому делу — проектированию и конструированию новой «овощной» техники. Здесь он в своей стихии — подрамники, чертежи, расчеты... Только вот с промышленной реализацией этих чертежей, а тем более распространением сафоновского опыта дело обстоит пока всё так же. Но Сафонов верит:

— Я мечтаю о том времени, когда овощные базы будут механизированы полностью. Как отличный, современный завод. Никакого тяжелого ручного труда! Никаких производственных потерь рабочего времени!.. Когда люди будут работать здесь в белых халатах. Когда их будут обучать для этого специально — ну, скажем, в ПТУ. Ведь хранение овощей должно рассматриваться сегодня неразрывно с экономической стороной этого сложнейшего и, надо сказать, довольно дорогого для нашего государства дела. В самом деле, разве для нашей страны, для ее экономики безразлично, как и во что обходится каждая тонна заложенной и сохраненной продукции?!

И вот, окончательно устав от ложных обещаний, проволочек, равнодушия и попросту разгильдяйства, в апреле нынешнего года он пишет вот это — перед нами копия — письмо председателю Комитета партийного контроля при ЦК КПСС М. С. Соломенцеву, где честно и откровенно излагает наболевшее и то, каким он видит будущее плодово-овощных баз...

Что ж, вероятно, это был для него уже единственный выход.

Вот что думает по этому поводу уже знакомый нам Петр Алексеевич Бахтияров:

— Я думаю, он поступил правильно. Во всяком случае результата добился — уже через три месяца в Кургане состоялось выездное заседание научно-технического Совета Госагропрома РСФСР по рассмотрению предложений Сафонова. Принятое Советом решение было единодушным: накопленный в Кургане опыт не только нужно, но просто необходимо в ближайшее время применить на базах и комбинатах не только РСФСР, но и всех союзных республик страны...

...Своими впечатлениями о Совете поделится с нами его непосредственный участник и вполне заинтересованный человек — директор Курганского НИИЗХ Сибирского отделения ВАСХНИЛ И. А. Сикорский:

— На Совете была приведена потрясающая цифра: в 1985 году только из-за неправильного хранения по Агропрому было списано плодовоовощной продукции на сто два (!) миллиона рублей!.. Многих — а здесь собрались ведущие специалисты из большого числа городов страны, присутствовал и председатель Агропрома РСФСР тов. Л. Б. Ермин — эта цифра просто поразила. В ее удручающем свете вполне закономерным выглядело принятие конкретного решения о создании в Кургане специализированного проектно-конструкторского бюро с опытным производством «Курганагроовощмаш». В задачи этого бюро войдет прежде всего разработка новых механизмов для плодово-овощных баз и комбинатов и изготовление опытных образцов для последующего запуска их в серию. Кроме этого, здесь будет дорабатываться до уровня ГОСТов техническая документация на уже существующие машины. Так что перспективы, как видите, обнадеживающие...

Перспективы — дело, конечно, хорошее. Но станут ли они когда-нибудь явью? Станут ли?..

...Александр Григорьевич Сафонов не пьет спиртного и не курит вот уже тридцать лет. Лучшим способом спасения от стрессов считает рыбалку. Вот такую, как эта, — с резиновой лодки на одном из многочисленных зауральских степных озер... Солнце клонится уже к закату, и на фоне зеркальной в этот час воды рельефно высветливается спокойное лицо человека, достойно прожившего свою жизнь.

Кем бы мог быть в жизни, если не стал бы заготовителем, этот человек? Вот говорят — такой-то родился поэтом, математиком, художником. А Сафонов? Уверен: он мог стать кем угодно — не в этом суть его личности. Но в любой профессии он оставался бы равнодушным, одержимым человеком, исполняющим свой долг с полной солдатской выкладкой... Достоевский заметил как-то, что внутри каждого человека существует некий «нравственный закон». Какой же закон у Сафонова? Наверное, тот самый, что и у знаменитых его земляков, тоже курганцев, Терентия Мальцева и Гавриила Елизарова — закон совести и чести. Неумолимый закон, приказывающий Сафонову, как когда-то в сорок втором, подниматься и подниматься в атаку против косности, равнодушия и бюрократизма...

...И вот он уже снова, не в силах удержаться и отказать, радушно встречает и водит по базе очередную делегацию. А вдруг в ком-то из этих экскурсантов благодарно отзовется и вызреет какая-то из

его идей?! Ведь ради этого стоит еще и жить, и работать:

— Вот здесь у нас будет центральный пульт управления. За пультом — два человека: товаровед и электронщик. Товаровед точно знает, что лежит плохо, а что хорошо, и, как знающий специалист, выдает электронщику-оператору указания: на склад моркови добавить холода, капусте изменить газовую среду, свеклу обработать свежим воздухом...

— Это что, из планов двухтысячного года? — робко спрашивает кто-то из членов слегка опешившей делегации.

— Зачем, планы ближайшие, на этот год, — уверенно отвечает Сафонов. — А на

двухтысячный у нас посложнее программа.

...Щелкнул выключатель, вспыхнул свет, и в кухню на цыпочках, в одних носках, неслышно вошел Сафонов. Включил газ, поставил чайник и присел к столу, где его уже ждали загодя разложенные чертежи. Через минуту, погруженный в них, он не замечал уже ни разгорающегося за окном рассвета, ни яростно кипящего, словно разгневанного чем-то чайника...

Победит ли Сафонов? Победят ли Сафоновы? Победит ли то новое, что вместе с ним властно входит сегодня в нашу жизнь?..

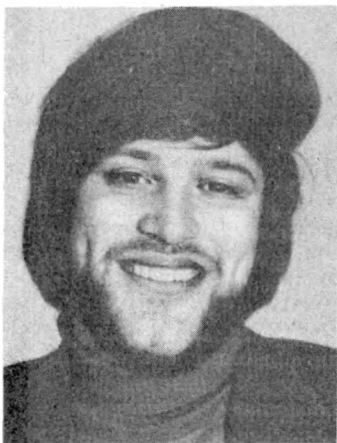
ОТ АВТОРА

Что же произошло после написания сценария? Фильм снят. Должен к Новому году выйти на экраны. Победа? Да, в этом плане. Но Александра Григорьевича уволили... на пенсию! Говорят, не сработался с руководством областного объединения «Курганплодоовощ». И правда. Не сработался. Ну, а как же его мечта? Мечта о централизованном проектировании и изготовлении машин в общесоюзном масштабе, о «собственном» заводе и КБ, загруженных исключительно программой овощных баз? С этим, как говорится, «напряженно». А точнее — никак. Решение этих вопросов Госагропромами СССР и РСФСР и сегодня находится на мертвой точке. Видно, и здесь дает о себе знать неукротимая ржавчина равнодушия...

...Меня, честное слово, до сих пор преследует и волнует материал, положенный в основу этого сценария. Теперь, по прошествии полутора лет со дня его написания, я понял, наконец, почему это происходит. В нехитрой, на первый взгляд, истории с Сафоновым, как в капле воды, отразилось все то, что мы на сегодня имеем, — и наши возможности, и наше человеческое богатство, и наши трудности, и наша бюрократическая неповоротливость и равнодушие, и наше неумение ценить настоящую, а не бумажную инициативу... Жизнь. Сама жизнь во всех ее противоречиях и борьбе... Ведь если ветер перемен коснется только «верхов» или «избранных» мест, если не захлестнет он в благодатном порыве все многоэтажное здание нашего государства, то это будет, наверное, уже и не перестройка. Поэтому каждый вправе спросить сегодня: если не начнется здесь, сейчас, моими руками, то где же гарантия, что начнется там, позже, у других? Так считает и Сафонов.

Так победит ли Сафонов и его дело? Откровенно говоря, верящих в это становится все меньше. Возможно, я наивный человек, но, зная Александра Григорьевича, скажу все-таки: победит! Наверняка победит. Но неужели на это всякий раз необходимо положить целую человеческую жизнь?!

сентябрь, 1987 г., Свердловск — Курган



СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ДИДКОВСКИЙ (родился в 1951 году) закончил сценарный факультет ВГИКа, живет и работает в Свердловске. Автор сценариев документальных и научно-популярных фильмов: «Песни села Катарац» («Центрнаучфильм»), «Я. М. Свердлов: всего лишь год», «Фальшивые ценности» (совм. с С. Брускиным), «В шестнадцать мальчишеских лет» (все три — Свердловская киностудия) и др.

Документальный фильм по литературному сценарию «Атака» поставлен на Центральной студии документальных фильмов.

ИЗ АРХИВА МАСТЕРОВ

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА, ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ

КИНОПОЭМА ПО Н. В. ГОГОЛЮ

ЧИТАТЕЛЬ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, СЛЫШАЛ ТАК ЧАСТО ПОВТОРЯЕМУЮ ИСТОРИЮ ОБ ОСТРОУМНОМ ПУТЕШЕСТВИИ ИСПАНСКИХ БАРАНОВ, КОТОРЫЕ, СОВЕРШИВ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ В ДВОЙНЫХ ТУЛУПЧИКАХ, ПРОНЕСЛИ ПОД ТУЛУПЧИКАМИ НА МИЛЛИОН БРАБАНТСКИХ КРУЖЕВ...

ЭТО ПРОИСШЕСТВИЕ СЛУЧИЛОСЬ ТОГДА, КОГДА ЧИЧИКОВ СЛУЖИЛ ПРИ ТАМОЖНЕ...

Двор таможи на границе России. Стоят два дорожных экипажа с отвязанными вещами. Взволнованный проезжающий. На крыльце суета — вносят и выносят вещи. Таможенные служащие. У ворот — часовой солдат.

У ЧИЧИКОВА БЫЛО ПРОСТО СОБАЧЬЕ ЧУТЬЕ.

Чичиков с таможенным служителем обыскивает экипаж: отстегивает кожаные карманы, проходит пальцами по швам...

Проезжающий волнуется, пожимает плечами.

Внутри таможи. Взволнованная дама. Чичиков. Служитель.

Чичиков. Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами.

Отдельная комната в таможе. Стоит рыдающая взволнованная дама в одном белье, а супруга таможенного чиновника вытаскивает из-за корсажа у нее шелковые платки.

Помещение таможи. Стоит совершенно убитый проезжающий. Чичиков за столом. Перед Чичиковым груда отобранных вещей. Чичиков пишет акт.

Дорога. Экипаж. В экипаже проезжающий и проезжающая. Проезжающая плачет...

Проезжающий. Чорт, а не человек...

В ТО ВРЕМЯ ОБРАЗОВАЛОСЬ СИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КОНТРАБАНДИСТОВ.

Комната. В комнате таинственная и подозрительная компания. Свечи. Трубочный дым. В центре — вожак компании. Головы склонились над планом.

Комната в квартире Чичикова. Вожак сидит в кресле.

Вожак. Итак... почтеннейший Павел Иванович... Чичиков отрицательно качает головой.

Вожак показывает на пальцах — десять.

Чичиков отрицательно качает головой, обольстительно улыбаясь.

Вожак дважды показывает на пальцах «десять». Чичиков. Сто.

Вожак разводит руками...

Кабинет начальника таможи — статского советника.

ЧИЧИКОВ СКЛОНИЛ И ДРУГОГО, КОТОРЫЙ НЕ УСТОЯЛ ПРОТИВ СОБЛАЗНА...

Чичиков вынимает деньги, подает начальнику.

Где-то у границы России. Ночь. Луна. Сарай. Шайка подозрительных мошенников. Один стоит на страже, другие обматывают баранов кружевами, а сверху кружев надевают фальшивые вторые бараньи тулупы.

Мелькает свет потайных фонариков.

Двор таможи. На крыльце стоит начальник таможи и Чичиков.

Во дворе стадо баранов. Двое, которые их привели.

Чичиков считает баранов. Делает отметки на бумаге. Машет рукой. Пограничные солдаты открывают двери таможи. Баранов гонят в ворота.

НА МИЛЛИОН БРАБАНТСКИХ КРУЖЕВ...

Будуар богатой дамы в Петербурге. Торговка контрабандным товаром разворачивает перед ней брабантские кружева.

Бал во дворце. Доносится гром музыки. Гостиная. Другая дама в брабантских кружевах...

Полонез во дворце. В идущих парах несколько дам в брабантских кружевах.

У ЧИНОВНИКОВ ОЧУТИЛОСЬ ПО ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ КАПИТАЛУ...

Квартира Чичикова, обставленная дорогими вещами. Чичиков, обнаженный до пояса, сидит над тазом. Камердинер обтирает его мокрой губкой. Петрушка стоит с кувшином в руках.

Ворота таможи. Тройка Чичикова выезжает из ворот. Селифан в хорошем кучерском одеянии. Правит.

НО ОДНАЖДЫ ЧИНОВНИКИ ПОССОРИЛИСЬ...

Квартира Чичикова. Обеденный стол. Начальник таможи и Чичиков. Оба в ярости.

Чичиков. Попович!

Начальник таможи. Нет, врешь! Я статский советник!

Начальник таможи в дверях чичиковской столовой — грозит пальцем Чичикову и уходит.

Кабинет начальника таможи. Горят свечи. Начальник таможи с искаженным от ярости лицом пишет.

Начальник таможи. Сам пропаду, но упеку! Конверт. Рука с гусиным пером. Ложатся буквы: «Его Высокопревосходительству господину мини...»

КАК ГРОМ...

Разоренная квартира Чичикова. Чичиков, окаменев от отчаяния, сидит в кресле.

**УВЕРНУЛСЯ ИЗ-ПОД УГОЛОВНОГО СУДА...
НО ПРИНУЖДЕН БЫЛ...**

ПРИНУЖДЕН БЫЛ ЗАНЯТЬСЯ ЗВАНИЕМ ПОВЕРЕННОГО, ОСУЖДЕННЫМ НА ПРЕСМЫКАНИЕ В ПЕРЕДНИХ...

ИЗ ПОРУЧЕНИЙ ДОСТАЛОСЬ ЕМУ ПОХЛОПОТАТЬ О ЗАЛОЖЕНИИ В ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ НЕСКОЛЬКИХ СОТ КРЕСТЬЯН...

Отдельная комната в блестящей ресторации в Петербурге. Чичиков поит секретаря. Обед кончается. Чичиков передает бумаги секретарю.

Чичиков. Только вот какое обстоятельство: половина крестьян вымерла...

Секретарь. Да ведь они по ревизской сказке числятся?

Чичиков. Числятся.

Секретарь. Ну, так чего ж вы оробели?

Секретарь смеется, прощается, уходит с бумагами.

Чичиков один. Его осеняет мысль.

— Ах, я, Аким-простота!.. Да, накупи я всех этих, которые вымерли...

Чичиков один — размышляет. В открытую дверь видна блестящая зала ресторации и проходящие силуэты гвардейских офицеров.

Слышится цыганское пение и звон гитар.

Чичиков говорит сам с собой, бормочет:

— За что же другие благоденствуют и почему должен я пропасть червем?.. Теперь время удобное: недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, не мало...

Звонит в колокольчик, требует счет.

Дорога. Бричка. На козлах — Селифан и Петрушка.

Крестьянское кладбище. Чичиков выглядывает из брички, считает кресты.

В ворота гостиницы губернского города въезжает бричка Чичикова. На бричку с любопытством смотрят два мужика и молодой человек в белых канифасовых панталонах.

Половой встречает на крыльце гостиницы Чичикова.

Чичиков обедает в общей зале, расспрашивая полового.

— А не было ли в вашей губернии повальных горячек?

Половой. Никак нет, горячек не было.



Михаил Булгаков. Фото начала 30-х годов

Чичиков. Стало быть, все хорошо?

Половой. Слава богу... оспа была...

Улица города. Чичиков идет в шубе. Магазин с надписью: «Иностранец Василий Федоров». Харчевня с нарисованной рыбой и воткнутой в нее вилкой. Питейный дом.

Будочник с алебардой. Чичиков спрашивает:

— Как пройти к губернатору?

Губернаторский кабинет. Чичиков раскланивается.

ПРИЕЗЖИЙ ОКАЗАЛ НЕОБЫКНОВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЧЕТ ВИЗИТОВ.

Гостиная вице-губернатора.

Чичиков. Ваше превосходительство...

Вице-губернатор. Я еще только статский советник... Прошу садиться.

Бричка Чичикова стоит на улице. Чичиков, выходя из подъезда, говорит Селифану:

— К председателю палаты...

Подъезд полицеймейстера. Полицейский отворяет дверь. Чичиков входит.

Бричка Чичикова катит по городу.

Прокурор провожает Чичикова по лестнице своего дома.

Захолустная улица. Чичиков, высунувшись из брички, спрашивает у бабы:

— Как проехать к инспектору врачебной управы?

Подъезд дома городского архитектора. Чичиков спрашивает у слуги:

— Архитектор у себя?

Бричка ездит по разным местам города, показываясь то здесь, то там.

Бричка стоит на улице. Чичиков задумчив:

— Кому бы еще отдать визит? Да уж больше в городе нет чиновников...

ГУБЕРНАТОР СДЕЛАЛ ЧИЧИКОВУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЕЧЕРИНКУ.
Видна губернаторская зала. Гости во фраках. Танцуют.

ПОМЕЩИКИ СОБАКЕВИЧ И МАНИЛОВ.
В креслах сидят и разговаривают Собакевич и Манилов.

В дверях карточной комнаты Чичиков, глядя и на Собакевича и на Манилова, расспрашивает о них председателя шопотом.

Манилов трясет руку Чичикову, приглашает того к себе.

Собакевич приглашает Чичикова к себе. Наступает Чичикову на ногу.

Собор. Чиновники в орденах. Обедня. Чичиков молится.

Хор поет «Иже херувимы».

ВСЕ ЧИНОВНИКИ ДОВОЛЬНЫ ПРИЕЗДОМ НОВОГО ЛИЦА.

У ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРА С ТРЕХ ЧАСОВ ЗАСЕЛИ В ВИСТ.

У полицеймейстера Ноздрев играет в карты с председателем, прокурором и почтмейстером. Каждую взятку Ноздрева проверяют. Ноздрев сердится.

Входит Чичиков. Его знакомят с Ноздревым. Полицеймейстер. Помещик* Ноздрев...

Ноздрев. Ба-ба-ба!..

Ноздрев валетом кроет даму. Происходит недоразумение. Полицеймейстер доказывает Ноздреву, что валетом нельзя кроить даму. Ноздрев оправдывается и говорит, что он не разобрал.

МНЕНИЕ, ВЕСЬМА ЛЕСТНОЕ ДЛЯ ГОСТЯ, ДЕРЖАЛОСЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОДНО СТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ПРИВЕЛО В СОВЕРШЕННОЕ НЕДОУМЕНИЕ ПОЧТИ ВЕСЬ ГОРОД.

Дорога. Бричка. Два мужика.

Чичиков. Далеко ли деревня Маниловка?

Мужик. Маниловка? А как проедешь еще одну версту...

Мужик указывает Чичикову, как найти Маниловку.

Помещичий дом Манилова на юру.

Комната у Манилова. Манилов целуется с женой.

Манилова. Разинь, душечка, свой ротик...
Манилова кладет в рот Манилову конфету. Послышался колокольчик.
Манилов вскакивает, выбегает из комнаты.

Крыльцо у Маниловых. Манилов смотрит на подъезжающую бричку, машет рукой, выражает радость.

Бричка у крыльца. Вылезает Чичиков, целуется с Маниловым. Выходит на крыльцо Манилова.
Манилов. Душенька, Павел Иванович...

У дверей маниловского кабинета Чичиков и Манилов долго раскланиваются, пропуская друг друга вперед. Усаживаются.

Чичиков. Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?

Манилов. Да уж давно... А лучше сказать, не припомню.

Чичиков. Как с того времени много у вас умерло крестьян?

Манилов. ...Эй, человек! Позови прикащика... Является прикащик — пухлый малый с маленькими глазками...

Прикащик. Ведь неизвестно, сколько умирало. Их никто не считал...

Чичиков. Ты, пожалуйста, сделай подробный реестрик всех поименно...

Манилов. Да, всех поименно...

Прикащик. Слушаю...

Прикащик уходит. Манилов курит.

Манилов. А для каких причин вам это нужно? Чичиков оглядывается тревожно...

Чичиков. Я желаю иметь мертвых...

Трубка падает из рук Манилова...

Манилов. Как?! Я туг на ухо... мне послышалось...

Чичиков. Нет, вам не послышалось. Я хочу приобрести мертвых.

Волосы встают на голове у Манилова дыбом. Манилов заваливается в кресле в ужасе...

Чичиков успокаивает Манилова, объясняет ему, как произвести махинацию.

Манилов. Так вы полагаете?..

Чичиков. Я полагаю, что это будет хорошо. Манилов успокаивается, изъявляет согласие уступить Чичикову мертвых.

Чичиков. Остается условиться в цене...

Манилов. Если уж вам пришло этакое фантастическое желание, я предаю их вам безынтересно...

Чичиков обнимает Манилова. Нежная сцена лобзаний. Чичиков утирает слезы.

Появляются страшные, усатые греческие полководцы: Маврокордато, Миаули, Канари — на портретах на стенах.

Свистит дрозд...

В креслах, вместо Чичикова и Манилова, сидят Собакевич и Чичиков.

Чичиков. Нельзя не отозваться с большою похвалою о пространстве русского государства, почтеннейший Михаил Семенович...

Чичиков говорит длинную окольную речь о русском государстве.

Свистит дрозд.

Чичиков. Я готов принять на себя эту тяжелую обязанность — вносить подати за умерших... Собакевич шевельнулся.

Собакевич. Вам нужно мертвых душ?
Чичиков кивает головой.
Собакевич. По сту рублей за штуку.
Чичиков. По сту?! Восемь гривен.
Собакевич смеется.
Собакевич. Ведь я продаю не лапти.
Чичиков. Полтора рубля.
Собакевич. Стыдно...
Чичиков. Два рубля.
Собакевич. Да чего вы скупитесь? Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня, что ядреный орех... Вот, например, каретник Михеев...
Собакевич манит **Чичикова** к окну, показывает: во дворе стоит чудовищная, неуклюжая карета.
Собакевич возвращается, указывает на дверь, постукивает по ней, гладит ее, открывает и закрывает.
Собакевич. Пробка Степан, плотник...
Чичиков открывает рот, чтобы возразить.
Собакевич указывает на громаднейшую печь, открывает и закрывает отдушники, гладит ее и постукивает.
Собакевич. Милушкин, кирпичник...
Чичиков открывает рот...
Собакевич останавливает **Чичикова** жестом, снимает сапог с ноги, показывает его **Чичикову**, постукивает ногтем по подошве, бьет сапогом об пол...
Собакевич. Максим Телятников, сапожник...
Чичиков шилом кольнет, то и сапоги...
Чичиков вскакивает.
Чичиков. Но, позвольте...
Собакевич останавливает **Чичикова** жестом, вынимает пачку денег из стола.
Собакевич. Еремей Сорокопехин... пятьсот рублей оброку!
Чичиков. Но, позвольте!.. Ведь это все народ мертвый!
Собакевич утихает, садится в кресло, разводит руками, печален...

Исчезают Маврокордато и Канари, возникает мужицкое кладбище за деревней, покосившиеся кресты, свежая могила разрытая; накрапывает дождь. Священник машет кадиллом.

Слышатся гнусавые возгласы дьячка...
Плачет баба. Торчат любопытные ребятишки...
Погребают каретника Михеева.
Собакевич печальный стоит тут же с картузом в руке...
Кладбище исчезает, возвращается кабинет **Собакевича**.
Собакевич грустный и в слезах сидит в кресле.
Собакевич. Да, конечно, мертвые, впрочем и то сказать, а что из этих людей, которые числятся теперь живущими?

Чичиков смеется, потом становится серьезен.
Чичиков. Больше двух рублей я не могу дать.
Собакевич. Семьдесят пять рублей ассигнациями.

Чичиков. Два с половиной.
Собакевич. Пятьдесят рублей.
Пауза.
Чичиков встает.
Собакевич. Давайте по тридцати и берите их себе.
Чичиков. Прощайте.
Собакевич. Позвольте... позвольте...

Собакевич наступает **Чичикову** на ногу.
Чичиков шипит.
Собакевич усаживает **Чичикова**.
Собакевич. Хотите угол?
Чичиков. То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни... Копейки не прибавлю.
Собакевич. У вас душа человеческая все равно, что пареная репа. Уж хоть по три рубля дайте.

Чичиков отрицательно кивает головой.
Собакевич. Эх!..
Собакевич хлопает по руке **Чичикова**.
Свистит и стучит дрозд.

Чичиков откланивается и, провожаемый поклонами **Собакевича**, уходит по коридору в своей шинели.

По мере того, как он движется, коридор превращается в аллею в запущенном саду. Вечереет. **Чичиков** идет, осматриваясь.

Слышно, как перед сном возьятся в деревьях, свистят и стучат птицы.

В том же саду — барский ветхий дом с заколоченными окнами. Перед домом остатки клумб и фонтан — чаша.

Чичиков осматривается.
Из чаши фонтана вдруг вылезает **Плюшкин** в лохмотьях. В руках у него всякая дрянь, которую он собирал на дне фонтана.

Чичиков. Послушай, матушка, что барин?..

Плюшкин. Нет дома. А что вам нужно?

Чичиков. Есть дело.

Плюшкин. Идите в комнаты.

Комната в доме **Плюшкина**, заполненная хламом.

Чичиков. Что ж, барин у себя, что ли?

Плюшкин. Здесь хозяин.

Чичиков. Где же?

Плюшкин. Что, батюшка, слепы-то, что ли?

Эх-ва! А, вить, хозяин-то я!

Чичиков отскакивает в ужасе, потом приходит в себя, начинает раскланиваться.

Чичиков и **Плюшкин** сидят в драных креслах. **Плюшкин** говорит раздраженно.

Плюшкин. Да ведь соблезнование в карман не положишь. Вот возле меня...

Плюшкин вдруг вздрагивает, отскакивает... В окно стучат, потом показывается в окне багровая физиономия капитана.

Капитан. Дядюшка!..

Плюшкин машет платком, прогоняя капитанскую физиономию.

Плюшкин. Нету, нету, нету...

Плюшкин волнуется, прыгает, машет. Физиономия скрывается.

Плюшкин. Вот чорт знает его откуда взялся! Говорит, родственник. «Дядюшка, дядюшка» и в руку целует. А как начнет соблезновать, вой такой подымет, что уши береги.

Чичиков, вежливо улыбаясь, отрицательно качает головой.

Чичиков. Мое соблезнование совсем не твоего ро...

За сценой послышался отчаянный капитанский вопль.

Капитан. Дядюшка!..

Плюшкин. Ах, господи ты мой!..

Плюшкин бежит к двери, закрывает ее крепче.

Плюшкин стоит у конторки, взволнован.

Плюшкин. Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?

Чичиков. Для удовольствия вашего готов и на убыток.

Плюшкин. Ах, батюшка, ах, благодетель мой! Плюшкин обнимает и целует Чичикова.

Чичиков и Плюшкин сидят в креслах. Чичиков укладывает в шкатулку списки крестьян, а Плюшкин жадно считает деньги, потом прячет их в конторку.

Плюшкин. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, которому бы понадобились беглые души?

Чичиков. А у вас есть и беглые?

Плюшкин вынимает из конторки список беглых.

Плюшкин. А сколько б вы дали?

Чичиков. Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

Плюшкин. Ради нищеты моей дали бы по соко-рока копеек...

Плюшкин становится на колени.

Чичиков. Почтеннейший, по пятисот рублей заплатил бы, но... состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить...

Плюшкин. Батюшка, хоть по две копейки пристегните!

Чичиков. По две копейки пристегну, извольте.

Плюшкин отдает Чичикову список. Чичиков вынимает из шкатулки и дает Плюшкину деньги. Тот принимает их и прячет их в бюро.

Чичиков одетый выходит на террасу, а в дверях стоит провожающий и благословляющий его Плюшкин.

Чичиков удаляется от дома по аллее. Плюшкин, перекрестив его, скрывается в доме. Вечерет.

Чичиков. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться? И похоже это на правду?.. Все может стать с человеком...

Дом Плюшкина вдали начинает оживать. С заколоченных окон исчезли доски. Ветхие стены обновились. Сад убран огнями и плошками. Послышался гром музыки. На пруде зашипел, ударил фейерверк.

Под деревьями показались гуляющие пары в костюмах двадцатых годов.

Комната Плюшкина, наполненная хламом, изменяется. Вещи становятся на место. Сам Плюшкин, помолодевший лет на 20, сидит в кресле, в хорошем костюме, беседует с гостем. Комната ярко освещена.

Доносится музыка.

В открытую дверь видно, как танцуют в зале. Потом все это начинает меркнуть. Вещи вешают. Плюшкин старится и изменяется в кресле, превращается в оборванного старика. Плюшкин вытаскивает из бюро старые сломанные часы.

Плюшкин. Я ему подарю карманные часы... Или нет, лучше я оставляю их ему после моей смерти в духовной, чтобы вспоминал обо мне.

Вечерет. Видна уезжающая тройка Чичикова. Позвякивает его колокольчик.

Столовая в имени Ноздрева. Одна стена выбелена, а остальные небеленые. Козлы. Пол обрызган белилами. На столе остатки обеда, множество бутылок. На стене картина: Суворов в порховом дыму, в сражении. Чичиков и Ноздрев.

Чичиков, беспокойно оглянувшись и закрывши дверь, наклоняется к уху Ноздрева.

Чичиков. У меня к тебе просьба...

Ноздрев. Какая?

Чичиков. Дай прежде слово, что исполнишь.

Ноздрев (перекрестясь). Честное слово.

Чичиков. У тебя, чай, много умерших крестьян? Переведи их на мое имя.

Ноздрев. А на что тебе?

Чичиков. Ну, просто так, пришла фантазия.

Ноздрев. Не сделаю, пока не скажешь, на что. Пауза.

Чичиков. Мертвые души нужны мне для приобретения весу в обществе...

Ноздрев. Врешь...

Чичиков. Ну, так я ж тебе скажу прямее. Только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться. Но нужно тебе знать...

Ноздрев. Врешь...

Чичиков. Ну вот уж здесь ни вот на столько не соврал.

Ноздрев. Я знаю тебя, ведь ты большой мошенник, позволь мне это тебе сказать по дружбе. Ежели бы я был твоим начальником, я б тебя повесил на первом дереве.

Чичиков обижен, встает, отходит.

Чичиков. Всему есть граница. (Пауза). Не хочешь подарить, так продай.

Ноздрев. Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них.

Чичиков. Эх! Да ведь ты тоже хорош! Что они у тебя бриллиантовые, что ли?

Ноздрев. Ну, послушай. Чтоб доказать тебе, что я не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

Чичиков. На что мне жеребец?

Ноздрев. Как на что? Я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

Чичиков. Не нужен мне жеребец, бог с ним.

Ноздрев. Ну, купи каурую кобылу.

Чичиков. И кобылы не нужно.

Ноздрев. Кобылы не нужно?

Ноздрев тащит за руку Чичикова по двору. Чичиков упирается.

Конюшня. Две лошади.

Ноздрев. За кобылу и за серого коня возьму я с тебя только две тысячи.

Чичиков (отчаянно). Не нужны мне лошади!

Ноздрев. Ты их продашь, тебе дадут за них втрое больше.

Чичиков (поглядев на лошадей). Ты их сам продай.

Ноздрев. Ну, так купи собак.

Ноздрев схватывает Чичикова за руку, тащит его из конюшни. Чичиков упирается.

Слышен дикий собачий лай.

Чичиков и Ноздрев на псарне.

Собаки прыгают, стараются лизнуть Чичикова в губы.

Лай.

Ноздрев. Я тебе продам такую пару, мороз по коже подирает. Брудастая с усами...

Чичиков. Да зачем мне собаки?!
Чичиков выдирается из псарни.

Столовая Ноздрева. Чичиков вытирает пот в изнеможении.

Пауза.

Ноздрева осеняет идея — указывает на шарманку. Тащит Чичикова к шарманке. Вертит ручку.

Шарманка играет Мальбруга.

Ноздрев. Я тебе дам шарманку и мертвые души, а ты мне свою бричку и триста рублей придачи.

Чичиков. А я-то в чем поеду?

Ноздрев. Я тебе дам другую бричку.

Тащит Чичикова за руку. Чичиков упирается.

Каретный сарай. Стоит облупленная бричка. Ноздрев то садится на козлы, показывая, как править тройкой, то приподымает бричку за колесо, то садится на сиденье, изображая барина, которому очень удобно в этой бричке.

Ноздрев. Ты ее перекрасишь — будет чудо бричка.

Чичиков. (выбираясь из каретного сарая.) Эх, его бес как обуял!

Отмахивается от Ноздрева.

Столовая Ноздрева. Гость и хозяин сидят, отвернувшись друг от друга.

Пауза.

Ноздрев. Ну, хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту.

Чичиков отрицательно качает головой.

Ноздрев схватывает карты, начинает метать.

Руки Ноздрева мечут карты, передергивая.

Ноздрев мечет.

Ноздрев. Вон она!

Чичиков изумлен.

Ноздрев. Проклятая девятка! Чувствовал, что продаст...

Ноздрев перестает метать, садится в кресло и становится печален...

Наплывает комната трактира. Драгунский офицер схватывает Ноздрева за руку. Другой офицер швыряет Ноздреву колоду карт в лицо, вцепляется ему в бакенбарду.

Дикий гвалт.

Комната трактира угасает.

Столовая Ноздрева.

Ноздрев печально трогает маленькую бакенбарду.

Ноздрев. Чорт тебя подери... (Пауза). Не хочешь играть?

Чичиков отрицательно качает головой.

Ноздрев. Дрянь же ты! Фетюк! Печник гадкий!

Чичиков (в окно). Селифан!

Набрасывает шинель, надевает картуз, выходит. Ноздрев устремляется за ним.

Столовая. Ноздрев снимает с Чичикова шинель, целует Чичикова.

Ноздрев. Сыграем в шашки. Выиграешь — все мертвые твои.

После некоторого колебания Чичиков снимает картуз.

Чичиков и Ноздрев сидят за шашечной доской и играют.

Ноздрев. Знаем мы вас, как вы плохо...

Чичиков. Давненько не брал я в руки шашек...

Ноздрев. Знаем мы вас, как вы... (Напеваёт).

Чичиков. Давненько не брал я...

Чичиков берет у Ноздрева четыре шашки сразу. Ноздрев подавлен. Дует Чичикову дымом в лицо. Чичиков отворачивается. В этот момент Ноздрев переставляет шашки.

Чичиков. Давненько не бр... Э... э... э... Это, брат, что? Отсади-ка ее назад!

Ноздрев. Кого?

Чичиков (вставая). Нет, с тобой нет никакой возможности играть...

Чичиков в шинели и картузе, со шкатулкой в руках, отмахивается от Ноздрева.

Ноздрев. Ты не хочешь играть?

Чичиков. Не хочу.

Ноздрев бьет кулаком по доске с шашками.

Ноздрев. А! Так ты не можешь, подлец? Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь!.. Порфирий! Павлушка!

В дверях появляются Порфирий и Павлушка.

Ноздрев. Бейте его!

Порфирий вооружается малярной кистью. Павлушка — лопатой. Ноздрев сбрасывает с себя халат, остается в рубашке и подштанниках, схватывает со стены пистолет и саблю...

Ноздрев. Бейте его!

Порфирий и Павлушка. Ура!

Ноздрев трубит в охотничий рог, и в то же мгновение в комнату врываются два громадных ших пса.

Чичиков быстрее молнии взлетает на козлы.

Ноздрев. Ребята! Вперед!

...КРИЧАЛ ОН ТАКИМ ЖЕ ГОЛОСОМ, КАК ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПРИСТУПА КРИЧИТ СВОЕМУ ВЗВОДУ КАКОЙ-НИБУДЬ ОТЧАЯННЫЙ ПОРУЧИК...

...ВСЕ ПОШЛО КРУГОМ В ГОЛОВЕ ЕГО. ПЕРЕД НИМ НОСИТСЯ СУВОРОВ...

Картина на стене в столовой вдруг оживает. Столовая исчезает. Суворов со шпажкой в руке, растопырив ноги, машет наступающим солдатам.

Ущелье в Альпах. Суворовские солдаты бегут с ружьями наперевес на приступ.

Ружейный грохот из ущелья.

Выравшись вперед, летит со шпагой взбалмошный поручик.

Поручик. Ребята! Вперед!

Суворов. Держите его, сукина сына!

Поручик падает навзничь, убитый.

...НО ЕСЛИ НОЗДРЕВ ВЫРАЗИЛ СОБОЮ ПОДСТУПАВШЕГО ПОД КРЕПОСТЬ ОТЧАЯННОГО ПОРУЧИКА, ТО КРЕПОСТЬ НИКАК НЕ БЫЛА ПОХОЖА НА НЕПРИСТУПНУЮ...

Столовая Ноздрева.

Суворов по-прежнему в пороховом дыму на картине.

Шесть собак прыгают, стараясь вскочить на козлы.

Порфирий и Павлушка лезут на приступ.

Ноздрев за ними, размахивая саблей.

Белый, как скатерть, Чичиков отмахивается стулом.

Послышался хrap остановившейся тройки. Дверь в столовую распахивается. Появляется капитан-исправник. Увидев сцену приступа, в изумлении останавливается.

Чичиков, воспользовавшись паузой, бросается в окно.

Ноздрев. Держи его!

Ноздрев устремляется в дверь, за ним — Порфирий и Павлушка. Собаки скачут в окна.

Чичиков, разорвав фрак, спускается по водосточной трубе. Борзая рвет на нем штаны.

Чичиков бежит к бричке. Вскakiвает в нее. Селифан ударяет по лошадям, и тройка вылетает в ворота.

Ноздрев выбегает на крыльцо, стреляет вверх из пистолета.

В конюшне Порфирий и Павлушка седлают жеребца и каурую кобылу.

Дорога. В пыли с грохотом летит тройка Чичикова.

Чичиков с остервенелым лицом лупит по шее Селифана.

По дороге мчатся борзые. За ними Порфирий верхом на каурой кобыле, за ним Ноздрев верхом на жеребце.

Жеребец падает и издыхает.

Ноздрев грозит кулаком.

Погоня прекращается.

Дорога. В пыли чуть видная исчезает тройка.

Пустынная дорога. Стоит взмыленная тройка. Селифан чешет затылок, стоит возле нее. В стороне на траве сидит Чичиков, переодевается, рассматривая изорванный фрак и штаны. Грозит кулаком куда-то. Беззвучно ругается.

Селифан. Экой скверный барин!..

Чичиков. Молчи, дурак!

Чичиков, прихрамывая, идет, садится в бричку. Бричка трогается.

Дорога недалеко от города. Бричка плетется. Селифан задремал на козлах. Внезапно из-за поворота дороги вылетает коляска шестериком. В коляске губернаторская дочка со старой компаньонкой. Лошади сталкиваются, упряжь перепуталась.

Губернаторская дочка вскрикивает, закрыв лицо руками.

Компаньонка взвизгивает.

Губернаторский кучер. Ах, ты мошенник!.. Пьян ты, что ли?

Селифан. А ты что так расскакался?

Кучер и Селифан слезают с козел, пытаются распутать упряжь. Чичиков, пораженный красотой губернаторской дочки, рассматривает ее, как видение. Мало-помалу начинают сбегаться мужики.

Губернаторский кучер. Отсаживай, нижегородская ворона!

Мужики помогают распутывать. Селифан хлещет Чубарого. Тот не желает трогаться с места.

Мужик. Андрюшка, проводи-ка пристяжного. Дядя Митяй, садись на коренного..

Дядя Митяй садится на коренного, Андрюшка тянет Чубарого.

Мужики. Но... Но... Но... Садись, дядя Миняй!

Дядя Миняй садится на одну из губернаторских лошадей. Потом дядя Митяй и дядя Миняй пересаживаются, но толку от этого нет. Кучер, рассердившись, сгоняет и дядю Митяя и дядю Миняя с лошадей, распутывает упряжь. Лошади расходятся. Дядя Миняй и дядя Митяй, снявши шапки, кланяются дамам в экипаже, просят на водку. Андрюшка кланяется Чичикову; ничего не получают.

Коляска снимается с места и улетает.

Чичиков смотрит вслед.

Затем уезжает и бричка Чичикова. На дороге остается только группа мужиков, которые долго смотрят вслед, потом вздыхают и расходятся.

Лицо Чичикова в бричке.

Чичиков. А любопытно бы знать, чьих она? Что, как ее отец? Ведь если этой девушке да тысяченок двести приданого...

...БЫЛИ ГУСТЫЕ СУМЕРКИ, КОГДА ПОДЪЕХАЛИ ОНИ К ГОРОДУ...

...ТЕНЬ СО СВЕТОМ ПЕРЕМЕШАЛАСЬ СОВЕРШЕННО...

Шлагбаум. Фонарь. Часовой солдат. Кривая мостовая. Улица. Скупое освещенные окна кабака. Будочник тащит за шиворот уличную женщину. У кабака валяется на мостовой пьяный мастеровой.

Уличная женщина. Ты не дерись, невежа, а ступай в часть!.. Там я тебе докажу!..

Замечтавшийся двадцатилетний юноша возвращается из театра. Обходит пьяных.

...ЧТО НЕ ГРЕЗИТСЯ В ГОЛОВЕ ЕГО?.. НЕСЕТ ОН В ГОЛОВЕ ИСПАНСКУЮ УЛИЦУ.

Улица города начинает таять, вместо нее появляется улица, залитая луной. Балкон. На балконе силуэт женщины с веером. Зазвенели гитары...

Послышалось пение.

Потом испанская улица начинает таять. Юноша сталкивается с выпившим прохожим, поднимает глаза, видит кабак.

...ВНОВЬ ОЧУТИЛСЯ НА ЗЕМЛЕ И ДАЖЕ НА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ И ДАЖЕ БЛИЗ КАБАКА...

Сени гостиницы. Половой со свечой встречает Чичикова.

Тень пологого на стене.

Петрушка выбегает встречать.

Половой. Долго изволили погулять...

Утро в номере Чичикова. Чичиков просыпается в хорошем расположении духа, вскакивает с кровати, берет из шкастолки списки мертвых, потом — в одной рубашке — сидит, рассматривает их, радуется.

Чичиков. Пробка Степан, плотник... трезвости примерной... где тебя прибрало?

Чичиков задумывается.

Наплывает строящаяся колокольня. Цепляясь по веревке, под самый крест, на головокругительную высоту лезет Пробка Степан — плотник.

На земле возле строящейся церкви стоит будочник, группа плотников, смотрят вверх.

Пробка начинает укреплять крест, соскальзывает с перекладины и падает головой вниз.

Мостовая. Лужа крови. Лежит тело Пробки Степана плотника.

Будочник, другие плотники смотрят.

Плотник. Эх, угораздило тебя!..

Чичиков смотрит список.

Чичиков. Максим Телятников, сапожник... Пьян, как сапожник...

Комната. Разгневанный заказчик тычет в физиономию Максиму Телятникову лопнувший сапог, выгоняет Телятникова.

Телятников пьяный идет по улице, бормочет.

Телятников. Нет житья русскому человеку...

Список в руке Чичикова. «Григорий Доезжай-не-доедешь. Промышляет извозом».

Лес. Григорий Доезжай-не-доедешь едет на тройке один. Из-за дерева выскакивает бродяга, подскакивает сзади, ударяет ножом в спину Григория.

Лошади стоят, понурившись. Бродяга обшаривает тело Григория.

Номер Чичикова. Чичиков смотрит список.

Чичиков. А-а, беглые!.. Попов, дворовый человек... Где-то носят тебя теперь быстрые ноги?

У капитан-исправника. Капитан-исправник спрашивает связанного Попова, дворового человека.

Капитан-исправник. Где твой паспорт?

Тюрьма. Прислонившись к стене, сидит в колодежках Попов, дворовый человек.

Чичиков задумался...

Чичиков. Эх, русский народец... Это что за мужик? Елизавет Воробей...

В списке «Елизавет Воробей».

— Фу, ты, пропасть! Баба! Она как сюда затесалась? Подлец Собакевич! И здесь надул!

Рука Чичикова вычеркивает Елизавет Воробья из списка.

Чичиков смотрит на часы.

— Эх-хе-хе!.. Двенадцать часов. Что ж я так закопался?..

Улица в городе. Чичиков подходит к зданию палаты и сталкивается с Маниловым.

Манилов. Павел Иванович!

Чичиков с Маниловым обнимаются. Манилов подает Чичикову сверток.

Манилов. Мужички...

Комната присутствия в Палате. Зерцало, стол, кресла. В комнате председатель, Чичиков, Манилов, Собакевич. Кувшинное Рыло подает председателю бумаги. Председатель делает пометку на них. Кувшинное Рыло выходит.

Председатель. Так вот как, Павел Иванович,

так вот вы приобрели.

Чичиков. Приобрел.

Председатель пожимает руку Чичикову.

Председатель. Благое дело, право, благое дело...

Собакевич. Да что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, что такое именно вы приобрели. Ведь какой народ, просто золото! Ведь я им продал и каретника Михеева.

Председатель. Нет! Будто и Михеева продали? Я знаю каретника Михеева. Славный мастер! Он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же? Ведь вы мне сказывали, что он умер...

Чичиков вздрагивает.

Собакевич. Кто, Михеев умер? Это его брат умер. А он преживехонький и стал здоровее прежнего.

Председатель. А-а... Но, позвольте, Павел Иванович, как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод?

Чичиков. На вывод.

Председатель. Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

Чичиков. В места... В Херсонскую губернию. Председатель. О, там отличные земли! Река или пруд?

Чичиков. Река. Впрочем, и пруд есть.

В той же комнате присутствия свидетели, в том числе прокурор, инспектор врачебной управы и сын протопопа отца Кирилла, скрепляют своими подписями сделку. Тут же Иван Антонович Кувшинное Рыло.

В той же комнате присутствия председатель, Чичиков, Собакевич, Манилов, прокурор.

Председатель. Итак, остается теперь только спросить покупочку.

Чичиков. Я готов. Был бы грех с моей стороны для эдакого приятного общества...

Председатель. Нет, вы не так приняли дело. Вы у нас гость, нам должно угощать. Покамест что, а мы вот как сделаем. Отправимтесь-ка все к полицеймейстеру, он у нас чудотворец. Ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда...

Все улыбаются, берутся за картузы.

ЧУДОТВОРЕЦ ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР.

Гостиная полицеймейстера. В двери входят Чичиков, председатель, Манилов, прокурор, Собакевич...

Полицеймейстер радостно растопыривает руки, обнимает Чичикова.

Полицеймейстер в своем кабинете что-то шепчет на ухо квартальному в лакированных ботфортах.

Полицеймейстер. Понимаешь?

Рыбный ряд в городе. Квартальный тычет пальцами в рыбные продукты, указывая, что нужно завернуть. С квартальным полицейский солдат, нагруженный свертками.

Столовая у полицеймейстера.

Слышен громовой крик «Ура!»

Пьют здоровье Чичикова. Все пьяны; в числе других инспектор врачебной управы, почтмейстер и все, кто были в присутствии. Собакевич дремлет в кресле.

Почтмейстер. Нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим. Не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?

Полицимейстер. Bravo! Остается! Виват! Ура, Павел Иванович!

Все. Ура!

Чакаются. Еще раз чакаются. Председатель обнимает Чичикова.

Председатель. Душа моя, маменька моя!..

Пьяный председатель приплясывает вокруг Чичикова.

Председатель (поет). Ах, ты, сукин сын, комаринский мужик...

Все пьяны. Шум. Пьяный Чичиков подсаживается к Собакевичу.

Чичиков. Михаил Семенович... Счастье и блаженство двух душ... (Читает в стихах послание Вертера к Шарлотте).

Собакевич (внезапно). Почему купили души у Плюшкина?

Чичиков. А зачем бабу Воробья приписал?

Собакевич. Никакого Воробья я не приписывал.

Ночь. Улица, скупо освещенная фонарями. Прокурорский кучер везет пьяного Чичикова.

Номер в гостинице. Свеча. Чичиков сидит на кровати пьяный. Перед ним Селифан.

Чичиков. Собрать всех вновь переселившихся мужиков... сделать им поголовную переключку...

Селифан дико смотрит на Чичикова.

Чичиков (грозя пальцем Селифану). Всех в херсонские деревни...

Селифан (в дверь). Петрушка, ступай раздывать барина!

Петрушка и Селифан стягивают с Чичикова сапоги.

Чичиков раздетый храпит в постели. Селифан и Петрушка смотрят на него, потом перемигиваются. Петрушка задувает свечу.

Дверь кабака. Петрушка и Селифан входят в нее.

Ночь. Из кабака выходят пьяные Петрушка и Селифан, нежно поддерживая друг друга. С трудом перебираются через улицу.

Каморка Петрушки в гостинице. Петрушка храпит на кровати, а рядом с ним, положив к нему голову на живот, спит Селифан.

...ПОКУПКИ ЧИЧИКОВА СДЕЛАЛИСЬ ПРЕДМЕТОМ РАЗГОВОРОВ — ПРОНЕСЛИСЬ СЛУХИ, ЧТО ОН НЕ БОЛЕЕ, НЕ МЕНЕЕ, КАК МИЛЛИОНЩИК...

...ГДЕ ГУБЕРНАТОР, ТАМ И БАЛ...

Номер Чичикова в гостинице. Зеркало на комоде. Две свечи на столе и две свечи возле зеркала. Петрушка держит фрак. Чичиков одевается на бал.

Подъезд губернаторского дома освещен фонарями. Конный жандарм. Подъезжают кареты.

Гостиная в доме губернатора. Освещена ярко.

...МИЛЛИОНЩИК МОЖЕТ ВИДЕТЬ ПОДЛОСТЬ, СОВЕРШЕННО БЕСКОРЫСТНУЮ...

В гостиной губернатора председатель, почтмейстер, прокурор обнимают Чичикова.

Председатель. Душа моя, Павел Иванович...

Полицимейстер (входя). Вот он, наш Павел Иванович...

Вторая гостиная. Слышен гром бальной музыки. Музыка.

Губернатор и губернаторша. Чичиков целует руку губернаторше. Внезапно появляется губернаторская дочь.

Губернаторша. Вы не знаете еще моей дочери? Институтка, только что выпущена...

Чичиков раскланивается.

Чичиков. Я имел счастье нечаянным образом познакомиться...

...И ВСЕ ПОДЕРНУЛОСЬ ТУМАНОМ...

Бал во мгле. Видны вертящиеся пары. Чичиков стоит у дверей бального зала и, не отрываясь, смотрит, как танцует губернаторская дочка с офицером.

Проходит дамы — просто приятная и приятная во всех отношениях. Обе ехидны, внимательно смотрят на Чичикова.

Приятная во всех отношениях. О чем мечтаете?

Появляется губернатор, держа под руку обеих приятных дам.

Следом за ним председатель и полицеймейстер.

Губернатор. А, Павел Иванович! Будьте судьей, продолжительна ли женская любовь?

Дверь карточной комнаты открывается, и появляется Ноздрев, который тащит под руку прокурора.

Чичиков вздрагивает, хочет скрыться, но уже поздно.

Ноздрев. А, херсонский помещик!.. Херсонский помещик!.. Что, много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство, он торгует мертвыми душами, ей-богу! Поверите ли, ваше превосходительство, как сказал он, «продай мертвых душ», я так и лопнул со смеху! Приезжаю сюда, мне говорят, что накопил на три миллиона крестьян на вывод. Каких на вывод? Да он торговал у меня мертвых! Послушай, Чичиков, ты... ты... Зачем ты покупал мертвые души? Слушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно! У тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я! Вот и его превосходительство здесь. Не правда ли, прокурор? Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его... Да, Чичиков, уж ты не противься... одну беззешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою...

Ноздрев делает попытку обнять Чичикова. Чичиков бьет Ноздрева в грудь. Тот отлетает, падает в кресло. Падая, хватает за ноги даму. Приятную во всех отношениях.

Чичиков, искаженно улыбнувшись, скрывается.

Губернаторская передняя. Доносится гром музыки.

Музыка.

Чичиков делает вид, что у него болит голова: Швейцар подает ему шинель.

Лестница губернаторская. Двое лакеев выводят Ноздрева под руки.

Номер Чичикова. Свеча.

Чичиков сидит в бальном наряде. В полном отчаянии. Хватается за голову, изредка грозит кому-то кулаком. Потом хватается за горло, чувствуя в нем боль. Высовывает язык, смотрит в зеркало. Наливает воды, полощет горло. Потом садится уныло на кровать.

Губернаторский кабинет.

Доносятся звуки бальной музыки.

Губернатор, полицеймейстер, прокурор.

Губернатор в полном недоумении разводит руками.

Губернатор. Мертвые души?..

Прокурор (жалобно). Ноздрев врет..

Полицеймейстер. Врет-то, врет...

Гостиная в доме губернатора.

Бальная музыка.

Группа возбужденных дам. Среди них — обе приятные дамы. Шушукуются, трещат.

**ПОУТРУ ГОРОД БЫЛ РЕШИТЕЛЬНО
ВЗБУНТОВАН. ВСЕ ПРИШЛО В БРОЖЕНИЕ,
И ХОТЬ БЫ КТО-НИБУДЬ МОГ ЧТО-ЛИБО
ПОНЯТЬ...**

Гостиная в доме прокурора. Дама приятная во всех отношениях (жена прокурора) и дама просто приятная. Взволнованы.

Приятная во всех отношениях. Мертвые души...

Просто приятная. Ах, говорите, ради бога!..

Приятная во всех отношениях. Это просто выдумано для прикрытия. А дело вот в чем: он хочет увести губернаторскую дочку.

Просто приятная. Боже мой!

Дверь открывается, и входит встревоженный прокурор.

Просто приятная. Он хочет увести губернаторскую дочку.

Прокурор, заморгав и схватившись за сердце, садится в кресло.

Прокурор. Но кто ж мог помогать ему?

Приятная во всех отношениях. А Ноздрев?..

Прокурор дико смотрит на обеих дам.

Комната присутствия в Палате. Председатель, вице-губернатор, полицеймейстер. Разводят руками.

Вице-губернатор. Как же покупать мертвые души?

Председатель. Где же дурак такой возьмется? И зачем сюда вмешалась губернаторская дочка?

**ВСЬ ГОРОД ЗАГОВОРИЛ ПРО МЕРТВЫЕ
ДУШИ...**

Гостиная в доме дамы приятной во всех отношениях. Пять дам окружили длинного отставного военного с простреленной рукой. Тот поворачивает голову то к одной, то к другой даме, ничего не понимая.

Дамы. Ноздрев!.. Ноздрев!.. Ноздрев!..

Улица города. На дрожках катит длинный с простреленной рукой — взволнован. Навстречу другие дрожки, в которых едет Макдональд Карлович.

Длинный (кричит). Ноздрев помогал!..

Дрожки разьежаются.

Подъезд домика. Макдональд Карлович со-скакивает с дрожек, стучит в дверь. Из окошка высовывается лицо дамы.

Макдональд Карлович. Слышали про мертвые души?

Комната, в которой остановился Собакевич в городе. Собакевич сидит в кресле. Дверь открывается, входит взволнованный прокурор.

Прокурор. Михаил Семенович, какого рода крестьян вы продали Чичикову?

Собакевич. Как какого рода? На то крепости есть.

Прокурор. Но по городу разнеслись слухи... Собакевич. Да вы сами-то, баба, что ли?

Прокурор изумлен.

Собакевич. Нет, я вас спрашиваю, вы баба?

Прокурор надевает картуз и уходит.

Собакевич (вслед). Убирайся, собака!

Зала в трактире. Купцы пьют чай. Один купец шепчет другому.

Купец. Чичиков-то этот — Наполеон...

ЧИЧИКОВ НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ.

Номер Чичикова. Чичиков, раздетый и больной, лежит в постели. Щека его завязана. Перед ним стоит Петрушка, подает ему стакан с молоком. Чичиков начинает полоскать горло.

**ЧИНОВНИКИ ПОЛОЖИЛИ НАКОНЕЦ ПО-
ТОЛКОВАТЬ ОБ ЭТОМ ПРЕДМЕТЕ И РЕ-
ШИТЬ, ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ.**

**ТОЛКОВАЛИ, ТОЛКОВАЛИ И НАКОНЕЦ
РЕШИЛИ, ЧТО НЕ ХУДО БЫ РАССПРОСИТЬ
ХОРОШЕНЬКО НОЗДРЕВА.**

**ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР В ТУ ЖЕ МИНУТУ
НАПИСАЛ К НЕМУ ЗАПИСОЧКУ.**

Комната Ноздрева в городе. Ноздрев, в халате, накинутом поверх голого тела, взъерошенный и небритый, сидит перед ломберным столом, на котором навалена груда карт, и подбирает одну меченую колоду.

Стук в дверь.

Ноздрев схватывает простыню с постели, захватывает стол, выпускает квартального.

Квартальный. Его высокоблагородие просят вас пожаловать на вечер.

Ноздрев. Пошел ты к чорту!

Квартальный. Карты будут.

Ноздрев вырывает у квартального записку, читает, кивает головой.

Вечер в кабинете полицеймейстера. В комнате с таинственными и встревоженными лицами полицеймейстер, вице-губернатор, председатель, почтмейстер, прокурор, инспектор врачебной управы.

В центре группы за закуской, выпивая, сидит Ноздрев.

Полицеймейстер. Скажи, пожалуйста, что за притча в самом деле эти мертвые души? Верно ли, что Чичиков скупал мертвых?

Ноздрев. Верно. Да я сам ему продал. Не вижу причины, почему бы не продать.

Чиновники. К какому делу можно приткнуть мертвых?.. Логика нет никакой!

Ноздрев. Логика нет никакой!

Полицеймейстер. А верно ли, что он хотел увести губернаторскую дочку?

Ноздрев. Верно. Я же и помогал. А если бы не я, то не вышло бы ничего. (Таинственно). В деревне Трухмачевке предположено было венчаться...

Вице-губернатор. А поп?

Ноздрев. Поп — отец Сидор...

Председатель. А зачем для этого покупать мертвые души?

Ноздрев. А чтоб подарить их губернаторской дочке.

По мере того, как развиваются рассказы Ноздрева, на лицах у чиновников появляется все большее смятение.

Инспектор. Не делатель ли он фальшивых ассигнаций?

Ноздрев. Делатель.

Полицимейстер на цыпочках идет к двери и закрывает ее поплотнее.

Прокурор. А не шпион ли Чичиков?

Ноздрев. Шпион.

Полицимейстер закрывает шторы в комнате. **Ноздрев** (пьянея). Ведь я с ним в школе учился, его называли фискалом...

Прокурор. По городу разнеслись слухи, что будто Чичиков — переодетый Наполеон...

Ноздрев. Переодетый Наполеон.

Чиновники. Но как же так?!

Ноздрев манит пальцем к себе чиновников, те сбиваются вокруг него в кучу. **Ноздрев** начинает рассказывать хриплым таинственным шопотом.

Ноздрев. Англичане выпустили его с острова Святой Елены...

Ноздрев указывает пальцем в таинственную даль. Комната с чиновниками начинает угасать. Вместо нее возникает комната на острове Святой Елены, и в ней, как волк, из угла в угол ходит в сером сюртуке Наполеон. Открывается дверь, появляется английский генерал...

Лодка у берега Святой Елены. Фонари. Английские офицеры и матросы. Ведут Наполеона, закутанного в темный плащ. Наполеон в треугольной шляпе...

Граница России. Таинственные люди — контрабандисты переодевают Наполеона. Одевают его в чичиковский фрак, картуз, дают ему в руки шкатулку. В дверях стоят Селифан и Петрушка...

Ноздрев (хриплым шопотом). Вот он и пробирается в Россию...

Дорога. В бричке едет Наполеон в чичиковском наряде, скрестив руки на груди...

Комната полицмейстера. Чиновники окаменели от ужаса...

Город, освещенный луной. На улицах пустынно. Наполеон в чичиковском наряде бродит по городу, изредка заглядывая в окна...

Кладбище под городом. Кресты. Наполеон, сдвинув картуз на затылок, сидит на надгробном памятнике, обдумывая какой-то план...

День. Двор гарнизонной команды. Ученые солдаты. Раскрываются ворота. Появляется Наполеон, сбрасывает чичиковский картуз, надевает треугольную шляпу, сбрасывает шинель на боль-

ших медведях, оказывается в сером сюртуке со звездой, появляется перед солдатами.

Гарнизонная команда бросает ружья и кидается в разные стороны...

Наполеон смеется зловещим смехом.

Наполеон подходит к гарнизонному солдату, который стоит на коленях.

Солдат (кричит). Вив лемперёр!

Послышался тревожный барабанный бой. В церкви загудел набат.

Река под городом. Эскадрон наполеоновских улан, стоя, переплывает реку.

Слышна пушечная стрельба.

Усадьба под городом. Мужики громят помещицью усадьбу.

Мужики. Покоремся Наполеону...

Город горит. Среди пожарища на кресле под знаменами сидит Наполеон. Вокруг него гвардейцы в мохнатых шапках.

В городе грохот, колокола.

Наполеон зловеще смотрит. К Наполеону подтаскивают солдаты связанного полицмейстера, председателя и прокурора.

Наполеон. Что, сукины дети, взятки брать?

Чиновники (стоя на коленях). Вив лемперёр!

Возникает комната полицмейстера. Чиновники — вне себя от ужаса — трясутся, смотрят на Ноздрева.

Ноздрев в треугольной шляпе полицмейстера, в шинели, накинутой по-наполеоновски, грозит пальцем чиновникам, потом выпивает рюмку водки, падает на диван и засыпает вдребезги пьяный.

Полицеймейстер вытирает пот со лба, прокурор крестится трясущейся рукой.

Пауза.

Почтмейстер выпивает рюмку водки и хлопает себя по лбу.

Почтмейстер. Знаете, господа, кто этот Чичиков?

Чиновники. Кто?

Почтмейстер. Это, господа, судурь мой, никто другой, как капитан Копейкин.

Чиновники. Кто таков, этот капитан Копейкин?

Почтмейстер манит пальцем всех чиновников, и они сбиваются возле него в группу.

Почтмейстер. После кампании двенадцатого года, судурь ты мой, вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин... Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными, словом, судурь мой, дотащился он кое-как до Петербурга... Эдакой, какой-нибудь то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире...

Кабинет полицмейстера исчезает и появляется Петербург в тумане...

Голос почтмейстера. Сказочная Шехеразада... Мосты там висят этаким чортом... Шпиц в воздухе... Словом, Семирамида...

Невский проспект. По тротуару идет, постукивая деревяшкой, и с палкой капитан Копейкин. Правой руки нет, рукав пристегнут к мундиру. Физиономия наглая.

Голос почтмейстера. ...отправился к министру...

Приемная во дворце военного министра.

Ожидают генералы и другие посетители. У подставки, на которой стоит громадная индийская ваза, ожидает своей очереди капитан Копейкин. Развязен.

Появляется министр. Все подтягиваются. Министр начинает обходить просителей.

Голос почтмейстера. Зачем вы?.. Зачем вы?.. Что вам угодно?.. Наконец, к Копейкину. Копейкин: так и так, ваше высокопревосходительство, проливал, в некотором роде, кровь... Министр говорит: хорошо, говорит, понаведайтесь на днях...

Лестница у министра. По ней спускается, приплясывая от радости, очень довольный Копейкин.

Разлощенный швейцар смотрит на него с недоумением.

Голос почтмейстера. ...не прошло и четырех дней...

Приемная министра. Другие просители стоят, а у индийской вазы опять стоит Копейкин.

Голос почтмейстера. ...министр тотчас его узнал. «Вам нужно будет ожидать приезда государя...»

Лестница у министра. По лестнице спускается Копейкин — крайне мрачен.

Окна милютинских лавок. В окнах семга, арбузы, деликатесы. Копейкин заглядывает в окна, облизывается.

Окна ресторана. Виден повар в белоснежном белье, метрдотель. Копейкин плюет и проходит.

Тумба на улице. Копейкин сидит на тумбе и жует огурец с черным хлебом. Значительно исхудал.

Приемная у министра. Просители. Министр обходит их всех, отбирая у них прошения. Внезапно из-за индийской вазы появляется перед ним капитан Копейкин — небритый и худой. Министр вздрагивает и отступает.

Голос почтмейстера. «Ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения. Ищите пока сами себе средства». А мой Копейкин, голод, знаете, прищорил его: «Какие средства я могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги, а носом и подовно ничего не сделаешь, только разве высморкаешься...».

Копейкин взмахивает рукой, чтобы высморкаться, задевает индийскую вазу, та падает и разбивается.

Голос почтмейстера. ...«Грубиян! — закричал министр. — Позвать фельдгегера, препроводить его на место жительство...»

Общее смятение. В дверях возникает трехаршинный фельдгегер, министр повелительно указывает пальцем на Копейкина.

Дорога под Петербургом. Уплывает столица в тумане, и виден только один шпиль.

Бешеная тройка мчит ямщика, фельдгегера и Копейкина.

Копейкин бьется в руках у фельдгегера, выдираясь.

Копейкин грозит кулаком шпилью.

Голос почтмейстера. Хорошо, я найду средства!..

Фельдгегер одной рукой обнимает Копейкина, а другой — лупит ямщика.

Тройка скрывается в пыли.

Голос почтмейстера. ...и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь этакую Лету... Куда делся Копейкин, неизвестно... Но не прошло, можете себе представить, двух месяцев, как в лесах появилась шайка разбойников...

Дремучий лес. Костры. Капитан Копейкин в лихо заломленной фуражке, подпоясанный по форменному сюртуку красным кушаком, за который заткнуты пистолеты, сидит на пне, выпивая. Вокруг него разбойники в мужичьих кафтанах, некоторые — в сибирках, некоторые — в потрепанном солдатском обмундировании, с ружьями, с косами, кистенями, с пистолетами, с топорами...

Ночь. Луна. Дорога в лесу. За деревьями лежат, притаившись, разбойники.

Появляется казенный почтовый экипаж.

Слышен разбойничий свист.

На дорогу выскакивает капитан Копейкин, выхватывает пистолет.

Разбойники бросаются к экипажу. Почтальон валится в ноги Копейкину. Разбойники начинают грабить экипаж.

День. Дорога. Стоит экипаж. Возле экипажа стоит трясущийся от страха, в одном белье, проезжающий. В руках у разбойников его военное обмундирование. Разбойники выпрягают лошадей, садятся на них верхом.

День. Лесная дорога. Верхом, впереди невероятно разросшейся шайки, едет капитан Копейкин. За ним знамя с надписью «Капитан Копейкин». Дальше конные разбойники, откормленные, хорошо вооруженные. Далее везут пушку.

Послышалась хоровая песня:

Ах, вы, сени, мои сени...

Голос почтмейстера. Посланы были команды изловить его...

Послышался ружейный грохот.

Опушка леса. Лежат трое убитых гарнизонных солдат. Несколько гарнизонных солдат, отстреливаясь, бегут в панике.

Выскакивают копейкинские разбойники на конях, гонятся за солдатами.

Возникает капитан Копейкин с заросшей окладистой бородой. На груди — звезда, посреди — икона на цепи. Показывает фигу.

Ночь. Город освещен луной. Пустынная улица. Угол. Из-за угла показывается рожа разбойника. Из-за другого угла — другая. Улица наполняется крадущимися разбойниками. Первый разбойник подскакивает к часовому солдату, ударяет его ножом в грудь, солдат падает. Свист.

Гудит набат. Гудят пожары. Копейкинские разбойники грабят город.

Среди пожарищ, в губернаторском кресле, на

дворе сидит Копейкин. Вокруг него знамена; священник — с крестом в руке. Тьма разбойников.

Ташут связанного полицеймейстера, председателя и прокурора.

Копейкин встречает их страшным взором...

Кабинет полицеймейстера. Почтмейстер сидит в полицеймейстерском кресле, указывает пальцем на трясущихся от страха председателя, полицеймейстера и прокурора.

Внезапно стук в дверь.

Чиновники в ужасе бросаются кто куда.

Дверь открывается. Вбегает квартальный с пакетом.

Полицеймейстер вскрывает пакет, меняется в лице.

Полицеймейстер. В губернию нашу...

Кабинет в Зимнем дворце. Николай Первый обнимает генерал-губернатора Однозоровского-Цементинского.

Николай Первый. Поезжай с богом...

Кабинет полицеймейстера. Полицеймейстер держит в руках бумагу. Совершенно убит.

Полицеймейстер. Господа, в губернию нашу назначен генерал-губернатор.

Прокурор. Ах!..

Прокурор падает.

Чиновники. Батюшки! Что с прокурором? Батюшки! Доктора! Воды!

Чиновники в панике выбегают.

Квартальный трясущейся рукой наливает воды, наклоняется к прокурору.

Ноздрев просыпается, подходит к лежащему прокурору.

Ноздрев. Умер.

Ноздрев выпивает воду, предназначенную для прокурора.

Дорога. Мост. Крестьяне, под руководством старосты, на скорую руку чинят мост.

Дорога. Крестьяне метлами метут дорогу.

Дорога. Показываются громадные облака пыли. Первой летит тройка капитан-исправника. Затем — экипаж, в нем генерал-губернаторские чиновники.

Затем — экипаж шестериком, в нем князь Однозоровский.

Сзади — четыре жандарма верхами.

Потом экипаж, в нем камердинер.

Город. Генерал-губернаторский дом. Бабы, подоткнув подолаы, моют окна.

Перед домом полицейские солдаты метут мостовую. Полицеймейстер распоряжается.

Приемная в доме генерал-губернатора.

Стоят бледные, взволнованные чиновники города, во главе с губернатором. Все в парадной форме.

Дверь открывается, и появляется князь Однозоровский.

Чиновники низко кланяются.

Кабинет в доме генерал-губернатора. Князь Однозоровский, разгневанный, за столом.

Перед столом стоит чиновник особых поручений с портфелем.

Князь. Чичиков?

Чиновник. Чичиков, ваше сиятельство.

Чиновник вынимает из портфеля бумаги.

Номер в гостинице. Вечер. Свеча. Выздоровевший Чичиков пьет чай.

Дверь открывается, и входит Ноздрев.

Чичиков отшатывается.

Ноздрев. Вот говорит пословица: для друга семь верст не околица.

Ноздрев жмет руку Чичикову, садится.

Ноздрев. Прикажи-ка мне набить трубку, где твоя трубка?

Чичиков. Я не курю трубки.

Ноздрев. Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй, Вахрамей!

Чичиков. Да не Вахрамей, а Петрушка.

Ноздрев. Как же? Да ведь у тебя прежде был Вахрамей.

Чичиков. Никакого не было у меня Вахрамея.

Ноздрев. Да, точно, это у ДЕРЕБИНА был Вахрамей.

Пауза.

Ноздрев сам наливает себе чаю, начинает пить.

Ноздрев. А ведь признайся, брат, ведь ты право преподло поступил тогда со мной, помнишь, как играли в шашки? Ведь я выиграл... Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, чорт меня знает, никак не могу сердиться!.. Ах, да, я ведь тебе должен сказать, что все в городе против тебя. Они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Пристали ко мне, да я за тебя горой...

Чичиков. Я делаю фальшивые бумажки?

Ноздрев. Они, чорт знает, с ума сошли со страху... Нарядили тебя в разбойники, в шпионы... А тут еще новый генерал-губернатор приехал. А прокурор с испугу умер... Завтра будет (Ноздрев поет мрачным голосом) по-гре-бе-ние... по-гре-бе-ние...

Чичиков в ужасе встает.

Ноздрев (поет мрачно на мотив из панихиды). А ведь ты, Чичиков, рискованное дело затеял...

Чичиков. Какое рискованное?

Ноздрев. Да увезти губернаторскую дочку. Я признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал... Как только увидел вас вместе на бале, ну, уж думаю, Чичиков...

Чичиков (вскочив). Что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку?

Ноздрев. Ну, полно, брат... Экой скрытный человек...

Внезапно послышались шаги и бряцание шпор.

Ноздрев, прислушиваясь, подбегает к окну, раскрывает его и прыгает в окно.

Чичиков в ужасе оглядывается.

Дверь номера открывается, и входит жандармский офицер, полицеймейстер, солдат-жандарм. Чичиков в ужасе прижимается в угол.

Кабинет генерал-губернатора. Генерал-губернатор в гневе — за столом.

Дверь открывается, и появляется Чичиков. На нем лица нет.

Князь. Вы запятали себя бесчестнейшим мошенничеством!

Чичиков. Каким же, ваше сиятельство... бесчестнейшим... мошенничеством?..

Князь. Мертвые души!.. Фальшивые бумажки!..
Чичиков. Ваше сиятельство!.. Я не виноват!..
Меня обнесли враги... Ноздрев...

Князь. Вас не может никто обнести!.. В острог!
С последними мерзавцами и разбойниками!

Князь берется за шнурок — звонит.
Чичиков. Ваше сиятельство, умилосердитесь,
у меня старуха-мать...

Князь. Врешь!
В дверях появляется чиновник особых поручений.

Князь. Позвать, чтоб его взяли, солдат!
Чичиков бросается в ноги князю и обхватывает его сапог.

Князь. Прочь!
Появляются двое жандармов, берут Чичикова и уводят его.

Чичиков. Спасите!

Канцелярия полицеймейстера.
У шкафа стоят жандармский полковник, полицеймейстер и квартальный.

Квартальный держит свечу.
Полицеймейстер берет запечатанную шкатулку Чичикова, кладет ее в шкаф. Шкаф запечатывают.

Комната присутствия в Палате. Председатель Палаты, Иван Антонович Кувшинное Рыло и чиновник особых поручений при генерал-губернаторе.

Чиновник особых поручений снимает с полки шкафа толстые книги с купчими крепостями, проверяет их, кладет в шкаф.

Иван Антонович подает свечу и сургуч.
Чиновник особых поручений запечатывает шкаф.

Острог. Одинокaя камера. Окно с решеткой.
Чичиков в отчаянии, в разорванном фраке, с растрепанными волосами...

Чичиков. Судьба кака!.. Что ж за несчастье такое! Как только начал достигать плодов, вдруг буря, подводные камни!.. Сокрушение в щепки всего корабля!.. За что такой удар?..

Чичиков рвет на себе в отчаянии фрак, рвет волосы, бросается на кровать, лежит ничком.

За окном, сперва далеко, потом ближе, послышался мощный хор, который поет «Святый Боже».
Чичиков приподымается к решетке, начинает глядеть в нее.

Чичиков. А, вот и прокурор!.. Жил, жил, а потом и умер!.. И вот напечатают в газетах, что скончался почтенный гражданин, что был сопровожаем плачем вдов и сирот... А ведь на поверку, у тебя только и были, что густые брови!..

Плюет в окно. Ложится на кровать.

Дверь камеры открывается, и появляется Самосвитов, личность с черными бакенами, в темных очках.

Чичиков всматривается.

Самосвитов. Самосвитов. Встречались у губернатора.

Чичиков хочет что-то ответить, но не может — плечет.

Самосвитов. Зачем же предаваться так сильно сокрушению? А рвать волос не следует и подавно.

Чичиков. Князь-губитель зарежет меня, как волк агнца...

Пауза.

Самосвитов. Тридцать тысяч.

Пауза.

Чичиков. Как же я могу?.. Шкатулка... все это теперь запечатано...

Самосвитов. Все получите. По рукам, что ли?
Чичиков. Да.

Сумерки. Канцелярия полицеймейстера.
Входят жандармский полковник, полицеймейстер и Самосвитов.
Самосвитов закрывает дверь.

Острог. Камера Чичикова.
Чичиков перед раскрытой шкатулкой — вынимает деньги и купчие крепости. Купчие крепости рвет, бросает в печку, потом отсчитывает деньги, дает Самосвитову.

Дверь открывается, и появляется полицеймейстер.

Самосвитов отделяет ему часть денег.
Дверь приоткрывается — в дверях маячит жандармский полковник.

Полицеймейстер отделяет часть денег, дает ему.
Полицеймейстер берет шкатулку, начинает ее заново запечатывать.

Вечер. Канцелярия полицеймейстера. Жандармский полковник, прикрыв огарок рукой, светит полицеймейстеру, который вкладывает в шкаф шкатулку и затем шкаф запечатывает.

Камера Чичикова. Чичиков в печке жжет листы купчих крепостей.

Маленькая комнатка в квартире Ивана Антоновича Кувшинное Рыло.

Самосвитов и Иван Антонович.
Самосвитов вынимает пачку денег, дает Ивану Антоновичу.

Иван Антонович, воровски оглянувшись, вручает Самосвитову ключ.

Ночь в Палате. В коридоре спит сторож на столе.

Возле него горит сальная свечка.
Дверь коридора бесшумно отворяется, и в полутьме появляется Самосвитов. Прислушивается к дыханию сторожа, проскальзывает в комнату присутствия.

Комната присутствия. В окно светит луна.
Самосвитов подбирается к шкафу, берет в углу возле него бумагу, складывает ее в кучу, высекает огонь, поджигает кучу бумаг возле шкафа. Пламя начинает лизать шкаф.

Самосвитов поджигает сукно на столе. Повалил дым. Языки пламени начинают лизать шкаф.

Самосвитов, согнувшись, выходит из комнаты присутствия, закрывает дверь, осторожно проходит мимо храпящего сторожа, скрывается во тьме коридора.

Черный ход в Палату. Дверь здания тихонько открывается. Выходит Самосвитов, перебегает двор, перелезает через забор и скрывается.

Комната Ивана Антоновича. Иван Антонович встает навстречу Самосвитову.

Самосвитов вручает ему ключ.

Ночь. Улица. Здание Палаты горит. На улице

жандармский полковник, полицеймейстер, солдаты, пожарная бочка. В стороне связанный сторож в обгоревшем мундиришке, с обгоревшими волосами.

Председатель Палаты без фрака, в рубашке, поверх накинута шинель.

Суета.

Крики.

Иван Антонович Кувшинное Рыло с ведром бросается в огонь. Его схватывают за руки — он рвется тушить.

Кабинет князя Однозоровского.

Князь в гневе. Перед ним — чиновник особых поручений.

Князь. Все чиновники мерзавцы!

Чиновник. Пьяный сторож, ваше сиятельство... Свечка...

Кабинет князя. Князь, жандармский полковник, полицеймейстер, чиновник особых поручений.

На столе стоит запечатанная шкатулка Чичикова. Шкатулку вскрывает чиновник особых поручений. Из шкатулки вынимает немного денег, какие-то записки, счета.

На лицах князя и чиновника особых поручений — удивление.

Полицеймейстер начинает выстукивать шкатулку, обнаруживает потайное отделение, вскрывает его. В потайном отделении — немного денег.

Чиновник. Никаких крепостей нет.

Князь. Что ж за вздор разнесли по городу?

Полицеймейстер и жандармский полковникжимают плечами.

Князь. Однако ж разнесли? Стало быть, была же какая-нибудь причина?

Полицеймейстер. Причина? Причины нет, ваше сиятельство. Чепуха, ваше сиятельство.

Князь. Что?

Полицеймейстер. Белиберда, говорю, ваше сиятельство. Не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю.

Пауза.

Князь. Сторожа-пьяницу — в острог! Скажите этому Чичикову, чтоб он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше.

Полицеймейстер и жандармский полковник кланяются и, взяв шкатулку, начинают выходить.

Камера Чичикова. Открывается дверь, и входит полицеймейстер со шкатулкой, ставит ее на стол.

Полицеймейстер. Ну, Павел Иванович, собирайте все пожитки свои, да и с богом, не откладывая минуты.

Полицеймейстер обнимает и целует Чичикова. Скрывается в двери. Из этой двери появляются

Селифан и Петрушка. У Петрушки в руках шинель Чичикова и картуз. На лицах обоих радость.

Пауза.

Чичиков. Ну, любезные, нужно укладываться да ехать.

Селифан. Покатим, Павел Иванович! Дорога установилась. Пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы.

Петрушка. Покатим, Павел Иванович!

Петрушка набрасывает на плечи Чичикову шинель, подает картуз.

Чичиков оглядывает стены камеры.

Чичиков. Покатим!

Чичиков выходит из камеры, за ним Селифан и Петрушка.

Дверь камеры вновь открывается. Часовой входит в камеру палатского сторожа — в обгоревшем мундире, и затем закрывает за ним дверь. Сторож оглядывает стены камеры.

Город вдали. Постепенно уменьшается. Колокольни начинают уходить в землю.

Голос. Вот уж и мостовая кончилась, шлагбаум... и город назади, и ничего нет — и опять в дороге...

Дорога. По дороге летит чичиковская бричка.

Окрестность Рима. На большой высоте балкон, оббитый плющом. Розы, пинны. Вечереет. Вдали виден Рим, и над Римом последний луч солнца. Балкон уже в вечерних тенях. На балконе виден силуэт человека в темном плаще. Лица человека не видно. Он смотрит на Рим.

Голос. Солнце опускается ниже к земле... Еще живей и ближе сделался город, еще темней зачернели пинны... готов погаснуть небесный воздух... Русь, Русь! Вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека... Открыто, пустынно и ровно все в тебе. Как точки, как значки, не приметны среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе?..

Рим начинает угасать в вечерних тенях. Исчезает и балкон и силуэт человека.

Дорога. Догорает заря за полями. По дороге мчится чичиковская тройка.

Слышна далекая песня и звон колокольников.

Конец

Москва — Ленинград
Лето 1934 года

Подготовка текста и публикация
Б. С. Мяжова и Б. В. Соколова.

**О КИНОСЦЕНАРИИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
«ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА, ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ»**

Гоголь всегда оставался любимейшим писателем Михаила Булгакова. Еще в 1922 году в рассказе «Похождения Чичикова» Булгаков блестяще спародировал «Мертвые души», перенеся героев гоголевской поэмы в Москву эпохи нэпа. Таким образом, он впервые актуализировал сатирические образы великого предшественника. Позднее, в 1930 году, Булгаков, принятый режиссером-ассистентом во МХАТ, создал для этого театра инсценировку «Мертвых душ». Постановка была осуществлена 28 ноября 1932 года К. С. Станиславским при участии В. Г. Сахновского (выпускающего режиссера). Однако в процессе постановки под давлением Станиславского булгаковского замысел был значительно изменен. В первоначальном наброске текста инсценировки действие первой картины происходило в Риме и главным в ней был Чтец (он же — Гоголь). В последующих вариантах Чтец, превратившийся в Первого в пьесе, вел весь спектакль.¹ Рим был отвергнут на самом раннем этапе работы, в связи с чем Булгаков писал своему другу философу и филологу П. С. Попову 7 мая 1932 года: «И Рима моего мне безумно жаль!»² В мае 1932 года была снята и роль Первого, сначала благосклонно принятая Станиславским.³ А ведь, как подчеркивал В. Г. Сахновский в выступлении на художественном совещании 7 июля 1930 года, «Мертвые души» являются по замыслу самого Гоголя значительнейшей поэмой; для того, чтобы сохранить на сцене эпическую эту значительность Гоголя (помимо его комедийного и сатирического начала), следует ввести в спектакль роль Чтеца или «от автора», который, не выпадая из спектакля, а по возможности связываясь с его сквозным действием, дал бы нам возможность дополнить комедию и сохранить на сцене МХАТа всю эпичность Гоголя.⁴ Вместе с Первым из инсценировки ушло эпическое начало гоголевской поэмы. Спектакль во многом превратился в обыкновенную иллюстрацию классического произведения. Как вспоминала Л. Е. Белозерская-Булгакова, бывшая в 1924—1932 годах женой драматурга и наблюдавшая все перипетии постановки «Мертвых душ», «именно школьные годы напомнил мне этот спектакль и Александринку в Петрограде, куда нас водили смотреть произведения классиков...»⁵ Оригинального, свободного от налета академизма прочтения Гоголя не произошло. Тем не менее, режиссура Станиславского и блестящий актерский состав сделали свое дело, и «Мертвые души» в Художественном театре имели стойкий успех у публики.⁶

На волне этого успеха 31 марта 1934 года Булгаков заключает договор с Союзфильмом, проявившим интерес к экранизации «Мертвых душ». Драматург обязался сдать сценарий не позднее 20 августа того же года. 9 мая Булгаков закончил экспозицию сценария и телеграммой пригласил на ее чтение режиссера будущего фильма И. А. Пыррева. 17 мая к этой экспозиции было сделано дополнение.⁷ В экспозиции драматург подчеркивал, что «для того, чтобы представить поэму Гоголя на экране, ее надлежит подвергнуть значительной ревизии в том плане, чтобы события, совершающиеся в ней, были видимы с точки зрения современного человека». В целом же экспозиция и дополнение к ней были чрезвычайно близки к постановке, осуществленной Художественным театром. Но в процессе работы над текстом Булгаков в значительной мере отошел от экспозиции и в результате создал сценарий, близкий к первоначальному замыслу театральной инсценировки.

В архиве драматурга сохранились три редакции этого первоначального варианта сценария. Работа над ними протекала все лето 1934 года в Москве и Ленинграде, где Булгаков был вместе с Художественным театром с 11 июня до 19 июля. Сценарий был завершен 12 августа и в тот же день сдан на кинофабрику.⁸

Первая редакция, текст которой мы предлагаем читателям, представляет собой машинопись с авторской правкой. На титульном листе надпись: «1 вариант» и «С правкой М. Булгакова», сделанные, по всей видимости, рукой Е. С. Булгаковой — жены драматурга. Что именно этот текст в наибольшей степени отражает творческую волю самого Булгакова, видно из его письма П. С. Попову от 10 июля 1934 года: «Люся (Е. С. Булгакова — Б. С.) утверждает, что сценарий вышел замечательный. Я им (И. А. Пырреву и заместителю директора 1-й кинофабрики И. В. Вайсфельду — Б. С.) показал его в черновом виде и хорошо сделал, что не перебелил. Все, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имени Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, — все это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но — боже! — до чего мне жаль Рима! Я выслушал все, что мне сказал Вайсфельд

и его режиссер, и тотчас сказал, что переделаю, как они желают, так что они даже изумились».⁹ Ясно, что публикуемый нами текст и есть та черновая машинопись, которая вызвала неудовольствие Пырьева и Вайсфельда.

В дальнейшей работе над сценарием воля и личность Пырьева все более стали выступать на первый план. К тому же Булгаков в августе 1934 — феврале 1935 года был занят работой над еще одним гоголевским сценарием — «Ревизором»¹⁰ и постановкой во МХАТе своего «Мольера» и потому не мог уже уделять должного внимания «Мертвым душам». В период с июля 1934 года по март 1935 года происходила оживленная переписка между драматургом и кинематографистами по поводу внесения в сценарий изменений. В результате практически все эпизоды, которые особенно ценил Булгаков, были исключены.¹¹ Был написан режиссерский сценарий, и в начале 1935 года предполагалось начать работу над фильмом. Но Пырьев переключился на съемку фильма «Партийный билет», и постановка «Мертвых душ» не состоялась. В 1965 году режиссер вновь вернулся к мысли об экранизации гоголевской поэмы и в связи с этим внес последние изменения в написанный совместно с Булгаковым последний вариант сценария.¹² Но постановку Пырьев не осуществил и в этот раз и вместо «Мертвых душ» экранизировал «Братьев Карамазовых».

Нетрудно заметить, что в публикуемом нами варианте булгаковского сценария баллада о Копейкине, панихида у Собакевича, эпизод с суворовскими солдатами и баллада о Чичикове-Наполеоне как раз и передают эпический строй «Мертвых душ», а римский эпилог, в котором возникает силуэт Гоголя на балконе, позволяет воспринимать все происшедшее на экране как живую мысль самого творца «Мертвых душ», наблюдающего Россию из «прекрасного далека». Баллады о капитане Копейкине и Чичикове-Наполеоне прекрасно передают громадный, всепоглощающий страх «мертвых душ» поэмы перед угнетаемым ими русским народом, перед грозным признаком крестьянского бунта. Здесь мы видим, как возникает культ личности вождя, как в своем страшном величии возносятся Наполеон и Копейкин — проблема, которую Булгаков решал и в своей последней пьесе «Батум». Булгаков органически совместил в своем киносценарии эпическое и сатирическое начало. Поскольку первая половина 30-х годов — это время, когда звуковой кинематограф еще только выходил из недр немого, в булгаковской кинопоэме сочетаются элементы звукового и немого фильма. Так, например, ту роль, которую в ранних вариантах театральной инсценировки выполнял Чтец, в сценарии стали играть титры.

Булгаковский сценарий несет на себе явный след влияния работ Ю. Тынянова, посвященных кино.¹³ Автор киноинсценировки гоголевской «Шинели» подчеркивал, что «самый конкретный — до иллюзий — писатель, Гоголь, менее всего поддается переводу на живопись». Поэтому как Тынянов, так и Булгаков при переводе гоголевских произведений на киноязык вынуждены были в ряде случаев существенно отступать от текста, как бы «дописывать» за Гоголя, чтобы точнее передать дух гоголевского оригинала, как, например, в булгаковской балладе о Копейкине. Булгаков точно следовал тыняновской мысли о том, что «даже «инсценировка» в кино «классиков» не должна быть иллюстрационной — литературные приемы и стили могут быть только возбудителями, ферментами для приемов и стилей кино».¹⁴ Это отразилось прежде всего в тех эпизодах, которые сам Булгаков считал наиболее значительными, но которые оказались неприемлемыми для будущего постановщика, сделавшего последний вариант сценария в гораздо более академической манере. Как и Тынянов, Булгаков в своем киносценарии во многом предвосхитил современное монтажное кино. В то же время, гротескные образы вставных эпизодов весьма напоминают работы Л. Бунюэля и других режиссеров, заложивших в 20—30-е годы на Западе основы сюрреализма в кинематографе.

Более полувека прошло с момента создания Булгаковым сценария «Мертвых душ», но этот сценарий и сегодня представляется не просто литературным памятником, но интересным произведением советской кинодраматургии, которое, возможно, наконец найдет свое воплощение на экране.

Текст сценария печатается по авторизованной черновой машинописи, хранящейся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ф. 562, картон 15, единица хранения 3).

Б. В. Соколов, кандидат исторических наук

¹ Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 203—204.

² Егоров Б. Ф. М. А. Булгаков — «переводчик» Гоголя (инсценировка и киносценарий «Мертвых душ», киносценарий «Ревизора»). В кн.: Ежегодник рукописного отдела

Пушкинского дома. 1976. Л., 1978, с. 69.

³ Яновская Л. М. Указ. раб., с. 210—211.

⁴ Егоров Б. Ф. Указ. раб., с. 59.

⁵ «Театральная жизнь», 1986, № 18, с. 27.

⁶ Текст одного из промежуточных вариантов театральной инсценировки «Мертвых душ» опубликован: Булгаков М. Пьесы. М., 1987, с. 489—542.

⁷ Текст экспозиции сценария «Мертвых душ» и дополнения к ней опубликованы: Егоров Б. Ф. Указ. раб., с. 71—74.

⁸ Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя.— Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 37. М., 1976, с. 115.

⁹ Егоров Б. Ф. Указ. раб., с. 75. Мы цитируем данное письмо по этому источнику, а не по последней публикации писем Булгакова П. С. Попову, осуществленной В. В. Гудковой, так как там допущены досадные ошибки. В частности, в письме от 5.X.1936 г. («Новый мир», 1987, № 2, с. 178) предпоследний абзац, отсутствующий в оригинале, целиком взят из одного из булгаковских писем Я. Л. Леонтьеву, директору Большого театра.

¹⁰ Написанный совместно с М. Каростиним сценарий «Ревизора» опубликован: «Искусство кино», 1983, № 9, Публикация Г. Файмана.

¹¹ Егоров Б. Ф. Указ. раб., с. 75—80.

¹² Этот вариант сценария опубликован: «Москва», 1978, № 1. Публикация Ю. Тюрина.

¹³ На такое влияние применительно к сценарию «Ревизора» обратил внимание Г. Файман («Искусство кино», 1983, № 9, с. 107—108).

¹⁴ Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 311, 324.

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, С. АНТОНОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
Р. ИБРАГИМБЕКОВ, В. СЫТИН, В. СОЛОВЬЕВ,
С. СОЛОВЬЕВ, В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ
Ответственный секретарь Е. КЛЕЙНЕР

Выпуск подготовили к печати:
О. ГОРБАЧЕВА, Н. РЮРИКОВА,
Т. ПОКРОВСКАЯ, М. СЕРГИЕНКО

Технический редактор Л. РЯБЫКИНА
Корректор И. АВETИСОВА
Мл. редактор Т. ЕРМОЛОВА

Сдано в набор 13.08.87. Подписано к печати 26.10.87. А05716 Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32
Уч.-изд. л. 22,3 Усл. кр.-отт. 16,24 тыс. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар» Гарн. таймс.
Тираж 84800 экз. Заказ № 2381. Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное объединение «Союзинформкино» 109017, Москва,
Б. Ордынка, 43. Тел. 231-11-33.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., д. 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат В/О «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
142300 г. Чехов Московской области

1р.20к.
70434

КИНОСЦЕНАРИИ

1987

4